

Н О В Ы Й
М И Р

6

Н О В Ы Й
М И Р

1960

6

1960

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVI

№ 6

Июнь, 1960 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МИРЗО ТУРСУН-ЗАДЕ — Горная река, стихотворение. Перевел с таджикского С. Липкин	3
ПЕТРУСЬ БРОВКА — Далеко от дома, стихи. Авторизованный перевод с белорусского Я. Хелемского	4
И. МЕТТЕР — Мурат, повесть	12
МИХ. ЛУКОНИН — В поисках нежного человека, стихотворение	49
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Соловьиный коридор, стихотворение	51
В. ЛИПАТОВ — Глухая Мята, повесть. Окончание	52
СЕРГЕЙ ФИКСИН — Красные мячи. Зеленый базар, стихи	117
ВОЛЬФДИТРИХ ШНУРРЕ — Маневры, рассказ. Перевела с немецкого В. Тиханова	119
РОБЕРТ ФРОСТ — Березы. Наша певческая мощь. Перепись населения. Последний индеец. Весенние озера. О необходимости знать толк в деревенских делах. Указание, стихи. Перевел с английского Андрей Сергеев	124
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
К. Т. СВЕРДЛОВА (НОВГОРОДЦЕВА) — Яков Михайлович Свердлов	131
М. ГАЛЛАЙ — Через невидимые барьеры. Из записок летчика-испытателя	140
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ЦЕЦИЛИЯ КИН — Черная тень над Италией. Заметки о католической культуре	164
Г. ХРОМУШИН, кандидат экономических наук — «Экономический гуманизм» и его природа	176

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
ПУБЛИЦИСТИКА	
Л. ЛАСКАВАЯ — Земля и ветер	186
С. КРАСИВСКИЙ — Успехи автоматизации	201
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
И. ВИНОГРАДОВ — Во имя живых	209
О НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. А. Шаров. Жизнь, сильно разъятая.— Я. Смородинский, доктор физико-математических наук. Разные пути.— От редакции	224
Б. РЮРИКОВ — Н. Г. Чернышевский как личность и характер	232
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
А. Кондратович. Голос свободной Азии.— И. Роднянская. Уголок большого мира.— Г. Мунблит. Рассказы о мирной жизни.— Ал. Михайлов. Разговор о главном.— Т. Могылева. Монография о «Войне и мире».— В. Ясный. Мадрид, 1953.	245
<i>Политика и наука</i>	
Е. Стеллиферовская. Образ вождя живет в сердцах.— Б. Жучков, кандидат исторических наук. Нужное издание.— Дм. Рудь. Жизнь берет свое.— Е. Петруничев. Крах пособников фашизма.— А. Полторацк, кандидат юридических наук. Документы обвиняют и предостерегают.— Мих. Цунц. Из зала суда.— О книге «Очерки истории Свердловска».	266
КОРОТКО О КНИГАХ	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

МИРЗО ТУРСУН-ЗАДЕ

★

ГОРНАЯ РЕКА

(С таджикского)

У реки, среди гор, где громады встают,
Для себя отыскал я тенистый приют.

Сверху мчится река и, приблизясь вплотную,
У скалы разбивается в пыль водяную.

То, как барс, устремится к добыче рывком,
То смиренно белеет парным молоком.

Мерный грохот воды наполняет ущелье,
В шуме влажного ветра я слышу веселье.

Я стихи сочиняю над горной рекой,
Ветер правит, шлифует строку за строкой.

Говорю я реке: «Здравствуй, друг мой весенний,
Ты надежда плодов, и цветов, и растений.

Светоносная вестница, ты хороша,
И твоя бескорытна простая душа.

В душном зное потрескались губы пустыни —
Их серебряной ниткой зашьешь ты отныне.

Снова стала таджиков земля молодой:
Ты ее напоила живою водой.

Мы тебя приручили, бывая дикарка,
Светом в нашем жилище ты вспыхнула ярко.

Мы твое вдохновенье, твой внутренний жар
Принесли по-рабочему родине в дар».

Перевел С. Липкин.

ПЕТРУСЬ БРОВКА

★

ДАЛЕКО ОТ ДОМА

(С белорусского)

..*

Сызмальства помню: на зорьке студеной
В нашем сарайчике, низком и черном,
Тишь сотрясает гул монотонный —
Крутится жернов,
Крутится жернов.

Мать с побеленными пылью висками
Круглую глыбу вращает упорно.
Камень со скрежетом трется о камень —
Мелются зерна,
Мелются зерна.

Ждем, с нетерпеньем и жадностью глядя —
Ведь в животах со вчерашнего пусто, —
Скоро ли мать испечет нам оладьи,
Жесткие, с хрустом,
Жесткие, с хрустом?

С каменной пылью от жернова... Смѐлем!
Ели с мякиной, ели с полóвой.
Не привередничать в самом-то деле
Детям здоровым,
Детям здоровым.

Нам не в новинку голодные зимы,
Мерзлой картошкой брюхо набито.
К мельнику, еле дождавшись, везли мы.
Новое жито,
Новое жито.

Я на мешках восседаю, бывало,
Слышу — вода запекает задорно,
С гулом, похожим на эхо обвала,
Крутится жернов,
Крутится жернов.

Беженцев горьких
и пепел над лагерем смерти.
Слушайте, парни,
сверкающим трубам не верьте!
Вам ветераны,
лишь только их память затроньте,
Могут поведать,
какие там трубы на фронте.
Трубы, которые грохают
слишком уж звонко,
Мозг сотрясая,
кромсая в ушах перепонки;
Трубы, что воют
сигналом воздушной тревоги,
Головы сносят,
ломают и руки и ноги.
Там, где ревут они,—
гибель, пожарища, горе.
Парни, забросьте их в море,
в глубокое море!
Не для убийств—
для работы даются нам руки.
Пусть над планетой
лишь мирные слышатся звуки.
Прочь душегубку-войну!
Не ходите в солдаты!
Слушайте, парни,
вы юностью щедрой богаты.
Вспомните ваших подруг,
поглядите, как вечер чудесен!
Трубы в оркестре нужны
для праздничных песен!
Пусть же умолкнут навек
трубы — предвестницы горя!
Выбросьте трубы войны в море,
в глубокое море!

ТРОПИНКА ПОД НЬЮ-ИОРКОМ

Я всю Америку узнать,
Конечно, не успею.
Но вот земли заморской пядь —
Тропинка в Остэр-Бее¹.

Я, с ней сдружившись, отдыхал
От всех нью-йоркских шумов,
По ней немало прошагал,
О многом передумал.

Бродил я утренней порой
Извилистой тропею.
Шептались клены надо мной,
И колыхалась хвоя.

¹ Остэр-Бей — дача советской колонии в Нью-Йорке.

Я радовался тишине,
Мечтая, вспоминая.
И виделась обычно мне
Тропиночка иная.

Любых дорог она длинней,
Шоссе зеркальных шире,
Далекая — она родней
Всех прочих стежек в мире.

Гудит над ней дремучий бор,
Хлопочет крона дуба.
Она петляет средь озер
В краю, где все мне любо.

Кружит среди замшелых пней,
Меж тростниками вьется
В той местности, что с давних дней
Ушаччиной зовется.

Она мне чудится опять.
Давно все это было,
По ней впервые в жизни мать
Гулять меня водила.

Мой мир был мал. По ней дошли
Мы только до колодца.
Не знал я, что вокруг земли
Та тропка обернется.

В ЧАС РАЗДУМЬЯ

Да, жил я в юности сурово
И трудной памятью богат,
Но кое с чем из прожитого
Вновь повстречаться был бы рад.

Одних зовет рассвет веселый,
Другим — держать к закату путь.
Года воздвиглись частоколом,
Мне молодости не вернуть.

На миг бы встретиться с годами,
Что отошли с моей весной,
С родителями и с друзьями,
С тобой, любимая, с тобой!

С тобой — на вечеринке сельской,
В лесу, средь поля, на лугу.
С тобой, которую я в сердце
С тех дней далеких берсгу.

С тобой, шумливой, голосистой,
С тобой, что вишенкой цвела,
Что в кофточке простой из ситца
Всех завлекательней была.

Пусть отшумели листопады,
С горы мой воз ползет, скрипя,
Но для меня большая радость —
Увидеть сызнава тебя.

Какой ни стала ты, клянусь я
Быть верным юности и впредь.
Пусть поседели мы, но чувствам
Я не позволил поседеть.

Промчалось время вечеринок,
Задор весенний отпылал,
Но я за сеткою морщинок
Тебя бы прежнюю узнал.

В глазах сверкнул бы свет весенний,
И ты зарделась бы опять.
И мы бы вновь, хоть на мгновенье,
Вернули молодость и стать.

КОРАБЛИ НА РЕКЕ ГУДЗОН

Как будто слетелась пернатая стая
И, на воду сев, отдыхает в затоне.
Недвижно маячат, свой век доживая,
Суда на Гудзоне.

У них за плечами большие походы,
О прошлом, наверное, вспомнить им любо.
И с грустью глядят в спокойные воды
Косые их трубы.

Им кажется тесным речное пространство,
Сюда только ветры доходят морские.
Им сняты раздолья дорог океанских,
Тревоги былые.

Прихода их ждали в суровом году мы.
Союзники несокрушимых народов
Сквозь бури несли нагруженные трюмы
В тяжелые годы.

Средь айсбергов шли, под ударами шторма,
К Архангельску, к Мурманску, в злые морозы.
Над ними, клейменные свастикой черной,
Неслись бомбовозы.

...С тех пор никуда уже вы не ходили,
Суда, что натружены в этих походах.
Ну что ж, вы и вправду, друзья, заслужили
Свой нынешний отдых.

Военных годов отошли испытанья,
Народы желают спокойно трудиться.

И ежели снова в дорогу вас тянет,
Везите пшеницу!

Пусть солнце на мирных дорогах вам светит
Средь знойных ветров и течений холодных.
Найдутся еще уголки на планете,
Где много голодных.

Но если убийца, маньяк оголтелый,
Отыщется в Штатах и в бой вас погонит,
Служить откажитесь неправому делу,
Суда на Гудзоне.

Себя не давайте вы переупрямить,
Не двигайтесь с места, останьтесь в затоне.
Оставьте в сердцах благодарную память,
Суда на Гудзоне!

..*

Зеленый клен шумел над нами,
Но сроки грянули, увя,—
Макушку прихватило пламя
Зазолотившейся листвы.

Внезапным жаром обдавая,
Все запылало, занялось.
И крона вспыхнула живая,
Огнем пронзенная насквозь.

Клен разгорался, вспоминая,
Как был весне и лету рад.
Но подошла пора иная —
Неумолимый листопад.

Нас близость осени тревожит,
Хоть мы еще не старики,
А все же первая пороша
Уже припудрила виски.

Глядишь, и ветви облетели,
Глядишь, и первый снегопад.
И ты стоишь, кольцом метели,
Как белым пламенем, объят.

Но ты, в свою не веря зиму,
Все думать о весне горазд,
Покуда час неумолимый
Жесточкой стужей не обдаст.

С тобой мы в чем-то очень схожи:
И ты, пылающий, сквозной,
И я — проститься всё не можем
С давно ушедшею весной.

КАК МЫ РАЗГОВАРИВАЛИ СО СКВОРЦОМ

Лишь первый блик, еще неяркий,
На листьях отразит роса,
Встречаю я в рассветном парке
Американского скворца.

Поет он, душу мне тревожа,
Журчит, как маленький ручей.
На нашего скворца похож он,
Брюшко, пожалуй, чуть светлей.

Он заливается, он свищет,
Погожему рассвету рад.
Я говорю ему: — Дружище,
Есть у тебя заморский брат.

Как ты, мастак по части пенья,
Он трели сыплет соловьем.
У нас порою предвесенней
Ему ребята строят дом.

Не столь высок, не столь огромен,
Как небоскреб на вашей стрит,
Лаская душу, этот домик
На солнце утреннем блестит.

Окошко-дверь выходит прямо
В апрель. И, к радости скворца,
Родного леса панорама
Видна с высокого крыльца.

Стреха — от непогод защита.
Кругом гроза иль колкий град,
А в хатке мягко, духовито,
Лишь капли за стеной стучат.

Скворец под крышей отдыхает
В своем дому, на зависть мне.
Я сразу детство вспоминаю,
Клетушку с сеном на гумне.

Там пахнет чебрецом, бывало.
В углу дыханье затаю,
Лежу. А дождь над сеновалом
Заводит музыку свою.

То грянет молнией в тумане,
Бревенчатый шатая свод,
То еле слышно зашаманит,
То крупной дробью полоснет.

Лежу, сухих цветов касаясь,
Елозят стебли по лицу...
Да, я испытываю зависть,
Как в детстве, к нашему скворцу.

Его я встречу у скворечни,
Когда вернусь в наш добрый край.
Что передать ему?
— Сердечный
Привет от брата передай!

Авторизованный перевод Я. Хелемского.



И. МЕТТЕР

★

МУРАТ

Повесть

1

Мурат появился в питомнике совершенно неожиданным образом. В одну из летних ночей тысяча девятьсот пятидесятого года дежурному по Управлению милиции города позвонили с Финляндского вокзала. Было это уже под утро, дежурный порядком устал, ночь прошла беспокойно, поэтому он не сразу сообразил, о чем идет речь.

— Не понимаю,— раздраженно говорил он.— Почему отцепили вагон? Какая собака, чья?

Положив трубку, дежурный сказал своему напарнику:

— Совсем с ума посходили! Пса, понимаешь ли, испугались... Приучились, дьяволы, чуть что грезвонить в милицию!

Оба они, и дежурный и его помощник, считали, что происшествия, выпавшие на их ночную долю, уже закончились, и этот пустопорожний звонок был тем ненужным, хлопотливым довеском, который выводил их из себя.

— Записывать в журнал? — спросил помощник.

— Еще чего! — сказал дежурный.

Но, походив по комнате минут пять, чтобы разогнать предутреннюю усталость, дежурный позвонил на Финляндский вокзал и спросил диспетчера:

— Ну, как там у вас с собачкой?

Диспетчер что-то ответил ему, на что он саркастически бормотнул:

— Железнодорожнички! Распустили сопли из-за щенка...

Но тут же дежурный вызвал проводника собак Глазычева, спавшего рядом в комнате отдыха, и велел ему быстренько съездить на Финляндский вокзал.

— Заберешь там из вагона какую-то бесхозную собаку — она, говорят, хулиганит — и отвезешь к себе в питомник.

— Взрослая собака? — спросил Глазычев, беря из шкафа плащ.— Какой породы?

— Я с нее анкеты не снимал,— ответил дежурный.

Спокойно улыбувшись, маленький неторопливый Глазычев аккуратно застегнул плащ на все пуговицы, надел кепочку, примял ее, проверил, лежит ли в кармане плаща крепкая веревка с металлическим карабином для ошейника, и вышел на площадь к оперативной машине.

На Финляндском вокзале он справился в отделении дорожной милиции, где собака и что, собственно, она натворила. Лейтенант, только что заступивший на дежурство, ничего порядком не знал, кроме того, что пес находится в отцепленном вагоне на шестом запасном пути, у будки стрелочницы.

— Дать вам с собой милиционера? — спросил лейтенант.

— Да нет, — ответил Глазычев. — Палка у вас какая-нибудь есть? Метра на полтора.

Палку вынули из метлы. Не спеша Глазычев пошел на шестой путь. Будку стрелочницы он увидел еще издали, подле нее толклось человек десять народу; оттуда доносились громкие, взволнованные голоса.

Когда Глазычев приблизился, стрелочница, коренастенькая бабенка в ватнике, тыча свернутым флажком в сторону вагона, стоящего неподалеку, азартно досказывала, вероятно не в первый раз, подробности недавнего события.

— Носится кобелина по вагону, из двери в дверь, из двери в дверь! Выкатил глазищи, язык на сторону... Пассажиров всех выгнал, проводница как залезла с ночи в туалет, так до сих пор там, и запершись. Я уж ей через окошко кефир носила... Подходит время отправлять состав в обратный рейс, диспетчер лается, в чем задержка, а бригадир говорит: «Я не могу катать в порожнем вагоне одного пса, тем более за него не плачена проездная плата»...

Затем стрелочница, переваливаясь на своих коротеньких тугих ножках и не переставая трещать, охотно повела всех слушателей на экскурсию к вагону. Глазычев последовал за ними.

Еще издали, не приблизившись к вагону, стрелочница весело крикнула, очевидно запертой проводнице:

— Раиса, как жизнь молодая?

В крайнем, чуть-чуть приоткрытом, вымазанном густыми белилами окошке показалось испуганное лицо пожилой женщины.

— Чего слышно? — тихо спросила она.

— В милицию звонил диспетчер, — на ходу захлебывалась стрелочница. — Сейчас пришлют человека, стрельнет — и все... Выйдешь, Раисочка, на волю. А пока хорошо: тебе с перепугу недалеко бегать...

— Убивать жалко, — все так же тихо сказала Раиса. — Я могу еще потерпеть.

— Глупости! — фыркнула коротконогая стрелочница. — Было б из-за чего.

Она подвела своих спутников к середине вагона. Здесь, на земле, стояла высокая чурка, которую, должно быть, подкатили под окно. Взобравшись на эту чурку, стрелочница осторожно, потихоньку приподымая голову, словно кто-то сквозь закрытое окошко мог в один миг отхватить ее, заглянула внутрь вагона.

— Есть! — прошептала она. — Лежит, бандит, у самой двери...

На чурку по очереди стали взбираться любопытные. Даже какой-то старичок-боровичок, кряхтя и цепляясь за плечо стрелочницы, вскарабкался к окошку и поскреб пальцами по стеклу. Тотчас же из вагона донеслось рычание, затем густой, осипший лай. В окне показалась крупная собачья голова. Старичок ссыпался вниз.

— Видели? — восторженно взвизгнула стрелочница.

Люди столпились внизу, под окном. Погавкав на них, собака склонила голову набок и стала следить за мухой, ползущей по стеклу.

Глазычев подошел к стрелочнице.

— Вот что, девушка, — сказал он, как всегда неторопливо и дружелюбно. — Публику вы отсюда уберите, а мне, если можно, одолжите на десяток минут свой ватничек. Хлебца у вас, случайно, нету? И вагончик мне отоприте.

Публика отошла в сторону и остановилась неподалеку.

Стрелочница отдала Глазычеву ватник, горбушку хлеба и ключ от вагона.

— Вы бы лучше палили через окошко, — посоветовала она Глазычеву.

Он взобрался на высокие ступеньки, отпер дверь и вошел в тамбур. Очевидно, внутренняя вагонная дверь была неплотно прикрыта: Глазычев услышал, как собака ударила по ней лапами и распахнула с такой силой, что дверь стукнулась о стенку.

Теперь пес был совсем рядом, отделенный только дверью из тамбура.

Придерживая за ручку, Глазычев приоткрыл ее и бросил за порог на пол горбушку хлеба. Собака хлеб не взяла и гулко залаяла, пытаясь просунуть морду в щель.

— Молодец, — сказал Глазычев. — Хорошо. А чего, в самом деле, со мной церемониться? Тебя как, дурака, зовут?

Он обращался к собаке не то чтобы ласковым, а удивительно спокойным и даже уважительным тоном. Оскалив крупные клыки, залитые слюной, сморщив темный нос и выгнув книзу широкую шею, на которой торчком встала длинная шерсть, собака злобно лаяла. Ее особенно раздражало, что сквозь щель в дверях Глазычев был совсем рядом, а схватить его не было никакой собачьей возможности.

— Ну что? — уговаривал ее Глазычев, незаметно делая последние приготовления: он закреплял на конце длинной палки короткую веревку с карабином. — Ну чего расхотелся? Я ведь все равно тебя умнее. И насколько я тебя не испугался. Давай лучше сделаемся по-хорошему... Не хочешь, дурень? Ну смотри, дело твое...

Затем он быстро и сильно толкнул плечом дверь, так что пес от неожиданности отпрянул назад, и перешагнул порог.

Не останавливаясь, Глазычев решительно пошел на собаку, и, когда она, тотчас же опомнившись от удивления, что ее не боятся, бросилась навстречу, он ловко сунул вперед левую руку, обмотанную ватником, прямо в ее раскаленную пасть.

Пес впился в ватник. А Глазычев спокойно правой рукой зацепил карабин о ее ошейник.

Минут через двадцать они оба выпрыгнули из вагона: собака, привязанная к концу длинной палки, и Глазычев, держащий эту палку за другой конец.

В питомнике он запер пса в просторную клетку. Из собачьей кухни принес и поставил ему кастрюлю с жирным супом. К вечеру, перед уходом домой, Глазычев зашел его проведать. Кастрюля лежала на боку, суп из нее вытек. Пес кинулся на проволочную сетку, встал на задние лапы и зарычал.

Старший инструктор Дорохов, который подошел к клетке вместе с Глазычевым, сперва присел на корточки, потом зашел сбоку, справа и слева осматривая беснующуюся собаку, и в заключение крикнул Глазычеву, перекрывая лай:

— Хороша машина!

В устах Дорохова это было высшей похвалой псу.

Назавтра нашлась его хозяйка. В питомник приехала на «Победе» отлично одетая женщина, от которой так пахло духами, что, казалось, даже ее автомобиль работал не на бензине, а на духах. Запах этот был настолько силен, что тридцать семь кобелей в клетках подозрительно зашевелили влажными черными ноздрями, когда она прошла в кабинет к начальнику, майору Билибину.

Отрекомендовавшись женой капитана первого ранга, она сообщила, что собака, задержанная накануне в поезде, принадлежит ей. Собачьи документы, родословная, были у женщины при себе.

Просмотрев их, Билибин спросил:

— Каким же путем вы его потеряли в вагоне?

— Я его не теряла. Я от него ушла.

Увидев, что Билибин удивленно прищурился, она пояснила:

— Да, ушла совершенно сознательно. Я велела ему лечь под скамью. Он не соизволил послушаться. А когда я замахнулась на него поводком, он бросился на меня. Посудите сами, товарищ майор: я не могу держать врага в своем доме. Наконец, мне было стыдно перед пассажирами! Собака, бросающаяся на свою хозяйку...

— Согласно документам,— перебил ее Билибин,— хозяином немецкой овчарки по кличке Мурат является гражданин Колесов А. С.

— Это мой муж.

— Попрошу паспорт,— сказал Билибин.

Женщина Билибину не понравилась. Ему было не по душе, что она сразу заявила о своем браке с капитаном первого ранга. Билибин не терпел, когда на него пытались воздействовать чинами и званиями. Вообще эта женщина не понравилась ему всем, даже тем, что на нее бросилась собственная собака. А если майору Билибину кто-нибудь не нравился, то он становился таким отчаянным формалистом и чиновником, что его самого тошнило от этого, но сдержаться у него не хватало сил.

— Гражданин Колесов А. С. действительно является вашим мужем,— сказал Билибин, отдавая ей паспорт.

— А я в этом несколько не сомневалась,— язвительно ответила женщина.

— Остается только одно: собака должна опознать вас.

— Вы хотите сказать, что я должна опознать собаку?

— Таков порядок,— ответил Билибин.— Пройдите на территорию.

Мурат почуял хозяйку еще издали. Из грозного зверя он вдруг превратился в щенка. Подпрыгивая от счастья на всех четырех лапах, Мурат повизгивал, вертелся на месте, хвост его затикал, как маятник. В соседних клетках беспокойно забрехали собаки, когда мимо них проходила незнакомая посетительница, а Мурат в ужасе слушал их лай, не понимая, как же можно так негостеприимно встречать его хозяйку. Он тотчас же грозно зарычал на этих невеж, пытаясь объяснить им, что если они сию секунду не замолчат, то будут иметь дело лично с ним.

Все это произошло еще до того, как Мурат увидел свою хозяйку. Когда же она появилась, взошла на свой престол перед его клеткой, он повалился на пол, задрал вверх лапы и стал елозить хребтом по полу, изгибаясь в разные стороны и кося на нее светящиеся восторгом глаза.

«Я могу и так, и так, и эдак,— рассказывали его глаза.— Я очень веселый, я ужасный шутник, я чуть не издох без тебя...»

— Убедились? — спросила Билибина женщина.

Услышав ее неповторимый голос и запах, от которого он сомлевал, Мурат перевернулся на живот и пополз к металлической сетке, отделяющей его от хозяйки.

«Сейчас мы пойдем с тобой домой,— говорила Муратова умильная морда.— Кажется, я в чем-то виноват перед тобой, но ведь ты самая добрая, самая умная, самая справедливая... Да посмотри же на меня наконец!»

И, словно поняв, о чем он просит, женщина посмотрела на него; затем обернулась к Билибину и сказала:

— Не согласитесь ли вы взять у меня эту собаку?

— То есть как «взять»? — спросил Билибин.— Купить?

— Я могу отдать ее даром.

— Зачем же,— сухо сказал Билибин.— За хорошую собаку мы платим приличную сумму.

— Интересно, какую же? — засмеялась женщина.

— До тысячи двухсот рублей.

— Слышишь, Мурат? — весело сказала женщина. — Мне предлагают за тебя тысячу двести рублей.

Мурат радостно залаял.

— Эту сумму мы даем только за очень хорошую собаку, — сказал Билибин. — И после соответствующей проверки.

— Его родители знаменитые золотые медалисты, — сказала женщина.

— Этого еще мало. — Глядя ей в глаза и с удовольствием думая, что то, что он сейчас скажет, имеет второй, сладкий для него смысл, Билибин продолжал: — Родители могут быть трижды знаменитыми, а сын или дочь — порядочной дрянью.

— Ну что ж, — сказала она. — В общем-то мне все равно. Деньги не играют решающей роли. Как скоро вы можете устроить эту самую проверку? Мурат ужасно линяет, в квартире от него кошмарная грязь...

Билибин ответил, что оценку собаки можно произвести сейчас же, если у гражданки Колесовой есть полчаса свободного времени: она сама должна принять в этом участие.

Были вызваны ветеринарный врач питомника Зырянов — поджарый, крепкий старик с длинным лицом, — старший инструктор Дорохов и проводник собак Глазычев.

— Возьмите пса из клетки, — сказал Билибин хозяйке, — и выведите его к нам на тренировочную площадку. Он у вас хоть немного обучен?

— Александр Серафимович с ним занимался.

— Это кто ж такой? — спросил Билибин, хотя и понял, о ком она говорит.

— Мой муж.

Она вывела Мурата из клетки на поводке. От волнения и счастья он тут же задрал заднюю ногу на пенек. Он досадовал на эту вынужденную задержку и все посматривал назад, под свой живот, скоро ли это безобразие кончится. Оно длилось, и Мурат все это время страдальческими глазами глядел на хозяйку.

На площадке Мурата осмотрел ветеринар. Рядом, совсем близко, стояла хозяйка и ласково гладила его по голове, чесала ему бок. Вытянув вверх морду, Мурат закатывал глаза под самый лоб, часто и быстро высовывал язык, облизывая свой нос. За то наслаждение, что он сейчас испытывал, Мурат разрешил чужому человеку, от которого пахло множественностью собак, осмотреть себя.

— Кобель клинически здоров, удовлетворительной упитанности и чистки, — сказал ветеринар Билибину.

Билибин сидел за столом, вкопанным на площадке в землю.

— Привяжите его к дереву и отойдите в сторону, — велел он женщине.

К привязанному Мурату подошел Дорохов и замахнулся на него палкой. Не отпрянув, не зажмуривая глаз, Мурат рванулся к нему на всю длину поводка, и, когда поводок отбросил его назад, он стал рвать ремень из стороны в сторону.

Дорохов ударил его тряпкой. Мгновенно подбросив свое тяжелое туловище вверх, Мурат лязгнул зубами и ухватил тряпку, едва только она взлетела над его головой. Мотнув шеей, он вырвал тряпку из рук Дорохова и с ненавистью принялся полосовать ее своими литыми зубами.

— Собака хорошей злобности, — сказал Дорохов Билибину и потише добавил: — Стоящая собачонка, Сергей Прокофьевич.

Билибин поднялся из-за стола, приблизился к Мурату сзади и, вынув из кармана пистолет, выстрелил. Мурат оставил тряпку, гневно обернулся и бросился на Билибина.

После этого стали оформлять счет.

Билибин диктовал, женщина писала.

— Сумму проставьте тысячу рублей,— сказал он.

Она засмеялась.

— Вы говорили тысяча двести. А ведь мой Мурат еще умеет приносить газету.

— Газеты должен носить почтальон,— сухо сказал Билибин.— Глазычев, собака ела сегодня?

— Вторые сутки не ест, товарищ майор.

— Принесите еду, пусть гражданка покормит его.

Ей вручили кастрюлю с густым супом. Она поставила это подле Мурата. Он мигом, громко захлебываясь, вылакал все до дна.

— Только посмей вымазать меня жирной мордой,— сказала ему хозяйка.— Лежать, Мурат!

Положив голову на вытянутые лапы, он прилег у ее ног и лежал до тех пор, покуда она заканчивала оформление счета на его продажу.

Перед уходом из питомника хозяйка сама отвела его в клетку. Он шел рядом с ней, гордо подняв голову, высоко вскидывая лапы, сытый, счастливый, и только бдительно посматривал по сторонам, не грозит ли ей какая-нибудь страшная опасность. Ведь это именно ее он защищал сейчас от врагов, нападавших с палкой, с тряпкой, с пистолетом.

Шел Мурат недолго.

Хозяйка ввела его в клетку, велела: «Сидеть!» — и вышла вон. Сколько было сил, вздрагивая от напряжения, он заставлял себя не двигаться с места, пока не увидел, что ее платье исчезло за поворотом. Еще мгновение он втягивал ноздрями то, что оставалось от хозяйки — ее острый запах, — а затем сорвался с места, в один прыжок достиг металлической сетки и, ткнувшись в нее носом, тонко заскулил.

Глазычев приблизился к клетке. С жалостью глядя на тоскующего пса, он тихо сказал ему:

— Ну что? Познакомился с человечеством?..

Мурат вскинулся на задние лапы и свирепо зарычал.

Так началась его служба в милиции.

2

Собственно, служба началась не сразу. Для того чтобы превратиться из домашней собаки в служебно-розыскную, Мурату пришлось потратить год напряженной жизни.

Ему надо было учиться. Он поступил в школу.

В Ленинградском милицейском питомнике уже давно не выводят и не содержат щенков. Оказалось, что первый год щенячьей жизни обходится государству в одиннадцать тысяч рублей. Каким образом невинному щенку удавалось так беспардонно объедать государство, сказать трудно. Сам-то он лакал не так уж много — рублей на пять в день, но, покуда у него прорезались зубки и открывались глаза, в графе накладных расходов угрожающе росли цифры. На каждого еще полуслеплого щенка накидывались чьи-то зарплаты, какой-то ремонт, чьи-то дрова и даже стоимость украшения питомника к Первому мая и к Седьмому ноября. Когда все это было подсчитано начальниками хозяйственных управлений и соответственно доложено по инстанциям, пришли к выводу, что разводить щенков нерентабельно.

Был установлен иной порядок.

Питомник стал закупать взрослых собак, в возрасте от года до двух. Каждая такая собака закреплялась за одним проводником. Он работал

с ней до конца ее служебной жизни, лет восемь-девять. Затем собаку выбраковывали, списывали, и проводник получал другого пса. Сук в питомнике не держали, ибо два раза в год они были неработоспособны.

Незадолго до скандального появления Мурата у проводника Глазычева погибла собака. Он успел поработать с ней недолго — года полтора, — особой привязанности между ними не возникло, и теперь, увидев новую овчарку, Глазычев стал тотчас же присматриваться к ней.

Вскоре после ее покупки последовал приказ Билибина, соединивший их — пса и человека — еще в то время, когда Мурат ненавидел Глазычева всеми силами своей собачьей души.

Проводник не торопил собаку. На первых порах ему было важно, чтобы Мурат примирился с тем, что он, Глазычев, имеет право подолгу торчать у Мурата на глазах.

Возясь подле клетки, Глазычев беседовал с собакой на разные темы, сущности которых она не усваивала, но к тихому и неторопливому голосу его, к запаху чисто мытого банным мылом тела она постепенно привыкала.

Два раза в день он просовывал в клетку кастрюлю с едой. На седьмые сутки, ослабев, Мурат примирился и с этим. Он только не мог сперва есть при Глазычеве, а делал это тайком, когда никто не видел. Вероятно, ему казалось тогда, что он ворует еду, а это было менее позорно, нежели принимать пищу из враждебных рук.

К концу недели на него напала какая-то апатия: ему было все безразлично. Злобно встречать проводника он уже не мог, а радоваться его приходу было еще рано; пусть вертится, сколько хочет, поблизости, лишь бы только не прикасался к нему руками.

Через проволочную сетку Мурат видел, как выводили собак, живущих по соседству, на тренировочную площадку.

Рядом с ним, за деревянной стеной, жил кобель Дон. Рослый, матерый, пожилой пес весил пятьдесят шесть кило; когда он чесал бок о стенку, она подрагивала. Характер у Дона был суровый, шуток он не любил, на жизнь смотрел мрачно. Проводник его, старший лейтенант Дуговец, воспитывал Дона исключительно на научной основе, и поэтому взаимоотношения у них были суховато-деловые. Дуговец строго спрашивал с Дона все, что требовалось по службе, Дон неукоснительно выполнял его распоряжения; на ежегодных осенних состязаниях они занимали первые места. Что же касается практической работы в угрозыске, то никаких особых талантов у Дона не было, и Глазычев даже считал, что Дон — старый халтурщик.

Вот с этим-то своим соседом на третий день жизни в питомнике и сцепился Мурат.

Произошло это таким образом. Собак выгуливали поодиночке два раза в день, выпуская их для этого в маленький огороженный дворик, густо поросший лебедой. Минут двадцать собака бегала там, справляя все свои неотложные дела, затем ее уводили обратно в клетку и на смену выпускали другого пса.

Не заглянув предварительно в этот дворик, пуст ли он, Дуговец выпустил туда своего Дона. А там в это время, печально свесив голову, стоял Мурат, безучастный к окружающему, — его грызла тоска.

Дон с ходу, не издав ни звука, как это умеют делать только очень злые и опытные собаки, налетел на него сбоку, свалил с ног и впился в загривок.

В первое мгновение Мурат растерялся. Но, подмятый тяжелой собакой, полузадушенный, он вдруг ощутил такую ярость на все то, что проделывают с ним в последние дни, такая ненависть пронзила каждый

его мускул, что все тело его напряглось до последней возможности, он извернулся под врагом, перекатившись через спину, и вскочил на ноги.

Рыча (Мурат еще не умел драться молча¹, он кинулся на Дона, сшибить его не смог, но рванул всей пастью за ухо, пригнул его голову к земле и только потом опрокинул. Он был легче своего противника килограммов на пятнадцать, однако движения Мурата были неуловимо быстрыми, клыки вонзались, как гвозди, рвали и снова вонзались.

Первым вбежал во двор Глазычев.

— Дуговец! — позвал он тотчас же.

— Дон, ко мне! Дон, рядом! — заорал Дуговец, влетая во двор.

Дон, может, был бы и счастлив оказаться сейчас рядом со своим проводником, но старый Дон в данный момент извивался под Муратом, раздираемый в клочья.

— Будешь отвечать! — крикнул Дуговец Глазычеву. — Убери своего стервеца!

Глазычев сунулся было к клубящимся собакам, протянул руку, чтобы схватить Мурата за ошейник, но, увидев бешеную окровавленную морду, отступил и быстро выбежал со двора.

Он мигом вернулся, волоча пожарный шланг. Тугая струя воды, как палкой, стукнула Мурата сперва в бок, а затем начала стегать по всему телу. Яростно обернувшись, он выпустил Дона и ударил струю лапой. Он хотел схватить эту палку зубами, но она забивалась в рот, слепила глаза, глушила его.

Ругаясь, Дуговец повел ковыляющего Дона к ветеринару. Мокрый, ошалевший Мурат легко дал увести себя в клетку.

— Намаешься с этим псом, — сказал Дуговец Глазычеву. — Злобу у него надо снимать. Слушаться тебя не будет...

— Поллюбит, так послушается, — беззаботно ответил Глазычев.

— Любви у собак не бывает. Есть рефлексy. Их и надо отрабатывать.

— Да ну тебя, — сказал Глазычев. — Скучно.

— Современному человеку наука не может быть скучна.

— По науке, Дуговец, мы с тобой состоим на семьдесят процентов из воды. Интересно это тебе?

— Разумеется.

— А мне нет.

Дуговец пожал плечами.

— Ну, а собака тут при чем?

— При том, — сказал Глазычев. — Пока. Через год повстречаемся.

И он повез Мурата в школу.

На первых порах учение давалось Мурату с трудом. Он был упрям, горяч и любил делать только то, что ему нравилось.

Бывало так, что Глазычев часами мучился с ним, добиваясь безотказного выполнения какого-нибудь самого простого «приема общего послушания», а Мурат, словно издеваясь над ним, валял дурака. И тут же с легкостью он проделывал то, чего не могли выполнить хорошо дисциплинированные собаки.

Хуже всего обстояло дело, когда за его работой наблюдало начальство. Он этого не выносил. Какой-то собачий бес вселялся тогда в Мурата, превращая его в тупого, капризного и злобного пса. Школьные инструктора совсем было махнули на него рукой (Глазычев выслушал от начальства немало горьких слов), но на выпускных испытаниях Мурат внезапно получил высший балл за работу по следу.

След был проложен пять часов назад по трудной местности, он шел и по булыжной дороге и вдоль нее, через кустарники и овраги, выходит на асфальт, пересекался широкими тропками и под тупыми и под ост-

рыми углами; прокладчик зарыл на следу в землю одну свою рукавицу, вторую подвесил на дерево, а в конце своего пути протяженностью в три километра он спрятался между высокими поленницами дров.

— Пустой номер,— сказал начальник учебной части, когда дошла очередь до Мурата.— Проскочит первый же угол...

Глазычев подвел собаку к дверям сарая, откуда начинался путь прокладчика, тихо сказал ему: «Нюхай, Мурат!», затем, вложив в голос все свое беспокойство за судьбу испытаний, тревожно прошептал:

— След, Мурат! След!..

И спустил с поводка.

Собака сперва пошла медленно, принюхиваясь и чихая от пыли, которая набивалась в ноздри; погода стояла сухая, запах прокладчика быстро выгорал на солнце.

— Пустой номер,— повторил начальник учебной части. Он придвинул к себе оценочный лист собаки и горестно почмокал: четверки и тройки обильно усеяли страницу. Этот проклятый пес может крепко понизить общую картину выпускной группы.

Начальник с тоской двинулся за удаляющейся собакой.

Мурат шел все быстрее. Он держал нос у самой земли. Глазычев едва поспевал за ним.

Дойдя до первого тупого угла, Мурат покрутился на развилке, все более и более распаясь против того человека, что оставил свой еле слышный след в пыли, свернул было с дороги на тропку, однако здесь запах совсем пропал, и Мурат снова вернулся на булыжное шоссе.

От булыжника било в нос лошадыми, железом, резиной, кошкой, жоровами, бензином, бензином, бензином, бензином, но сквозь всю эту вонь пробивался, и раздражал Мурата, и гнал его вперед запах врага, которого ему велел найти Глазычев.

На шоссе попала вторая развилка, третья; Мурат миновал их, не задерживаясь. Он уже бежал рысью, по-прежнему ведя нос над самой землей. Булыжник кончился, запах ушел в кусты, спустился в овраг, здесь он уже гремел вовсю. Он внезапно так усилился, этот запах, что Мурату показалось, будто враг зарылся под палые листья в землю. Быстро покосившись на проводника— здесь ли он,— Мурат стал яростно разбрасывать передними лапами кучу мусора. Дорывшись до закопанной рукавицы, он рванул ее зубами, но подоспевший Глазычев тотчас же отнял ее, велел сидеть и, ткнув рукавицу в нос, приказал: «Нюхай!»

Бока пса дрожали от возбуждения.

Подошли члены комиссии, один из них сказал:

— Собака работает заинтересованно.

Понюхав рукавицу, Мурат ходко пошел дальше. Теперь уже он ни в чем не сомневался. Ему только хотелось поскорее выполнить приказ проводника и дожидаться от него одобрения. Проводник все время бежал сзади; еще поотстав, за ним двигались какие-то люди.

На бегу Мурату нанесло ветром в нос вони, которой он сейчас нанюхался из рукавицы. Только теперь вонь шла не от земли, а откуда-то поверху. Замедлив шаг, он почуял, что потоки ее низвергались справа, с дерева. Он остановился под березой и, ничего не видя в ее листве, залаял на запах.

Глазычев снял с ветки вторую рукавицу.

— Молодец,— сказал он Мурату.— Умница!

— Поощрять собаку надо уставными словами,— поправил проводника начальник учебной части.— Если каждый курсант начнет заниматься самодеятельностью..

Дальше Глазычев не расслышал; Мурат понесся вперед, и он побежал за ним.

Прокладчик в ватном тренировочном костюме сидел в дровах и докуривал папиросу, пуская дым себе за пазуху. Он задумался, высчитывая, сколько дней осталось до получки, когда прямо с поленицы Мурат прыгнул на него, повалил на дрова и стал рвать на нем толстый комбинезон.

Подоспел Глазычев и за ошейник отодрал пса от прокладчика. Мурат не совсем понимал, почему у него отнимают добычу, которую сперва так настойчиво приказывали выследить. Задыхаясь в крепких руках проводника, он хрипел, лаял и рвался к врагу.

Приблизились и члены комиссии. Начальник учебной части недовольным голосом произнес:

— Собака еще сырая. Она способна причинить покусы.

После долгих споров Мурату выставили за следовую работу пятерку.

К вечеру испытания закончились. В оценочном листе был выведен средний бал — 4,6.

Мурат вернулся из школы в питомник оформленным для милицейской службы. В чистенькой новой папке на него завели «Личное дело». Оно было тоненькое, как у всякого начинающего работника.

3

Каждый день по две собаки дежурили круглосуточно в Управлении городской милиции. Их привозили на машине с Крестовского острова, из питомника, и уводили на задний двор управления, где в каменном здании стояли две большие клетки. В ожидании происшествий псы скучали здесь, зевали, спали. Они не умели играть в «козла», как делали это их проводники в комнате отдыха, куда не требовался выезд с собакой к месту происшествия.

График дежурств сложился у Мурата так, что ему чаще всего приходилось дежурить вместе с Доном. Взаимная ненависть их со временем не ослабла. А может, они и чувствовали, что их проводники тоже недолюбливают друг друга.

Дуговец был постарше Глазычева. Ему оставалось несколько лет до выхода в отставку, и эти последние годы он остерегался на чем-нибудь оступиться. За тридцать лет службы Дуговец достиг звания старшего лейтенанта, сочиняя сложные теории, как его постоянно обносили чинами и наградами и как ему наплевать на все это, ибо самое важное — честно исполнять свой долг.

Легкомыслие Глазычева раздражало его. Дуговец не доверял людям, которые любят слишком много шутить. Глазычеву же нравилось донимать его и «заводить» пустыми разговорами.

— Слушай, Степан Палыч, почему ты никогда не поешь? — спрашивал его Глазычев.

— То есть как не пою?

— Ну, я никогда не слышал, чтобы ты чего-нибудь напевал.

— Что ж я, псих, что ли, один буду петь?.. На демонстрации или в клубе — другое дело.

— А почему ж все люди сами для себя напевают?

— Кто это, интересно, все?

— Ну я, например...

— Дуракам закон не писан, — сердился Дуговец. — Ты много чего делаешь, как не положено.

В первые месяцы работы с новой собакой Глазычеву не везло. Во время его дежурств ничего особенного не случалось, а если что-нибудь и происходило, то отправляли к месту происшествия Дуговца с Доном.

Как бы ни складывались у Дуговца обстоятельства, возвращаясь, он в подробностях рассказывал, что именно было предпринято им для раскрытия преступления. Операция лежала перед слушателями как на ладони: Дуговец чертил на листке план местности, помечал крестиками, где стоял вор, в какую сторону пошел, откуда Дон взял его след, и если при всем этом задержать преступника все-таки не удавалось, то невольно выходило, что преступник совершил какую-то непоправимую ошибку, из-за которой Дон не смог его найти.

Однажды, приехав с Муратом утром в управление, Глазычев посадил его в клетку на заднем дворе и зашел к дежурному доложить. В этот день дежурил тот самый капитан, который когда-то послал Глазычева на Финляндский вокзал за взбунтовавшейся собакой.

Перед столом дежурного сидела аккуратная маленькая старушка, с головой, повязанной двумя косынками — белой снизу и темной поверху. Она внимательно слушала капитана, поправляя все время свои косынки глянцевыми подагрическими пальцами и кивая головой.

Капитан объяснял, вероятно, уже долго и рассчитывал, что старушка сейчас подымеется и уйдет. Но она не уходила.

Глазычев тотчас же понял, что дежурному до смерти не хочется принимать от старухи заявление и он старается во что бы то ни стало убедить ее не возбуждать дела.

Наклонившись через стол, он ласково спрашивал:

— Ведь сарай-то ваш был не закрыт? Так? Замка на дверях не было, так?

Старушка кивала.

— Вот видите! Как же можно, бабушка? И клетка с кроликами тоже была не на запоре, так?.. Сколько, говорите, у вас там штук сидело?

— Двое. Самец и самочка.

— Ну вот. А может, они взяли да ушли... Почему кролики-то?

— По пятнадцать брала,— ответила старуха.

— Значит, итого тридцать цетковых. И вы хотите, чтобы мы расследовали такое малозначительное дело, посылали к вам проводника с собакой, когда и сам факт кражи не установлен.

— Намедни приносила им корм,— сказала старуха,— они сидели, а нынче утром нету.

— Так я же вам объясняю. Они, может, сами ушли.— Капитан через силу улыбнулся.— Погода хорошая, надоело им сидеть в клетке, видят, замка нет, взяли да пошли... Вот как, бабушка,— попробовал заключить он.— Никакого заявления подавать вам не надо, горе ваше небольшое, другой раз будете замыкать сарай.

Протянув ей листок с ее заявлением, он взялся за телефонную трубку.

Старуха держала свою бумагу на весу. Капитан уже разговаривал по телефону, а она все не уходила. Когда он положил наконец трубку на место, старуха спокойно сказала ему:

— Жаловаться на тебя буду.

Глазычев шепотом обратился к дежурному:

— Может, мне съездить к ней, товарищ капитан? С утра пораньше, время тихое, я вам не понадобится...

Дежурный раздраженно посмотрел на него.

— Вас, между прочим, Глазычев, не спрашивают. И не имейте привычки встревать в разговор.

Однако, взглянув боком на старуху и заметив, что она достала из-за пазухи свернутый конвертом носовой платок, развернула его и вынула оттуда чистый лист бумаги и авторучку, дежурный сказал ей:

— Нехорошо, бабушка, делаете, несознательно... Сейчас поедете с нашим работником и со служебно-розыскной собакой.

Бабушка снова согласно кивала головой.

В машине она без всякого страха, с любопытством рассматривала огромного Мурата и даже хотела погладить его, очевидно задабривая собаку, чтобы она добросовестнее искала украденных кроликов.

Дом, в котором старуха жила, находился на Охте. Это был старый кирпичный трехэтажный домина, стоявший в глубине двора; посреди же двора, вероятно, когда-то помещался каретный сарай, поделенный сейчас дощатыми перегородками на клетушки-дровяники.

В одной из таких клетушек и жили бабкины кролики.

Двор был сперва пуст, но, как только появился здесь Глазычев с собакой, тотчас же набегали дети, вышел рослый дворник, из окон стали выглядывать женщины.

— Начальству привет! — сказал Глазычеву дворник. — Держись, ребята! — подмигнул он мальчишкам. — Вертайте назад зайцев, а не то собака вам задницы пообкусывает!

Проводник попросил дворника придержать в сторонке детей, чтобы они не болтались под ногами. Мурата он завел в каретник, осветил карманным фонарем в дровянике; здесь, у кроличьей клетки, под распахнутой дверкой, валялась охалка вялой травы, она была сырой. По сырости след сохраняется крепче и дольше, поэтому Глазычев указал Мурату пальцем на траву. Ткнув в нее нос, Мурат сразу развернулся и пошел прочь от каретника. Он пробежал недалеко, всего шагов пятнадцать — до того места, где столпились ребята, и, спружинив к земле лапы, часто залял на дворника.

— Правильно! — восторженно крикнул дворник. — Я же с утра весь двор заметал, дрова жильцам из сарая носил!.. Мои сапоги любой дух перешибут...

— Обозналась собака, — разочарованно сказала бабка. — Далн мне завалющего пса, лишь бы отвязаться от старухи.

Окоротив поводок, Глазычев взял лающего Мурата за ошейник.

— Вы где живете? — дружелюбно спросил он дворника.

— А вон мои окна, от панели первые снизу... Не обижайся на собачку, бабуля, ей зарплата не идет... В каком, интересно, она у вас чине? — спросил он Глазычева.

— Рядовая, — ответил Глазычев. — Водички у вас, товарищ дворник, можно попить?

— Чего доброго, — сказал дворник.

Зайдя в дворницкую, Глазычев стал медленно пить из ковшика и, как бы случайно, спустил с руки поводок. Мурат тотчас же натянул его, забравшись под кровать. Он вынес оттуда в зубах две кроличьи шкурки, отдал их проводнику, затем деловито направился к плите, поставил на нее свои лапы и облаял закрытую кастрюлю.

— Суп? — спросил Глазычев, приподымая крышку.

В кастрюле торчали кроличьи ноги.

— Ну и ну! — сказал дворник. — Нашла все-таки, паскуда!

Старуха смотрела на него, отвалив нижнюю челюсть, подбородок ее вздрагивал.

— Я же тебя ростила, Федя, — сказала она.

— Внук? — спросил Глазычев.

Не отвечая, она развязала две свои косынки; тоненькие, сухие седые волосы рассыпались на ее голове.

— Как же ты, Федя, без спросу? А? — Голос у нее был тоскливый, жалобный.

— Да ну вас, бабуля! — отмахнулся дворник. — Люди больше воруют, а тут из-за двух крысят шуму подняли, минимум вас зарезали...

Мне-то ничего, я деньги верну, отбодаясь, а вам совестно: родного внука травите собаками!

— Ну и подлец же ты,— сказал ему Глазычев.— Снимай фартук, поедем в управление.

Так на счету у Мурата появились первые деньги — горестные старушечьи тридцать рублей.

В питомнике над этой суммой посмеялись. И только начальник, майор Билибин, поздравил проводника:

— С почином вас, товарищ Глазычев.

Глазычева Билибин заметил с первых же дней работы. Среди проводников попадались люди случайные. Служба эта неумолимая, неудачи ее всегда можно свалить на собаку, успехи же приписать себе.

Билибин работал в питомнике с незапамятных времен, с грустью наблюдал, как постепенно отмирает это дело: городские мостовые и тротуары становились все более и более затоптанными, вонючими, собак применяли все реже, они умели брать только последний след, а в условиях большого города сохранить место преступления и окрестность вокруг него свежими удавалось не часто.

В городском управлении завелось много новых людей, к служебно-розыскной работе собак они относились снисходительно, полагая ее устаревшей, примерно как в армии конницу. Из-за этой снисходительности оформлялись порой в питомнике люди без особого подбора: либо прощтрафившиеся на другой работе в милиции, либо бездарные сотрудники, которых пристраивали в питомник, не сумев подыскать формулировки для их увольнения.

Одним из таких проводников был лейтенант Ларионов. Тридцати пяти лет от роду, он успел за короткий срок службы в милиции перебрать множество должностей: был постовым, участковым, начальником паспортного стола, служил в угрозыске. Он ценил на всех этих должностях только одно: власть. Как известно, плохие шахматисты не умеют думать дальше своего второго хода, да и то при этом всегда полагают, что против них играет человек более глупый, нежели они. В затруднительных случаях лейтенант Ларионов делал то, что ему подсказывала его власть. Он не задумывался над тем, к чему это приведет и что за этим последует. Власть давала ему возможность сделать один-два хода. Он их делал. Ему за это часто влетало от начальства, но и это не нарушало стройности его теории: начальство поступало правильно, ибо у начальства была еще большая власть, нежели у него, у лейтенанта Ларионова.

Суждения Ларионова о людях тоже были просты. Они укладывались в два понятия: «Ему повезло» или «Ему не повезло». Например, майору Билибину повезло, писателю Шолохову повезло, авиаконструктору Туполеву повезло; улыбнись же судьба ему, Ларионову, и он достиг бы точно таких же результатов, как и все эти счастливицы.

Однако судьба не улыбнулась лейтенанту, ему сильно не повезло — его перевели в питомник на должность проводника. Пройдя годичный курс обучения в специальной школе, он получил на воспитание кобеля Бурана, которого не любил и побаивался, ибо Буран трижды покусал его за время обучения.

Дела Ларионова на проводницкой службе шли ни шатко ни валко, пожалуй, даже лучше, нежели в других должностях: здесь он был все еще новичком, его полагалось воспитывать и вытягивать.

К нему прикрепили Дуговца, который как старший опытный товарищ опекал его, учил, советовал ему. Дуговец настойчиво повторял:

— Нажимай на теорию, Ларионов. Ликвидируй свою слабинку в части трудов академика Павлова. Литературу я тебе подберу.

И он принес ему несколько брошюр. Ларионов старательно прочитал их, сделал выписки в специальной толстой тетради, четко ответил на наводящие вопросы Дуговца, после чего на еженедельных занятиях в питомнике Буран покусал своего проводника в четвертый раз.

Перевязывая ему руку, ветеринарный врач Зырянов покачал своей длинной лысой головой.

— Что ж это с вами получается, товарищ Ларионов? Этак он вам когда-нибудь в горло вцепится. Буран — зверь серьезный.

— Не повезло мне с собакой, Трофим Игнатьевич. Уж я, кажется, стараюсь...

Зырянов запыхтел. По природе своей человек мягкий, он всегда начинал пыхтеть, перед тем как ему надо было сказать кому-нибудь резкость.

— Стараетесь, да не так, — сказал Зырянов. — Давеча прохожу я мимо Бурановой клетки — он ест, а вы ни с того ни с сего обозвали его паразой. Конечно, ему обидно... И вот вам результат.

Он показал на перевязанную руку Ларионова.

— По-вашему, значит, выходит, собака понимает разговор? — ухмыльнулся Ларионов.

Взяв его за плечо и придвинув к себе, словно собираясь сообщить важный секрет, Зырянов громко сказал ему в самое ухо, как глухому:

— Она решительно все понимает.

Затем он отстранился и уже обыкновенным тоном спросил:

— Вы книжки про животных любите читать?

— Товарищ Дуговец меня снабжает, — ответил Ларионов.

— Ну, а вот, например, Джеком Лондоном вам доводилось увлекаться?

— Не попадался мне, — ответил Ларионов.

В тот же день он передал Дуговцу свой разговор с ветеринарным врачом. Выслушав, Дуговец иронически улыбнулся и постучал пальцем по своему виску.

— Я давно замечаю — старик у нас чокнутый.

Но, поразмыслив над всем этим, Дуговец пришел к выводу, что дело, может, и вовсе не так просто, как кажется с первого взгляда.

Он явился к начальнику питомника, майору Билибину.

— Я насчет нашего ветврача, Сергей Прокофьевич, — сказал Дуговец. — По совести говорят (Дуговец произносил это выражение именно так: не «по совести говоря», а «по совести говорят»), по совести говорят, беспокоит меня Зырянов. Это же фигура, Сергей Прокофьевич! Молодежи бы надо равняться на таких специалистов...

Билибин слушал хмуро. Он знал, что если Дуговец начинает так хорошо говорить о человеке, то, значит, человек этот чем-то раздражает его.

— А разговоры мне его не нравятся, — тотчас же сказал Дуговец. — Взять хотя бы со мной. Согласно последних данных, порода наших собак нынче называется «восточноевропейская овчарка». А Зырянов в присутствии молодежи именуется по старинке — «немецкая овчарка». Я попробовал было тактично поправить его, а он заявляет, что никаких таких восточноевропейских собак в жизни никогда не встречал... Факт, конечно, маленький, но воспитывать народ надо и на мелочах.

— Все? — спросил Билибин.

— Не все, — ответил Дуговец. — Третьего дня была у Зырянова беседа с Ларионовым. Ветврач рекомендует ему читать литературу не отечественную, а исключительно зарубежную. И внушал, между прочим, взгляды, в корне противоречащие теории академика Павлова.

— Например? — спросил Билибин.

Дуговец протянул ему листок бумаги.

— Я тут все изложил. Чтобы не быть голословным.

Опершись на руку и прикрыв ладонью глаза, Билибин прочитал бумажку.

— Не совестно вам, Дуговец? — устало спросил Билибин.

— А что? — встрепенулся проводник. — Заедают меня эти запяты, Сергей Прокофьевич!.. Я же окончивши только пять классов. В наше время знаете как учили: через пень — в колоду...

Билибин сказал:

— Я ведь тоже учился в ваше время. И классов у меня тоже немало, всего семь.

— Ну, вы-то фигура, Сергей Прокофьевич!

— Бросьте заниматься чепухой, Дуговец. Трофим Игнатьевич Зырянов — отличный работник, дай бог каждому...

— А он за это деньги получает, — сказал Дуговец. — Я его работу не хаю. Конечно, ваше дело, товарищ майор, я человек маленький... Докладную прикажете оставить или взять с собой?

— Оставьте, — сказал Билибин.

Когда проводник вышел, он еще раз прочитал бумажонку, скрипнул зубами и, ткнув в нее горящую папиросу, прожег в середине одну дырку, вторую, третью; затем для чего-то посмотрел в эти дырки на свет, в сторону окна. Через окно было видно, как идут по двору Дуговец, размахивающий руками, и рядом с ним Ларионов.

4

Мурат привязывался к Глазычеву все крепче.

Дело не в том, что собака слушалась своего проводника, — это сравнительно нехитрая штука. Отношения их были гораздо серьезнее. Мурат знал, в каком настроении находится Глазычев. Знал он это по тем невидимым человеку признакам, о которых не догадывался и сам проводник. Сюда входили не только голос или выражение лица Глазычева, но и его обыденные, житейские движения: то, как он вынимал из кармана папиросы, гребенку, носовой платок, как вытирал пот со лба, как садился и вставал.

Если Глазычев почему-либо чувствовал утомление, то немедленно утомлялся и Мурат. Язык его тотчас же вываливался на сторону, шумно дыша, он поглядывал на проводника, деликатно давая ему понять, что устал, собственно, не Глазычев, а он лично, Мурат, и совершенно нет ничего страшного в том, что они сейчас немножко отдохнут. Когда же работа требовала от них обоих непрерывных и долгих усилий, Мурат никогда не позволял себе первым показать, что силы его на исходе. Он готов был, как и Глазычев, десять раз начинать поиски сначала, чувствуя себя виноватым и глубоко несчастным, если они не увенчивались удачей.

Неутомимость его удивляла даже крепкого на ходьбу Глазычева.

— А ты, брат, железный, — говорил ему иногда проводник.

Хвостом, глазами, ушами, всем своим телом Мурат отвечал:

— Ничего не поделаешь — служба!

Хвост у Мурата вообще был необыкновенно выразительный; такие простые чувства, как умиление, радость, злость, в счет не идут. С хвостом Мурата дело обстояло сложнее. Бывало, что Глазычев, идя за своей собакой, начинал вдруг придирчиво поглядывать на ее хвост. Казалось бы, все было в порядке, все шло нормально: Мурат старательно бежит по следу, рыская носом над самой землей. Но проводнику постепенно

становился подозрительным Муратов хвост. Что-то в нем было лживое и унылое. Глазычев командовал:

— Рядом, Мурат!

Собака тотчас же подбегала к нему. Проводник строго спрашивал ее:

— Ты зачем халтуришь? Думаешь, я не вижу? А ну, не липачить, Мурат! След!

И, нервно покрутившись на том месте, откуда позвал его проводник, Мурат сперва возвращался немного назад, а затем сворачивал со своего прежнего пути и шел в другом направлении.

Что поделаешь, он действительно слегка схалтурил. Задумался при исполнении служебных обязанностей. Собакам ведь тоже есть о чем подумать...

По-прежнему худо складывались у Мурата отношения с начальством. Никого он не хотел признавать, кроме Глазычева, да еще, пожалуй, поварихи собачьей кухни Антоновны.

Никакой фамильярности он не позволял и ей, но заносить в его клетку кастрюлю с едой и ставить ее на пол Антоновне милостиво разрешалось. Убирать же пустую кастрюлю из клетки имел право только сам Глазычев. Поэтому, когда проводник как-то дней на семь забюллетенил, Мурат еду от Антоновны принимал, вылизывал все до дна, но кастрюли тотчас же сам прибирал за собой, снося их в дальний угол клетки. Они лежали там горкой, семь кастрюль, покуда не вернулся Глазычев: это было его проводническое имущество — так считал Мурат, — и он сдал ему все сполна, как говорится, с рук на руки.

Других работников питомника Мурат равнодушно терпел. Он знал их в лицо и по запаху, однако они были для него чужими людьми, способными в любую минуту сотворить пакость.

Некоторое исключение составлял еще ветврач Зырянов. Заходить к нему в амбулаторию вместе с Глазычевым Мурату нравилось. Здесь пронзительно пахло зеленым мылом, а мыться Мурат любил. Он охотно вскакивал на длинный амбулаторный стол, под кварцевую лампу, и спокойно стоял, разрешая Зырянову осматривать лапы, шерсть, глаза, уши. Нравилось ему, как старик беседует с Глазычевым: тихо, без угроз, не размахивая руками.

Мурат вообще всегда внимательно прислушивался к тому, каким тоном разговаривают с его проводником. Он даже полагал, что Глазычев порой проявляет излишнюю доброту или легкомыслие, разрешая кое-кому непозволительные интонации. Было как-то, что на городских осенних состязаниях Мурат сработал неважно, и председатель комиссии, майор, начал довольно сильно распекал проводника:

— Управляетесь собакой плохо, лейтенант...

Мурат сидел рядом, подле непривычно вытянувшегося в струнку Глазычева, и, задрав морду, удивленно посматривал на него, не выпуская из поля зрения майора.

— Безотказность у вашей собаки совершенно не отработана. Защиту своего проводника выполняет она лениво!..

У майора был и без того непочтительный голос, а сейчас голос этот, наточенный раздражением, резал Муратов слух до невозможности. Поставив вздрагивающие уши, он крепче уперся передними лапами в землю.

Искоса видя, что собака волнуется, Глазычев сильно натянул поводок и вежливо попросил председателя комиссии:

— Пожалуйста, потише говорите, товарищ майор...

— Что-о? — повысив голос, возмутился майор.

И тут Мурат рванулся к нему; проводник еле удержал его, откинувшись всем своим туловищем назад.

Майор же остутился, его поддержали под локоть два члена комиссии.

В результате этого неприятного случая — в сущности, из-за того, что Мурат не умел различать погоны, — он получил на состязаниях диплом третьей степени вместо диплома второй степени.

— Не любит твой Мурат критики, — язвительно сказал Глазычеву Дуговец.

— А какая собака ее любит? — ответил Глазычев.

Слава шла к Мурату медленно, задерживаясь в пути. Он долго пробавлялся мелкими делами: имущество, найденное им, оценивалось небольшими суммами денег, и все это были квартирные кражи.

— Они с Глазычевым ударяют по частному сектору, — смеивались в питомнике. — Одних подштанников на тыщу рублей гражданам вернули.

Глазычев добродушно улыбался в ответ и только однажды, возвращаясь как-то особенно усталым после трудного неудачного суточного дежурства, внезапно зло огрызнулся:

— Мне портки какого-нибудь работяги тоже не менее дороги...

— Это как же понимать? — насторожился Дуговец.

— А вот так и понимай. У меня с моим псом такая точка зрения...

Побывал Мурат у Глазычева дома. Забегав как-то по дороге из управления домой перекусить, проводник привел свою собаку. Этот визит оставил в душе Мурата мучительное воспоминание.

Сперва, подымаясь по лестнице, он думал, что они идут работать. По привычке принохиваясь к ступенькам, он только удивлялся сильному запаху проводника, который, правда, шел рядом, но запах курился не от него, а от каменных ступеней. Когда же они вошли в квартиру, то Мурат тревожно вскинул к проводнику морду, желая, очевидно, объяснить, что в таких условиях никакая работа немислима. Здесь решительно все насквозь пропахло проводником.

В довершение к этому из какой-то комнаты с радостным криком выбежал мальчик и метнулся к Глазычеву.

— Папка пришел! С Муратом... — кричал он, взбираясь на руки к отцу.

Из тех же комнатных дверей появилась женщина; она тоже имела серьезные права на Глазычева — это Мурат понял тотчас же. Женщина поцеловала проводника, взяла у него пальто и повесила на вешалку.

— Нам бы чего-нибудь пожевать, Лидочка, — попросил ее Глазычев.

Они вошли в комнату. Мальчик слез с отцовских рук на пол и двинулся к собаке.

— Осторожно, — сказала женщина. — Вовка, поди сюда.

— Ничего, — сказал Глазычев. — Мурат понимает.

Мурат угрюмо смотрел на приближающегося Вовку. Мальчик был до ужаса похож на проводника — такой же квадратный, добродушно-широколицый, с румяными скулами и косо поставленными глазами; когда он подошел совсем близко, Мурат быстро взглянул на Глазычева: проводник был тут, он сидел за столом. И этот же проводник — только маленький, слабый и глупый — протянул Мурату конфету.

— Возьми, Мурат, — приказал Глазычев.

Мальчик совал конфету прямо в собачий нос; еще никто никогда не смел так нахально обращаться с Муратом. Рычание созрело у него в груди, в горле, он еле дышал, чтобы оно не прорвалось сквозь стиснутые клыки.

— Ты доиграешься! — тихо сказала Глазычеву жена.

— А я тебе говорю, он понимает, — ответил Глазычев. — Вовка, погладь его.

Конфету Мурат не взял, поглаживание Вовки вытерпел. Только собака смогла бы оценить, чего это ему стоило.

Они пробыли в этой квартире с полчаса, покуда Глазычев ел. Сын сидел у него на коленях, жена приносила и уносила тарелки. Мурат лежал у печки, как ему было велено. Мальчика он ненавидел, женщину — тоже: проводник разговаривал с ними таким ласковым голосом, что Муратово сердце разрывалось от ревности.

Перед уходом Глазычев сказал сыну:

— Смотри, Вовка, у тебя он конфету не брал, а у меня враз проглотит.

Проводник небрежно бросил конфету собаке. Она отвернула голову в сторону и подобрала лапы, словно боялась об эту конфету обмараться.

— Ого! — Глазычев подмигнул жене. — Обиделся.

— На что?

— Ревнует.

— Да ну тебя, — засмеялась жена.

Подойдя к Мурату, Глазычев погладил его твердой, сильной рукой по голове и тихо, в самое ухо, пояснил:

— Ты холостяк, а я женатый. У меня семья, Мурат. Понял? Человеку без семьи живется так себе. Как собаке ему живется, понял?

— Балуешь его, Коля, — сказала жена.

— А чего он в жизни видит? — сказал Глазычев. — Из клетки на работу, с работы обратно в клетку...

Тем временем дела Мурата на службе пошли в гору. Слава его началась с пустячного воровства, однако, раскрывая эту кражу, собака Глазычева, как выражаются проводники, «хорошо сыграла», и о ней заговорили уважительно.

В одном из пригородов дважды в течение месяца обкрадывали кладовую санатория. Из кладовой уносили продукты и вино. В первый раз выезжал в санаторий Дуговец с Доном, обшарил все окрестности, вернулся в питомник ни с чем, ругая администрацию санатория дурными словами: во взломанную кладовую лазили все, кому не лень, территория затоптана больными, собаке там делать нечего.

— Сама, наверное, администрация и сперла продукты, — заключил Дуговец.

Во второй раз отправили на кражу Глазычева.

Старший оперуполномоченный, поехавший вместе с ним, рассказал ему по пути, что из военного округа уже раздраженно жаловались в управление комиссару на беспомощность угрозыска.

— На крайний случай, — предложил оперуполномоченный, — примем такое решение. Я сделаю разработочку, выясним подозреваемого, а собака пускай по твоему сигналу его облает. С перепугу он, может, и расколется...

— Не подойдет, — сказал Глазычев. — Я люблю работать чисто.

В санаторий они прибыли рано утром, но подъем уже прозвонили, и народу в усадьбе толклось порядочно. Слух о том, что вторично обворована кладовая, разнесся мгновенно, больные бродили группами, шумно обсуждая ночное событие.

Кладовая помещалась позади кухни, в углу усадьбы. Здесь сейчас тоже стояли люди: начальник санатория в военной шинели, какой-то старичок в пижаме, кладовщица в белой куртке, культработник с баяном и стройный, высокий капитан в кителе с пограничными петлицами. У ног капитана сидел красавец пес, немецкая овчарка.

Все, кто стоял здесь, обращались почему-то не к начальнику санатория, а к симпатичному старику в пижаме. Увидев это, старший оперуполномоченный протянул ему свое удостоверение и представился, но старик пожал узенькими плечами.

— Я отдыхающий. Вот начальник санатория.

У начальника лицо было размыто красными пятнами, он рассеянно взглянул на уполномоченного, на Глазычева, на Мурата и спросил:

— Вы с собакой?

Затем обернулся к старику:

— Товарищ генерал, из уголовного розыска тоже прислали собаку.

— Ну что ж,— сказал старик,— как говорится, один ум хорошо, а два лучше. Пусть побеседуют с капитаном, он им расскажет обстановку... Да бросьте вы так волноваться, Евгений Борисович,— улыбнулся он начальнику санатория и покачал своей по-солдатски стриженной седой головой.— На фронте были храбрым офицером, а сейчас трусите...

— На хозяйственной работе страшнее, товарищ генерал,— ответил начальник, тоже пытаясь улыбнуться, но вместо улыбки у него дернулись губы.

Оперуполномоченный вместе с Глазычевым отозвали капитана в сторону. Оказалось, что этого пограничника с собакой сегодня поутру вызвал отдыхавший в санатории генерал.

Капитан держался с милицейскими уверенно, разговаривал иронически, особенно с Глазычевым: низенький проводник в своей трепаной кепочке и выдавшем виде плаще, очевидно, не вызывал в этом подтянутом офицере никакой веры и уважения. А может, и просто он принадлежал к той породе военных, которые недолюбливают милицию.

— Собачонка у тебя сугубо гражданская,— сказал он Глазычеву.— Лапку умеет давать?

— А вы попробуйте, товарищ капитан,— простодушно предложил Глазычев.— Она как раз с утра не завтракала.

Оперуполномоченный стал вежливо расспрашивать капитана. Тот отвечал лаконично. Поскольку вызвали — постольку приехал. Применял своего пса, хотя в данных конкретных условиях это занятие совершенно бессмысленное, исключительно для провозждения времени. Тут с ночи ездили по территории грузовики, залили кругом бензином.

— Пойду-ка я поговорю с народом,— сказал оперуполномоченный.

Глазычев вынул папиросы, протянул капитану. Тот был некурящий.

— Вы с какого места, товарищ капитан, давали собаке след? — спросил Глазычев.

— С какого надо, с такого и давал. Ревизор нашелся!

— Я ведь потому спрашиваю,— терпеливо пояснил Глазычев,— что мне неохота водить своего Мурата там, где вы ходили со своей собакой.

— К твоему сведению,— сказал капитан,— где мой пес работал, там другому уже делать нечего.

— Попыток не убыток,— сказал Глазычев.

— Хочешь показать свое «я»? — спросил капитан.

— Интересный у нас с вами получается разговор,— улыбнулся Глазычев.— Вроде вы от одной лавки работаете, а я — от другой.

Он пошел прочь от капитана. «Бывают же такие люди,— думал Глазычев,— даже представить себе совестно...»

Велев Мурату сидеть и для верности привязав его поводком к сосне, он обошел усадьбу. Она была обнесена высоким, метра в три, дощатым забором. Подле ворот и калитки стояла проходная будка, в ней дежурил вахтер. У вахтера Глазычев узнал, что на ночь ворота с калиткой запираются. И в нынешнюю ночь и при совершении прошлой кражи запоры оставались нетронутыми.

— Картина ясная,— сказал вахтер.— Сигнал, паразит, через забор. Мне всех более Верку жалко. Затаскают ее теперь...

— Это кто ж такая — Верка?

— Кладовщица.

— Не обязательно будут таскать,— сказал Глазычев.

Он пошел в кладовую. На бочке с огурцами сидела рыжая толстая девушка в белой куртке; она часто сморкалась и плакала.

— Напрасно вы, девушка, прежде времени расстраиваетесь,— сказал ей Глазычев.— Вон какую сырость развели. Вас Верой зовут?

— А хотя бы,— ответила она.— Вы тоже из милиции?

— Ага,— сказал Глазычев и сел рядом, на вторую бочку. Постучав по ней кулаком, спросил: — Капуста?

От удивления, что он так участливо с ней беседует, кладовщица перестала плакать. За этот месяц ее несколько раз допрашивали, не всегда вежливо, и она с обидой чувствовала, что ее на всякий случай в чем-то подозревают. Больше того, когда ее допрашивал оперуполномоченный, он давал ей понять, что хорошо бы, если б она назвала кого-нибудь, кто мог совершить кражу из кладовой. Назвать она никого не смогла, и оперуполномоченный остался ею недоволен.

— Такое наказание на мою голову,— всхлипнув, пожаловалась она Глазычеву.— За один месяц второй раз!..

— И помногу уносят? — спросил Глазычев.

— Ужас! Пять окороков висело, я на базе еле вымолила за третий квартал. Сыр голландский, восемнадцать кило. Масло несоленое, высшего сорта, два ящика, вино кагор, для желудочников. Цыплята жирные — Евгений Борисович в округ ездил, выхлопотал... Теперь не знаю, что будем закладывать в котел... А ваш, из милиции, говорит: «Больно, говорит, много перечисляете, гражданочка, под одну кражу».

— Это он пошутил,— сказал Глазычев.

— Какие могут быть шутки, когда у людей горе...

Посидев с кладовщицей еще минут десять, Глазычев вышел, жалев девушку. Бывало, конечно, что и такие девушки оказывались виноватыми,— всяко бывало,— но он привык оберегать себя от поспешного недоверия к людям. Точка зрения Дуговца, направленная против всякого человека: «Ты мне сперва докажи, что ты не виноват»,— была Глазычеву неприятна.

Сидя на бочке в кладовой, он обдумал, с чего начать поиски. Приводить сюда Мурата не было никакого смысла: наследили здесь и люди, и собаки, и машины. Кражу, конечно, совершили артельно: одному вору столько не унести. Вероятно, вахтер был прав — лазили через забор.

И Глазычев, начав с угла у кухни, медленно пошел вдоль забора. Земля подле забора местами была утоптана, а кое-где рос кустарник. Осмотрел Глазычев кустарник — поломанных или сильно примятых веток не было. Обойдя всю территорию, он пошел в обратном направлении, теперь оглядывая доски забора. На одной из поперечных прожилин он заметил оторванную щепку, она висела на волоконце. Могли оторвать ее сапогом, когда перемахивали через забор, а может, и висела она спокон веку. Он дошел до конца и снова вернулся к этому месту. Щепка как щепка.

Во время работы к Глазычеву всегда привязывалась какая-нибудь бессмысленная фраза, которую он, не слыша, повторял шепотом. И сейчас, склонившись над прожилиной, он шептал:

— Тем не менее... Тем не менее...

А что «тем не менее» — черт его знает.

Щепку он оторвал, сунул ее в щель забора насквозь, чтобы видно было с той стороны, в каком она месте висела. Затем, взяв Мурата, который уже устал сидеть и нервно перебирал лапами, вышел с ним в лес, окружающий санаторий.

Там, где торчала из забора шепка, проходила по земле мелкая канава. Спустив здесь Мурата с поводка, Глазычев подал ему команду: «Апорт!»

Мурат был дотошным псом. Если ему велели: «Апорт!», он обшаривал носом каждую травинку и все, что попадалось по пути, даже горелые спички, сносил к проводнику.

Стоя под сосной, Глазычев принимал доставляемое собакой барахло: старые консервные банки, ржавые гвозди, истлевшие тряпки.

— Тем не менее... — шептал Глазычев. — Тем не менее...

Мурат принес веревочку. Веревочка была жирная. Глазычев понюхал ее, она пахла ветчиной. Такими веревочками обвязывают окорока.

— Молодец! — сказал собаке проводник. — Рядом!

Он взял ее за ошейник, погладил, затем подвел к тому месту, где валялась веревка, приказал нюхать и, как всегда тревожно, скомандовал:

— След!

Мурат пошел.

Судя по хвосту и ушам, он шел верно, не сомневаясь. Идти за ним было трудно, потому что он пер напролом, через кусты и ямы.

Они двигались уже минут сорок, когда Мурат вдруг замедлил шаг у поваленной полусгнившей сосны, обошел ее вокруг, часто тыча мордой в осыпавшуюся хвою и фыркая, затем стал быстро выбрасывать лапами землю.

Землей засыпаны были ящики с маслом и вином. Окорока и сыр, уложенные в мешок, лежали тут же.

Глазычев сел на поваленный ствол, обмахнул свое потное лицо кепочкой, покурил. Мурат, вывалив мокрый язык, лежал рядом, изредка облизываясь на ветчину.

— Славная ты собака, — сказал ему Глазычев. — А ветчины не получишь, приучайся жить по средствам, на свою зарплату... Я вон в кладовой как хотел соленого огурца, и то не попросил. У нас с тобой знаешь какая деликатная работа? Попросишь, а потом скажут — взятка...

И, вспомнив, что собак все-таки положено поощрять уставными словами, проводник сказал:

— Хорошо, Мурат, хорошо!

Но Мурат больше любил, когда Глазычев разговаривал с ним обычным человеческим языком.

Отдохнув немного, проводник сходил за оперуполномоченным. Они зарыли ящики и мешок в том же месте, где все это лежало, аккуратно присыпали хвоей и ушли с Муратом неподалеку, в кусты.

Сидеть в засаде пришлось до рассвета. Под утро явились за своим добром воры. Трое парней с лопатой, оставив на дороге грузовик, пешим ходом дошли до поваленной сосны, поплевали на руки и принялись разгребать землю.

— Спускай собаку, — шепнул оперуполномоченный.

— Рано, — ответил Глазычев. — Пусть сперва вынут харчи. А то потом отопрут: скажут, что просто так ямку копали...

Когда проводник с оперуполномоченным поднялись из кустов и крикнули: «Стой! Руки вверх!..» — парни бросились кто куда.

Мурату велено было задержать их. Он сделал это легко и быстро, собрал трех воров, как насадка собирает разбежавшихся цыплят. Не пришлось даже потрепать их: увидев мчащегося на них пса, воры приросли к земле намертво, а Мурат был воспитан рыцарски — неподвижных врагов он не трогал.

Шло время. Мурат матерел.

Он уже весил больше пятидесяти кило, грудь его и крестец раздались вширь, лапы стали толстыми, звериными, на мощной шее серым цветом играла хорошо промытая длинная шерсть, она была как богатый воротник на фланте.

В стужу он не уходил через лаз в зимнее помещение, а спал тут же в клетке, на заиндевевшем полу; утром потягивался, выпуская из пасти клубы пара.

Зимой работы бывало поменьше. В крепкие морозы собак применять было почти бесполезно: чутье их на сильном холоде отказывало. Да и ворье по зиме больше отсиживается.

Однажды пришли к Мурату гости.

Это случилось в один из тех дней, когда в питомнике проводят с собаками тренировочные занятия. Мурат уже отработал свой урок, и Глазычев собирался увести его, когда в калитку в сопровождении майора Билибина вошли двое гостей: молодая женщина, от которой сильно пахло духами, и пожилой моряк.

Женщина тотчас же, еще издали, узнала свою собаку.

— Саша! — восхищенно сказала она пожилому моряку. — Ты только посмотри, какой он стал красавец! Я же тебе говорила, что мы отдаем его милым людям...

И, обернувшись к Билибину, протянула ему маленькую мягкую руку.

— Мы вам ужасно благодарны, товарищ майор! Спасибо.

— Не за что, — сказал Билибин. — Своих денег он стоит.

— Денег? — спросил моряк. Он посмотрел на жену. — Каких денег, мама?

— Ах, да господи! Я же тебе сто раз рассказывала...

Она ускорила шаг, почти побежав к собаке.

— Мурат, Мурат, Муратушка!

В ласковом голосе ее угадывались слезы жалости и умиления.

Служебно-розыскная овчарка Мурат не терпела, когда посторонние люди называли ее по кличке. Этому она была обучена Глазычевым.

Мурат обернулся на шум. Какая-то женщина в распахнутой шубе быстро шла к нему, повторяя громким чужим голосом:

— Муратушка, Муратик...

Зарывав, он кинулся на нее и, как его учили в школе, с разбегу повалил наземь. Глазычев, не успевший его удержать, помог женщине подняться и принялся смущенно обивать снег с ее шубы.

— Не узнал! — Она плакала от обиды. — Как он посмел забыть меня?..

Чувствуя себя виноватым, проводник старался успокоить ее и оправдать Мурата, бормоча что-то про рефлексы, торможение и сигнальную систему.

Пожилой моряк стоял рядом. Он спросил:

— Ты не ушиблась, мама?

Затем, трудно улыбнувшись, сказал Билибину:

— Вероятно, собаки, так же как и люди, не любят, когда их продают.

Билибин подтвердил, что большинство псов в питомнике через год-два напроць забывает своих бывших хозяев.

— Ясно, — сказал моряк. — Я бы не расстался с ним, но супруга опасалась, что он искушает сынишку.

Больше они в питомнике не появлялись.

Шло время, течения которого Мурат не замечал и не понимал. Он знал свою работу, скучая без нее, когда проводник уходил в отпуск.

Сменился сосед по клетке справа: беднягу Дона списали по старости, у него провисла спина и стерлись клыки. Дуговец свез его в ветеринарную лечебницу и вернулся оттуда уже один.

Овчарки снова стали именоваться «немецкими», а не «восточноевропейскими» — это Мурату было безразлично.

Старший инструктор Дорохов вышел на пенсию — и этого Мурат тоже не заметил.

На место Дорохова поставили Дуговца.

Дуговец так сильно старался подчеркнуть, что это новое назначение отнюдь не меняет его прежних взаимоотношений с проводниками, что все они тотчас же почувствовали: появился новый начальник.

С прежними своими друзьями по службе он был так же прост в обращении, мог так же дружески хлопнуть их по плечу, так же подмигнуть им, однако если и они отвечали ему тем же, то старший инструктор Дуговец незамедлительно давал им понять, что он старший инструктор Дуговец.

Сложнее всего было с Глазычевым. Всячески пытаюсь поставить легкомысленного проводника на место, Дуговец стал со временем говорить ему «вы», подчеркивая этим, что между ними легла административная пропасть.

На еженедельных занятиях, на полугодовых проверочных испытаниях Дуговец обеспечивал Глазычеву, когда только мог, самое большое количество замечаний в актах.

Облекалось это всегда в форму дружеского участия:

— Ты пойми, Глазычев, я же тебе добра желаю.

Или иначе:

— Ты меня знаешь, Глазычев: я кому хочешь выложу правду в глаза.

Или еще иначе:

— Другому бы я спустил. А с тебя и спрос больше.

И в порыве откровенности Дуговец рассказывал проводнику, как третьего дня в кабинете начальства («не буду называть тебе фамилии») он нахваливал работу Глазычева, выхлопывая ему премию. На самом деле было не совсем так: делал все это Билибин в присутствии Дуговца, который выкал что-то насчет премии для молодого Ларионова, но сейчас, делясь с Глазычевым, Дуговец был совершенно уверен, что все происходило именно так, как он рассказывал. И его даже искренне раздражало, что на насмешливом лице Глазычева не видно было и тени благодарности.

Премию Глазычеву, как и всякому человеку, получить хотелось, но он равнодушно говорил:

— Да ну ее к шуту! Ты лучше себя не забудь, а то ты все для людей и для людей...

Обижено пошевелив скулами, Дуговец произносил:

— Слишком много вы об себе понимаете, товарищ Глазычев.

Тем временем служба Глазычева проходила успешно. Папка с «Личным делом» Мурата становилась все толще. В папке уже лежала сотня «актов применения служебно-розыскной собаки», где подробно описывалось, на какое преступление выезжал Мурат и что ему удалось сделать. С бухгалтерской точностью каждый год подсчитывалась стоимость разысканного имущества и количество задержанных жуликов.

Мурат лазил по крышам, забирался в подвалы, в кочегарки, совал нос в выгребные ямы, залезал в канализационные люки, прыгал через заборы — он шел туда, куда вело его чутье. Бывало, что чутье отказывало ему, потому что опытный жулик посыпал свой путь табаком, махоркой, поливал креозотом, керосином, бензином. Дойдя до изгаженного таким

способом следа, Мурат начинал растерянно и злобно топтаться на месте, покуда Глазычев не приходил ему на помощь. Проводник принимался водить собаку большими кругами, огибая исчезнувший след и ища его продолжения. Глазычев знал то, чего не знала собака: на ходу человек роняет мельчайшие невидимые частицы своей одежды и кожи; ветром эти частицы сносит в сторону, иногда на семь-восемь метров. И он водил своего пса до тех пор, пока тот снова азартно не бросался на поиски.

После каждого выезда Мурат укладывался спать в клетке на заднем дворе управления. От усталости засыпал он быстро, но спал беспокойно и во сне снова шел по следу, терял его, досадливо повизгивая, снова находил и, быстро перебирая лапами, преследовал ненавистного врага. Сны у Мурата были злые и всегда удачные, он рычал, разрывая преступника на части, и никто не смел отнимать у него его добычу. Даже во сне Мурат продолжал служить в угрозыске.

А маленький Глазычев, смертельно уставший, грязный, сидел в дежурке за столом и, высунув от усердия и напряжения кончик языка в сторону, строчил на форменном бланке:

«Я, проводник служебно-розыскной собаки, младший лейтенант милиции Глазычев, с собакой под кличкой Мурат в два часа пять минут ночи сего числа выбыл по распоряжению дежурного по УМ города Ленинграда...»

В дежурке было шумно, накурено, верещали телефоны: оперуполномоченные срочно выезжали на происшествия, возвращались обратно; какая-то распатланная женщина, плача, жаловалась, что муж ее непременно сегодня изувечит, он твердо это обещал; дежурный майор терпеливо уговаривал ее не верить пустым угрозам, вот если начнет драться, пусть тогда сообщит; она засучивала рукава платья, показывая синяки, оставшиеся еще с прошлой получки. Майор вежливо объяснял на будущее, что в таких случаях очень важны свидетели и обязательно надо сходить в поликлинику и взять справку о нанесении телесных повреждений.

Из репродуктора, подвешенного над дверью, сперва доносилась утренняя зарядка, затем диктор-мужчина свежим голосом сообщил, что на Урале задуты две новые домны, а диктор-женщина привстлливо добавила, что по области закончена уборка картофеля.

Напряженно подбирая слова, Глазычев писал:

«При осмотре места разбоя установил. Следы преступников сохранены у двери магазина, где был найден труп сторожа. Взяв отсюда след, собака вышла на улицу Дегтярный переулок, по которой прошла до улицы Невский проспект, пересекла его и зашла во двор дома номер 163, и по проходным дворам прошла во двор дома номер 153, где прошла к пожарной лестнице, по которой поднялась на чердак и, остановившись у одного из вентиляционных боровов, обляяла отверстие в него...»

В дежурку вошел комиссар. Все встали. Глазычев тоже поднялся.

Комиссар спросил проводника, много ли мануфактуры вынули из борова.

— Восемь рулонов.

— А стреляную гильзу собака нашла?

— Нашла, товарищ комиссар. Я сдал ее эксперту.

— Хороший у тебя песик,— сказал комиссар.— Закончишь писать акт — пойдешь поспи. У тебя вон какие глаза красные. Устал?

— Есть маленько.

Комиссар взял со стола листок, наполовину исписанный проводником, пробежал его и, вздохнув, положил обратно.

— Убили, мерзавцы, человека за мануфактуру. Ты можешь это понять? — почему-то тихо спросил он Глазычева.

И, не дожидаясь ответа, отошел к столу дежурного.

Принявшись снова за акт, Глазычев слышал, как комиссар заговорил с распатланной женщиной.

— Вы были у меня на прошлой неделе. Я предложил вам подать заявление. Вы сперва подали, а затем забрали его, боясь, что мы посадим вашего мужа на пятнадцать суток. Чего же вы теперь хотите от милиции?

— Попугайте его,— сказала женщина.— А сажать не надо. Только попугайте.

— Что же, «козой» его пострашать? — спросил комиссар, изображая двумя пальцами «козу», которой пугают детей.

В комнате засмеялись, а женщина снова заплакала. Она и в самом деле не знала, что ей делать с мужем. И комиссар, который сейчас с вежливым нетерпением ее слушал — он тоже не спал сутки,— советовал ей обратиться в профсоюзную организацию по месту работы мужа, отлично понимая, что бывают такие случаи в семейной жизни, когда никакой профсоюз помочь не может. Комиссару по его должности изредка приходилось советовать людям то, в чем он сам сомневался.

А Глазычев все писал — под музыку, текущую из репродуктора, под бодрые, ненатуральные дикторские голоса, под верещание телефонов; ему ужасно хотелось вздремнуть.

От усталости он строчил одно, а думал другое. Заполняя графу «Описание работы собаки», проводник думал, что техника шагнула вперед, а люди за ней не поспевают и человек может своими руками делать замечательные вещи, а потом этими же руками совершить черт-те что.

Домой он пришел в восьмом часу утра. Вовка еще спал. Весь пол у его кровати был усеян фашистами и советскими солдатами, вырезанными из бумаги.

В комнате приятно пахло сном, покоем. Жена только что поднялась. Глазычев с удовольствием смотрел, как она движется по комнате, выметая веником всю вторую мировую войну.

Спать ему перехотелось, они тихо попили вдвоем чаю, потом жена собралась в больницу — она работала медсестрой. Слышно было, как в квартире захлопали и другие двери: жильцы выходили мыться, на кухню, отправлялись на службу.

Все эти звуки сейчас были приятны Глазычеву.

Жена перед уходом сказала:

— Пожалуй, я куплю сегодня Вовке пальто. Он совсем оборвался.

— Чего ж,— сказал Глазычев.

— Может, взять на размер больше? Уж очень он растет.

— Пускай растет,— сказал Глазычев.

— Суп за окном,— сказала жена.— Картошку я солила. Попробуешь вилкой, чтоб была мягкая.

— Да знаю я. как варят картошку,— улыбнулся Глазычев.

— А насчет пальто все будет в порядке: до полочки мы доберемся.

Он пошел закрыть за ней входную дверь, и на пороге она снова сказала:

— Все-таки я возьму на размер больше.

В комнате он рассеянно посмотрел на дверной наличник: карандашные черточки отмечали рост сына. Сейчас последняя черта была сантиметров на семьдесят от пола.

«Маленький будет, как я»,— подумал Глазычев.

И он вдруг понял, что же занимало его, как только он вернулся сегодня домой. Могут жить люди хорошо. Могут. Должны. Это не так уж трудно. Исчезнут же когда-нибудь на земле мерзавцы. Вовка дотянет. А магазинный сторож, которого сегодня убили, не дотянул.

В ту зиму работы у Мурата было мало. Морозы крепко взялись в январе и не отпускали весь месяц. Даже когда Мурат просто гулял, снег забивался между пальцами, леденел, и приходилось скакать на трех лапах, а потом в клетке выкусывать и вылизывать ледяшки из каждой лапы по очереди.

Была, правда, одна работа, которая отняла недели две времени: Мурата пригласили сниматься в фильме. За эти две недели он сильно устал, у него порастрепались нервы, потому что приходилось работать не с Глазычевым, а с чужим человеком. Глазычев всегда стоял поблизости и подавал команды условными жестами. Чужой человек, артист, изображал проводника собак, но он в этом деле ничего не смыслил и только путал Мурата. Вообще на съемках порядка было гораздо меньше, нежели на настоящей краже. Чувствуя, что Глазычев нервничает и сердится, Мурат тоже злился и много раз хотел укусить артиста, изображавшего проводника, и еще одного человека, который всегда кричал что-то в широкий металлический ратруб.

Фильм потом вышел, Мурат не видел его, а все работники питомника ходили на просмотр. В обсуждении принял участие Дуговец: он сказал, что кинокартина будет иметь громадное воспитательное значение и что работникам кино следует поглубже изучать действительность.

С просмотра проводники вышли гурьбой. Покуривая, молчали. Кто-то предложил зайти с мороза выпить пивка. Чокнулись кружками, выпили.

Глазычев сказал:

— Хреновый фильм.

Ларионов засмеялся.

— Твоя собака снималась.

— Ему сегодня за нас платить,— сказал Дуговец.— Он деньги за съемку получил. Сколько тебе отвалили?

— Я уплачу,— сказал Глазычев.— А вот зачем ты хвалил хреновый фильм? Тебе что, понравилось?

— К вашему сведению,— сказал Дуговец,— на вкус, на цвет товарища нет.

— Но тебе-то лично понравилось?

— А я, когда смотрю картину, про свой вкус не думаю.

— Если каждый будет думать про свой вкус,— ввязался Ларионов,— то никто и кино смотреть не станет.

— Что-то, братцы, я не понимаю,— обернулся Глазычев к остальным проводникам.

— К вашему сведению,— сказал Дуговец,— кино снимается для народа.

— А я кто? — спросил Глазычев.

— А вы младший лейтенант милиции Глазычев.

Ларионов захохотал.

— Вот дает, вот дает! — восхищенно сказал он про Дуговца.

Пожилой проводник, трижды стрелянный бандитами в тридцатых годах, угрюмо посмотрел на Ларионова.

— Брехни в кинофильме хватает,— сказал пожилой проводник.— Я не специалист — может, она и полезная...

— А в чем, конкретно, вранье? — запальчиво спросил Ларионов, косясь на Дуговца.

— Скажу,— ответил пожилой проводник.— Нашего брата, работника милиции, так нарисовали, что на колени хочется пасть и бить поклоны. Не пьем, не курим, баб своих не обижаем. Исключительно круглые

сутки ловим жулье. Непонятно даже, для чего у нас гауптвахта имеется... Я не специалист,— повторил вдруг пожилой проводник.— И года мои вышли. Не знаю. Может, оно и полезно...

— А тебе надо на экране показать гауптвахту? — спросил Дуговец.

— Или как мы сейчас в пивной сидим,— рассмеялся Ларионов.— Верно, Иван Тимофеевич?

Иваном Тимофеевичем звали пожилого проводника. Он грузно взглянул на Ларионова.

— Щенок ты — надо мной смеяться... Гауптвахта мне, между прочим, на экране ни к чему,— обратился он к Дуговцу.— Я на ней не сиживал. А твоего подлипалу Ларионова хорошо бы нарисовать в комедии. Только, я так полагаю, невеселая бы это получилась комедия.

— Да бросьте, ребята! — загудели остальные проводники.— Охота было ругаться. Плати, Глазычев! Пошли.

И все разом заговорили о другом, чтобы загасить неинтересный спор. Ивана Тимофеевича они уважали за честность и прямоту, Дуговца же опасались не столько потому, что он был старшим инструктором, сколько оттого, что у него «хорошо подвешен язык». Он так вывернет и подведет, говорили проводники, что всегда будет его верх.

— Завелся! — тихо сказал один из них Глазычеву.— Тебе что, больше всех надо?

Но Глазычев уже и сам жалел, что завелся: до кино ему, в сущности, никакого дела не было.

Неприятности поджидали его в эту зиму совсем с другой стороны.

Морозы стояли под тридцать градусов, даже тренировочные занятия порой приходилось отменять. Глазычева с Муратом прикрепили к одному из райотделов милиции для патрулирования на улицах.

Проводнику вручили план оперативных мероприятий, в котором было указано: «Произвести обходы по Курской, Боровой, Воронежской улицам с целью профилактики и по изъятию преступного элемента».

Работа для Мурата была живая. Вместо одинокого сидения взаперти он гулял теперь рядом с Глазычевым по малолюдным тротуарам и мостовым. Проводник, как всегда, ходил в штатском пальтишке и никакого подозрения у хулиганья не вызывал.

Работать приходилось подолгу, ночью. Заходили в парадные подъезды к дворникам греться. Осматривали подвалы. Глазычев впускал туда Мурата, шепнув ему на ухо:

— Ищи!

А сам стоял у входа с электрическим фонариком.

Иногда из подвала раздавался лай и тотчас же чей-нибудь сиплый крик:

— Убери свсю паршивую собаку! Сейчас выйдем.

И появлялись вскоре на пороге, конвоируемые сзади Муратом, двое-трое бродяг. Проводник их тут же останавливал, быстро и ловко ощупывая карманы в поисках оружия. Мурат садился рядом, следя за тем, прилично ли ведут себя люди. По его понятиям, достойное, нормальное поведение человека заключалось в том, чтобы он стоял, не шевелился и задрал руки кверху. А на то, что обыскиваемый человек иногда шипел при этом Глазычеву: «Лягавый! Сволочь! Сука!» — Мурат внимания не обращал.

Было однажды и так. Покуда Глазычев обшаривал костюм одного парня, второй стукнул проводника ногой в живот. Глазычев упал. Парни метнулись в переулоч.

Первого из них Мурат достал сразу. Молча — теперь-то он это умел — он прыгнул с маху ему на спину всеми своими пятьюдесятью килограммами, опрокинул; оба они, и человек и собака, перекатились

через голову. Особо не задерживаясь, словно бы предполагая, что человек этот не скоро подымется, Мурат ринулся за вторым. С этим вторым у него были отдельные счёты, ибо он видел, что именно второй ударил проводника.

Когда Мурат нагнал его, тот прислонился к стене дома и рванул из кармана нож. Ноги его были обуты в тяжело подкованные сапоги. Он размахнулся сапогом, целясь собаке в голову, но Мурат проходил это в школе. В ногу он вцепляться не стал, а, тяжело вскинувшись в воздух, хватил всей пастью ту руку, в которой блеснул нож.

Хорошая собака умеет брать преступника «с перехватом». Это значит, что она не держит его только за одну часть тела, а перехватывает клыками разные места, в зависимости от того, чем он собирается от нее защищаться.

Однако Мурат был сейчас так зол, что не стал дожидаться намерения врага и принялся рвать его, как это удавалось ему делать только во сне — в самом лучшем своем собачьем сне.

Согнувшись и держась за живот, подошел Глазычев. Ему трижды пришлось скомандовать: «Фу, Мурат!», прежде чем собака отпустила наконец человека.

Уже свистели вовсю дворники; примчалась милицейская «раковая шейка»; двоих бродяг навалом погрузили в машину.

В райотделе при тщательном обыске оказалось, что у покусанного парня нет никаких документов. На первом же допросе он сообщил, что родился в Калининской области, село Задворье, Грачевского сельсовета. Отец погиб в войну, мать угнал немец...

— А тебя сдали в детдом? — зевнув, спросил оперативник.

— Точно, — сказал покусанный.

— Из детдома, наверно, бежал?

— Ага.

Оперативник отложил в сторону перо, которым вел протокол допроса.

— Ну и куда ж ты завербовался? На лесозаготовки или на торфопереработки?

— В лесхоз, — сказал покусанный.

— И вербовщик отобрал паспорт?

— Отобрал.

— А военный билет у тебя украли в поезде?

— Точно. Вы откуда знаете?

— Да все так врут, — сказал оперативник. — Придумал бы чего-нибудь поинтереснее.

— Истинный бог, — сказал покусанный. — Провалиться на этом месте.

— Ну что ж, — сказал оперативник. — Сейчас первым делом сыграешь на рояле.

У парня взяли отпечатки пальцев левой и правой руки. Отправили их в научно-технический отдел. Запросили село Задворье, Грачевского сельсовета, Калининской области.

Ответ пришел быстро: человека с такой фамилией в Задворье не бывало. Одновременно из министерства сообщили, что согласно дактилоскопическим картам фамилия задержанного — Баранцев, Семен Ильич, кличка Рыба, судился три раза за разбой. Освобожден по амнистии.

Рыба не стал спорить со следователем, он только говорил, что никакого свежего дела у него нет. Ногой он сгоряча проводника ударил; за это готов взять семьдесят четвертую; можно еще довести ему сто девяносто вторую «а», поскольку он нарушил паспортный режим.

— Это я и так по-божески беру на себя,— сказал Рыба, которого уголовники окрестили Рыбой за чрезмерную болтливость.— Другой бы на моем месте попросился на поруки.

— А кто б тебя взял на поруки? — спросил следователь.— С тремя судимостями?

— Народ у нас добрый,— сказал Рыба.— Да и каждому коллективу охота отличиться. Я бы исправился, а про них в газетке бы написали. Так на так и получилось бы...

У второго задержанного документы имелись, но фамилия на паспорте была подчищена и заменена другой, а фотокарточка переклеенная.

Следователь бился с ними не зря. Оказалось, что оба они водились с неким Фроловым, у которого было еще с пяток фамилий. Фролов гулял на воле. Узкой специальности у него не было: «брал» он и магазины и квартиры, а при случае занимался уличными грабежами — срезал часы у прохожих, раздевал их догола.

Фроловым занялся городской угрозыск. Было организовано несколько оперативных групп.

Кропотливо, шаг за шагом «выходя в цвет на Фролова», оперативники установили, что бандит этот необыкновенно жесток, недоверчив к «своим», ходит всегда с двумя пистолетами во внутренних карманах пальто, стреляет мгновенно и редко мажет.

Определенного места жительства у Фролова не было. Однако Пороховые и Охта — его любимые районы. Здесь ему порой удавалось започевать, то обманув какую-нибудь сердобольную старуху, для которой у него было заготовлено с десяток жалостливых легенд, то ночуя по сараям и подвалам.

Глазычев с Муратом включились в работу напоследок.

В пригородной деревне Жерновке, куда из города доходил трамвай, однажды ночью в колхозную конюшню пришел Фролов. В конюшню было тепло. Семидесятилетний старик конюх убирал вилами навоз к дверям. Фролов попросился ночевать. Конюх не пустил его. Тогда Фролов заколол старика вилами.

Глазычев с Муратом оказались в Жерновке через три часа после убийства.

Холод стоял лютый. На вымерзшем дочиста небе бело светилась выцветшая от стужи луна.

В сельсоветской избе, с утра не топленной, сгрудилось человек десять работников угрозыска. Заполняя избу сырым паром и папиросным дымом, они появлялись и исчезали, докладывая подполковнику результаты опроса свидетелей. Подполковник велел до прихода собаки не топтаться вокруг конюшни.

Прибывшего Глазычева он спросил:

— Как вы думаете, по такому морозу пес сможет работать?

— Он постарается,— сказал Глазычев.

— Мы будем следовать за вами двумя группами,— сказал подполковник.— Чуть что — мигните нам фонариком. У вас где пистолет, на ремне?.. Переложите его в карман полушубка. Если понадобится, стреляйте в эту сволочь. Есть у вас какие-нибудь вопросы?

— Пока нету, товарищ подполковник.

Подполковник взглянул на проводника.

— У нас, Глазычев, очень большая надежда на вашего пса. Фролов не мог далеко уйти: сейчас ночь, транспорта нету...

У конюшни проводник возился недолго. След был отчетливо виден глазом. Фролов, очевидно, сперва прошел по снегу, оставив глубокие вмятины, затем вышел на твердую дорогу. В какую сторону он побежал, куда свернул, этого на глаз сказать нельзя было.

Проводник спустил собаку с поводка.

По тихим голосам окружающих людей, по тому, как на него смотрели, и, главное, по движениям Глазычева — неторопливым, внимательным и настороженным, — наконец, по лицу проводника, очень строгому, Мурат видел, что тот ждет от него хорошей работы и верит в нее.

Запах, который увел Мурата от вмятин у конюшни, был слабо слышен на морозе. И чем дальше Мурат шел, тем запах этот тлел все слабее, он почти угасал на обледеневшей, переметенной ветром дороге.

Часто останавливаясь, идя не шибко, чтобы не утратить след, Мурат держал голову совсем низко; он втягивал носом резкий, острый воздух, пахнувший льдом и снегом.

Через полчаса у него стали замерзать передние лапы. Мурат злился на них, поджимая попеременно то одну, то другую и подпрыгивая вперед на трех ногах.

Проводник быстро шел рядом. Он сказал:

— Ладно, не прикидывайся. Не маленький. След, Мурат!

Голос у него был требовательный и безжалостный.

Уже давно скрылись за холмом избы Жерновки. Мертвое снежное поле лежало по сторонам дороги.

Коченели уже и задние лапы; Мурату хотелось хоть разок взвизгнуть от боли; хотелось присесть хоть на минутку и злобно выгрызть лед между пальцами — они обмерли и уже не слышали под собой почвы.

Боль мешала ему, отвлекала его, и запах внезапно пропал. Проковыляв еще шагов десять, Мурат остановился. От стыда он не поднял глаз на проводника, а запрыгал обратно. Проводник молча пропустил его мимо себя и тоже повернул назад.

Найдя снова след, Мурат изо всех сил старался удержать его под своим носом. Вот почему запах исчез: он проскочил тропку вправо, она вела к лесу.

В лесу он согрелся. Здесь надуло снегу, пришлось идти, проваливаясь по брюхо. От усталости стало жарко, но зато теперь он почувал, что человек, который так измучил его, затаился где-то совсем близко.

Едва слышное рычание вырвалось из собачьей глотки. Глазычев сказал:

— Тихо, Мурат!

И, обернувшись, хотел помигать карманным фонариком, однако увидел сквозь редкие деревья, что оперативники уже оцепляют маленький лесок.

Фролов сидел в старой бревенчатой баньке. Дверь в нее он завалил тяжелым котлом и подпер доской. Было еще в этой бане оконце с выбитым стеклом, узкое и длинное.

Сидя на подгнившем плесневелом полке, он видел, как за стволами сосен мелькнуло несколько фигур, догадался, что это за ним, и выстрелил в оконце просто так, для потехи.

Спокойный голос негромко крикнул из леса:

— Выходи, Фролов! Отплясался.

Это сказал подполковник. Он стоял рядом с Глазычевым и шепотом отдавал приказания людям, стягивая их вокруг баньки.

— А если выйду, — спросил Фролов, — чего мне будет?

— Будет тебе суд, — ответил подполковник.

— Дырка? — спросил Фролов.

— Дырка, — ответил подполковник.

Помолчав, Фролов снова окликнул его:

— Эй, начальник! А может, потяну на всю катушку, на пятнадцать лет?

— Поторгуйся — может, и потянешь.

— Да нет,— сказал Фролов.— Пожалуй, не потяну.

Подполковник тихо обратился к Глазычеву:

— Сделаем так. Ребята выломают дверь, собаку пустим вперед. Сможет твой пес взять эту сволочь?

— Он постарается,— сказал Глазычев.

Пока подполковник отдавал распоряжения, Глазычев грел Мурату лапы, заворачивая их поочередно в полу своего полушубка. Проводник погладил собаку по жесткой холодной шерсти, но ему сейчас казалось, что шерсть теплая и мягкая.

Из бани и в баню несколько раз выстрелили. Часть ребят отвлекала Фролова к окну. Тем временем под стенами уже стояли трое, они были у самых дверей, держа в руках бревно.

Глазычев подполз с Муратом ближе и залег шагах в десяти против двери.

— Фролов! — окликнул бандита подполковник.— Бросай оружие, выходи!

— Нет расчета,— сказал Фролов.

И, куражась перед концом, он начал ругаться.

Глазычев взглянул на подполковника; тот взмахнул рукой оперативникам, держащим бревно.

Ребята отошли от стены и, пригнувшись, с размаху ударили бревном в дверь.

Из бани Фролов стрелял уже подряд.

Глазычев положил руку на шею Мурата и, чувствуя, как дрожит его кожа от ярости (Мурат ненавидел стрельбу), шепнул ему в ухо:

— Будь молодцом, дружок.

И внезапно злым голосом громко скомандовал:

— Фасс, Мурат!

И толкнул в шею, вперед.

Мурат ворвался в баню через поваленную, сорванную с петель дверь. Здесь было темнее, чем на улице.

Фролов сидел на корточках на полке, схоронившись за печным стояком. Высовывая из закутка только голову и правую руку с пистолетом, он смотрел в светлый от снега и луны дверной проем и стрелял в него, как только показывалась там хоть какая-нибудь тень.

Однако Фролов наблюдал за дверным проемом не во всю его высоту, а примерно с половины, рассчитывая на появление человека. Собаки он не ожидал. Но даже если бы он и ожидал собаку, то Мурат пролетел через дверь с быстротой черта. И только когда на мгновение в бане, в полутьме, с разбегу, он замер, Фролов выстрелил в него.

Бандит был уверен, что он попал в собаку,— до нее было метра три, не больше,— но она не упала, не завизжала, как хотелось бы Фролову, а бросилась к нему на полк.

Он успел выстрелить в нее еще раз, в упор, и это было все, что он успел сделать. Собака повисла на его правой руке, рванула с полка вниз, на пол; он попытался вскочить на ноги, но ему не стряхнуть было ее с себя, она лежала у него на груди, вцепившись в горло, сперва сильно, так, что он задохнулся, а потом послабее, однако этого он уже не почувствовал.

Глазычев вбежал в баню первым. Он метнулся туда еще раньше, после первого выстрела, но подполковник резко крикнул:

— Назад, Глазычев!

И кто-то из оперуполномоченных схватил его за локоть.

— Не дури, проводник,— спокойно сказал оперуполномоченный.— Тебе что, не терпится на тот свет? Никуда от нас Фролов не денется. Пусть порасстреляет патроны.

— Собака,— сказал проводник.

Когда он вбежал в баню и тотчас же вслед за ним ребята, они все увидели лежащего на полу Фролова и на нем пса. Штук пять карманных фонариков скрестили в этом месте свои лучи.

— Мурат! — позвал проводник.

Одно ухо у Мурата еле заметно вздрогнуло и снова обвисло.

— Фу, Мурат! — сказал проводник.— Ко мне!

— Не мешай ему, он работает,— пошутили ребята.

Наклонившись над Муратом, Глазычев попробовал сдвинуть его с груди Фролова на пол. Кто-то еще помог ему, опасливо взявшись и приподымая не по-живому тяжелую, обвисшую собаку.

Сдвинуть Мурата в сторону удалось, но за ним стронулось с места и тело Фролова: морда Мурата лежала на его горле. Глазычев сунул ствол своего пистолета собаке в зубы и с силой разжал ей пасть. Оттуда на руки проводника вытекла кровь.

Бандита в тюремной машине отвезли в управление — он пришел в себя минут через двадцать,— а Глазычев с Муратом, завернутым в полубубок, поехал на «газике» в питомник.

Перед отъездом подполковник сказал ему:

— Спасибо, товарищ младший лейтенант.

— Я что...— Глазычев махнул рукой.— Я ничего.

— А может, выживет? — сказал подполковник.— Ведь теплый еще.

— Он постареется,— ответил Глазычев.

В питомнике проводник поднял с постели Зырянова — ветврач жил тут же. Мурата перенесли в амбулаторию на стол. Первая пуля попала ему в грудь навывлет, вторая — в голову, застрыв у затылка.

Копаясь в ране и доставая пулю пинцетом, Зырянов сказал:

— Одна эта штука должна была уложить его наповал.

— Значит, все? — спросил Глазычев. Он держал голову Мурата, помогая ветврачу.

— Жить, может, и будет,— сказал Зырянов.— А со служебно-розыскной собакой, пожалуй, все.

Провозившись еще с полчаса, они перенесли Мурата в изолятор — в комнату позади амбулатории; здесь стояли четыре пустые клетки.

Потом они долго мыли окровавленные руки. Погасили яркий электрический свет. За окнами было чахлое зимнее утро.

— Хотите спирту? — спросил Зырянов.

Сам он пить не стал, а проводнику отмерил в мензурку сто граммов.

— Водой разбавить вам?

— Да нет, я лучше потом запью водой.

— Вы только задержите дыхание после спирта, а то можно обжечь слизистую.

— Я знаю,— сказал проводник.— В войну пивал его.

— Ну и климат у нас! — сказал Зырянов, посмотрев в окно.— Всегда мечтал жить на юге и всю жизнь прожил в Питере. Вот выйду на пенсию, уеду куда-нибудь со своей старухой в Ашхабад. Буду выращивать урюк.

— Больше у меня такой собаки не будет,— сказал Глазычев.

— Отличный был пес,— сказал Зырянов.— Шли бы вы домой, Глазычев. Я скажу начальнику, что отправил вас. Вы имеете полное право на отдых: бандита ведь взяли.

— Я-то его не брал. Мурат его брал.

— Валяйте домой, Глазычев,— сказал ветврач.— А то вы начинаете городить чепуху. Нате вам на дорожку еще пятьдесят граммов. Заснете дома как убитый.

— Я-то не убитый,— сказал Глазычев.— Я как раз целенький.

— Вы что, обалдели? — запыхтев, прикрикнул на него Зырянов. — Вы где работаете: в детском саду или в уголовном розыске? По-вашему, лучше бы сейчас ходил на свободе этот убийца, а вы бы целовались со своей собакой? Так, что ли?.. Немедленно отправляйтесь домой!

— Слушаюсь, товарищ майор ветеринарной службы, — сказал Глазычев, козыряя; на голове его не было даже кепки.

Перед уходом он зашел в изолятор. Мурат лежал на боку с вытянутыми в одну сторону четырьмя лапами. Обычно он так никогда не ложился. Пожалуй, только в очень жаркий летний день. На голове и на груди у него была выстрижена шерсть — там, где копался ветврач. Присев на корточки, Глазычев забрал в ладонь его сухой горячий нос.

— Будь здоров, псина, — сказал проводник. — Мы им еще покажем.

Через несколько дней младшему лейтенанту Глазычеву была объявлена благодарность по управлению и выдана денежная премия. Товарищи поздравили его. На общем собрании работников питомника Дуговец сказал, что равняться надо именно по таким труженикам, как проводник Глазычев, который относится к своим обязанностям не формально, а творчески.

Ларионов пожал ему руку и сказал:

— Здорово тебе повезло, Глазычев! С тебя приходится.

Самый пожилой проводник, Иван Тимофеевич, не стал ничего говорить, а только попросил:

— Покажи-ка мне твоего Мурата.

После собрания Глазычева задержал Билибин.

— Покуда у вас нет собаки, — сказал он, — займитесь хозяйственной работой в питомнике. А заодно будете помогать Трофиму Игнатьевичу в изоляторе.

Недели две так и шла жизнь Глазычева. Он рубил конину для собачьей кухни, таскал в кладовую и из кладовой мешки с овсянкой, ящики с жиром, с овощами; убирал снег на территории, чинил забор.

И по несколько раз в день забегал в изолятор к Мурату. Проводник кормил его, расчесывал шерсть, чтобы она не свалилась, прибирал за ним, совал лекарства. Да и просто ему иногда хотелось рассказать своей собаке, что он ее не забыл.

Подметая как-то двор, Глазычев увидел, что у пустой Муратовой клетки Ларионов прилаживает стремянку. Взобравшись на нее, он отодрал дощечку, на которой была написана собачья кличка, и, вынув из кармана другую дощечку, собрался приколачивать ее.

— Какого черта ты делаешь? — крикнул Глазычев издали.

— Площадь освободилась, буду заселять, — весело ответил Ларионов.

Подойдя к клетке, Глазычев поднял сорванную дощечку, лежавшую на снегу, и протянул ее Ларионову.

— Приколоти на место.

Он произнес это таким тоном, что Ларионов спросил:

— Ты что, сдурел?

— Я тебе сказал, приколотит!

И, не дожидаясь, сам полез по стремянке с другой стороны, вырвал из рук Ларионова молоток и прибил старую дощечку с кличкой «Мурат» на прежнее место.

— Рано хороните моего пса, — сказал Глазычев.

— Чудило! Работать-то он больше не будет...

— Это откуда же тебе известно?

— Да у него ж задета центральная нервная система...

Глазычев посмотрел на Ларионова.

— У тебя она задета с детства, однако ты работаешь?

Вскоре Мурат окончательно встал на ноги. Проводник подолгу гулял с ним по Крестовскому острову, сперва не беспокоя его никакими служебными командами, затем стал выводить его на тренировочную площадку в те часы, когда там никого не было.

Глазычев тотчас же увидел, что из занятий ничего не получится.

Мурат понимал, что проводник чего-то хочет от него, но выполнить этого не мог. Он очень старался помочь проводнику, склонял свою большую, умную, простреленную голову набок, всматриваясь в губы, в руки, в глаза проводника и нетерпеливо переступая лапами. Иногда он опрометью, радостно бросался выполнять приказания и делал не то, что велено было, а то, что случайно застряло в его раненой памяти.

Глазычев подавал ему команду: «Апорт», а Мурат вместо этого бросался к крутой лестнице, судорожно цепляясь еще не окрепшими лапами, взбирался на самый верх, спускался вниз, падал с последних ступеней, прихрамывая, подбегал (ему казалось, что он мчится во весь опор) к проводнику и ждал поощрения.

И, жалея его, Глазычев говорил:

— Хорошо, Мурат. Хорошо...

Дуговец как-то спросил проводника:

— Ты что, начал заниматься с Муратом?

— Начал.

— Ну и как?

— Нормально.

— На той неделе полугодовая проверка. Успеешь поставить его в строй?

— Успею,— сказал Глазычев.

И он продолжал выводить собаку на площадку, следя только за тем, чтобы при этом никого не было. Мурат был счастлив, что с ним снова работают.

Незадолго до прихода проверочной комиссии Глазычева вызвал начальник питомника. В кабинете, кроме Билибина, сидели Зырянов и Дуговец. Сперва они поговорили вчетвером о закупке собак — предполагалась для этого поездка Глазычева в город Киров,— а затем Билибин мимоходом сказал проводнику:

— Старший инструктор подал мне рапорт. Вы до сих пор не приглашали его на занятия с вашей собакой. А когда однажды он все-таки явился сам, вы тотчас же увели Мурата в клетку.

— Было,— сказал Глазычев.

Билибин подождал, не добавит ли проводник чего-нибудь еще в объяснение своего поступка, и, не дождавшись, спросил ветврача:

— Трофим Игнатьевич, каково клиническое состояние пса?

Зырянов не успел ответить, он еще только начал пыхтеть, когда Глазычев быстро сказал:

— К служебно-розыскной работе непригоден.

— Значит, будем выбраковывать? — спросил Билибин.— Тогда надо приглашать представителя управления.

— Товарищ начальник,— сказал Глазычев,— усыплять Мурата я не дам.

— Постановочка! — усмехнулся Дуговец.

— Насколько я понимаю,— спокойно сказал Билибин,— младший лейтенант Глазычев не совсем верно выразил свою мысль.

— Так точно, товарищ майор. Прошу прощения.

— Он, очевидно, имел в виду,— продолжал Билибин, обращаясь к Дуговцу, словно Глазычева здесь и не было,— имел в виду,— для чего-то повторил Билибин,— что ему жаль собаку.

— А мне своего Дона не жаль было?

— Возможно. Вы ничего об этом не говорили, но вполне возможно. Есть же люди, которые умеют переживать свое горе молча. Я даже припоминаю, что вы как-то написали мне докладную, прося выбраковать свою старую собаку и прикрепить к вам новую, молодую.

Дуговец ответил:

— Я всегда стараюсь, Сергей Прокофьевич, по силе возможности для пользы дела.

— Понятно,— кивнул Билибин.— Сейчас речь идет о том, не попытаться ли нам, списав Мурата, оставить его на дожитие при питомнике, учитывая его заслуги.

— На пенсии, что ли? — улыбнулся Дуговец.— Никто нам этого не позволит. Как только мы составим акт выбраковки, хозу снимет его с довольствия.

— Попробуем,— сказал Билибин.

— Две кастрюли супа в день всегда можно сэкономить,— сказал Зырянов, до той поры молчавший.— Мурат долго не проживет.

Сомневаясь, Дуговец покачал головой.

— Не получилась бы такая картина: если каждый проводник станет требовать...

Билибин сердито перебил его:

— Вот этой формулой «Если каждый станет требовать» удивительно легко обороняться, когда не хочешь сделать что-нибудь хорошее. Дескать, я бы с удовольствием, но если каждый станет требовать... А насчет экономии супа, Трофим Игнатьевич, то давайте уж оформлять все на законном основании. Иногда экономия хуже воровства. У вас, скажут, излишки — две кастрюли супа? А только ли две? А может, сто две? Пишите, будьте любезны, объяснение... И поехало!

Поговорив еще немного, решили написать ходатайство в хозяйственное управление и приложить его к акту о непригодности собаки к милицмейской службе.

Дня через два была созвана комиссия. В нее входили: майор — представитель угрозыска, ветврач Зырянов и старший инструктор Дуговец. Будучи в курсе дела, майор был склонен подписать акт без всякой проверки. Но Дуговец настаивал на соблюдении всех формальностей.

— Я человек буквы закона,— сказал он, думая, что шутит.

В этот день Мурат работал последний раз в своей жизни. Это была его самая короткая работа. Единственное, что сохранилось в нем и сейчас, не тронутое пулей,— это понимание душевного состояния своего проводника. Видя, что проводник чем-то взволнован, Мурат хотел отличиться перед этими чужими людьми, чтобы успокоить его.

Старательно, добросовестно и горячо он делал все невпопад. Задыхаясь от усердия, от ранения в грудь, он готов был околоть, но выполнить команду проводника. Мурат ждал, что эти команды будут следовать одна за другой и после каждой из них жесткая, сильная, ласковая рука Глазычева огладит его по голове, по спине и голос проводника произнесет сперва что-то коротенькое, а потом одобрительно-длинное, из чего станет ясно, что Мурат не зря выбивался из сил.

Однако все было не так. Хриплым злым голосом Глазычев подал всего три команды и увел Мурата в клетку.

Вернувшись, спросил Дуговца:

— Насладились, товарищ старший инструктор?

Акт выбраковки был подписан.

Собрав необходимые документы, проводник пошел в хозяйственное управление.

Начфин и начальник хозяйственного управления отнесли к этому делу по-разному.

Начфин выслушал проводника, не перебивая, держа за щекой леденец, ибо с месяц назад бросил курить; затем, положив руку на принесенные Глазычевым бумаги, он произнес:

— Оставьте, я разберусь.

Глазычеву показалось, что все будет в порядке, и он только попросил начфина позвонить в питомник Билибину и, хотя бы временно, разрешить необходимый расход продуктов.

— Это можно,— сказал начфин.

Взявшись за телефонную трубку, он спросил Глазычева:

— Как вы сказали фамилия сотрудника, о котором ходатайствуете?

— Кличка собаки — Мурат,— сказал Глазычев.

— Какой собаки?

И тут начфин искренне обиделся.

Он обиделся не за себя, не за то, что его беспокоят по таким пустякам; это еще куда ни шло. Начфин обиделся за финансовую дисциплину. Расход четырех рублей тридцати копеек в сутки на какую-то большую собаку постепенно в устах начфина превратился в полупреступную махинацию.

Выйдя из его кабинета, Глазычев покурил на лестнице и упрямо пошел к начальнику хозяйственного управления.

Начальник мгновенно понял, о чем идет речь, и тотчас, не дочитав, вернул Глазычеву бумаги.

— Делать вашему Билибину нечего. Если мы о каждом бракованном псе станем проявлять такую заботу, то скоро на улицах будет не протолкаться от кобелей... У меня люди без площади сидят...

Последнюю фразу он произнес таким гордым тоном, словно сидение людей без площади есть его личная заслуга.

Передавать Билибину слова начальника хозяйственного управления Глазычев не стал. Он только доложил, что в ходатайстве окончательно отказано.

Мурат жил уже на птичьих правах. Проходя мимо его клетки, Ларионов обзывал его дармоедом. Или, остановившись, подмигивал ему:

— Эх, и куртка богатая из тебя получится, Мурат!

Глазычеву надо было уезжать в Киров; боясь, что в его отсутствие собаку могут усыпить, проводник решил напоследок сходить к комиссару.

В огромном кабинете, куда проводник шел от дверей к письменному столу, все загодя приготовленные слова вылетели из головы, и Глазычев только молча протянул комиссару Муратовы документы.

Надев очки, комиссар стал листать поданные бумаги.

Потом спросил:

— Это какой же Мурат? Который бандита Фролова схватил за глотку? — И начал расспрашивать, в каких еще известных делах участвовал этот пес.

В самый разгар сбивчивых и косноязычных пояснений проводника комиссар перебил его:

— Ну, а что ты ему со своей премии купил?

— Так ведь что, товарищ комиссар, собаке купишь? — серьезно и даже с сожалением ответил Глазычев. — Ничего такого особенного не купишь. «Старт» я ему, конфеты, полкило взял. Ну и, конечно, так, на словах, по-хорошему поговорил с ним. Он любит, когда с ним уважительно беседуют...

— Это все любят,— сказал комиссар, глядя в широкое доброе лицо проводника. — Даже люди, говорят, любят.

И, полистав еще немного принесенные Глазычевым бумаги, спросил, не подымая головы:

— В хозу обращались?

— Обращались, товарищ комиссар.

— Отказали?

— Отказали, товарищ комиссар.

— Ай, Билибин, Билибин!— укоризненно покачал головой комиссар.— Старый работник, а такую промашку дал! Разве ж это мыслимо, с таким мелким вопросом — и прямо к начальнику хозу! Ведь он же полковник, это же надо понимать... Кто ходил к нему? Вы, товарищ Глазычев?

— Я, товарищ комиссар.

— Говорил он вам: «А вы попробуйте посидеть на моем месте»?

Глазычев ответил, что этого ему начальник хозяйственного управления не говорил.

— Значит, стареет, — сказал комиссар.— Раньше всем говорил...

Он снял очки и положил их на стол.

— Поступим мы, товарищ проводник, следующим образом. Такие вещи надо делать научно. Напишем-ка мы в министерство, в Москву. Авось и поддержат...

До сих пор комиссар говорил не очень серьезным тоном и вдруг, насупившись, пробормотал:

— Сегодня, знаете ли, наплевать на заслуженного пса, а завтра, глядишь...

Не договорив, он отпустил проводника, оставив у себя документы.

Недели через три судьба Мурата была решена. Наконец-то он ел свой суп на совершенно законном основании.

Глазычев съездил в Киров, закупил там трех новых собак, привез их в питомник.

Сквозь проволочную сетку Мурат видел, как выводили их на тренировочную площадку. Он смотрел на них сурово: они были еще совсем глупые, неопытные, необученные.

А молодые собаки тоже видели Мурата, когда его два раза в день вели мимо них выгуливать на задний двор, поросший лебедой.

Они презрительно глядели на старого, хворого, колченого пса, не зная его жизни и не понимая, зачем он еще ковыляет на этом прекрасном белом свете.

В Криминалистическом музее Ленинградского управления милиции, в одной из просторных светлых комнат, уже много лет стоит в правом углу служебно-розыскная собака по кличке Султан.

У Султана сейчас стеклянные глаза, и пыль из его мертвой шерсти выколачивают уборщицы музея.

Жизнь этого пса рассказана на стендах коротко и уважительно. За время своей службы в милиции он нашел похищенного имущества на сумму около трех миллионов рублей, участвовал в четырех тысячах операций, помог задержать две тысячи восемьсот пятьдесят восемь преступников.

Старость свою Султан дожил в Ленинградском питомнике.

История Султана показалась мне интересной. В ленинградской милиции до сих пор помнят славного пса, и я имел возможность во всех подробностях познакомиться с его прошлой работой, так же как и с работой нынешних служебно-розыскных собак.

Все это и позволило мне сочинить эту повесть.



МИХ. ЛУКОНИН

★

В ПОИСКАХ НЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА

Товарищи, сюда —
от снежных гор Памира,
где льдистая гряда
века переломила.
Покиньте высоту,
скорей, ко мне на помощь,
скорей покиньте ту
заоблачную полночь.
Спускайтесь с дальних гор,
куда слетают реки.
Вы отложите спор
о снежном человеке.
Потерян след иной,
иду землю зимней —
запутан белизной, —
то снегопад, то иней.
Ни знаков и ни вех.
Ищу в дали безбрежной —
потерян человек,
заснеженный
и нежный.
Не то, что снежный ваш —
виденье или сказка,
не призрачный мираж.
Живая.
Сероглазка.
Мой нежный человек,
смеющийся от снега!
Ее бровей разбег
остановил с разбега.
Пока искал слова,
она дышала рядом,
но вдруг
ее
зима
укрыла снегопадом.
Вот где-то здесь она —
протягиваю руки.
Какая-то вина
томит меня
в разлуке.

Вот только что была,
но нету, нету,
нету!..

Бросайте все дела,
на поиски
по следу!
Вот сострадания след —
не этот след нам нужен.
Вот жалость шла,
но нет,
подделку обнаружим.
Нас не собьет с пути
похожесть или смежность,
нет, надо нам найти
обиженную нежность.
Она теперь в беде,
нуждается в защите.
Не где-нибудь
нигде,
в себе ее ищите.
Ищу я...
Тает снег.
Весною тянет прежней.
Потерян человек,
заснеженный
и нежный!



КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

★

СОЛОВЬИНЫЙ КОРИДОР

Цвела черемуха в ту пору
От корабля в пяти шагах.
Шло судно, как по коридору,
В цветущих узких берегах.

А соловьев шальная сила
Мир заполняла до краев,
Их даже слишком много было,
Аж стон висел от соловьев.

Над речкою, как покрывало,
Не торопясь копился пар.
На разных палубах стояло
Десятка два недвижимых пар.

А соловьи все пели, пели,
Перекликались соловьи.
И люди вслушивались в трели
И в чувства светлые свои.

Назавтра музыка в салоне
Всех разбудила в поздний час.
Пестрели домики на склоне,
Раздолья радовали глаз.

Степные открывались дали,
Мы выходили на простор
И чуть смущенно вспоминали
Тот соловьиный коридор.



В. ЛИПАТОВ

★

ГЛУХАЯ МЯТА

*Повесть **

3

Сегодня пятница.

Бригадир Семенов в этот день связывается по радиации с конторой леспромхоза. Виктор и Борис возятся с радиостанцией, настраиваются, щелкают выключателями и кричат по очереди в эбонитовую трубку: «Центральная, я Глухая Мята! Центральная, я Глухая Мята!..»

В динамике попискивает, переключается далекими голосами мир, Виктор и Борис священнодействуют. Окружив их, лесозаготовители почтительно молчат, Никита Федорович с предупредительной улыбкой на лице сидит бочком — готов по первому требованию броситься за отверткой, за куском провода. Люди ждут с нетерпением, когда раздастся хриплый голос радистки.

— Центральная слушает, Центральная слушает! — наконец слышится из эбонита. — Перехожу на прием!

— Говорите дикторским голосом, Григорий Григорьевич! Разделяйте слова! — предупреждает свистящим шепотом Борис.

Григорий досадливо фыркает — не получается у него дикторский тон, не может он говорить внушительно и четко, а разговаривает по радиации так, словно беседует с женой после рабочего дня. Он спокойно усаживается возле микрофона, аккуратно раскладывает бумаги, блокнот и говорит:

— Записывай, Лиза! А коли не успеешь, передай Сутурмину на словах... Темпы мы не снизили, но и приросту большого не достигли. На сегодня заштабелевано четыре тысячи сорок шесть кубометров... Скажи директору, Лиза, что судостроя мало — кубометров семьсот. Крепеж, правда, дадим!

— Передавайте цифры! — сердится динамик.

— Цифры и передаю! — удивляется Семенов. — Одним словом, на судострой надеяться нечего. Зато пиловочник отборный.

Радистка опять перебивает Семенова, Виктор и Борис делают страшные глаза, но бригадир отмахивается от них, продолжает невозмутимо беседовать с динамиком, обращаясь к нему дружески и несколько фамильярно:

— Не перебивай! Горючего хватит! Пусть Сутурмин не заботится!.. Кстати, где он? Почему не пришел к радиации?

— Уехал в Гомск! В следующую пятницу будет на связи с вами.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 5 с. г.

— Хорошо! Трактора в порядке. Скажи ему. Он за машины беспокоится... У меня все! Что нового в леспромхозе?

Бесстрастным, металлическим голосом радистка сообщает поселковые новости — план марта выполнен на сто один процент, сортиментная программа тоже, и за перевыполнение ожидается премия. Получили шесть новых дизельных тракторов, десять бензомоторных пил «Дружба», новый трактор «КДТ-60». Вчера привезли наконец баббит для заливки подшипников к паровозам.

— Всем товарищам из Глухой Мяты привет от семей! — тем же голосом продолжает радистка. — Вчера выдавали зарплату. Ваши семьи получили. Сегодня по разрешению директора у рации сын Ракова — Миша, дочь Никиты Федоровича — Клавдия... Миша, скажи что-нибудь папе... Вы, мамаша, не трясите ребенка, он сам что нужно скажет!

Георгий Раков проталкивается к рации. На него смотрят, и поэтому уже на полпути он принимает обычный самоуверенный и надменный вид, словно давно знал и был уверен в том, что именно его сына сегодня приведут на радиостанцию.

Динамик шипит, потрескивает, потом слышен прерывающийся голосок:

— Папа, здравствуй! — Затем пауза, а после нее без остановок, без передышки: — Мы живем хорошо, гуляем, купили пальто, пуговиц много-много, до свидания, приезжай, папа... — А в заключение раздается поспешное: — Мы все целуем тебя, Георгий! Приезжай скорее!

Это голос жены Ракова — Лены. После нее к рации подходит дочь Борщева, и Никита Федорович присанивается.

— Мама занята, даже на станцию не пошла. Ты, говорит, обскажи ему все... Семена капусты и помидоров купили на базаре: та женщина, что продала, говорит — всхожие. Зорька доится, вчера дала двенадцать литров...

Обстоятелен, деловит голос борщевской дочери, ее рассказ о хозяйственных делах настраивает лесозаготовителей на задумчивый лад — почти у всех есть огороды, коровы, свиньи...

— Картошки на посадку хватит, — повествует дочь Борщева. — Всю перебрали.

Лесозаготовители задумываются. К огородам люди так привыкли, что сами не знают: нужны ли, выгодны ли? Зарабатывают хорошо — на покупку овощей хватит, — но не хочется тащить с базара то, что можно вырастить самим. Как-то уютнее, домовитее человеку, когда в огороде синими звездочками цветет картошка, пошевеливают листиками бочковатые муромские огурцы, бархатится морковь, а в оградке полыхают маки. Занятно, весело строгать осенью тугие кочаны капусты, добираться до кочерыжек, хорошо укладывать в прохладное подполье морковь, пахнущую укропом, и укроп, пахнущий морковью. Щекочущими, вкусными запахами наполняется дом, пропитывается одежда, руки. Не хочется думать о длинной зиме, о двухметровых сугробах. Лето хранится в подпольях.

Потому люди и заботятся, перебрали ли дома картошку для посадки, готовятся ли высевать рассаду, записались ли на очередь пахать огород.

И только Михаилу Силантьеву неведомы заботы товарищей. Живет он одиноко, носится по земле, как перекасти-поле, скитается по общежитиям и заезжим комнатам.

— Эй вы, кулачье! — задиристо говорит он. — Вам что, денег мало?!

Силантьев лежит на лавке, курит, лихо поплевывает:

— Дожил до хорошей жизни красный партизан Никита Федорович Борщев! Кулаком стал!.. Ты, Никита Федорович, честно признайся — на раскулачивании бывал?

— Ну, бывал,— рассеянно отвечает старик.— Бывал, как говорится, и не раз бывал...

Силантьев восторгается прямодушным ответом Борщева. На его лице крайний восторг.

— Значит, опыт имеешь! — хохочет он.— Вот и раскулачь себя... Куркуль ты, Никита Федорович!

— Глупости говоришь, Силантьев! У нас личная собственность решена,— медленно поворачивается к нему Раков.

Изюмин, тоже не участвующий в заботах лесозаготовителей об огородах, отрывается от книги, устало потирает виски. Все время, пока работала радиостанция, он читал, сосредоточенный и отсутствующий. Аккуратно положив книгу на край стола, Валентин Семенович прислушивается к разговору лесозаготовителей, чуть приметно — краешками губ — улыбается.

— Личная собственность, конечно, будет постепенно отмирать, — важно продолжает тракторист. — Сейчас же, в период перехода к коммунизму, мы временно сохраняем личную собственность...

При словах «мы сохраняем» механик улыбается во все лицо, но в разговор не вступает, а ждет дальнейших слов Ракова. Тракторист же, видимо, не собирается говорить — отворачивается от Силантьева и принимает позу, которая выражает окончательность и бесспорность высказанной им мысли. «Я сказал, свое дело сделал, а вы как хотите! — говорит поза Ракова.— А то, что я сказал,— истина. Никаких других мнений быть не может!»

— Скажите, Раков, а лопата — орудие производства или нет? — поднимаясь с места, спрашивает Изюмин.

Раков думает, потом неохотно отвечает:

— Ну, предположим, орудие... Что из этого?

— Ничего особенного! Ответьте на такой вопрос — вы вскапываете огород лопатой, получаете продукт и считаете его личной собственностью? Скажите почему, коли лопата — орудие производства? Ведь, как известно, собственность на орудия производства не считается личной... Что вы скажете на это? Как развяжете узелок? — говорит механик и, сучающе пожевывая губами, смотрит на Ракова.

Вслушав Изюмина, Виктор и Борис переглядываются, подталкивают друг друга локтями и разом улыбаются.

— Вопрос поставлен неверно! — говорит Виктор. — Вы, Валентин Семенович...

— Пстойте, Виктор! — останавливает его механик. — Мне хочется услышать ответ от Ракова. Он так убедительно поучал, что я уверен — ответ последует... Мы ждем, товарищ Раков!

Лесозаготовители действительно ждут. Петр Удочкин, тот даже подался вперед, чтобы ничего не пропустить, а Никита Федорович многозначительно щурится, важно оглаживает бороду. Семенов смотрит на Ракова так напряженно, точно силится помочь ему.

— Мы ждем!

Раков никак не реагирует на восклицание механика — сохраняет прежний вид, но думает, как ответить, и наконец небрежно бросает:

— Вы неправильно поставили вопрос...

— Почему?

— Неправильно, и все! — сердито отвечает Раков.

Механик смешливо восклицает: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» — и разводит руками.

— Почему все-таки?

— Лопата не орудие производства.

— Вы же сами утверждали, что орудие...

— Мало ли я что сказал... Оговорился!

Изыюмин поднимается, проходит по комнате и, остановившись против Виктора, дружески просит:

— Поясните Ракову, Виктор!

Гав вспыхивает. Непонятно, почему он смущается — то ли от напряженной тишины в комнате, то ли оттого, что механик обратился к нему, словно к товарищу — умному, знающему, — то ли оттого, что Раков презрительно смотрит на него. Виктор делает широкий жест.

— В этом вопросе главное заключается в том, кому принадлежит орудие производства и как оно используется. Ведь вы, Георгий Филимонович, копаете лопатой своей, заметьте, свой огород и работаете сами, а не предоставляете лопату в распоряжение наемного рабочего. Вот в чем разница!

— А вы молодцом, Виктор! — Механик похлопывает его по плечу. — Я уверен — вы обязательно поступите в институт!

Потом, подумав, так же дружески обращается к Ракову:

— Вы не огорчайтесь! — И делает такой жест, точно хочет похлопать по плечу и Георгия Ракова, но вовремя сдерживается — Раков глядит на него со злостью.

— Вы здесь дурачков не ищите! — огрызается он. — Еще посмотрим на вас! Посмотрим!

И предостерегающе грозит пальцем.

4

Над зубчатой стеной тайги — звезды, месяц. Снег под соснами покрыт тенями веток, но вокруг светло — сосны стоят на длинных ножках-тенях, и от этого тайга кажется точно висящей в воздухе. Под ногами рвутся, лопаются льдинки. Тихо. А в ушах Федора Титова немолчный голос Лены — жены Георгия Ракова: «Мы все целуем тебя, Георгий...» Низкий, грудной голос. Мысли Федора путаются, ноги несут неизвестно куда, он спотыкается, спешит.

От голоса не уйти, не спрятаться. В этом боль и счастье. Лунной грядой бежит Федор Титов, словно убегает от самого себя. И не может уйти! Не знал он, что самым тяжелым в тоске по Лене окажется ее голос, послышавшийся из динамика радиостанции. Федор привык ко всему — видеть ее, говорить с ней, слушать на собраниях, — но сегодняшнее нежданно! Голос из динамика повернул время назад. На четыре года попятилось оно.

На пути Федора — старая, трухлявая сосна. Наткнувшись на нее, он приходит в себя, одумывается, встряхивается, и голос на секунду пропадает. Резко повернувшись, Федор идет назад. С каждым шагом он прямее, строже. Голос Лены совсем затихает, удаляется, слышен другой — внутренний голос самого Федора. В Федоре живут два человека: один — тот, что на людях, другой — в одиночестве. Второй человек насмешничает, издевается над Федором Титовым. «Баба ты, Федор Титов! Тряпка! Распустил слюни, как мальчишка! Прав Валентин Семенович — не умеешь держать себя в руках!»

Внутренний голос казнит Федора: «Нет воли, вот и презирают, не любят тебя люди! Тот же Гришка Кенгуру во сто раз лучше тебя. Конечно же! Настоячивый, деловой мужик, умеет добиваться своего, знает дело, не ленив». Внутренний голос Федора наливаются решимостью, настойчивостью: «Что было, то быльем поросло! Забыта Лена, и нечего вспоминать!.. Берись за ум, Федька! Начни работать честно. Погляди на Георгия — счастливый человек! А почему? Делом, работой счастлив!»

Титов останавливается. «Вот что сделай, Федор! Ночь лунная, свет-

лая, вернись в лесосеку и сейчас же собери хлысты, вытаскай на руках!» Он поворачивается лицом к лесосеке, но внутренний голос — первый — усмехается: «Вот опять порешь горячку! Ну зачем ночью, в одиннадцатом часу? Повремени до утра... Смешно бежать ночью в лесосеку. Что скажут утром ребята? Нет, нет, погоди, Федор! Пойдешь в лесосеку утром!..» — «Но почему же утром? Сейчас нужно начинать новую жизнь, сейчас надо порвать с прошлым! Слышишь, Федор? Иди собери хлысты. Начинай новую жизнь!..»

Федор стоит на полпути от барака к лесосеке. Ноги не знают, как поступить, а он — что приказать им... В голове путаница: «Не пори горячку!.. Иди в лесосеку!.. Не ходи в лесосеку!..»

Федор Титов возвращается к бараку...

Открывает дверь. Напряженная, выжидательная тишина: услышав скрип дверных петель, все сразу смолкли, попритушили улыбки, смех. «Что случилось?» — думает Федор и вдруг замечает какое-то пятно, которое притягивает, манит к себе. Федор перешагивает порожек первой комнаты, и все становится ясным — свежий номер боевого листа.

— Понятно,— говорит Федор, продолжая идти вперед.— Нарисовали! — Он криво улыбается.— Изобразили!

На небольшом листе ватмана рукой Удочкина нарисован Федор, быстро убегающий от тонкомерных хлыстов, к комлям которых пририсованы человеческие головки. «На кого ты нас покинул?!» — зывают они.

— Понятно,— машинально повторяет привязавшееся словечко Федор.— Редколлегия не дремлет... А мне, впрочем, наплевать! Вот так-то, кирюхи! — Он трогает за плечо механика Изюмина, просит: — Выйдем, Валентин Семенович! Поговорить надо.

Изюмин встает, поправляет полу пиджака, затем идет за Федором к двери, движениями, легкой улыбкой, наклоном головы подчеркивает, что он не знает, зачем позвал его Федор. У двери механик оборачивается к сидящим, усмехается — вот, дескать, поглядите сами, тащит на улицу, словно нельзя поговорить в бараке.

Они выходят из барака.

— Валентин Семенович, вы не удивляйтесь,— шепчет Федор.— Настроение у меня паршивое, смурое... Идемте к вам на электростанцию. У меня в одном местечке литровка припрятана. Консервы есть... Приложимся!

— Предложеньице,— улыбается механик.— Ты серьезно?

— Цельная литра!

— Пойдем! — коротко говорит Изюмин.

Полкилометра пути до эстакады они проходят молча и быстро. Федор скрывается за бревнами и вскоре выныривает из темноты с бутылкой. Изюмин распахивает дверь электростанции, пропускает Федора в маслянистую, густую темень.

— Праздновать так праздновать! — весело говорит он, включая аккумулятор. Станция наполняется желтоватым светом маленькой лампочки...

Все остальное происходит так же молча и быстро: звякает бутылка, булькает водка, скрипит нож, разрезая жель. Звенят сдвинутые стаканы, Федор относит на вытянутой руке водку, прицеливается прищуренным глазом, измеряет расстояние от губ до стакана, затем, закинув голову назад, резким движением подносит его ко рту и опрокидывает.

— Знаменито! — смеется механик, но сам пьет долго, мелкими глотками, затаив дыхание, и Федору представляется, что он тянет не водку, а сладкую жидкость. Когда Изюмин отрывается от стакана, на дне остается граммов пятьдесят водки.

— До конца, Валентин Семенович!

— Успею!

Федор откидывается к стене, засовывает руки в карманы. Он прислушивается к тому, что происходит в голове, ждет опьянения. Проходит несколько минут — и маленькая электрическая лампочка расплывается, колеблется, вокруг нее мельтешат розовые лучи, а в ушах у Федора все явственнее, все отчетливее начинают звучать маленькие стеклянные колокольчики.

— Берет! — удовлетворенно замечает Федор, и его голос звучит чуждо, непривычно звонко. От этого Федору становится весело. — Повторим, Валентин Семенович!

— Подождем, Федор! — отвечает Изюмин, покрасневший от выпитого. От водки он помолодел.

— Вам водка идет! — говорит Федор механику. Изюмин вдруг становится родным и близким, хочется сказать ему ласковое, признательное. — Вы здорово пьете, Валентин Семенович! Навык есть! Я все никак не спрошу, откуда вы приехали? Вы, должно быть, не простой человек, Валентин Семенович?

Механик хохочет; протянув стакан, обращается к Федору:

— Наливай! Где наше не пропадало! Лей! Вот так!.. Откуда я к вам приехал? Отсюда не видно! А человек я простой, обыкновенный! — И вдруг резко обрывает хохот. — Вернее, был человеком... Да ты не серьезничай! Шучу я. — Изюмин опять сбивается на смех. — Механик я. Вот и все, Федор!

— Кем вы раньше работали, Валентин Семенович?

— Механиком, механиком! Выпьем! За твое здоровье, Федор!.. Не горюй! Перемелется — мука будет. Это хорошая поговорка. Я в нее верю. Пей!

— Я не горюю. Чего горевать?!

Выпив второй стакан, Федор закуривает. Много сильнее, выше становится Федор, и от этого мелким, надоевшим и несостоящим представляется все вокруг. Как с высокой башни, он озирает мир, в котором есть Семенов, тонкомерные хлысты, боевой листок. Вся жизнь Глухой Мята в представлении Федора сливается в незаметное пятнышко. Мелка и смешна ему Глухая Мята.

Одно осталось в окружающем: словно опухшее — или это кажется Федору? — лицо механика Изюмина. Под глазами точно нет ни носа, ни подбородка, а один большой рот.

— Да, обидели тебя, Федор! — говорит рот.

— Черт с ними! — с колокольной высоты своего роста бросает Федор. — Вались они в яму! Кирюхи! — Маленькие, суетливые, копошатся букашки-люди, куда-то бегут, что-то делают, торопятся. Не снисходит до их муравьиной возни Федор. Куда? Зачем? — Дернем еще по сто, Валентин Семенович!

— Много!

— Ничего!

Федор наливает еще полстакана и выпивает один, без механика, и с этой минуты в опьяненном мозгу возникает низкий грудной голос, звучит настойчиво, громко.

— Это разве обидели? — Федор покачивается на скамейке. — Так разве обижают?! Подумаешь, боевой листок... Это не обида, а комариный укус! Хочешь, расскажу, как обижают человека по-настоящему, как душу из него вынимают... Хочешь, расскажу... Ты только согласишься, я расскажу, я обязательно расскажу тебе, Валентин Семенович! Ты мне лучший друг! Рассказать?

— Расскажи! — соглашаются губы.

— Обижают человека вот как... Представь ты себе, течет Обь, луна светит, песню поют, а ты идешь по берегу с девкой — такой красивой да веселой, что нет у тебя ног... Или вот возьми ты, к примеру, такое — сидит человек с красивой девкой на скамеечке, ночь кругом, весна, и она вдруг целует человека и говорит, что, дескать, люблю тебя. Ты, говорит, хороший, добрый, родной... Я, говорит, с тобой до гроба, по конец жизни... Так вот этот человек — я!

— А красивая девка — жена Ракова! — размыкаются губы механика.

Федор, откинувшись назад, сильно покачивается. После паузы хрипло спрашивает:

— Ты откуда знаешь? Тебе кто сказал? — И руками наваливается на Изюмина.

Механик осторожно, но решительно отстраняет его, поднимается. Федор тяжело дышит.

— Ты не с идиотом имеешь дело, Федор! — говорит Изюмин. — Я это подозревал и раньше, но сегодня понял окончательно. Когда заговорила по рации жена Ракова, ты ведь не вышел, а бросился из барака... А ну, кончай истерику! — Бутылка в руках механика не колеблется, не звякает о стакан. — Выпей-ка еще!

Послушно, как ребенок сладкую микстуру, Федор выпивает еще полстакана, а Изюмин начинает прохаживаться по тесной станции, вертится на каблуках.

— Ты идиот, Федор! — бросает механик. — Мне непонятно твое поведение! Раков у тебя отбил девушку, а ты перед ним лебезишь. Невозможно! Ты беспрекословно подчиняешься ему. Непонятно! Может, ты идиот, Федор?

— Не оскорбляй, — тихо просит Титов. — Ты мою душу пойми, а потом оскорбляй...

Изюмин крепко берет его за руку, сильно надавливает на кисть.

— Твою душу понимать нечего — рабья душа!

Гремят бутылки, стакан падает на пол — это Федор бьет по столу. Изюмин отступает назад, ладонями упирается в грудь Федора, а когда тот теряет равновесие, схватывает за кисти.

— Спокойно, Федор! Спокойно! Остынь-ка немножко!

Схваченный за руки, Федор не может двигаться, чувствует боль в запястьях — пальцы у Изюмина железные.

— Отпусти! — вскрикивает он.

— Отпущу, если сядешь!

Федор садится.

— Так-то лучше! — Механик убирает руки. — Я ведь не Семенов... Это с ним ты можешь выкидывать фокусы... Сиди, не рвись! Кому говорят! И изволь выслушать меня до конца, коли пригласил и считаешь другом!

Федор обвисает, роняет голову на грудь.

— Говори! — пьяно соглашается он.

Механик говорит спокойно, рассудительно:

— Ты, в общем, слабый человек. Тебя хватает только на вспышку, на крик. Борьбаться по-настоящему ты не можешь. Вот поэтому и отбил у тебя девушку Раков! Так же ведешь ты себя и с бригадиром. Я уверен, он тебя сошьет веревочкой...

— Это мы еще будем посмотреть! — Титов пьяно покачивается. — Я ему морду начищу!

Изюмин хохочет, показывая два ряда белых отличных зубов.

— Ты?.. Семенову?.. Не смейся! Он тебя в подкову свернет! Куда тебе против Семенова! Ты с Раковым не мог тягаться! Эх, Федор, Федор!..

— Ну что «Федор, Федор»? Я Федор, вот и все!

— Э, да ты совсем пьян! — презрительно говорит механик, присмотревшись к нему. — С тобой и говорить нечего! А я хотел рассказать, как проучил сегодня Ракова...

— Ты меня послушай! Послушай, а? — Федор тянется к Изюмину.

— Ну, слушаю!

— Ты Ракова не тронь... Я тебя прошу, не тронь Ракова... Ленка правильно сделала, что за него вышла... Ты думаешь — неправильно. Правильно! Очень даже правильно... Кто есть Федор Титов? Пьяница, хулиган, забулдыга... Вот кто! А Гошка Раков кто?.. Молодец!

— Эх, Федор, Федор! — цедит сквозь зубы механик.

— Ты не перебивай... У Ракова от Ленки двое детей... Ты понимаешь, двое детей... Дочка — ну вылитая Ленка. Вот что! Ты Ракова не обижай! Ты кого обидишь? Ленку! Вот кого ты обидишь!..

Изюмин улыбается.

— А ты блаженный, Федор! Слепец! А люди хитрее!.. Возьми Ракова. Орден добывает человек, славу! Возьми десятиклассников — все отдадут за справку! Погляди на Семенова — надоело ходить в трактористах, вылез в бригады, карьеру делает! И неужели ты не понимаешь, почему Силантьев бежит за Дарьей? Думаешь, ему эта баба нужна?! Нет! Он узнал, что у Дарьи есть собственный дом. Надоело мужику колесить по свету, вот и прибывается к тихой пристани... Слепец ты, Федор!

Федор глядит на механика странными, остекленевшими глазами. Он, видимо, не понимает его, и от этого трет руками виски, но это не помогает, и Федор бессильно роняет голову на стол. Он совсем пьян.

5

На свежем воздухе Титов немного приходит в себя. Шагает покачиваясь, но твердо...

— Луна! — бормочет он. — Светит... Ей что!

— Не торопись! — уговаривает его Изюмин. — Нужно прийти в себя, видишь — в бараке огонь.

— Наплевать! К черту! — Федор шатается.

— Не надо дразнить!

— Ага, ты боишься, а я не боюсь! А говоришь, Федор раб! Нет, брат, Федор не раб! Федор их не боится, а ты боишься!

— Ну, как хочешь! Я тебя предупреждал!

Федор бросает руку Изюмина, бежит на нетвердых ногах к бараку, остановившись у дверей, хохочет, кривляется.

— Федор Титов никого не боится! Вот так...

Механик идет тем же неторопливым шагом. Он, видимо, не собирается удерживать Федора, и тот широко, как ворота, открывает дверь. В бараке никто не спит — сидят на лавках, за столом, на привычных местах. Виктор и Борис роются в учебниках, перед ними гора книг и тетрадей. Мирно, спокойно в бараке. Усталые люди наслаждаются теплом, тишиной, настроены спокойно, умиротворенно, негромко переговариваются, беседуют о пустяках. Хорошо в бараке за полчаса до сна, и тем холоднее, неудобнее становится, когда с грохотом открывается дверь и на пороге возникает из тьмы фигура Титова — вихляющаяся, растерзанная, полуосвещенная.

— А вот и я! — клоунским голосом представляется Федор. — Привет честной компании! Мое почтение, товарищ бригадир! Наше вам с кисточкой! Привет от Федора Титова!.. Гошке Ракову тоже привет! Всем привет!

За Титовым, словно сама собой, закрывается дверь — ее прикрывает Изюмин, скрытый спиной Федора. Механик быстро обходит его и садится у печки, в тень.

— Всем привет с кисточкой! — Федор низко кланяется, а лесозаготовители, посмеиваясь, молчат... Пьяный человек не в диковину им. Со всем непьющий человек в лесу редок. Но и перед водкой стоит барьер — не пей в рабочее время, а накануне рабочего дня воздерживайся, не перехватывай лишнего. Тайга коварна: того и гляди окровавит острым суком захмелевшего человека, схватит за ноги болотным засосом, хуже того — перебьет позвоночник сосной. Тайга не любит водки. Поэтому и подозрительны лесозаготовители к человеку, перемешавшему сосновый запах тайги с сивушным запахом. Тверд закон у коренных, бывалых лесорубов — вон из тайги пьяный, чтобы не случилось страшное; коли перехватил вчера, сглупил по неразумению — получай прогул! А в нерабочее время пьяный не редкость, и никаких особых чувств у лесозаготовителей, кроме любопытства — где это набрались да много ли хватили? — не вызывает.

— Чего молчите? — Федор покачивается. — Разговаривать не желаете?.. А? Не желаете, да?

Но товарищи молчат, приглядываются к Федору, определяют наметанным глазом, насколько пьян. Силантьев по-собачьи поводит носом, принимается и определяет:

— Он водку прятал! Ловкач! Артист! — И в голосе звучат зависть и удивление.

Бригадир скрывается в тени, Раков невозмутимо щурится, а Виктор и Борис спокойно встают, переглядываются и, захватив по кипе учебников, неторопливо уходят в соседнюю комнату.

— Вот! — с изумлением, восклицает Федор. — Ты посмотри на них! Замыслили из себя людей! — Но он быстро забывает о ребятах, шлепается на табуретку рядом с Силантьевым. — Мишка, здорово!.. Ты чего с нами не пил?

— А ты звал? — сердито морщится Силантьев. — Ты Изюмина пригласил...

— Правильно! Иди ты к черту, Мишка!

— Сам иди! — отругивается Силантьев, но видно, что он обижен не тем, что Федор обругал его, а тем, что не пригласил на выпивку. От механика, сидящего в тени, Силантьев демонстративно отворачивается.

Семенов молчит. Когда Титов, покачиваясь, вошел в комнату, спугнул уютную, дружелюбную тишину, бригадир на миг показалось, что раздастся чей-то возмущенный голос, кто-то вскочит, остановит Федора. Но ничего не случилось...

Никита Федорович помаргивает ресничками, щурится.

— Ты, Федор, перебрал! — замечает он. — Тут ведь такое дело, как говорится, немного не рассчитал, хватил лишнего — и готово! Шел бы ты спать, Федор!

— Никита Федорович, папаше привет!

Спокоен, хранит обычную невозмутимость Георгий Раков.

— Набрался, как свинья! — презрительно говорит он после длительного молчания.

Титов глупо хохочет.

— Ты смотри, нет, ты смотри! Гошка загворил! — Затем фамильярно, дружески наклоняется к Ракову, берет за пуговицу. — Слушай,

Гошка, знаешь, кто я перед тобой?.. Раб! Понял? Раб! А раз раб, то хочешь — ударь меня по морде! Ударь!

— Пошел к дьяволу!

— Правильно! Гони! Я кто? Кирюха!

Глаза Федора скользят по стене.

— Ага! Боевой листок! Замечательно!

Федор подходит к стене; широко раскинув руки, упирается ими по обе стороны листка.

— Я... Федька... похож... здорово похож!

Снимает руки со стены и замирает — он пытается рассчитать движение, чтобы сорвать боевой листок, и всем это понятно. Федор немного отклоняется назад, но, прежде чем сделать движение к стенке, оборачивается к бригадиру.

— А я сейчас его сорву! Слышишь, Гришка, сорву... Возьму и сорву!

— Не надо! — вскрикивает Удочкин.

Изюмин вскакивает с места, подбегает к Федору и хватает его за руку.

— Э, голубчик, это не положено! — улыбаясь прямо в лицо Федору, говорит Изюмин. — Боевые листки срывать нельзя! — терпеливо, словно маленькому ребенку, поясняет он Федору. — Тебе надо ложиться спать!

Бригадир Семенов напряженно смотрит на механика, и ему вдруг кажется, что где-то он встречал этого человека. Где-то видел Григорий его ясные глаза, короткую верхнюю губу над ровными зубами. Где-то видел... Но где — вспомнить не может.

— Спи, Федор! — настаивает механик.

Титов делает сладкое, умильное лицо, обнимает Изюмина.

— Ты мне друг? Друг!.. Дай я тебя, Валя, поцелую! — И действительно целует.

Механик смеется, разводит руками. Затем ведет Федора к матрацу, усаживает, командует:

— Снимай сапоги! Теперь тяни рубаху!.. Вот и хорошо... Спи! — Он отворачивается от Федора, достает из кармана платок и быстро вытирает то место, куда поцеловал тракторист. Затем возвращается к печке — высокий, подтянутый, стройный.

Семенов сидит неподвижно. Он о чем-то думает.

6

Как стальные звенья тракторной гусеницы, похожи один на другой рабочие дни в Глухой Мяте. Рабочий день расчерчен на клетки часов, разделен на две половинки. В восемь часов — начало, затем обед, два перекура по полчаса, и все. Плавно, неторопко течет время, оставляя высокие штабеля на берегу Коло-Юла, прореживая густой сосняк.

Рабочие дни в Глухой Мяте похожи, словно близнецы, но есть между ними и различие. Оно в людях, которые бывают то веселые, то грустные, то энергичные, то отчего-то расслабленно-ленивые.

Спокойный, уравновешенный человек Георгий Раков, а вот сегодня не такой. Чем-то недовольный, сумрачный, пришел на лесосеку, молча завел трактор, молча забрался в кабину, рывком бросил трактор вперед. Семенов поглядел на него, присвистнул от удивления, сдвинул шапку на затылок — что это с Георгием? Не было такого, чтобы знатный тракторист беспричинно рвал машину, на высшей скорости шел по волоку. Что с ним?

Не похож на себя сегодня и Федор Титов. Он не может смотреть товарищам в глаза, виляет взглядом, сторонкой обходит лесозаготовителей, забравшись в машину, осторожно, чтобы не лязгала, не привлс

кала внимания, трогается и незаметно скрывается в тайге. Впереди качается в сумраке, подпрыгивает красный огонек — сигнальный фонарь машины Георгия Ракова. Федор смотрит на него и кривится от боли в голове, от беспокойства на сердце, а главное, оттого, что вспоминается вчерашнее, слышатся злые слова: «У тебя рабья кровь, Федор!»

Георгий Раков машину ведет неровно, рывками. Раков сердит на Изюмина. Он не помнит, когда был так унижен и оскорблен. И все — вчерашний случай с лопатой, которая оказалась одновременно и орудием производства и не орудием производства. В памяти Ракова всплывает лицо механика, слышатся слова: «Вы не огорчайтесь!» А после слов такое движение, словно Изюмин хочет снисходительно похлопать по плечу его, Георгия Ракова.

Георгий ворочается на сиденье, переживает... Не ответил на вопрос механика, а нагрубил, погрозил пальцем, да и грубил-то оттого, что было неловко перед товарищами.

— Сюда, сюда! — слышит он веселый голос.

С магистрального волока трактор входит в лесосеку, навстречу бежит Борис Бережков, кричит что-то радостное, утреннее, но Раков встречает его вопросом:

— Борис, кто такой этот Изюмин?

— Механик, — по инерции, не задумываясь, отвечает Борис и сам понимает, что сморозил глупость.

— Откуда приехал?

— Говорят, из Томска.

— Кем раньше был?

— Механиком, наверное... — отвечает Борис, пожимая плечами.

Ему приходит на ум, что они действительно ничего не знают о механике.

— Он знающий человек! — неопределенно буркает Борис, чтобы хоть немного удовлетворить любопытство Ракова.

— Это вижу! — отрезает тракторист. — Давай чокеровать воз!..

На обратном пути из лесосеки Георгий думает о механике. Странный он, нездешний, говорит так, что не поймешь — серьезно или шутит. Руки у него белые, нежные, но он не белоручка, не неженка. Раков видел, как он заводил станцию. Коленчатый вал вертелся так быстро, точно работал мотор, а ведь механик сам крутил заводную ручку. Изюмин умеет работать электропилой, сучкорезкой, водит трактор. Работает Изюмин хорошо: за все время на станции не было ни одного простоя. Бригадир сказал Ракову: «Изюмин такой механик, каких я еще не видел. Он омолодил станцию!»

Раков роется в Изюмине, невольно ищет в нем плохое и не находит: со всех сторон хорош механик. Мелочи не в счет, хотя много их... Вот вчера, пьянствуя с Титовым, механик в барак проскользнул незаметно, так, чтобы его не заметили, оставил Федьку одного. Заметил Раков и то, как Изюмин брезгливо вытер губы после поцелуя Федора... Раков знает много таких мелочей за механиком, но понимает, что мелочи — это мелочи. Ведь после того, как механик незаметно пробрался в барак, он первым остановил Титова, не дал сорвать боевой листок, уберег Федора от неприятности. А от пьяного поцелуя Федора каждый, пожалуй, вытерся бы...

Нет ничего плохого в механике! Оттого Ракову вдвойне стыдно. Грозился: «Посмотрим на вас, посмотрим еще!» А что посмотрим? На себя надо смотреть, а не на механика... «Вот так-то! — рассуждает Раков. — Так-то!»

Даже в разговоре с самим собой он остается немногословным, сдер-

жанным — он не любит лишних слов, как и лишних движений. Каждое слово, каждый жест Ракова рассчитаны. Георгий Раков вообще придерживается в жизни твердых правил, он не меняет своих точек зрения и привычек, считая их самыми верными, самыми лучшими.

Притащив воз на эстакаду, Раков отцепляет его и идет к передвижной электростанции. Изюмин читает. Вид у него немного смешной; он выглядывает из дощатой будки, как из конуры, недаром Силантьев раскричался, когда Изюмин заболел и некому было работать: «Не пойду на станцию! Не буду сидеть, как собака в конуре!»

Раков подходит к механику, садится на порожек и начинает крутить сигарку. На Изюмина он словно не обращает внимания, а на лице такое выражение, как будто говорит: «Присел потому, что место удобное, тихое. Лучше и не найдешь!» Закрутив вершковую сигарку, он тянется прикурить к механику, и это тоже молча, безразлично, а когда втягивает дым в себя, щеки западают, и опять кажется, что произносит равнодушно: «Спички у меня есть, но мы в лесу, разбрасываться дорогим товаром не приходится!» Изюмин так и понимает его, охотно протягивает дымящуюся папироску. Он серьезен и вежлив.

— У меня перекур! — небрежно сообщает Раков, чтобы механик не заподозрил его в лени.

— Пожалуйста, пожалуйста! — отвечает Изюмин.

Некоторое время они курят молча, не глядя друг на друга, и у Ракова по-прежнему такой вид, словно механик его ничуть не интересует, а присел он рядом без всякой причины, просто захотел и сел.

— Ну ладно! — говорит Георгий, когда самокрутка догорает. — Так весь день можно просидеть!

Он неторопливо поднимается, но уходить не спешит, чтобы Изюмин успел понять смысл его слов, в которых заключено следующее: «Сидеть в конуре мы непривычные. Нам настоящую работу подавай!» Когда, по его мнению, проходит достаточно времени, чтобы механик понял сказанное, Раков делает несколько шагов вперед, но останавливается.

— Да! — словно вспоминает он. — Я вот что любопытствую! Где вы прочитали про лопату? В какой книжонке про нее сказано?.. Полистать бы ее надо, полистать... — Он делает небрежный жест пальцами, точно листает книгу. — Как она называется?

— Как она называется? — переспрашивает механик и тоже поднимается. Забросив папиросу, он спокойно застегивает на все пуговицы блестящую кожанку, выпрямляется и, шагнув к Ракову, становится вдруг строгим, официальным, таким, будто у него под мышкой зажат пузатый портфель. — Таковую книгу я вам порекомендовать не могу, — говорит он.

— Почему? — сощуривается Георгий.

— Не хочу! — отвечает механик. — А вот предупредить надо! Слушай, Раков, если еще раз ты сощурись на меня, плохо будет.

— Это почему?

— По всем обстоятельствам! — тихо говорит Изюмин. — Можешь поучать кого угодно, только не меня.

— Ага! Понятно! — Георгий Раков нарочито медленно поднимает руку, двумя пальцами проводит по давно небритым усам, разглаживает их и исподлобья смотрит на механика так, словно оценивает его. — Понятно! Червяк тебя ест...

— Какой червяк?! — с угрозой отзывается Изюмин.

— Здоровенный! Первым хочешь быть, а не выходит... Я к тебе давно приглядываюсь, но все не пойму, что за чудо ты. А теперь ясно... Злость хочешь на мне сорвать. Ясно!

Глава третья

1

В середине апреля в Глухую Мяту со стороны Алтая и Средней Азии приплыли теплые, весенние ветры.

Это произошло ночью, когда тайга не ждала, не ведала о приходе долгожданных гостей. Вечером на небе еще висели неподвижные облака, тайга, затянутая кружевной дымкой, стыла в изморози. Но вот в полночь прошелся с юга первый — неуверенный, пробующий — косяк ветра, промчался над вершинами деревьев. Он был густым и теплым, этот порыв ветра.

Первой услышала его сосна, оставленная бригадиром Семеновым, она вздрогнула, качнула маковкой и замерла — не верила еще, что долгожданное случилось. Потом снова зашелестела и снова прислушалась — так ли? Не перепутала ли она теплые алтайские ветры с обским ветродуем? Нет, не перепутала: по зеленому морю течет уже забеглая волна ветров-южан, тревожит деревья, веселит.

Пронесся первый косяк южных ветров, прошелестел и затих за тайгой над Обью, а за ним летит уже второй, третий, четвертый...

Поутру лесозаготовители выходят из барака и оторопело останавливаются — тайга лежит перед ними теплая, влажная. Все, что схватывает глаз, — лес, барак, рядки березок — выросло за ночь, вытянулось вверх и помолодело. Пригляделись и поняли — осел снег. Потому и кажется выросшим мир.

Взволнованные сороки летают низко, цокочут, ссорятся. От земли поднимается сырой, душный туман, пахнет прелыми листьями, озоном, смолой. У тонких березок почернели ветви; тяжелая, отсыревшая стена сосняка не шевелится, безмолвствует. И дует ветер — ровный, настойчивый, ощутимый.

В нарымские края пришла весна!

— Ах ты мать честная! — восклицает Борщев и нагибается к земле...

Шестьдесят весен хорошо помнит он. Всякие бывали они — веселые и печальные, скорые и медленные. Всякие бывали, а вот такой, пожалуй, давно не было — запоздав недели на две, весна в одночасье замыслила наверстать потерянное и, заторопившись, опередила себя. Так торопилась, что сразу пала на землю дождем. Оттого и корявится снег, простреленный дождевыми пулями.

— Ах ты мать честная! — всплескивает руками старик.

Под корявой оболочкой снега зажурчали тонкоголосые ручейки, снег на глазах темнеет, булькая, валится в промоины. Никита Федорович берет пригоршню снега, сжимает в пальцах — струйки брызжут в стороны.

— Ах ты господи! И не припомню такой взгальной весны! Вот разве в тысяча девятьсот двадцать шестом было такое! Ах ты мать честная!

Семенов задумывается. Случилось то, чего он боялся, чего ждал беспокойными ночами. Скорая, дружная весна пришла в тайгу... Днями нужно ждать — взлохматятся болота, просквозят сосняк ручейки, наполнят тайгу голубым сиянием, и через день-два речушка начнет набухать, тревожиться подо льдом. Коло-Юл за одну ночь станет разливаным морем, подхватит, понесет на себе заготовленный бригадой лес. Пройдет время, речушка уляжется, а на берегах останутся сосны, не срубленные лесозаготовителями. Пропадут, погибнут они.

Хлюпяя раскисшим снегом, люди идут в тайгу, бригадир шагает, чувствуя спиной напряженное молчание товарищей. Лесозаготовители

все понимают: знают прихоти речушек, коварство болот, опасную для человека весеннюю тайгу; знают, что, если Коло-Юл двинется за неделю до Первомай, они не успеют выбрать Глухую Мяту. Если будут работать так же, как сейчас.

— Ах ты господи,— тихо произносит Никита Федорович, давно позабывший бога.— Ах ты господи...

2

Южные, залетные ветры тревожат Виктора и Бориса — ветры принеслись из другого, непохожего мира. В том мире нет облупленного барака, шумящей тайги, мокрого снега. В том, другом, мире иное — гулкие молчаливые коридоры, тихие аудитории; там, на Тимирязевском проспекте, подняв руку, шагает бронзовый Кирзов.

По утрам Томск заливают толпы студентов. В университетской роще на скамейках сидят тихие тоненькие девушки, держат на коленях книги, закрыв глаза, шепчут про себя имена египетских фараонов. По сквозным аллеям ходят с толстыми палками профессора; их мучит одышка, но они терпеливо шагают, прогуливаясь.

Виктор и Борис скоро поедут в Томск сдавать приемные экзамены в Политехнический институт. Два года прошло с тех пор, как завязался в их жизни запутанный узелок: что делать дальше? Пощупав пальцами глянцевитую бумагу аттестатов зрелости, посидев на берегу Оби, ребята твердо решили — легких путей не искать, в институтские двери стучаться после того, как рядом с аттестатом ляжет справка о трудовой деятельности. В свои руки ребята верили — они знали пилу, рубанок. Не было школьных каникул, чтобы они не работали в леспромхозе, и, случалось, зарабатывали за лето по пять-шесть тысяч рублей и уже в восьмом классе щеголяли в шевиотовых костюмах, на скучных уроках не томилась, а точно знали, сколько осталось времени до конца: имели часы «Победа».

С тех пор они и работают в леспромхозе. Специальность освоили быстро, на второй месяц уже выполняли норму. Они были физически сильными, закаленными. Из школьной спортивной секции принесли на производство особый спортивный дух, дружбу, проверенную на лыжной дорожке и дистанции барьерного бега. Оттуда же вынесли и привычку держаться прямо, ходить раскачиваясь, называть друг друга ласково — Боря, Витя.

Две жизни у ребят: одна — в лесосеке, другая — за письменным столом.

Первая жизнь — в лесу — проста, как закон Ома. Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. Так и в жизни — чем больше напряжения в работе, чем чаще кричишь «бойся», тем больше хлыстов возьмут трактористы. Универсален закон Ома. Спокойно, деловито относятся ребята к своему делу.

Вторая жизнь сложнее. В ней есть дебри, запутанней и непроходимей, чем в Глухой Мяте, через них порой пробираться тяжело. Медленно карабкаются ребята по непроторенным тропам науки.

Сначала они отказались ехать в Глухую Мяту: не поедем, нам это не нужно! Разве дирекции леспромхоза не известно, что они готовятся к приемным экзаменам?! Ах, известно! Тогда поищите других... Однако директор Сутурмин посмеивался и наконец изрек следующее:

— А какая была бы отличная характеристика — выполняли особое, специальное задание! Каково, а?

И опять посмеивался, приговаривая:

— Бойтесь, голубчики, испугались!.. Это конечно — под маминой юбкой и дурень приготовится к экзаменам!

Ребята на слова директора не обращали внимания, переглядывались, молчали и ушли от Сутурмина, пообещав на досуге подумать о его предложении. И снова, как два года назад, сидели на берегу Оби.

— Знаешь, Боря, у меня такое чувство, точно я стою перед планкой с высотой сто шестьдесят пять,— сказал Виктор.

— Не понял.

— Вот чудак! Я беру высоту сто шестьдесят, а он добавил пять сантиметров...

— Кто?

— Ты отупел от переживаний, Боря... Директор — вот кто! Он, наверное, думает, что я не возьму сто шестьдесят пять!

— Теперь понял! Значит, едем?

— Едем, Боря!..

Вторая — нерабочая — жизнь начинается сразу после шести часов. Исключений из этого правила не было, разве только землетрясение могло помешать ребятам сесть за рабочий стол. Расписание, выработанное и утвержденное ими еще в леспромхозовском поселке, было той твердой гранью, которая отделяла первую жизнь от второй.

По колено в снегу вальщики пробираются в дальний конец лесосеки; за плечами тяжелые пилы, в руках валочные клинья, позади тянутся змевины электрических кабелей. Меж соснами бегут тугие теплые ветры. Они пахнут весной. Сырые, отяжелевшие ветки мягко прикасаются к лицу — хвоя отопрела, размякла. По стволам катятся капли смолы, светло-желтые и оранжевые. В низинах плавают клочья тумана.

Сегодня в тайге нет эха. Звук сникает тут же, неподалеку, в промозглости напитавшейся влагой тайги.

Виктор Гав подрезает сосну. Его тело напряжено, локти вздрагивают; у него стремительная, припадающая к сосне поза. Дерево покачивается, в корне что-то щелкает, на землю летят иглы, сучки. Когда пропила углубляется, Виктор прерывает работу, глядит вверх — маковка сосны, раскачиваясь, чертит распластавшиеся облака.

— Бойся! — кричит Виктор.

Маковка сосны замирает. С земли это мгновение кажется долгим, но треск усиливается, хрустко рвутся волокна, дерево поворачивается, падает, и тогда вершина чертит на облаках стремительную пологую дугу.

Земля дрожит и стонет.

Если отойти в сторону и прислушаться к звукам лесосеки, ухо уловит ритм, систему в кажущемся хаосе. Если долго слушать рабочий шум, может показаться, что по лесосеке идет медлительный, ленивый великан — сделает шаг, постоит, подумает, куда поставить ногу, снова шагнет. И каждый его шаг сотрясает землю. А перед тем как шагнуть, великан честно предупреждает обитателей тайги: «Бойся!..»

В одиннадцать часов на лесосеку приходит Изюмин.

— Как отдыхается? — спрашивает он ребят. Они сидят на стволе дерева.

— Ничего! Спасибо! — оживленно отвечают они.

Валентин Семенович усаживается рядом, достает дорогую папиросу, протягивает ребятам портсигар.

— Да! — сочувственно говорит механик. — Это печально, но факт: некоторым людям приходится вместо науки заниматься валкой леса!

— То есть нам? — Борис смешливо тычет себя пальцем в грудь.

— Если говорить конкретно, то именно вам! — отвечает Изюмин, сильно затягиваясь папирсой. Он выпускает дым стружкой, потом ко-

лечком, затем зигзагом и с тщеславным видом фокусника смотрит на то, как в воздухе плывут красивые фигуры. Кажется, что в этот миг для него нет ничего интереснее завитков дыма. Но он, видимо, не забывает сказанного, потому что немного погодя продолжает:— Наука вступает в противоречие с интересами производства.

Затронутый вопрос интересен и ребятам, они переглядываются, пожимают плечами.

— Вы хотите сказать, что мы больше заинтересованы в подготовке к экзаменам, чем в работе? — спрашивает Виктор.

Механик решительным жестом выбрасывает вперед ладони, старается выразить гневный протест, и ему удается это — ребята, увидев его позу, расширенные негодованием глаза, возмущенный взлет черных бровей, не выдерживают, смеются. А он говорит:

— Ничего подобного я не утверждал. Наоборот, я всегда подчеркиваю, что вы выполняете и значительно перевыполняете нормы выработки... — заключает он таким тоном, что не понять, шутит или действительно хвалит ребят.

Переход от шутки к молчанию знаком им — Изюмин так делает часто. Вот шутит он, посмеивается, и вдруг другой человек перед ними! И этот человек много старше первого. Когда механик шутит, ему можно дать лет тридцать, когда серьезен — все сорок.

— Ну, ладно! — говорит Изюмин. — Делу — время, потехе — час! Пойду!

Механик Валентин Семенович Изюмин продолжает обход лесосеки. Когда ребята-десятиклассники скрываются, он сгоняет с лица улыбку, становится сосредоточенным, серьезным, идет медленно, осторожно.

Изюмин в тайге один.

Прошагав метров пятьдесят, он присаживается на пенек, достает папиросу, закуривает. Лицо механика сердито. Он долго сидит неподвижно, потом резко сминает папиросу, но не поднимается, а продолжает сидеть, опустив голову. Так проходит минут пять, затем Валентин Семенович встает и быстро идет к эстакаде.

3

За двадцать минут до обеда Михаил Силантьев просит Петра Удочкина: «Пореви сучкорезкой, я в одно местечко сбегая!» — и, получив согласие, торопливо снимает брезентовый фартук. «Чего это он?» — раздумывает Удочкин, включая инструмент. Услышав разговор, Семенов отрывается от пилы, смотрит на торопящегося Силантьева, хочет что-то сказать, но не успевает — Силантьев спрыгивает с эстакады и скрывается.

Петр провожает его взглядом, не замечая, что сучкорезка дико заливается на холостом ходу.

— Выключи! — точно издалека доносится до него голос бригадира, и Петр приходит в себя. Наклоняясь к свежему хлысту, думает: «К Дарье побежал!» Потом Петр тщательно срезает толстый сук, заравнивает место и нагибается к другому сучку.

«К Дарье побежал! — продолжает он размышлять. — Что он, интересно, задумал?» Длинное большегубое лицо Петра задумчиво. Он лезет в карман пиджака, достает перевитый березовый корень. Силантьев, напыжившись, глядит на него, словно говорит: «Хорошие попадались бабоньки! Я им спуску не давал!»

«Обидит он Дарью!» — беспокоится Удочкин, бросает сучкорезку и перешагивает через хлыст, чтобы спуститься с эстакады. Но не успевает сделать этого.

— Ты куда? — останавливает Удочкина бригадир.

— Сейчас вернусь, Григорий Григорьевич!

— Вы что, товарищи? Это демонстрация? Пятнадцать минут до обеда, а вы разбегаетесь! Вернитесь на место, Петр! — сердится Семенов.

Удочкин возвращается к сучкорезке. «Ведь обидит Михаил Дарью!» — думает он, ворочая тяжелым инструментом. Огромный сук не поддается, диск застревает в дереве, останавливается, мотор дико гудит. Удочкин выхватывает сучкорезку из пропила и нервно оглядывается на бригадира и Борщева. Оба — и Семенов и Никита Федорович Борщев — смотрят на Петра.

«Спокойнее, спокойнее!» — уговаривает себя Удочкин, но все не может отвлечься от мысли о Дарье... Полмесяца прошло, как он приметил, что Силантьев поглядывает на нее. Сначала Петр краснел, когда Михаил замаслившимися глазами пробежал по Дарьиной фигуре и подмигивал ему, если их взгляды встречались. Позднее Удочкин заметил перемену в Силантьеве... Удочкин вообще многое замечал за людьми. Не своей жизнью, а жизнью других жил он, спокойный, незаметный. И поэтому все примечал за ними. Вот и тут также Удочкин заметил разительную перемену в отношении Силантьева к Дарье: Михаил словно опасался молодой женщины. Когда она проходила по бараку, норовил уступить дорогу, за обедом или ужином, принимая из ее рук тарелку, нервничал.

Главное чувство Петра к Дарье — жалость... Два года назад в теплую лунную ночь, на рассвете, когда леспромхозовский поселок, потягиваясь, готовился вставать, Дарья прибежала по росе в дом соседей — Удочкиных. Дрожала мелко, жалко, руки висели плетьюми, а на голом круглом плече лежала прядь вырванных волос. Дарья не плакала.

— Ой, милушка! Убил он тебя, негодяй! — взвыла в голос мать Петра.

Дарья молча обвисла на стуле. За окнами хрипел и дико матерился ее муж, Васька Сторожев.

— Выходи, сволочь, убью!

На рассвете за драку в клубе Ваську арестовал участковый уполномоченный: Васька в кровь избил заведующего, высадил стекла.

— И зачем ты за него пошла, Дарьюшка?! Ведь он был постылый да немилый... Почто пошла! — выла мать Петра. В поселке знали, что Васька чуть не силком заставил робкую Дарью выйти за него. — И когда его посадят, ирода?!

Васька получил пять лет...

С тех пор острая, как осколочек стекла, жалость вошла в Петрову душу. Когда вспоминал о Дарье, видел всящие, точно перебитые в суствах, руки и прядь волос на белом, нежном плече...

«Зачем Силантьев пошел к ней?» — мучится Петр, и вдруг представляется ему, что примеченная за Силантьевым перемена — только маскировка, обман, отвод глаз. «У них, наверное, уже все произошло, а чтобы не заметили, он отводит глаза», — думает Удочкин, и от этой мысли Дарья становится неприятной, грязной. «Ведь не девушка она! Ей можно!» — соображает Петр, стараясь вспомнить, как Дарья ведет себя с Михаилом, и ему кажется, что она тоже прячется от людских глаз. Но припоминаются только мелочи — вчера Дарья поздно вечером выходила из барака, но он же не знает, где был в это время Силантьев. Неужели с ней? Все может быть! Ведь пошла она за пьяницу Ваську? Пошла! А теперь ей и вовсе море по колено!

Петр мрачнеет от этих мыслей, Дарья представляется ему похожей на тех женщин, о которых рассказывает Силантьев... В его рассказах все женщины одинаковы — у них только разные имена и цвет волос,

в остальном они похожи, как деревья в лесу. У них одна забота — выпить на силантьевские деньги и завалиться с ним в кровать. Это дерзкие и бесшабашные женщины. В рассказах Силантьева они не имеют ни родных, ни детей, ни дома, ни привязанностей, они, как перекачено поле, несутся в жизненном вихре навстречу ему, чтобы ненадолго, иногда на одну ночь, задержаться в его объятиях.

«Долго нет Михаила!» — думает Петр и морщится, точно от боли. Теперь Дарья окончательно похожа на тех, силантьевских, женщин. Все, что он раньше думал о ней, исчезает, и остается только воспоминание о цвете волос — шатенка — и имя Дарья. Он хочет нарочно представить прежнюю Дарью и не может, а когда закрывает глаза, то в них безликая шатенка по имени Дарья, покачивая бедрами, подходит к Силантьеву...

— Ерунда! — громко говорит Петр, чтобы спугнуть видение. Оно действительно исчезает, но внутри, рядом с сердцем, копошится что-то неприятное.

4

Тайга кончается внезапно, точно отрезанная, и Силантьев оказывается перед баракком.

Силантьев поправляет одежду, сваливает немного набок шапку, — теперь он готов войти в барак. Но в этот момент за дверью слышится перебористый стук подкованных сапог. Это неожиданно; Силантьев замирает, ожидая, что Дарья сейчас же, немедленно, выйдет на порог и увидит его, и ему становится не по себе, кажется, что, если она вот так, вдруг, появится на пороге, он не найдет слов.

— Так твою! — шепотом матерится Силантьев и прыжком отскакивает от крыльца, ныряет в сосняк.

Там он насмешливо надувает губы — ему смешно то, что произошло с ним. Он снова матерится шепотом, думая: «Какая-то шальная она, вроде даже психоватая! Тут не мудрено — не то что струсишь, а заробеешь». Но смешливость скоро проходит. Силантьев начинает злиться.

— Наплевал я на это дело! — громко говорит он и хочет выйти из сосняка, но опять ничего не получается — Дарья с кастрюлей в руках показывается из барака. Одета она обычно — перетянутая в талии широким ремнем коротенькая телогрейка, юбка-клеш, на ногах аккуратные кирзовые сапоги. Дарья проворна, легка, она не ходит, а перелетает с места на место, как молоденькая перепелка. Сегодня Дарья весела. Увязывая кастрюли на санках, поет что-то радостное, дробное. Михаил наблюдает за ней, и ему вспоминаются недавние слова Никиты Федоровича о Дарье. «Аккуратная женщина!» — сказал старик.

В нарымских местах эти слова значат многое. «Аккуратная» — это относится к небольшой, ладной фигуре женщины, к ее спокойным, округлым движениям; «аккуратная» — это говорится и о тихом, веселом и покладистом характере, о том, что женщина не криклива, не суетна, не тщеславна. «Аккуратная» — такую оценку в нарымских краях заслужить нелегко: здесь в большом уважении тихие, скромные женщины, умелые в работе, немногословные дома, храбрые в тайге. Здесь в великой чести те, голос которых мало слышен дома и хорошо — на веселой гулянке, когда поются протяжные песни, сотню лет назад привезенные с Украины, или, как говорят здесь, «с России».

Простые женщины в нарымских краях. Многие из них, окончив школы и институты, умеют ездить в облаках по кипящей, как чайник, ветреной Оби, лазить на кедры, ловко носить кирзовые сапоги, брезентовые брюки, охотничий нож за поясом. Они умеют молчать и слушать дру-

гих, не любят пышных слов, ярких материй, накрашенных губ. Броско красивых женщин в Нарыме почти нет. Красота нарымской женщины видна не сразу, но тот, кто сумеет разглядеть ее, запомнит на всю жизнь. Она похожа на красоту нарымских мест. Нет здесь ярких красок, резких переходов, ошеломляющих взор пейзажей, но зато много мягкости, задумчивости, суровой сдержанности. Красота эта открывается не сразу, а исподволь, и только думающему, внимательному наблюдателю. Но уж если откроется, то на всю жизнь...

Дарья привязывает кастрюли к санкам, укутывает шубой, холстиной, берется за веревочку; глянув в небо, укоризненно поджимает губы: «Ну и погода! Чисто весенняя! То солнце, то тучи — не разберешь!» Под ногами тоже росхлабь снега, ручейки, прелые иглы. Дарья покачивает головой и вдруг улыбается.

— Поехала, лошадка! — понукает она себя, впрягаясь в санки.

Михаил Силантьев усмехается: «А и верно — блажная! Не поймешь ее — вроде тертая баба, была замужем, а ровно дите... А ведь мужик, говорят, был пьяница из пьяниц! Всего, поди, навидалась!» Чувство неловкости охватывает Силантьева, как будто он смотрит на себя со стороны и видит, что дико, необычно для тайги происходящее — по дороге везет санки маленькая женщина, а за соснами затаился здоровенный мужчина в пудовых сапогах-броднях. Точно разбойник на большой дороге!..

— Чудеса! — насмешливо сообщает тайге Силантьев.

Под Дарьиными сапогами хлюпает снег. Не зная, что за ней наблюдают, женщина идет вольно, машет свободной рукой, напевает про себя тот же веселый мотив. Лицо у нее радостное, оживленное. Внезапно она останавливается, бросает веревочку и огорченно восклицает:

— Барахло, а не пажи!

Дарья нагибается, выставив коленку, высоко поднимает юбку и начинает зацеплять расстегнувшийся паж. Силантьев хорошо видит обнажившееся голое колено.

Дарья застегивает паж метрах в четырех от Силантьева, скрытого густыми ветками. И Силантьеву кажется, что в тайге быстро, как во время затмения солнца, темнеет. Он стискивает зубы, у него такое чувство, словно он пойман на месте преступления. Он отворачивается от Дарьи, и в голове проносится мысль: «Совсем сдурел! Бабы не видел, что ли?» И теперь ему становится стыдно вдвойне — оттого, что подглядывал за Дарьей, и оттого, что смутился. «Я тоже вроде как ошалел!» — думает Силантьев. Он опять слышит скрип полозьев, веселое понукание:

— Ну, поехали!

Метров через сто Силантьев останавливается от мысли: «Убегаю от нее!» Он делает широкий шаг, перепрыгивает через колдобину. «Я сейчас с ней поговорю!» — решительно думает Михаил, но не знает, о чем именно собирается говорить. Он, собственно, не знал этого, когда шел в барак, ему просто нужно было увидеть Дарью, и он думал, что причина этого в неопределенности их отношений. В тот раз, когда он, сбившись с толку непонятым поведением Дарьи, выбежал из барака, ничего определенного не было. Вот за этим и шел он к ней, чтобы поставить точку или добиться чего-нибудь... А чего? Этого он тоже не знает! Тогда какого черта он бросил работу? Не знает!.. «Окончательно сдурел! — заключает Михаил и тут же находит оправдание: — С этой чумной бабой любой мужик с ума свихнется!»

С этой мыслью он выходит на дорогу, окликает Дарью. От неожиданности она вздрагивает, а потом глядит на него из-под горушечки руки, точно над дорогой сияет солнце.

— А, Миша! — радуется Дарья. — Ты что здесь делаешь?

— Коров пасу!

— А я, Миша, обед повезла ребятам! — сообщает Дарья, не обращая внимания на насмешку, и добавляет: — Обед сегодня — прямо пальчики оближете! Я, Миша, его сегодня из кулинарной книги вычитала... Вы, поди, голод-н-н-ы-ии, как котята. Берись, Миша!

Он осторожно берется за тоненькую веревочку, ощутив пальцами руку женщины.

— Ну и пальцы у тебя, точно железные! — удивленно говорит она.

— От работы! — поясняет Силантьев и оглядывается на свою руку, лежащую рядом с Дарьиной.

— Ой, ты не дергай! — пугается она. — Суп прольем!

Они идут рядом, плечом к плечу, и Дарья, заглядывая ему в лицо — для чего ей приходится вытягивать шею и немного заходить вперед, — рассказывает, как три дня назад она чуть было не пролила суп. При этом у нее делается испуганное лицо.

— Ох, уж я и испугалась! Гляжу — санки на боку. Подхожу к ним и чуть не плачу. Чего же это, думаю, делается — остались ребята без обеда! Смотрю, а суп не вылился! Батюшки, да как же это?.. А супу холстинка не дала вылиться! — таинственно-радостно объясняет она шепотом.

Силантьев идет осторожно, выбирает, куда поставить ногу при следующем шаге. У него такое чувство, словно веревочка от санок, за которую он держится, связала его, опутала по рукам и ногам; он накрепко привязан к ней и поэтому не может говорить громко, резко двигаться и даже думать может только медленными, осторожными мыслями.

— Чего ты вычитала из книги? — спрашивает он.

— Вкусное! Рамштекс называется...

— Подумаешь! — небрежно бросает Силантьев. — Рамштекс тебе в любой столовой подадут!

— Знаю! Но то в столовой, а то в Глухой Мяте! — Проговорив это, Дарья замолкает, но потом тянет завистливо: — Тебе хорошо, Миша, ты везде побывал! А я вот даже в Томск ни разу не ездила... Нынче обязательно поеду! Вот увидишь, Миша, обязательно поеду! Деньжат я сейчас подработаю, куплю себе в городе платье хорошее, туфли замшевые и брошку, как у Лены Раковой. Замечательная брошка! Я вишневым цвет люблю, а она как раз к вишневому! А туфли обязательно замшевые, теперь модно — замшевые... Вот увидишь, куплю! Не веришь? Григорий Григорьевич посчитал мне и говорит: «Ты, Дарья, уже тысячу шестьсот на штабелевке заработала...»

Силантьев слушает Дарью, молчит и думает, что ее торопливые слова вызваны боязнью замолчать. Вероятно, ей кажется, что если прекратит болтовню, то заговорит Силантьев. И чем чаще она сыплет горошек слов, тем Силантьев больше убеждается в своем предположении — Дарья никогда так много не говорила. «Шальная! — обидчиво думает Силантьев. — Да не бойся, дура, ничего я тебе не сделаю!»

— Зарботки в Глухой Мяте хорошие! — продолжает тараторить Дарья. — Ты знаешь, Миша, я ведь нынче впервые зарабатываю много. Ну, теперь уж я знаю, как деньги зарабатываются!.. Ты не думай, я и в леспромхозе пойду на работу, стану на штабелевку и буду жить припеваючи! Вот посмотришь, Миша!

Он слышит в этих словах совсем не то, что вкладывает в них Дарья. Она говорит о том, что вовсе не трудно, оказывается, зарабатывать деньги штабелевкой, которую она раньше считала тяжелой работой, и поэтому два года была уборщицей, зарабатывала мало, а Михаил понимает так: ты не заботься обо мне, ничего не говори, не хватай меня

железными пальцами, я и сама проживу спокойно. «Вы только не тревожьте меня, мужики!» — вот что понимает из слов Дарьи Михаил Силантьев. И ему жалко ее. Он думает: «Не трону и пальцем. Пусть себе живет спокойно!»

— Ты молодец! — говорит Михаил. — Работаешь хорошо!

Она радостно восклицает:

— Ты это — правду?

— Правду! Хорошо работаешь!..

Их слова заглушает визг пил, грохот сырого дерева — эстакада. На ходу вытирая паклей руки, к Силантьеву и Дарье идет Петр Удочкин. Он торопится, спотыкается, а когда подходит, рассеянно говорит:

— Обед приехал! Чего-то долго?

— Ой, мамочки хорошие мои! Неужели опоздала?! — пугается Дарья.

Но Петр, посмотрев на часы, успокаивает ее:

— Нет! Ровно час!

Потом он соединяет взглядом Дарью и Силантьева, смотрит на них так, как обычно смотрит на корень, превращенный его руками в Человеческое лицо, — критически и недовольно. Что он высматривает в их лицах, непонятно, но Петр задумчиво шевелит губами, и только после того, как Силантьев замечает его взгляд, он быстро и робко опускает глаза.

— Ты чего, Петя? — обеспокоенно спрашивает Дарья.

— Ничего, — отвечает он.

— Давайте обедать! — кричит Борщев из-под навеса. — Вот только бригадира нет... Но, поди, придет, начнем без него.

5

Бригадира действительно нет под навесом; обеспокоенный дружным приходом весны, Григорий Семенов меряет шагами сосняк Глухой Мяты. Так и эдак считает Семенов, с той и другой стороны прикидывает, и получается плохо: коли весна пойдет так же сноровисто и шало, как сегодня, — не выберут они массив Глухой Мяты. Так и эдак считает бригадир — не выходит! Цифры непреклонны. Они кричат Семенову: ничего не выйдет, бригадир, если будете работать так же, как работали раньше. Все! Бесповоротно! Хоть сто раз считай, получится то же самое...

Час назад бригадир отозвал в сторонку Никиту Федоровича и, удивившись, что никто не слышит, выложил ему расчет — как дважды два доказал старику, что темпы работы низки, обязательства не выполнить. Выслушав, Никита Федорович сразу же начал загибать пальцы.

— Давай, как говорится, не кубометры прикинем, а человек!.. Ну; я, конечным делом, согласный на добавку рабочего дня. Георгий Раков тоже не откажется, а еще и других будет уговаривать. Значит, двое есть...

Семенов косился на пальцы Борщева, ждал, когда Никита Федорович начнет загибать остальные, но старик, перечислив себя и Ракова, не торопился называть других, думал, а затем загибал пальцы уж не так резко.

— С Петром Удочкиным мы, как говорится, дотолкуемся. Это тебе три! Теперь возьмем Силантьева... Мужик он работающий, а главное — любит зашибать деньгу! Кажись, и он не откажется. Это тебе, Григорий Григорьевич, четыре! Ну, как говорится, теперь возьмем учеников. Вот с этим туго!.. С этими я, Григорьевич, прямо не знаю, как быть! — Никита Федорович развел руками.

Видимо, и бригадир не знал, как быть с парнями, потому что ничего не ответил Борщеву. Он вообще ничего не сказал, чтобы Никита Федорович до конца сам перебрал людей. Семенов их перебирал сотню раз, и ему было важно узнать, что думает о лесозаготовителях Никита Федорович.

— Давайте дальше, Никита Федорович! — поторопил он старика.

— Дальше, как говорится, хуже дело! Федька — ведь о нем не знаешь, что и сказать! Ему как попадет вожжа под хвост, тогда хоть караул кричи... А все-таки, как говорится, Федьку я бы сосчитал. Вот тебе пять!.. Механика... прямо не знаю, куда его причислить, — задумчиво говорит старик и внимательно смотрит на большой палец.

Бригадир Семенов тоже смотрит на палец и ждет.

— Не знаю, как говорится, куда и причислить, — покачивает головой Никита Федорович и опускает руку. — Ты мне вообще обрисуй — кто он есть такой и откуда появился?

Григорий думает, а старик глядит на него напряженно, внимательно.

— Приехал из Томска, работал раньше где-то техником — вот и все, что знаю, — говорит Григорий. — Вы что о нем думаете, Никита Федорович?

— А ну, присядем! — вдруг предлагает старик и первым опускается на хлыст.

Он зачем-то снимает шапку, сложенной вдвое шерстяной рукавицей вытирает вспотевшую лысину.

— Мне об механике рассуждать тяжело, — вздыхает Никита Федорович. — Человек, как говорится, новый... Однако не нравится! — резко заканчивает он и поджимает губы.

— Почему? — быстро спрашивает Семенов.

— А вот почему, — говорит Никита Федорович. — Ты слово «химия» знаешь?

— Знаю!

— Изюмин — химик! — многозначительно восклицает старик и с победным видом глядит на бригадира: дескать, вот тебе, понял, в чем тут дело? И его лицо принимает такое выражение, точно он открыл Семенову необычное и самое главное.

— Не понимаю, Никита Федорович, — серьезно говорит Семенов. — Не понимаю, что вы этим хотите сказать.

Старик многозначительно вскидывает голову.

— Наука химия, как говорится, из барахла что хочешь может сделать, — поясняет он. — Механик тоже, как говорится, барахло, а хочет из себя человека строить... Вот потому и химик!

Григорий Семенов по-прежнему серьезен. Он вдумывается в слова старика, постукивает согнутыми пальцами по коре сосны. Молчит долго, наверное минуту, потом спрашивает:

— Допустим, барахло. А факты, Никита Федорович?

— Факты, парень, не штука! Этих фактов, как говорится, навалом... Чего он Федьку и парней обещивает? Ты гляди, Григорьевич, он за Федькой как нитка за иголкой...

— Мало ли что — подружился.

— Подружился? — изумленно спрашивает старик. — Этот химик подружился!.. Ну, парень, ты еще молод! — Он всплескивает руками и хохочет. — Подружился! Ему, парень, как говорится, не дружба нужна. Ему, парень...

— Что нужно? — нетерпеливо перебивает старика Григорий.

— Не знаю! — сердито отвечает Никита Федорович. — Что таким нужно, я не знаю! — добавляет он еще сердитее. — И знать не хочу, как

говорится... Не люблю. Недавно смотрю — вроде книгу читает, а пригляделся — не читает. Слушает, как ты с Федькой вязы ломаешь. Хитрый! — отрезает старик и поднимается. — Давай, Григорьевич, дальше считать... Механика я, как говорится, отвожу с депутатов.

И Никита Федорович опять загибает пальцы:

— Значит, пять насчитали... Берем теперь Дарью — эта в любое время пойдет на штабелевку...

Оказывается, они считали одинаково — Семенов и Никита Федорович Борщев!..

Об этом и думает Семенов, шагая по раскисшей тайге. По его подсчетам, получается, что нужно прибавить совсем немного рабочего времени, чтобы справиться с заданием. Всего два часа в день должны перерабатывать лесозаготовители — и все в порядке! Но эти два часа не записаны ни в трудовом договоре, ни в кодексе, ни в Конституции. Человек должен работать восемь часов.

Бригадир Семенов не только приказать, а даже по существу, уговаривать не имеет права на продление рабочего дня.

«Действуй!» — сказал ему Никита Федорович. А как действовать? Все было бы по-иному, если бы Семенов был не Семеновым, а другим... Григорий думает, что, будь на его месте другой человек — авторитетный, знающий человеческую душу, — все шло бы лучше. Лесозаготовители сами бы, подсчитав, прикинув объем леса, предложили выход.

Тайга сыро шумит. Внизу сумрачно, холодно, да и в верховинах сосен, наверное, не лучше: тучи бегут низко и, влажные, зябкие, задевают кроны. Бесприютно в тайге. С деревьев каплет, и капли тяжелы, как дробинки.

Семенов садится на пенек. Он закуривает и курит жадно, затягивается глубоко. От дыма немного кружится голова, но думать легче, мысли проясняются...

Лет пять назад, глубокой осенью, когда нарымские края потонули в непроходимой грязи, Григорий Семенов — тогда еще молодой тракторист — перегонял дизельную машину из одного поселка в другой. Три дня, а то и четыре не видели люди ни солнца, ни луны, ни звезд — стояла холодная, пустая и грязная осень. Вот тогда и случилось с ним похожее на то, что сейчас происходит в Глухой Мяте.

Километра четыре, наверное, отъехал Григорий от маленького поселка Синий Яр, давно скрылись огоньки, как вдруг трактор чихнул, дернулся корпусом и замолк. Григорий выскочил на гусеницу, засветив лампочку моторного освещения, нырнул в двигатель и ничего не понял — все было исправно, никакой причины останозки мотора не мог найти Григорий, хотя осмотрел машину от фар до хвостовика. Он вставил заводную ручку, включил пускач и стал заводить. Пускач взялся легко, с первых оборотов, Григорий перевел обороты на двигатель, выждал, когда дизель прикурит от чужого огонька, и дал газ — машина работала четко. Он поехал дальше, удивляясь неожиданному капризу машины, но долго дивиться не пришлось — дизель опять чихнул, машина дернулась и замолкла. Все повторилось сначала: мотор снова завелся, снова провез Григория с километр и снова затих. Так повторялось раз десять, почти до самого леспромхозовского поселка. Григорий в кровь изорвал ладони о заводную ручку, лихорадочно вспоминал описанные в книгах неполадки дизелей, но так и не мог найти причину остановок. А за полкилометра до поселка мотор стал работать безостановочно. Он не заглох и в поселке, когда Григорий проехал длинную улицу — километра три, — не заглох и на дворе механических мастерских, хотя Семенов нарочно дал ему погудеть на больших оборотах, рассказывая дежурному механику о случившемся. Механик облазил

машину, оглядел ее и пробурчал невнятное, но ясное Григорию: «Врет! Не может быть этого!»

Но Григорий-то знал, что может быть! А вот что творилось с дизелем, не ведает до сего дня, хотя с того времени не одна машина, а десятки — капризных, своенравных — побывали в его руках.

И вот сейчас Григорий вспоминает о своенравной машине и думает, что похожее на тот давний случай происходит сейчас в Глухой Мяте. Не может понять он, ухватить умом ту силу, которая противостоит ему в бригаде. Она ощутима, но корни, причины скрыты глубоко, как тогда в металле двигателя. Думает ли Григорий о Федоре Титове — чувствуется эта сила, думает ли о ребятах — опять она. Сила незримая, неизвестная, но противоположная его усилиям. Чаще всего ему кажется, что он просто не умеет подойти к людям, работать с ними, чаще всего Григорий винит себя. Никакая сила не противостоит Григорию — просто он плохой, неумелый бригадир.

Семенов смотрит на часы — десять минут второго, он опаздывает на обед. Это не к лицу бригадиру, и Семенов бежит к эстакаде. Бежит неловкими, смешными скачками и в этот миг маленькой головой и длинными руками действительно напоминает смешного заморского зверя — кенгуру. Он пробирается к эстакаде напрямик, минуя дороги и волоки, чтобы хоть немного сократить опоздание.

6

— Ну вот, товарищи, положение такое! — говорит Семенов, закрывая блокнот. — Мы задание не выполним, если река пойдет раньше, чем предполагалось.

Слышно, как осторожно звякают тарелки в руках Дарьи, как на малых оборотах работает передвижная электростанция. После обеда лесозаготовители неподвижны, ленивы, осоловело валяются набок. Слова бригадира они встречают спокойно — не равнодушно, но и без особого подъема. И только Никита Федорович Борщев ворочается, оглаживает бороду, перебегает взглядом от человека к человеку. Изюмин полулежит на брезенте. Виктор и Борис притулились в уголке под навесом и выжидательно молчат. Силантьев лежит навзничь, раскинув руки.

— А дирекция оплатит сверхурочные? — спрашивает он, не меняя положения тела.

— В пятницу поговорю с директором. Думаю, согласится. Сверхурочные разрешаются в тех случаях, когда коллектив сам идет на них.

— Это мы понимаем, не маленькие! На сверхурочные нужно разрешение профсоюзной организации, а она этого сделать не может — подрыв авторитета профсоюза получится. На это ты как ответишь, бригадир? Вот разогни-ка вопросец! — говорит Силантьев.

— Если мы согласимся — нам профсоюз не указ! — запальчиво вмешивается Никита Федорович. — Мы, как говорится, себе владыки. Я, товарищи, предлагаю понатужиться... Вот ежели бы, к примеру, не до шести работать, а до восьми — дело, как говорится, пойдет по-другому! А?

Он вертит головой, но слова старика, как и слова бригадира, пови�ают в молчании. Только Силантьев после длинной паузы замечает:

— Волга впадает в Каспийское море! Дураку понятно, что если взять сверхурочные — по-другому дело пойдет!

Другие лесозаготовители молчат. Молчит и Георгий Раков, — видимо, ждет, когда заговорят другие, но они задумались.

— Ну вот что, товарищи! — произносит Раков. — Я до обеда говорить не хотел... Моя машина вышла из строя... Пробило бобину! — по-

ясняет он и отворачивается, чтобы не заметили, как у него нервно вздрагивают губы.

— А запасная? — спрашивает бригадир, чуть-чуть приподнявшись.

— Нет запасной.

— Врешь! — кричит Семенов.

— Не взяли, Гриша! — отвечает Раков.

— Ой, мамочки! — восклицает Дарья, прижимая руки к груди. Что такое бобина, зачем нужна, она не знает, но по напряженным лицам лесозаготовителей понимает — случилось серьезное, тяжелое, такое серьезное, что может разрушить наладившуюся в Глухой Мяте жизнь; и люди станут другими, и все станет другим. Опытom недлинной жизни Дарья понимает серьезность случившегося и поэтому пугается: — Ой, мамочки!

— Врешь! — кричит Семенов и срывается с брезента.

За ним вскакивают Силантьев, Титов, Удочкин, десятиклассники, Дарья. Механик Изюмин откладывает в сторону книгу, помедлив, закрывает ее, аккуратно укладывает в карман и только после этого идет на лесосеку. Идет тихо и о чем-то думает.

7

Трактор Георгия Ракова, косолапо подобрав под себя гусеницы, ссутулясь, смотрит на лесозаготовителей потухшими фарами. Он неподвижен и холоден, он намертво притулился к сосне, опав передом в яму, и от этого кажется особенно жалким.

Семенов подбегает к трактору, обдираясь, залезает в кабину, срывает капот и сует голову в мотор.

— Крутаните! — иступленно кричит он.

Ему не видно, кто берется за ручку, но коленчатый вал сразу же проворачивается — смачно цокают поршни, хлопает такт. Семенову некогда, он не прислоняет свечу к металлической массе, а сжимает ее пальцами, чтобы всем телом ощутить острый укол электрического разряда.

— Еще крутаните!

Тело напрягается. Забыв о том, что удар током может выбить из кабины, Семенов ждет его, но пальцы ощущают только тепло еще не остывшей свечи. Поршни цокают безостановочно — крутит ручку, видимо, сильный человек, — но Семенов не чувствует ничего. Он высовывается из кабины, кричит на всю лесосеку:

— Федька, Федька! Титов!

Все забывает, все прощает он Федору в надежде, что у него есть запасная бобина.

— Нет у меня бобины, — отвечает Титов, вращающий ручку.

Семенов вылезает из трактора, прислоняется к гусенице...

Тяжелый удар. Второй за день. Утром пришла весна; после обеда встал трактор. Один за одним валяются на бригадира тяжелые, как смолевые бревна, удары, и от этого пухнет голова. Ни мысли в ней, ни желанья думать. Что делать? А ничего!

Григория охватывает глубочайшее безразличие ко всему. Вались все к чертовой матери! Пропадай пропадом! Встал трактор — ну и что? Будем работать одним. Пришла ранняя весна — он-то при чем, он не распоряжается погодой! Будем работать столько, сколько позволит время. К чертовой матери! Он не сам вызывался в бригадиры, а назначили! Он тракторист, обыкновенный тракторист, как Федор, как Георгий, он такой же рабочий, как и все в Глухой Мяте. Его дело сидеть за рычагами, а не ломать голову над расчетами — выберут Глухую

Мяту или не выберут, и не его дело агитировать лесозаготовителей перейти на сверхурочные. Сами не маленькие, должны понимать государственные интересы; они такие же рабочие, как и он. Они тоже рабочий класс!

Семенов смотрит на товарищей, молча окруживших машину. Стоят, сочувствуют вроде, а когда заговорил о сверхурочных, отмалчивались, прятали взгляды, поговаривали о профсоюзе. Как за кобылий хвост, ухватились за свои права, забыв о государстве. Сейчас тоже помалкивают, выжидают, какое решение примет он, Семенов. А он никакого решения принимать не будет! Вот так! Маракуйте сами — не маленькие!..

— Не шепчитесь! — вдруг обрушивается Григорий на десятиклассников, заметив, что они о чем-то переговариваются. — Говорите громко! Что предлагаете?

— Нужно перемотать индукционную катушку, — говорит Борис.

Вот оно! Вот как! Не по-простому, не по-рабочему сказано — бобину, а по-ученому — индукционную катушку. Как же — будущие инженеры! После обеда шептались за его спиной, советовались, дрожали от страха, что некогда будет заниматься, а теперь — перемотать индукционную катушку! Как это — перемотать? Кто ее будет перематывать?

— Значит, перемотать предлагаете? — спрашивает Семенов ребят. — Индукционную катушку перемотать... Сами будете перематывать или другим прикажете?

— Полегче, товарищ Семенов! — вспыхивает Борис, уловив в голосе бригадира издевательские интонации. — Полегче!

— А вы не болтайте! — прикрикивает на ребят Раков. — Вы дело предлагайте! Как вы ее перемотаете?

Семенов усмехается. В ремонтных мастерских и то не всегда удается перематывать бобины, а они — в лесу, в Глухой Мяте, где и куска прохода не найдешь!

Бригадир смотрит на ребят с ненавистью. Эка вырядились! В лыжных костюмчиках, в толстокожих ботинках, а под куртками на белоснежных рубашках — галстуки. Чистюли! Вывесили на стенку расписание, по четыре раза в день моются, скребутся, как кошки.

— Перемотчики! — дрожа от ярости, бросает им Семенов.

Ребята дружно, враз поворачиваются и уходят от трактора спортивным шагом, чуть раскачиваясь. Разного роста, но похожие друг на друга движениями, фигурами, подбритыми по-спортивному затылками. Вот так же уходили они из комнаты, когда бузотерил пьяный Титов.

— Видел?! — передергивается Григорий и плечом показывает Ракову на десятиклассников.

— Видел! — отвечает Георгий. — Я за ними это давно замечаю... Временные рабочие! Странятся наших дел! — добавляет он презрительно. — Ну их к черту! Без них обойдемся! Давайте думать, что делать...

Но Семенов не может оторваться от уходящих ребят. Он что-то шепчет про себя... Чувствует, что безразличие, охватившее его при виде заглохшего трактора, проходит, и проходит оттого, что ребята демонстративно ушли... Погодите же! Трактор будет работать! Будет!

— Выход есть! — говорит Семенов. — По местам, товарищи... Пока обойдемся одной машиной!

Лесозаготовители медленно расходятся. Последним уходит Изюмин. Он по-прежнему о чем-то думает, курит папиросу за папиросой.

Когда у трактора остаются только двое, Раков спрашивает:

— Что придумал, Гриша?

— Пойду в леспрохоз!

— Это дело! — коротко одобряет Раков и, подумав немного, говорит: — Первый раз за два года вышла из строя бобина... У тебя было?

— Раза два было... Да ты не грызи себя — никогда запасные бобины с собой не брали. Кому могло в голову прийти? Два ящика запасных деталей, а бобины ни одной. Бывает!

— Ну ладно! — вздыхает Раков. — Пройдешь?

— Думаю, что пройду.

— Правильно! — говорит Раков.

8

Лесозаготовители сидят в бараке и маются от жары — в майках, босиком. Дарья с утра натопила по-зимнему, а пришла весна — окна слезятся, со стен капает. В комнате резко пахнет портянками, потом, дегтем, которым густо насолил бродни бригадир Семенов. Сам Григорий сидит на лавке, тянет за подол рубаху; она не хочет лезть на широкие плечи, и он натягивает ее с трудом. Покончив с рубахой, Семенов нагибается, вытаскивает из-под лавки бродни с торчащими портянками. Выхватив одну, бригадир качает головой — прохудилась, потом раскладывает на полу во всю длину, ставит большую костистую ногу, примеривается — так ли? — немного передвигает ногу с угла на угол и только после этого запахивает портянку. Она охватывает ногу туго, словно перчатка.

— Ишь ты, какое дело! — замечает Никита Федорович, наблюдая, как Семенов обувается. На его лице написаны почтительность и интерес: бригадир заматывает портянки умело, мастерски, и это по душе старику, любящему сноровку в любом деле. — Этак не потрешь... Вот ежели бы еще под пятку сенца подвалить, то шагай хоть в Питер!

Семенов обертывает вторую ногу, и опять Никита Федорович почтительно говорит:

— Занозисто!.. К тому же и портянка хорошая — как ни говори, а фланелевая. Она с холщовой в ряд не идет. Холщовая скатывается, да и ногу холодит... Так что фланелевая не в пример лучше!

Бригадир натягивает бродень, заправляет за голенища концы высушенных портянок, пристукивает каблуками, прислушивается к тому, как стучат о пол бродни.

— Постукай, постукай! Лучше спервоначалу определить, хорошо ли села портянка. Потом поздно будет! — одобряет и это старик.

Другие лесозаготовители расположились в обычных позах — Силантьев на скамье, Изюмин читает, Удочкин, высунув кончик языка, режет березовый корень, Титов валяется на матрасе, а ребята занимаются, придвинув лампу.

— Дарья! — кричит бригадир.

Из соседней комнаты выходит Дарья, выжидательно останавливается в дверях и жалобно, просяще глядит на Семенова.

— Приготовь еды дня на полтора!

— Ой, неужели пойдете! В леспромхоз?!

— Собери!.. Никита Федорович, убавьте фитиль. Коптит.

Никита Федорович аккуратно прикручивает фитиль лампы под самым носом у Виктора Гава, который в это время отрывается от книги и вопросительно глядит на руку старика, но сказать ничего не решается — лампа действительно коптит. Потом Виктор ощущает под столом толчок. Это Борис ткнул его ногой, словно сказал: «Не обращай внимания! Занимайся!» Вздохнув, Виктор снова склоняется над учебником.

Собирая вещи, Семенов ходит по комнате. Через окна в барак прони-

кает ветер. В тишине слышно, как он шебаршит за стенкой, струится, давит на оконные переплеты. Временами доносится сырое, тяжелое гудение тайги — несутся по соснам верховые вихри.

— Георгий, наряды возьмешь у Дарьи, а расценки — вот! — Бригадир протягивает Ракову тоненькую книжонку. — И не забудь — листовнице нужно катать отдельно.

Теперь Семенов почти одет — остается только натянуть телогрейку да нахлобучить шапку, и он готов двинуться в путь.

Никита Федорович говорит раздумчиво:

— Шестьдесят километров туда, шестьдесят — обратно. Это сто двадцать! Два дня шагать, если без устали...

В это время со свертками в руках входит в комнату Дарья, нерешительно останавливается недалеко от бригадира и все так же — жалобно и просяще — смотрит на него. У нее такой вид, точно она не верит в серьезность происходящего, думает, что Григорий Григорьевич потребовал продукты для другой цели, пошутил и ему не нужно будет идти в промозглую, ветреную ночь.

— Давай, давай! — тянется Семенов рукой за вторым свертком, и по тому, как он берет хлеб, Дарья понимает, что дело в Глухой Мяте происходит серьезное, нешуточное, и ей кажется, что начинает свершаться то предчувствие плохого, страшного, что охватило ее, когда замолк трактор Георгия Ракова. «Что-то должно случиться!» Но лесозаготовители спокойны, недвижны, и она думает: «Мужики — они и есть мужики! Бесстрашные! Вот и Петя тоже спокоен, а ведь мягкий, ласковый. Тоже из ихнего племени. Мужики!» От этой мысли Дарье становится немного спокойнее, уютнее — может, и минет беда! Но она все-таки просит, умоляет Семенова:

— Ой, не ходили бы в ночь, Григорий Григорьевич!

— Надо, Дарья! — отвечает Семенов. — Да ты не беспокойся — все хорошо будет!

— Неизвестно! — вдруг говорит Изюмин и, решительно отложив книгу, достает папиросу, красивым, четким движением подносит ее ко рту, потом чиркает спичкой. От глубокой затыжки щеки западают и лицо становится холодным. Подержав дым в легких, Изюмин выпускает его струйкой, секунду любуется ею и уж после этого поворачивается к Семенову.

Бригадир по-прежнему тщательно укладывает рюкзак, и лесозаготовителям непонятно, почему он молчит, почему ничего не отвечает механику.

— Вам лучше остаться! — веско продолжает Изюмин. — Бригадиру не положено бросать людей!.. Подумайте, Григорий Григорьевич...

Семенов стоит в неловкой, согнутой позе. Механик сидит к нему боком, и бригадир видит его выпуклый лоб, немного опущенные вниз губы.

— Что вы предлагаете? — спрашивает Семенов, все еще продолжая заталкивать в узкое горло рюкзака сверток с хлебом.

— Разрешите, пойду я, — говорит Изюмин. — Вот вам мое предложение.

Это сказано так спокойно, так значительно и так просто, что лесозаготовители разом поворачиваются к механику.

— Вот мое предложение, — зачем-то повторяет Изюмин, хотя повторять не надо — впечатление от его слов и так велико.

Механик не замечает, что в это мгновение Раков и Семенов быстро обмениваются взглядами, затем принимают прежние позы — бригадир неловкую, согнутую, Раков — надменную. Они ничего не говорят, видимо ожидают слов механика, но тот в свою очередь спокойно ждет ответа бригадира, и тогда Георгий неохотно говорит:

— Каждый может пойти! Дело не в этом...

Вслед за ним должен отвечать Семенов; оторвавшись от рюкзака и поэтому выпрямившись, он еще несколько секунд раздумывает.

— Было бы хуже, если бы я послал другого. За себя отвечу сам. Другими рисковать не имею права...

Но Изюмин не собирается сдаваться. Встав с табурета, он проходит к столу, становится рядом с Федором Титовым и даже кладет руку ему на плечо, но обращается ко всем сразу.

— Поймите меня, товарищи! Будет лучше, если пойду я, а Григорий Григорьевич останется. Скажите ваше слово! Это важно,— просит он.

— Он дойдет! Он обязательно дойдет! — восклицает Федор.

— Вы решайте в принципе, товарищи! — снова обращается механик к лесозаготовителям.

— Вот какое дело! — разводит руками Никита Федорович. — Тут, парень, не знаешь, куда вертеть! — И по лицу старика видно, что он действительно не знает, как быть.

Зато Михаил Силантьев твердо знает, куда вертеть, — услышав об уходе бригадира, наблюдая за его сборами, он повеселел. Полеживая на лавке, покуривая, он игриво думает о том, что после ухода Семенова заработает большие деньги, всучивая доверчивому Удочкину дрянной лес судостроем. «Иди, иди! — напутствует он в мыслях Григория. — Мы без тебя управимся!»

Сердиты на бригадира за сегодняшнее и парни-десятиклассники. Им тоже спокойнее будет, если на несколько дней уйдет настырный, въедливый бригадир.

Ничего не отвечает на призыв механика и Дарья Скороход. Для нее безразлично, кто пойдет; самое лучшее, чтобы все оставались в Глухой Мяте, чтобы вернулось спокойствие последних дней. И механика и бригадира молит она стиснутыми руками — не ходите в ночь, не надо, голубчики!

— Иду я! — говорит Семенов.

— Правильно! — одобрительно отзывается Раков.

— Ну, как знаете! — Изюмин вдруг сердито топает ногой, его верхняя губа зло вздергивается. — Вы не правы! — кричит он на бригадира, на лесозаготовителей и быстро уходит в соседнюю комнату, забыв книгу на столе.

— Вишь ты как! — качает головой Никита Федорович, а Раков и бригадир глядят ему вслед, и Григорию Семенову снова кажется, что где-то встречал он этого человека, видел его, а вот где — не припомнит...

— Ну, мне пора! — говорит Григорий.

Он надевает телогрейку, повернувшись спиной к лавке, наваливает рюкзак, пристегивает лямки. Он огромный, громоздкий, на голове — большая зимняя шапка, в которой Григорий совсем не напоминает Гришку Кенгуру. В одежде путника, собравшегося в дальнюю дорогу, бригадир выглядит стройным и молодым. Он весело озирает товарищей, обходит их по очереди, пожимая руки. Пожимает руки Борису и Виктору, Федору Титову. Парни желают ему удачи, а Федор просит забежать к матери, если выберется свободная минута.

— До свидания! На третий день ждите!

Согнувшись, Семенов ныряет в дверь. Удочкин зябко поеживается, а Дарья тяжело вздыхает.

Дверь захлопывается, и спадает напряжение, которое лесозаготовители испытывали в последние минуты. Федор снова ложится на матрац, Удочкин опять принимается за березовый корень, а Силантьев украдкой улыбаются: завтра его очередь раскряжевывать хлысты.

— Задача сто шестнадцатая... — Борис Бережков открывает учебник.

Проходит минут десять—пятнадцать. Борис откладывает в сторону ручку, задумавшись, смотрит на огонь.

За окном беспрерывно шевелится мокрая тайга, на крыше барака постукивают доски, точно кто-то ходит по чердаку, воровски переставляя ноги. Неведомый — то ли птица, то ли зверь? — ухает через равные промежутки голос: «Уап! Уап!»

— Да-а... — тянет Борис.

— Решай, Боря! — напоминает Виктор, но скоро и сам, бросив ручку, прислушивается к ночным звукам.

После ухода бригадира лесозаготовители присмирели, замолкли, почувствовали одиночество, будто с его уходом в бараке стало пусто — крупный все-таки человек Григорий Григорьевич! Приглушенно шелестят голоса:

— Мокряды! Не подморозило!

— Немного схватило!

— Все равно шагать легче...

Оставленная бригадиром Семеновым, ворочается на матрацах, долго не может уснуть Глухая Мята...

Не может уснуть и Валентин Изюмин. Обычно он засыпал быстро — стоило только прикоснуться головой к плоской подушке, а вот сегодня тоже ворочается, вздыхает, то выпрямится, то подогнет ноги — нет сна. Не подержали его люди, только Федор пытался помочь, да что он мог сделать! Слабый человек Федор Титов.

— Сволочи... — бормочет Изюмин. Нашупав брюки, лежащие на табуретке, он достает портсигар, зажав спичку в ладонях, закуривает. Да, не удалось...

«Мне нужно было идти за бобиной», — думает Изюмин, и во тьме барака огонек его папиросы описывает дугу. Механику представляется, как бы он зашел к директору Сутурмину, сел на широкий диван, сказал: «Пришлось идти. Не может же трактор стоять... Вот такие-то дела, товарищ Сутурмин!»

Эх, очень нужен этот разговор механику Изюмину!

Огонек папиросы замирает и долго не двигается — механик прислушивается. За окнами барака гудит тайга. Ему представляются низкие, сырые тучи, крошечная тьма, холод, едва различимая серая полоска неба над соснами. Впереди — шестьдесят километров. Да, это трудно. Это опасно. Но он должен был пойти. Он должен рисковать.

«В моем положении нужно рисковать!» — злится механик.

— Не спитесь, Валентин Семенович? — слышит Изюмин голос Федора Титова. — Мне тоже. Мысли разные в голову лезут, чепуха, одним словом.

Федора не видно. В его голосе слышится нетерпение, словно Федор долго ждал того момента, когда механик шумно повернется, закурит и с ним можно будет поговорить.

— Я засыпаю, — сухо отвечает Изюмин и тушит о пол папиросу. — Я сплю...

Он отворачивается от Федора, натягивает на голову байковое одеяло. Но механик не спит долго. Он засыпает позднее Федора.

Невидимая, бушует ночная тайга; справа и слева ничего не видно, и только впереди просвечивает матовая просека дороги. Над ней клубятся, несутся темные тучи. В сосняке нет ветра, зато на дороге он гудит, давит в спину. От этого идти легко, споро, и лишь одно плохо: ослабишь мускулы ног — ветер понесет, а под ногами колдобины, лужи.

Григорий бережет батарейку карманного фонаря — идет на ощупь, но уверенно, походкой таежника, прижав локти к бедрам, криволапо ступая пудовыми броднями. С тех пор как захлопнулась дверь барака, у Григория исчезли неуверенность, колебания. Все представляется ему ясным. Все будет хорошо — трактор оживет, весна присмирееет, и к Первомаю сосняк Глухой Мяты ляжет к ногам лесозаготовителей. Ничего не оставят люди жирному червяку — шелкопряду. Спокойно на душе бригадира оттого, что раздумья, тревоги, опасения вылились в решительное действие, — перед ним шестьдесят километров дороги по весенней тайге.

Григорий Семенов строг к себе и не скрывает от себя истины — плохой из тебя начальник получается. Не умеешь работать с людьми, подойти к ним. Эх, бригадир, бригадир!

Тридцать два года Григорию.

Пятнадцать лет, когда шла Великая Отечественная война, он взял в руки лучок и пошел с мужиками в лес, чтобы валить столетние кедровые деревья. Уже в то время он был высок, силен, но подкову, правда, сгубил всего до половины. Недели через две Гришка догнал мужиков — валил столько же деревьев, сколько они, а еще через неделю обогнал. «Злой до работы!» — говорили о нем мужики бабам, а при Гришке молчали, помня старинный нарымский завет: «Коня портит запал, а парня — лишняя пряжка». За зиму Григорий еще больше раздался в плечах и весной, вернувшись в поселок, шел мимо друзей парнишек, свернув голову набок, — ждал обидного прозвища, но не дождался: струсили сверстники.

Двадцати двух лет он женился на бездетной вдове Ульяне Пичугиной. Ласковостью, преданностью и материнской нежностью взяла его тридцатилетняя в ту пору женщина. Гришка рабски подчинялся Ульяне, отбил от парней-сверстников, вечерами подсаживался к солидным мужикам. Рано стал таким же солидным, как они.

Более десяти лет утекло с тех пор. Ульяна вроде бы и не старела. Девки моложе ее повяли, а она, родив второго ребенка — девочку, — потонувшая, как подросток, на ходу была легкой и шустрой.

К тридцати двум годам Григорий Семенов стал совсем солидным человеком. Сверстники его все еще баламутили, ходили по чайным, а ночью будоражили поселок пьяными голосами. Семенов жил по-другому — хозяйственно, степенно.

Ульяна была умна, начитанна. От водки отучила Григория хитростью — поставила в буфет городской работы двухлитровый графин сорокаградусной и сказала: «Пей, Гришутка, если захочется! Товарищей можешь приглашать!» Он первоначально жадничал, глотал водку стаканами, приводя дружков, хвастался: «У меня всегда есть!» Дружки пили, хвалили Ульяну и уходили пьяные, замызгав пол. Ульяна не говорила ни слова — чистила, убирала, до поздней ночи охаживала комнату. Но в пьяный вечер не ложилась с мужем на одну кровать, объясняя это боязнью зачать ребенка-урода, а когда он не поверил, показала толстую книгу со страшными картинками. Она работала акушеркой. Григорий листал книгу и верил и не верил жене.

Как-то незаметно, постепенно Григорий не стал жадничать, обезличил к водке — всегда под рукой! — дружков в гости не стал звать, чтобы Ульяна не чистила, не скребла комнату до поздней ночи. Так и отошел от водки и теперь уж пьет не стаканами, а рюмочками и только по большим праздникам. Графин же до сих пор стоит в резном, городской выделки, буфете.

Григорий был примерным рабочим, вместе с Георгием Раковым ездил на совещания в Томск, но в большую славу не вошел.

Ульяна была домоседкой. После рождения второго ребенка ходила только в кино да на работу, оставляя детишек матери Григория.

От первого мужа Ульяны — погибшего под Орлом, техника, — осталась большая библиотека. Григорий пристрастился к чтению так же незаметно и постепенно, как бросил пить. Редкий вечер теперь не брал он книгу, ложась на диван. Убрал посуду, Ульяна усаживалась у него в ногах, накидывала на пологие плечи теплый платок и тоже брала книгу.

Ни одного дела — мелкого или большого — она не начинала без того, чтобы не спросить Григория, не посоветоваться с ним. В том случае, если он собирался поступить так, как ей не хотелось, действовала хитро, тонко и добивалась своего — Григорий делал так, как ей было нужно, и это не обременяло его: она всегда поступала разумно.

...Глухоманью, нарымской стороной идет Семенов, бродни глухо выстукивают: «Ша-гай! Ша-гай!» Иногда он включает карманный фонарик, и тогда наваливается со всех сторон, громоздится тайга — из тьмы высывается мокрая ветка, приближается к лицу, но не задевает, уходя вверх, в темень. Под ногами, в кружочке света, снег, перемешанный с водой, отликает оловом.

«Ша-гай! Ша-гай!» — выстукивают бродни.

Далек его путь — шестьдесят километров. На именных золотых часах — двенадцать, а он еще не дошел до свертка на большую дорогу.

«Делаю четыре километра в час. Не больше!» — подсчитывает Григорий.

10

Лесозаготовители в Глухой Мяте просыпаются от тишины, оттого, что не слышат хриловатого голоса бригадира: «Подъем, товарищи!» Они просыпаются и молча лежат в тишине, удивленные ею. И только немного погодя вспоминают, что голос и не раздастся — нет с ними бригадира Григория Семенова.

Ушел Семенов.

Пустовато стало в комнате. За стенами — ни гуда, ни шороха: нагулявшись, нашумевшись за ночь, притихла тайга. Окрест барака глухая тишина.

Ушел бригадир Семенов, и от этого проснувшимся кажется, что частичку самого себя оставил он в них. Эта частичка — забота. Растворившись в ночи, он разом стяхнул с себя бремя забот о делах и, стяхнув, каждому дал по частичке: нате, несите, думайте и заботьтесь!

Лесозаготовители просыпаются, встают с тонких, залежанных матрасов, идут умываться, а сами все соображают, обдумывают и убеждаются окончательно, что жизнь в Глухой Мяте в эти три дня, которые проведет в дороге Семенов, сильно изменится. Один человек ушел, а изменится все — расстановка рабочей силы, механизмов, распорядок дня. Кого ставить на раскрывку, что будет делать Раков? Много вопросов возникает оттого, что ушел Григорий Семенов. И все нужно решить, все узелки развязать.

Первым за развязывание узелков возьмется Георгий Раков — он замещает бригадира, ему и карты в руки. Но странно — людям кажется, что Раков все-таки не то, что Григорий Семенов: к Григорию привыкли, а Раков — бригадир временный, новый. Он совсем не то, что Семенов. Не показал себя еще, не проявил!

Умывшись, садятся за стол, молча принимают завтрак. На бригадирском месте — Георгий Раков, и это тоже непривычно, немного даже смешно: Георгий маленького роста и на табуретке Семенова — низкой,

специально им выбранной,— кажется еще меньше. Словно стол опустел на левом конце.

— Половину, поди, прошел! — говорит Никита Федорович, хлебая густое варево.— Он километра по четыре-пять делает.

— Пять-шесть! — отрезает Раков со своего бригадирского места.— Он прошел сорок километров!

Раков ничуть не изменился оттого, что Григорий взвалил на него бригадирскую ношу, да и меняться тут нечему: вид Ракова — надменный, суровый и чуть презрительный,— по его мнению, хорош для командирской роли. Он даже и не думает о том, какое впечатление могут произвести на людей его жесты, его слова. Ему безразлично отношение лесозаготовителей к нему, и бригадирскую власть он ощущает точно так, как ощутил бы прибавку работы на тракторе, как если бы ему предложили: «Работай в сутки по двадцать четыре часа! Это нужно!» Раков согласился бы и на это, но ничего бы не испытал — нужно так нужно! У него нет ни раздумий, ни сомнений, как у Григория Семенова, он не тревожит себя мыслью, что не так сказал, не так поглядел на человека.

Увидев, что люди прикончили завтрак и закуривают, он поднимается с бригадирского места, прищурившись, хлопает в ладоши:

— Внимание, товарищи! Произведем расстановку! — и стучит согнутым пальцем по стакану; от этого в комнате вдруг становится так, как бывает на собраниях.

Лесозаготовители оглядываются и видят — действительно так! Все чинно сидят за столом, накрытым скатертью, Раков стоит в позе оратора, и над его головой даже висит плакат: «Досрочно выполним первую послевоенную пятилетку!», написанный еще рабочими химлесхоза масляной краской на стене и потому прочно, навечно въевшийся в извлек. Если бы не было на столе алюминиевых мисок, комната барака совсем бы походила на комнату для заседаний.

— Товарищ Семенов временно выбыл,— продолжает Раков председателем тоном,— поэтому перед нами встал вопрос о замене. У кого есть какие предложения, товарищи?

Видно, что Раков понаторел проводить собрания, наловчился,— садится на свое место, как на почетный стул в президиуме, складывает руки на столе и вопросительно обводит глазами лесозаготовителей, чтобы немедленно предоставить слово первому желающему высказаться в прениях.

— Кто имеет слово?

Лесозаготовители молчат. Никита Федорович Боршев, видимо, сразу же почувствовал торжественность обстановки, умненько сощурился и стал походить на иконного пророка. Точно так же, как Раков, он кладет руки на стол и тоже обводит взглядом людей, ожидая выступления. Ребята-десятиклассники уткнулись в стаканы — им смешно и любопытно. Силантьев открыто улыбается.

Ракову же наплевать. Заметив спрятанные улыбки парней, откровенную — Силантьева, он и бровью не ведет, а еще строже говорит:

— Раз нет соображений, расстановку произведу сам! Слушайте внимательно! — Он снова поднимается.— Удочкин станет на сучкорезку, Изюмин — на штабелевку, Титов будет работать в ночную... Вот так! Расстановка окончательная! — отрезает он.— Я спрашивал — вы молчали, значит — окончательная!

— Расстановка правильная! — отзывается Никита Федорович.— Я согласный...

Но не все согласны с Георгием Раковым. На том конце стола, где сидит Силантьев, слышится говор, скрип табуреток, потом раздается голос Федора Титова:

— Ты это один думал — меня в ночную назначить? Или с кем еще посоветовался?

— Один! — отрезает Раков и медленно, неохотно поворачивает голову в сторону Федора. — Я должен, как бригадир, работать в день.

— Правильно рассудил! — гудит Никита Федорович, и к его голосу присоединяются еще голоса: басок Силантьева, дискант Удочкина и даже баритон Бориса Бережкова.

Федор сникает, беспокойно возится на табуретке и, чтобы шум прекратился, выкрикивает:

— Да подождите вы! Я же не отказываюсь! Чего разорались?

И шум сразу стихает.

Покончив с вопросом о назначении Федора в ночную смену, Раков обращается к Изюмину, назначенному на штабелевку — работу, для механиков необычную, редко ими выполняемую. В лесу механики передвижных электростанций в таком же почете, как и трактористы. Они своеобразная аристократия среди лесозаготовителей. Что скажет Изюмин? От согласия механика зависит многое. Раньше он не принимал участия в других работах.

— Ваше мнение, товарищ Изюмин? — спрашивает Раков, делая маленькую заминку перед словом «товарищ». Всего, может быть, долю секунды длится заминка, но лесозаготовители понимают, что к механику Раков обращается совсем не так, как к другим, что в прибавленном слове «товарищ» скрывается доля иного отношения к Изюмину, чем к другим.

— Вы согласны спать на штабелевку?

— Да! — коротко отвечает Изюмин.

— Ой, как хорошо! — неожиданно для всех восклицает Дарья, все время молчавшая в уголке комнаты. — Ой, как хорошо! — повторяет она: в бараке люди приходят к согласию, вопросы решаются без споров и скандалов.

Но механик Изюмин по-другому откликается на восклицание Дарьи. Очень учтиво, очень весело, но насмешливо он спрашивает ее:

— Вы что же, Дарья Власьевна, сомневались во мне?

— Ой, что вы! — пугается Дарья. — И не думала!

— Теперь о рабочем дне, — говорит Раков. — Есть предложение работать по десять часов. Его вчера внес Семенов... Прошу высказываться.

Но высказываться никто не желает.

— Утвердить! — говорит Никита Федорович, поглаживая бороду.

И никто не возражает ему.

— Мы сплотились в единый коллектив! — торжественно восклицает механик Изюмин.

Глава четвертая

1

Вторые сутки Григорий Семенов на ногах.

В одиннадцатом часу утра он выходит из центрального поселка леспромхоза. На небе полыхает солнце. Жарко по-настоящему. На осине дерутся, озорничают воробьи.

Рядом с Григорием шагает Ульяна, впереди перепрыгивает через лужицы мальчик лет десяти — Валерка. Они провожают отца. Идут берегом Оби. Река беспокойна — на ней, как и на земле, бегут ручейки; грязная, серая, источенная водой, река готова двинуться на север.

— Валерий! — говорит Ульяна сыну. — Беги вперед, мне нужно с отцом поговорить.

Мальчик послушно бежит вперед, разбрызгивает лужи. Капельки воды вспыхивают на солнце пологой радугой. Ульяна — невысокая, смуглая, нос у нее с горбинкой, губы полные и растрескавшиеся, а профиль чуть-чуть мужской.

— Не тронулась бы река, Григорий! Ты где переходишь?

— У разбигой ветлы.

— Далеко! Смотри, Гриша, будь осторожен... — Она берет его руку, ласково пожимает.

— Не волнуйся, Уля, — говорит он.

— Будь осторожнее... — просит она.

Ульяна долго и внимательно глядит на Обь, на ручейки, потом на небо, ищет приметы близкого весноводья. Она знает Обь, и, когда снова обращается к мужу, ее лицо спокойно — наверное, не нашла опасных примет.

— Как у тебя дела-то, бригадир? — спрашивает она, сжимая его пальцы.

— Ничего. Рубим понемногу.

Ульяна замедляет шаги. Григорий для нее — открытая книга, набранная крупным, четким шрифтом. Ульяна читает ее легко: нет загадок для нее в муже, понятно все, как в себе самой. Стоило ответить ему «ничего» и при этом небрежно, мельком улыбнуться, как она поняла, что дела у Григория идут неважно. Прямо об этом он никогда не скажет: упрям и — уж она-то знает! — самлюбив. Странно уживаются в нем житейская непрактичность, застенчивая нежность с твердостью, упрямством, фанатической преданностью делу. В тот день, когда она впервые увидела Григория, ее поразила эта смесь мужества и мягкости. Поглядела Ульяна на губы, на подбородок Григория и подумала: «Ого!», а перевела взгляд на глаза, на тонкие ноздри маленького носа и внутренне улыбнулась: «Мальчишка он еще». И еще одно поразило тогда Ульяну: она была начитанной, книжницей и, поглядев впервые на Григория, подумала, что напоминает он чем-то молодого Петра, описанного Алексеем Толстым. Такой же долговязый, мелкоголовый, и руки аршинные, да и походка птичья, подпрыгивающая. «Вон куда я метнула!» — посмеялась над собой Ульяна.

— Успеете до навигации вырубить Глухую Мяту? — прямо спрашивает она. Ульяна знает, что он ответит правду, но все-таки искоса следит за его лицом. Он на миг сжимает губы, думает немного и отвечает:

— Боюсь, что не успеем!

Ну вот, она не ошиблась! Ульяна шагает медленно, опустив голову, смотрит на носки своих аккуратных, начищенных хромовых сапог.

— Знаешь, Гриша, — говорит она, — самое правильное — вести себя спокойно, больше советоваться с людьми. Понятно, опыта ты не имеешь... А с Федором, по-моему, просто! Он неплохой парень. Я их семью знаю. Недавно у старшей сестры Федора роды принимала — отличный мужик родился! Хорошая семья. Я бы на твоём месте с Федором по-дружески обращалась. Попробуй, Гриша! Скажи ему, что племянник хорош — на пять пятьсот тянет.

Ульяна говорит рассудительно, веско и по-прежнему смотрит на носки сапог, бережливо перешагивает через небольшие лужицы, а те, что побольше, обходит стороной, и вместе с ней шагает Григорий. Ему вспоминается, что вот так же рассудительно говорил директор Сутурмин, и говорил почти то же самое, что Ульяна.

— Народ в Глухой Мяте неплохой! — продолжает она. — Георгий Раков, Никита Федорович, Петя Удочкин... А главное, Гриша, нужно заработать авторитет! Это основное... Да ты и сам знаешь!

Умный человек Ульяна. Понимает, сердцем улавливает, что уже достаточно нравучений, что нельзя перебарщивать, и завершает разговор шуткой.

— Ученого учить — только портить! — смеется она и без перехода спрашивает: — Как там Дарьюшка живет?

— Стряпает! Хорошо кормит Дарья.

— Хорошая женщина, — говорит Ульяна. — Люблю я ее. Как она делает? — Ульяна останавливается, снимает пальцы с пальцев мужа и неизъяснимо прелестным, девичьим движением прижимает руки к груди. Глаза ее широко открываются, губы по-дарьиному округляются — изумленно и мило. И Ульяна восклицает Дарьиным голосом: — Ой мамочки хорошие мои!

Григорий любит жену, радостно смеется — Ульяна удивительно похожа на Дарью.

— Ты не давай Дарью в обиду, Гриша. Ей жизнь нужно начинать сначала.

Она замолкает, но внезапно наклоняется к нему и, поджав губы, жалуется:

— А я старею, Гриша.

— Ты с чего это?

— А вот с чего! — певуче отвечает она и, притянув к себе его руку, чтобы нагнул, шепчет на ухо: — Женить начинаю. Примета старости!

Хитра, ох, хитра жена бригадира! Не хочет она, чтобы молодой муж сам заметил гусиные лапки на ее висках, не хочет, чтобы первым сказал ей о седой пряди волос, и потому сама напоминает ему о своем возрасте. Исполдволь готовит мужа. Она много старше Гриши и понимает, что в сто раз хуже будет, если Григорий сам молчаливо заметит ее возраст.

— Женить начинаю... — шепчет Ульяна.

Григорий обнимает жену. Она следит одним глазом за Валеркой, но прижимается к мужу крепко, нежно. Оторвавшись от нее, он шепчет:

— Идти надо!

Она еле слышно отзывается:

— Скоро уж вернешься...

Берег Оби делается положе, кустарник редее. Они идут молча. Валерка бежит впереди. По колеям дороги, пробитым тракторными гусеницами, бегут мутные потоки воды, журча, стекают в Обь. Верхушки сосен облиты голубым светом. Тайга истекает туманом — прозрачным, тонким, — она словно дышит им.

— Ну, идите обратно! — Григорий останавливается.

— Валерий! — зовет Ульяна.

Мальчик подбегает.

— Сынок! — Григорий нагибается, и Валерка летом кидается к нему, подпрыгнув, повисает на шее, целует в небритую щеку.

— Ты колючий, папа!

Ульяна исподлобья смотрит на них, нетерпеливо переступает с ноги на ногу, а когда раскрасневшийся сын отрывается от Григория, берет мужа за полы телогрейки, говорит:

— Береги себя! Пойдешь через реки — выруби шест. Нож есть?

— Да.

— Не забудь вырубить шест... Ну, будь счастлив! — Она нежно, легко целует его.

Он поднимается на пригорок.

— Будь счастлив, Гриша! — Ульяна машет рукой.

Он уходит, а они стоят долго, и она что-то шепчет про себя. Только Ульяна знает, чего стоило ей спокойствие, деланное равнодушие к тому, что муж возвращается в Глухую Мятку по раскисшей, готовой тронуться

Оби. Даже остаться до вечера, выждать, когда подморозит дорогу, она не решилась предложить ему — знала, что не согласится Григорий. А она никогда не настаивала на своем в тех случаях, когда была уверена, что он не послушается ее, боялась, что хоть единожды в жизни Григорий поступит вопреки ее желанию.

2

Григорий свертывает в кедрачи. Ему хочется обернуться еще раз — и он оборачивается, но уже не видит ни жены, ни сына. «Молодец, Уля! — думает он. — Не задерживала меня!»

Кедрач звенит капелью. Стволы деревьев потемнели от влаги, ветви, тяжело распластавшись, гнутся к земле. Шагается легко, хотя пошли вторые сутки, как Григорий в пути, — позади шестьдесят километров и бессонная ночь...

Разговор с директором Сутурминым получился короткий, совсем не такой, как представлял его Григорий там, в Глухой Мяте. Он думал, что расскажет директору о своих опасениях, поделится с ним тревогами, но случилось не так: как только Григорий вошел в кабинет, увидел полированную мебель, ковровую дорожку, фикусы в кадках, несколько телефонов на столе и самого Сутурмина, громко разговаривающего по селектору, как дела Глухой Мяты показались ему мелкими, незначительными. Что Сутурмину — руководителю огромного предприятия, которое занимает площадь небольшой европейской страны, — до того, что Федор Титов не выбирает тонкомерных хлыстов, а Михаил Силантьев норовит выдать пиловочник за судострой? Все это в просторном кабинете показалось ненужным, мелким. Поэтому он решил твердо — говорить только о главном. Но и главное-то тоже становилось сомнительным.

Сутурмин нисколько не удивился приходу Семенова, протянул руку с таким видом, точно ждал его с минуты на минуту, второй рукой схватил телефонную трубку, сказал несколько слов, бросил ее, схватил другую, опять буркнул в трубку и кивнул головой на диван — садись! Одновременно с этим освободившейся рукой он нажал кнопку настольного звонка, после чего появилась бесшумная секретарша, вытянулась в дверях.

— Ко мне — никого! Звонков — никаких! — скомандовал директор.

Только по этому и понял Григорий, что его приход для директора был все-таки событием. В остальном Сутурмин вел себя так же, как всегда, и Григорий утвердился в желании не рассказывать директору о мелочах.

Отправив секретаршу, Сутурмин выхватил из ящика папиросу, неуловимо быстро чиркнул спичкой о что-то лежащее на столе и проговорил:

— Зачем пожаловал командир особой ударной дивизии? Выкладывайте карты на стол, Григорий Григорьевич!

Директор был в кабинете не один — у окна сидел главный инженер. На него и покосился насмешливо Сутурмин, спрашивая Григория:

— Так зачем? Выкладывайте на стол!

Ожидая возмущения, что забыли про запасную бобину, Семенов коротко рассказал о ней, но случилось неожиданное — директор еще больше повеселел, кивнул главному инженеру:

— Видал миндал? Начхал я на твой скепсис, понял? — И к Семёнову: — Сводку знаю, можете не рассказывать... Говорите о людях! Слушаются или не слушаются? Как работают? Как Титов?

Григорий, помолчав, ответил:

— Ничего!.. Все в порядке!

— Хорошо! — И снова бросил реплику главному инженеру: — Видал? Бьем скептиков, бьем!

Вот тут-то и Григорий стал догадываться, почему директору весело. Он ясно представил картину в кабинете директора перед отправкой бригады в Глухую Мятю: главный инженер, наверное, был против кандидатуры Семенова на должность бригадира, а Сутурмин доказывал обратное и, как всегда, настоял на своем. Подумав об этом, Григорий почувствовал приятное — хвалит его директор, коли считает, что победил в споре с главным инженером. Значит, доволен делами в Глухой Мяте, если даже выход из строя трактора не огорчил его.

— Ну, хорошо!

Директор снова потянулся к телефону, но, не подняв трубку, кинул взгляд на Григория.

— Что надо? Бобину? Отлично, дам две. — Подхватил трубку, прижал щекой к плечу. — Мехмастерскую!.. Сутурмин!.. Ты чего второй раз за день здороваешься? Забыл! С директором можно и три раза здороваться, а, как ты думаешь? Ничего не думаешь? Ты смотри у меня — я этого, брат, не люблю! Так вот что, Гололобов, к тебе придет Григорий Григорьевич Семенов... Да, да, он самый — из Глухой Мяты! Как дела у них? Как сажа бела у них дела. — Он глянул на Семенова. — Дашь ему две бобины, пять колец, баббиту... Все дать, что он попросит. А? Мало на складе? Понятно! А тебе понятно, что я приказы писать люблю? Какие приказы? Это узнаешь, когда прочтешь. А? Вот так бы давно! Ты что, не понимаешь значения Глухой Мяты? Теперь понимаешь!..

Он бросил трубку, положил на стол пачку «Казбека».

— Курите! — И удивился, когда Григорий взял папиросу. — Вы же бросали? Ах, снова!.. Не от Глухой Мяты ли?

— Нет! — невольно буркнул Григорий, рассердившись оттого, что директор оказался внимательным.

— Это хорошо! — обрадовался Сутурмин и вышел из-за стола. — Вы, Григорий Григорьевич, особенно на командирские методы не нажимайте, — расхаживая по ковру, сказал он. — Люди в Глухой Мяте взрослые, сознательные. Убеждайте! И не словами убеждайте, а примером, показом или, как говорят в армии: делай, как я! Сам-то работаешь? — спросил он, вдруг сбившись на «ты», словно неловко было спросить: «Сами-то работаете?»

— Работаю.

— Правильно! С Титовым нужно дипломатничать. Это, брат, оригинальный мужик. Вы дипломатии не стесняйтесь. Я с ним тоже дипломатничаю, и не всегда удачно. Бывает! — заулыбался он. — А ребята как, десятиклассники?

— Работают, занимаются.

— С ними труднее. Их надо, Григорий Григорьевич, как пленку, проявить. Из хороших, рабочих семей ребята, у них должна быть рабочая гордость. Вот ее и проявить! Они-то как к бригадиру относятся? — спросил он серьезно.

— Ничего, — недовольно проронил Григорий.

— А работают отменно?

— Работают хорошо.

— Сторонятся, значит, отбиваются?.. Держатся в сторонке от коллектива?

— Это есть, — неохотно сознался Григорий, чувствуя, что директор, точно за кончик ниточки из клубка, начинает вытаскивать из него то, что он решил не говорить ему. — Это есть.

— Понятно! — Сутурмин метнул взгляд на главного инженера и заложил руки за спину. — Вот вам, Василий Петрович, проблема! — назидательно сказал он главному инженеру. — А теперь такой вопрос. Вы подумайте, прежде чем ответить на него. Как ведет себя и работает Изюмин?

Сутурмин требовательно и серьезно глядел на Григория, а главный инженер подтянулся после этого вопроса. Григорий насторожился, поняв, что это самый главный вопрос директора к нему.

— Работает хорошо, — подумав, ответил Григорий.

— Ясно! — Сутурмин снова метнул взгляд на главного инженера, и Григорию показалось, что они ждали от него другого ответа.

— Ничего плохого за ним не замечал, — твердо добавил Григорий, думая, что действительно ничего предосудительного не знает за Изюминым, хотя этот человек не нравится ему. Не нравится по многим причинам, но это не имеет никакого отношения к вопросу директора. И поэтому Григорий еще раз повторил: — Он хороший механик.

— Ясно, ясно! — торопливо проговорил директор. — Видите, в чем дело, мы раньше этого не хотели говорить вам, чтобы не создавать предубеждения. Изюмин — бывший главный механик Зареченского лес-промхоза.

— Зареченского?! — воскликнул Григорий и даже чуточку при-встал. — Так я, значит, не ошибся, думая, что где-то встречал его!

— Вы могли видеть его в прошлом году на совещании. Он выступал.

— Так вот оно что!

Григорий вспомнил большой зал совещания, люстры под потолком, праздничный гул и человека на трибуне. Да, это и был механик Изюмин. Он сходил со сцены под аплодисменты лесозаготовителей после эффектного, умного и дельного выступления. Сияющим было лицо Изюмина — таким его и запомнил Григорий.

— Да, вы встречались с ним... Недавно Изюмин снят с работы и исключен из партии. Я вижу, вы хотите спросить, за что. За многое! За администрирование, карьеризм, пренебрежение к нуждам рабочих... Он наказан сурово. Вот поэтому нас интересует, как он ведет себя, как работает. Комбинат предоставил Изюмину возможность исправить ошибки, послав на работу к нам. Мы сделали большее: удовлетворили его просьбу, послав на трудный, ответственный участок — в Глухую Мяту.

Сутурмин возвращается за стол, садится.

— Хорошо, Григорий Григорьевич, что мы повидались! Ну, и последнее. Говорите прямо, кончите к ледоходу?

— Сомнительно... — глядя прямо в глаза директору, отвечает Григорий.

— А ведь лес надо спасти от гибели! Вы понимаете меня, Григорий Григорьевич?

— Понимаю!

— Счастливого пути! Не рискуйте особенно. Впрочем, по сообщению бюро погоды, река тронется не раньше чем через неделю.

Григорий Семенов идет в Глухую Мяту.

Шестой час вечера. Воздух душный, настоявшийся на кедраче и прошлогодних осиновых листьях, пахнет банными вениками. Дорога по кедровнику хороша, но скоро, километра через четыре, начнется голое, продутое ветрами пространство, начнутся верети, лога, маленькие

речушки — четыре их. После речушек — загогулина Оби, через которую лежит дорога Григория. Речушки опасны, беспокойны; уже в первый путь он брел по воде, а на рассвете, когда подморозило, еле отрывал бродни от наледи. Но речушки — полбеды. Главное — Обь, бескрайняя, как море, вспучившаяся от тепла и раскисшего снега. Ручейки источили ее, как дождевые черви землю. Насквозь продутая ветрами, Обь заторосилась — ни на тракторе, ни на санях не проехать. Один путь по реке во второй половине апреля — пешеходный.

За плечами Григория гроыхает металлом тяжелый рюкзак. Две бобины, несколько свечей, вкладыши к подшпникам, пыльные цепи, диски к электросучкорезкам, баббит — целое богатство!

Кедровник прореживается. Затем Григорий шагает сором, который по сторонам оброс бахромой кустарника, а минут через десять сор кончается, дорога точно подсакивает вверх — берег. Под оклизшей кручей виложится река Кедровка. Ослепленный солнцем, Григорий спервоначала ничего не может разглядеть, но потом, когда глаза привыкают, видит, что река покрыта кашеобразной глубокой наледью. Тракторно-пешеходная дорога тоже вспучилась. На дороге торчат вмерзшие метелки сена, ветки, бревна.

Григорий вырубает шест. Выбрав длинный, гибкий, очищает его от ветвей, прикидывает в руках — кажется, хорошо! Подумав, надевает рюкзак на одно плечо, чтобы в случае необходимости можно было легко сбросить, пристегивает к поясу голенища бродней, еще раз подумав, вынимает из кармана брюк пачку «Севера» и перекладывает в шапку, за меховой козырек.

Он готов к переходу через Кедровку.

Григорий на полусогнутых ногах спускается под яр. Бродни скользят, разъезжаются, он почти едет, притормаживая шестом точно так, как лыжники палками. На яру земля уже обнажилась, под верхним слоем чернозема — твердая, как камень, глина. Ноги Григория, сняв верхний, оттаявший слой почвы, оставляют на яру две желтые длинные бороды.

Осторожно, как кошка после дождя, Григорий пробует броднем прибереговой лед, медленно переносит на ногу тяжесть всего тела — держит! Похожий на большой циркуль, он идет по дороге, стараясь шагать по местам, покрытым снегом, лошадиным навозом, ветками: в этих местах солнце меньше прогрело снег и лед. Он твердо ставит ноги, зная, что ступня, поставленная зыбковато, не почувствует опасности и на нее нельзя будет опереться, чтобы прыгнуть, если лед провалится. Григорий идет так, как ходят сплавщики по бревнам, лежащим на воде, — тонкими, легкими могут быть бревна, лежать в метре друг от друга, но сплавщик все равно перейдет реку. Он разбежится на берегу, гикнув, прыгнет на первое бревно; оно не успеет и до половины погрузиться в воду, как сплавщик оттолкнется от него, перепрыгнет на второе, затем на третье, четвертое — и, оставляя после себя волнение полузатонувших бревен, которые и всплыть-то не успевают, сплавщик уже скалит зубы на другой стороне реки.

Когда до берега остается пятнадцать—двадцать метров, Григорий мягко и очень медленно, сразу обеими ногами, проваливается в наледь. Он не успевает ни вскрикнуть, ни удивиться, но невольным, инстинктивным движением выбрасывает вперед шест и наваливается на него руками. Выжатая из наледи вода потоком струится в бродни, но ноги чувствуют лед, и мысль работает четко: «Дальше не провалюсь!»

Итак, нужно выбирать! Он кладет шест в полуметре от себя, снимает с плеча рюкзак, сильно размахнувшись, кидает его вперед. План таков: опереться в шест коленом одной ноги, вытянуть вторую из

наледи, поставить на шест, держась в это время руками за лед, чтобы не потерять равновесия. После этого нужно резко оттолкнуться от шеста, сделать шаг вперед и поставить ногу на твердое место, если оно, конечно, найдется впереди, если дорога там крепка. Шест в это время останется позади. Как же достать его? Дотянуться, пожалуй, будет невозможно. Значит, его следует подтащить. А чем? Ремнем!

Григорий снимает ремень с телогрейки, примеривает его — мал; лезет руками под пиджак, в воду, и снимает брючный ремень. Вытащить его трудно — крепко держат намокшие петли, но он все-таки справляется с ремнем и привязывает его к ремню от телогрейки, и оба ремня — к шесту.

Все готово.

Утвердившись коленкой на шесте, он медленно переносит руки на снег, упирается и выпрямляется, постепенно увеличивая нагрузку на ногу. Он уже почти стоит, когда нога опять медленно проваливается в наледь. Он судорожно подтягивает вторую ногу и оказывается в том же положении, в котором был раньше.

— Вот так! — громко говорит Григорий.

Наступает черед второго шага — Григорий опять выбирается на шест, выносит вперед руки и левую ногу и снова проваливается, на этот раз еще глубже. «В чем же дело?» — думает Григорий, оглядывая дорожку, реку и берег, и понемногу начинает понимать причину неудач. На той стороне Кедровки снега больше. Он здесь глубже и наледь выше.

— Повторим!

Повторяет и проваливается... Позади темнеют в солнечных лучах три пары глубоких, залитых веселой синей водой ямин. Когда Григорий приглядывается к ним, то видит — в каждой из них купается озерное маленькое солнце. От первой ямины до Григория метров пять, а впереди, до берега, — пятнадцать. Что же получается? Если пять метров он прошел за три перекидки шеста, то пятнадцать пройдет за девять. Что ж, не так много! Если на каждую перекидку он будет тратить три минуты, то потребуется двадцать семь, ну полчаса. Ничего страшного — до семи он будет на том берегу.

Вспомнив о времени, Григорий пугается — часы! Он подносит их к глазам и даже стонет от огорчения и досады: часы стоят. В них проникала вода, и Григорий вспоминает, что на областном совещании Георгий Раков тоже получил именные часы, но пылеводонепроницаемые, противоударные. У Георгия была большая выработка, чем у Семенова. «Те бы часы не остановились», — думает Григорий и улыбается ясно, весело: смешно ему, что только сейчас, в наледи Кедровки, позавидовал Георгию.

— Ну, двигай, двигай! — кричит на себя Григорий.

Через три перекидки шеста он останавливается, отдыхает, затем опять карабкается вперед.

— Восемь, — сосчитывает он. — Девять... — тускло говорит через три минуты. Наступает та точка утомления, когда ни воля, ни нервы, ни привычка к большим нагрузкам не помогают. Сейчас может выручить только одно — отдых. И Григорий отдыхает в ледяной каше, сбвиснув грудью на снег, не замечая, что он почти весь в воде. В глазах, ослепленных лучами заходящего солнца, темень, вращаются, ввинчиваются друг в друга зеленые, синие, бордовые круги. Маленькие тупые иголочки покалывают тело.

«Мне не вытащить ноги!» — думает Григорий о себе, как о постороннем человеке, и от этого любопытно: вытащит или нет? Он напрягается, упирает колено в шест, поднимает тело. «Сделаю шаг!» — всдыхивает

мысль, и он действительно делает его и от этого приходит в себя, но только на несколько минут.

— Десять...

У него опять темнеет в глазах, но он успевает увидеть берег, до которого, кажется, так далеко, что нужно шагать год.

— Одиннадцать...— говорит Григорий, обнаруживая, что все-таки сделал еще шаг.

Двенадцатого шага он сделать не может — сызнова прилегает на снег. Дышит тяжело, часто, как загнанная лошадь. Мысли медленные и равнодушные. Его ничто не тревожит, и нет другого желания, как отдохнуть.

4

Глухая Мята живет своей жизнью: в сырой тишине поют моторы пил, гремит трактор, стонет мокрое дерево. Лампочки на эстакаде выхватывают из темени людей. На старом штабеле сидит Федор Титов, курит, сплевывает горькую слюну. На душе мутно, вязко. Он уже отработал свое, отсидев на тракторе двенадцать часов, может идти в барак, но не хочет. От газа и мазута болит голова. Липко на душе у Федора, нехорошо.

Федор не может забыть слов Изюмина. Мало что помнит он после пьянки. Утром все свернулось в кошмарный, бредовый клубок. Как шел в барак, как входил, что говорил — не помнит, а вот слова механика: «У тебя рабья кровь, Федор!» — запомнил. Его оскорбило непривычное сочетание слов, каждое из которых было хорошо знакомо: «рабья» и «кровь». Первое слово Федору — точно нож в сердце. Рабья!

— Отцепите воз! — кричит на всю эстакаду Раков.

Федор кривит губы. Как бы не так — отцепи! Он и шагу не сделает, чтобы помочь Георгию. Лучше другому поможет он, а Ракову — никогда! Федор с неприязнью наблюдает, как Никита Федорович отцепляет хлысты, как Раков снова уводит машину на лесосеку. Выждав, когда машина скроется, Федор спускается со штабеля, небрежной походкой идет к Дарье.

— Подвинься-ка! Помогу!

— Ой, мамочки мои! — радостно вскрикивает Дарья. — Вот хорошо-то!

— Скучно одному в бараке! — буркает Федор.

Виктор и Борис сторонятся, уступают Федору место в паре с Дарьей. Он выхватывает из-за ремня шоферские рукавицы с раструбами, надевает и подмигивает Дарье — давай ворочай! Уцепившись за комель дерева, наваливается на него телом; дождавшись, когда комель перевесит, вращает бревно вокруг оси. Оно быстро катится вверх, точно кто-то подталкивает его посередине. Федор бежит рядом, не перестает вращать комель, и Дарья не успевает и взяться за бревно, как оно с мягким стуком ложится на штабель.

— Ой, мамочки мои!

Дарья замирает от восторга, но Федор строго прикрикивает на нее и стремглав бросается к следующему бревну. Он юркий, подвижный, как ртуть, — он мастер штабелевать бревна. Не зря Никита Федорович говорил о нем: «Не человек, а обезьяна — вот до чего цепкий!»

— Давай, давай! — кричит он и бросается к бревнам: катит их, тащит волоком, поворачивает и крутит, толкает ногой, руками, ловко цепляет железным рычагом, надавливая спиной. — Давай, давай!

Федор вихрем носится вдоль покотов, краешком глаза примечает, как работают Виктор и Борис; выждав момент, одновременно с ними берет с эстакады бревно. Он намного опережает их, укладывает бревно,

лѐтом возвращается за другим, а в это время ребята только катят свое. «Слабаки!» — торжествует Федор.

— Ой, Феденька, уморилась! — Дарья роняет руки и счастливо вздыхает. — Нет моей моченьки больше!

— Отдохни, — снисходительно отвечает Федор, и его опять подхватывает вихрь. Оставшись один, он ощущает восторг силы, нерастраченную за день энергию. Движения слаженны, четки, почти неосознанны. Он и вправду похож на цепкую обезьяну: руки длинные, ноги кривоватые, лицо, густо заросшее волосами, подвижное, а в плечах широк, грудь барабаном.

На эстакаду, завывая, поднимается трактор. Раков выходит из кабины, идет к месту штабелевки; остановившись на краю эстакады, долго, оценивающе глядит на работу Титова.

— Молодец, Федор! Я знал, что ты не уйдешь, — говорит он.

И сразу же прерывается мокрое постукивание бревен — Федор бросает работу, заталкивает рукавицы за пояс, одним прыжком прыгает на штабель и пропадает в темноте.

— Ну и баламут! — оторопело восклицает Раков.

— Ой, зачем же ты так его?.. — жалобно говорит Дарья.

— Что — так?

— Обидел!

— Чем это? — надменно отзывается тракторист. — Я к нему по-дружески...

— Ой, не понимаешь ты... Что Федя, хуже других? Вот он и обиделся.

Лесозаготовители бросили работу, повернулись к Ракову. Никита Федорович осуждающе вздергивает бороду.

— Ты, парень, думай, как говорится, прежде чем высказываться! Почто обидел человека?

— Тьфу! — плюет Раков. — Один черт знает, как с вами обращаться. Разбирайтесь сами! — И уходит к трактору.

— Перекурим это дело, — предлагает Силантьев.

Лесозаготовители собираются в центре освещенного пространства, неподалеку от будки электростанции. Шесть человек садятся в тесный кружок, и только Дарья и Удочкин уходят в сторонку, в тень. Михаил Силантьев сначала хочет сесть к ним, но раздумывает.

— Устала? — спрашивает Петр.

— Немного, — отвечает она.

Дарья — наполовину в свете лампочки. Петру видны ее колени под темной юбкой, руки, лежащие на них, кончик сапога. Остальное скрывается в темноте, и от этого кажется, что Дарья говорит издалека.

— Через час пошабашим, — успокаивает ее Петр.

Дарья еще глубже уходит в тень. Силантьев, не спускающий с них глаз, видит только блестящую точку начищенного Дарьиного сапога. Он держит в неподвижной руке самокрутку, забывает о ней и внезапно ошалело дергает пальцами — самокрутка догорела. Ему не слышны голоса Петра и Дарьи и поэтому чудится, что в этот самый момент Удочкин наклонился к Дарье, прижался к ее губам. Вот почему ни слова, ни звука не издают они. «Не может быть, при людях постесняются», — успокаивает себя Михаил, но не выдерживает: поднимается, идет в тень, где скрываются Петр и Дарья.

— Слушай, Петр, посмотри-ка мою пилу, — просит он Удочкина. — Не пойму, что с ней.

Петр послушно идет за Силантьевым, поднимает небрежно брошенную им пилу, щелкает выключателем — пила злобно воеет. Сразу же высовывается из электростанции Изюмин.

— Что с пилой? — кричит он.

— Ничего,— поспешно отвечает Силантьев.— Сами разберемся.

Механик скрывается. Пила воет в руках Петра, он прижимает пильную цепь к стволу, сильно и плавно надавливает, погружает в пропиленные круговыми движениями. Кряж, глухо стукнув по настилу, отваливается. Приблизив к глазам пилу, Петр осматривает ее. Силантьев стоит рядом и терпеливо ждет.

— В порядке! Не знаю, что тебе причудилось.

— А ведь заедала! — говорит Михаил, оглядывается на эстакаду и внезапно хватает Удочкина за руку, тянет к себе, шепчет на ухо: — Я не из-за пилы... Отойдем в сторонку, поговорить надо!

Они спускаются с эстакады, проходят вдоль штабелей, останавливаются. Шепот, торопливые, крадущиеся движения Силантьева, его согнутая фигура тревожны.

— Вот что, Петр! — говорит Михаил и так сильно сдавливает руку Удочкина, что парень вскрикивает:

— Больно!

— Ничего!.. Вот что я тебе скажу, Петр...

5

— Двенадцать! — считает Григорий и падает на берег Кедровки.

Он лежит неподвижно, раскинув руки, освещенный лучами догорающего солнца. Дышит тяжело и судорожно. На снег течет дымящаяся вода.

Григорий прижался к обнажившейся прошлогодней траве, холодит о нее горячую щеку. Уже, наверное, минуты три лежит неподвижно, потом отрывает от земли левую руку, не поднимая головы, нащупывает рюкзак. Еще минут пять лежит, до тех пор, пока не приходит мысль: «Нужно вставать. Могу простудить легкие».

Он поднимается медленно — сначала приподнимает голову, потом грудь, затем бедра и уж тогда, перегнувшись, становится на четвереньки. Выпрямившись во весь рост и утвердившись на ногах, он покачивается. Несколько секунд — пять, а может быть, и все десять — он стоит, чувствуя, что не может сделать и шага, и думает лишь об одном: «Эх, забыл вылить воду из бродней!» Ему нужно снова лечь на землю, чтобы вылить воду.

Григорий опять валится на землю, но теперь на спину, и осторожно, чтобы не попало на лицо, задирает поочередно ноги. Поток воды выливается на брюки и телогрейку, но это не беспокоит его — они промокли до ниточки... Григорию холодно, он начинает мелко, как в лихорадке, дрожать. «Можно простудиться», — думает он и прикрикивает на себя:

— А ну!

Рывком вскакивает с травы. В глазах темнеет; по-прежнему плывут разноцветные круги. Кривясь от боли, Григорий приседает, нагибается, делает несколько гимнастических движений, схватив шест и рюкзак, бежит вверх по крутой дороге. Перехватывает дыхание, сводит икры, хочется упасть лицом на землю, но он бежит — что-то сильнее усталости и боли заставляет его не прерывать бег, и это не только инстинкт самосохранения, это больше, чем боязнь простудиться.

Если бы Григорий пожелал разобраться в себе, он нашел бы ответ на вопрос, что заставляет его бежать, но он не привык копаться в своих переживаниях. Григорий Семенов считает, что важно не то, что человек чувствует, а то, что он делает.

Он бежит по круче и видит, что и дальше дорога поднимается, но положе, и это хорошо — напряжение будет меньше, а движения **все-таки** согреют его.

«Вот я и выбежал на яр,— радуется Григорий.— Вот я бегу дальше и не упал, не лег. И вот, кажется, второе дыхание». Ему действительно становится легче, а по телу, медленная, прокатывается теплая волна.

— Вперед! — погоняет Григорий Григория.

От него валит пар, он согревается, но позволяет себе остановиться только тогда, когда все тело пышет, а в сапогах разливается тепло. Чтобы не зашло дыхание, бег замедляет постепенно, и, когда переходит на шаг, Кедровка остается позади. Дорога ныряет в сосняк, крутанув несколько раз, снова выбегает на берег Оби, но река скрыта от него густой стеной тальника.

До перехода через Обь — шесть километров.

Солнце садится. Вечер наступает сразу — светлый и голубой, а над тем местом, где, по расчетам Григория, он должен переходить реку, висит осколок луны. По всем приметам, к ночи должно подморозить — нет ветра, закат яркий, чистый, облака высоки.

Григорий убыстряет шаги и скоро выходит на берег Оби. Залитая светом луны река изрезана ручейками. Они журчат на разные голоса, их так много, что представляется: струится вся Обь, от которой, как во время половодья, тянется тонкий туман.

Григорий спускается под яр, находит зимнюю дорогу, идет по ней, балансируя шестом,— иногда он шагает по тверди, иногда проваливается в воду по колено. Странное, неприятное чувство испытывает Григорий: ему отчего-то кажется, что все — река, залитая водой, месяц, ручьи — снится ему и что стоит пошевелить пальцем или встряхнуть головой, как все исчезнет.

«Идиотизм какой-то!» — думает Григорий, но на руки все-таки смотрит.

6

— Вот что я тебе скажу, Петр! — говорит Силантьев, не отпуская руки Удочкина и радуясь тому, что выбрал для разговора темную ночь, когда не видно его лица, когда на нем ничего не может прочитать приметливый Петр.— Ты только не ври, не петляй, как заяц, а говори правду! Я тебе ничего не сделаю! Ты прямо скажи — живешь с Дарьей? Ты прямо отвечай, Петр!

— Ой, больно! Отпусти руку! — морщится Удочкин.

— Говори, живешь или нет? — требует Михаил, но сам уже знает все: «Не живет он с ней! Если бы жил, не так бы вел себя!» К горлу теплым комком подкатывает радость, он бросает руку Петра.

— Ошибся ты, Миша! — говорит Удочкин.— Показалось тебе, что я с Дарьей!.. Соседи мы с ней, приятели, вот тебе и показалось.— Он несколько мгновений молчит, потом тихо продолжает:— Я боялся, что обидишь ты Дарью. Сомневался. Не верил в тебя.

— Почему не верил? Ты отвечай! Ты мне сразу отвечай, Петька!

За штабелем темно, Петра почти не видно, и Силантьеву кажется, что он держит за руку не его, а кого-то другого. «Не верит!» — проносятся у него в голове. Наверное, Петр с Дарьей говорили о нем, судачили и сообща решили, что верить ему нельзя. Выходит, здорово ошибался он, когда думал, что Петр живет с Дарьей. «Эх, Мишка, Мишка! — думает Силантьев.— Плохо ты о людях соображаешь!»

— Кто же тебе поверит? — говорит Петр.— Всю землю обошел, нигде не задержался... Сам о женщинах рассказываешь... Ты же все рассказываешь... Кто тебе поверит? Нельзя Дарью обижать, Михаил! Она человек слабый, с ней что хочешь, то и делай, а ты мужик бывалый, находчивый... Смотри, Михаил!

— Эх, ты! — вздыхает Силантьев и отодвигается назад, чтобы не чувствовать жаркого дыхания Удочкина.

Михаил глядит на далекую звезду, висящую на верхушке сосны-семенника. Она поводит усиками, трепещет, эта далекая звезда, и выше нее и рядом с нею трепещут еще звезды, а дальше — еще и еще.

«Красивые!» — думает о звездах Михаил и никак не может вспомнить, когда в последний раз осмысленно глядел он на ночное небо. Безразличным, торопящимся глазом всегда окидывал небо Силантьев и шел по своим, в то время важным для него делам, и звезды жили сами по себе, а Михаил Силантьев — сам по себе.

— О-хо-хо! — вздыхает он.

7

«Говори прямо, Петр, живешь с ней или нет?» — слышится в ушах Удочкина голос Силантьева. Петр быстро ходит по эстакаде, жужжащей электросучкорезкой смахивает хрупкие сучки. Когда Петр нагибается, то чувствует, как деревянный Силантьев давит на ребра. И странно, Удочкин не может представить лицо Михаила таким, каким оно вырезано из твердого березового корня: другой Михаил Силантьев стоит перед глазами. У этого Михаила тревожное, затуманенное лицо. «Почему не верили?» — спрашивает он. А потом Силантьев смотрит, как падают звезды, и в его зрачках отражается небо. Удочкин выпрямляется, достает из бокового кармана пиджака березовый корень, долго смотрит на него и качает головой. «Нет, не такой он — Михаил Силантьев. Неправильно я его вырезал. Поторопился».

Еще раз вздохнув, Петр берется за работу. На эстакаде ворочаются удлиненные, смешные тени. Люди гремят металлом, негромко переговариваются, приглушенно смеются.

— Пошабашили, ребята! — несется по эстакаде довольный голос Георгия Ракова. — Хорошо поработали!

Над Глухой Мятой круто выгибается Млечный путь — серебряный пояс неба. Звездно. В ночь налетел холодок, ветер стих — и все недвижно, все застыло в похрустывающем морозце. Темное небо над освещенной эстакадой — точно крыша, а стены — штабеля леса.

— Пошли в барак, ребята!

Лесозаготовители редкой цепочкой втягиваются в темень тайги. На эстакаде одна за одной гаснут лампочки, которые выключает механик Валентин Изюмин. Последней гаснет лампочка в дощатой будке электростанции.

Петр Удочкин и Дарья идут вместе. Лицо Дарьи освещено луной, и от этого ее тонкая кожа кажется еще белее, еще прозрачнее. Она по-своему — ребячливо, лукаво — заглядывает Петру в лицо, еле слышно прикасается к его руке.

— Ой, Петя, какая луна!

Лунная дорожка посреди тайги кажется бесконечной.

— Что с тобой, Петя? — вдруг обеспокоенно спрашивает Дарья.

— Ничего. Думаю, — отвечает он.

Они идут молча. Потом Петр говорит:

— Ты знаешь, Дарья, он хороший.

— Кто?

— Михаил.

У нее широко раскрываются глаза, а губы, наоборот, сжимаются, и она делает шаг назад.

— Вот... Сказал... Зачем ты это говоришь, Петр?

— Я боялся, что он обидит тебя.

Она вздыхает.

— Меня нельзя обидеть. Я обижена.

— Глупенькая ты, Дарья! Человек не может быть обижен на всю жизнь.

— Чудной ты, Петя! — Дарья мягко улыбается, нащупывая пальцами его руку.

— Я ошибся, Дарья... Он не такой, как здесь, — отвечает Петр и показывает свободной рукой на внутренний карман, в котором хранится в темноте деревянный Силантьев с лицом, говорящим: «Хорошо жил — без водки обедать не садился... А бабенок там было страсть сколько! И все незамужние!»

— Пойдем, Петя!

— Пойдем, Дарья!

Они идут тихо, каждый думает о своем. Дарья смотрит себе под ноги, словно считает шаги. Под сапогом хрустит снег, звонко лопаются маленькие льдинки. Они идут по бесконечной лунной дорожке. Сосны недвижны, но иногда ветви, неизвестно отчего, начинают шевелиться — и тогда по тайге проносится сдержанный вздох.

— Он тебя любит, Дарья, — говорит Петр.

Низко опустив голову, Дарья молчит.

— Он тебя любит! — настойчиво повторяет Петр. — И он хороший!

— Не надо, Петя, — просит Дарья, но Удочкин не обращает на ее просьбу внимания.

— Он хороший! — громко говорит Петр, замедляя шаги.

— Молчи, молчи... — Дарья сжимает его руку и вдруг вскрикивает: — Ой, мамочки, что это такое?!

Петр вздрагивает, оборачивается и еще больше пугается — в трех шагах от него и Дарьи в свете луны блестит какой-то непонятный, странный предмет. Этот предмет двигается и на ходу не то бренчит, не то позванивает. Потом предмет превращается в фигуру незнакомого человека, еще более странную оттого, что это человек.

— Здравствуй, Петр! — говорит странный человек голосом бригадира Семенова.

— Ой, Григорий Григорьевич, что с вами? — стонет Дарья.

Впереди гремят, волнуются голоса, хрустит лед, на тропинке один за другим стремительно появляются лесозаготовители. Широко взметывая ноги, летит, как на крыльях, Георгий Раков, прижав руки к бедрам, неслышно несутся Виктор и Борис, трясется в стариковской рысце Никита Федорович, а позади шагает механик Изюмин. Они подбегают, останавливаются перед Семеновым и несколько мгновений, ошеломленные, молча смотрят на него. И Георгий Раков спрашивает:

— Обь?

— Она.

— Бобину принес?

— Принес.

И уж после этого отрывочного разговора Раков спокойно здоровается:

— Здравствуй, Григорий!

— Здравствуйте...

Никита Федорович проталкивается вперед, оглядывает бригадира — он даже присаживается, чтобы было удобнее, — трогает рукой телогрейку, раструбы бродней, согнутым пальцем постукивает по бренчащей коже и уж тогда, пожевав губами, говорит:

— Вот, погляди, какая история... Он весь обледенел, ровно сосулька. Он, как говорится, шатается, словно выпивший... Его надо, ребята,

в избу тащить и поить водкой. Не то он совсем скочерыжится!.. Давай, ребята, веди!

— Ты как доктор, Никита Федорович,— улыбается Григорий, но слова произносит невнятно, через слог.

— Веди, веди, ребята!

— Ведите, черт с вами! — сдается бригадир, повисая плечами на руках лесозаготовителей.— Хоть немного прокачусь... А Федор где? — спрашивает он, заметив, что тракториста нет среди них.

— Он раньше ушел. Он шустрый! — торопливо отвечает Никита Федорович.— Двигай ногами, двигай!

Стучит обледеневшая одежда, чавкают бродни. Подхватив под руки, лесозаготовители Глухой Мяты ведут Семенова в барак. Идущий позади Никита Федорович рассуждает:

— Ему, должно быть, не шибко холодно. Лед, он тоже для сугреву хорош! Вот ты возьми тетерева, как говорится. Он почему под снежной корочкой прячется? Да потому, что там теплень... Птица, она тоже понимает. Ты ее, парень, не возьмешь голыми руками... Вот и говорю — лед тоже для сугреву годится!

8

Стуча заледеневшей одеждой, броднями, похожий на водолаза, Григорий вваливается в душное тепло барака. Забежавший вперед Никита Федорович расстегивает на нем телогрейку, и она вместе с рюкзаком не ложится на пол, а встает шалашиком.

— Садись на пол! — распоряжается Борщев.— А ну, Георгий, подсоби!

Они начинают снимать с Григория бродни. Второй ногой бригадир упирается в угол печки, а они, посинев от натуги, тянут один бродень, который сидит на ноге крепко. Из-за голенища бегут струйки воды, показался уже край портянки, но Раков и Никита Федорович все еще наливаются кровью. Бродень срывается с ноги разом, и Раков вдруг, потеряв равновесие, летит спиной на пол, глухо ударяется. Никита Федорович наставительно говорит:

— Когда снимаешь сапог, всегда ногу отставляй назад! Не знаешь, что ли?.. А ну, потягали второй!

Дарья держит в руках тряпку и сразу же подтирает воду. Другие лесозаготовители следят за ними, весело хохочут над Раковым. Поднялся с пола Федор Титов. Он тоже улыбается, а сам жадно оглядывает бригадира, соображая, выполнил он его наказ или нет. Когда Раков и Никита Федорович снимают с Семенова первый бродень, бригадир замечает Федора и кивает головой.

— Здорово, Федор! Ты не беспокойся — я все сделал... Потом расскажу.

Снимают наконец и второй бродень. Подтерев пол, Дарья опрометью бросается в другую комнату, приносит заранее приготовленные для бригадира сухие и выглаженные рубашку, кальсоны, брюки из сатина и уходит, чтобы Григорий мог переодеться. А Никита Федорович в это время ставит на горячую печку чайник, в заварник валит почти осьмушку чая. Виктор и Борис роются в чемоданах — достают домашнее сало, копченую рыбу. Все это впрок положено ребятам заботливыми матерями.

— Вот она, милушка! — говорит Никита Федорович, рассматривая на свету чекушку водки, которую он сохранял на случай.— Лучше штуки для сугреву и не придумаешь!

— Дарья, стакан!

Она приносит стакан. Никита Федорович наливает его до краев, отрезает от буханки хлеба здоровенную краюху, горкой солит ее — на это идет полсолонки, — затем мажет горчицей на полпальца толщины и уж поверх всего этого сыплет злой черный перец, тоже толстым слоем.

— Обязанности не знаешь, что ли, девка? — строго говорит он Дарье. — Где лук? Где он, спрашиваю?

Огромную луковицу он режет всего на две части и ими прикрывает горбушку хлеба с мешаниной соли, перца и горчицы, которая теперь выглядит так аппетитно, что многие из наблюдающих за стариком сглатывают слюну. То, что делает Никита Федорович, — хлеб, соль, лук, горчица, перец — называется в нарымских краях «граната». Есть еще «бомба» — это то же самое, но не чекушка, а пол-литра водки. Нарымские мужики после «гранаты» опьянения почти не чувствуют, а после «бомбы», бывает, бегут за второй бутылкой: «То ли проняло, то ли нет, не пойму что-то!»

— Надо бы «бомбу», да нету водки боле, — озабоченно говорит Никита Федорович Григорию. — Ты уж извиняй, нету!

— Хватит! — отвечает немного согретый Григорий и словно бы нерешительно смотрит на товарищей. — Наверное, и так лишку.

— Ты не барышнись! — прерывает его старик. — В таком случае водка не укор, как говорится. Никто не осудит тебя, хоть ты и бригадир... Ну, с богом! Дай вам бог не приболеть, не простудиться!

— Дай бог, чтобы не последняя! — улыбается Силантьев, а сам не может оторваться от стакана с водкой. — Пей — дело обычное! Мы отвернемся, а то завидно! — И он действительно отворачивается, продолжая шутить: — Ты, Федор, тоже отвернись! Мы тут с тобой любители.

Григорий подходит к столу, поднимает стакан, примерившись, несколько секунд думает, потом резко подносит ко рту и выливает в него водку одним движением.

— По-нашему! — одобрительно крикает Никита Федорович. — Теперь «гранату»!

Хрустит лук. Григорий отхватывает здоровенные куски от краюхи и даже не морщится. В былые времена от «гранаты» у него только злость просыпалась, от «бомбы» — вторая злость, а от двух «бомб» веселел и, стрескав чугунок супа, подумывал о том, чтобы к двум «бомбам» приложить «гранату» — вот это бы рвануло! И частенько прикладывал, хотя пьяным — взгальным и диким — не бывал никогда.

Проглотив остатний кусок краюхи и крепко вытерев засадившие от горчицы и перца губы, он садится за стол, пододвигает тарелку и набрасывается на суп решительно, зло и так аппетитно, что Никита Федорович от удовольствия сладко зажмуривается.

— Ешь на здоровье, Григорьевич! — ласково говорит он.

Бригадир Григорий Семенов ест щи. В бараке в это время как в семье, где сидит за столом единственный баловень сын, который бегал, гулял целый день и теперь на диво родителям ест все, что дают.

Так же любят и так же довольны бригадиром лесозаготовители — замерз человек, умаялся до смерти, пробираясь ночью через Обь, тонул, наверное, раз десять, а вот — возьми его за рубль двадцать! — весело улыбается, ест за четверых, так трескает, что даже завидки берут. На щеках румянец, губы распустились, уши ярче мака горят.

Никто и не подумает из людей Глухой Мяты расспрашивать бригадира, как шел ночной тайгой, как тонул в Оби, как завязал в наледи неприметной речушки Кедровки. Сами знают, как бывает в таких случаях.

Григория Семенова тоже не томит желание рассказать о своих при-

ключениях — что было, то было, а чего не было, того не было. Главное, что все позади — Кедровка, Обь, еще три речушки, да мало ли еще что!..

— Отходит! Вот погляди-ка ты на него! — говорит Никита Федорович, и вместо глаз у него — щелочки: так доволен, что шурится котом, того и гляди, замурлыкает. Важно ведет себя Никита Федорович, и не без оснований — он, а не кто другой, приготовил бригадиру «гранату», он сам сберег для него чекушку водки, а Дарью надоумил вчера приготовить чистое сухое белье, сменные штаны. Потому так и ведет себя Никита Федорович — заглавным, самоважным человеком. Когда в тарелке обнажается дно, прикрикивает на Дарью: — Не стой! Тащи еще!.. Тебе, поди, мало, Григорьевич!

— Давай! — улыбается бригадир, вынимая ложку из тарелки, чтобы не мешала долить.— Проголодался!

— Это, как говорится, правильно!

Лесозаготовители любят на Григория Семенова, радуются, что полегчало человеку. Федор Титов морщит губы, причмокивает, словно помогает бригадиру глотать большие куски мяса. И даже Георгий Раков ведет себя необычно — нет на лице надменности, глядит на бригадира, не задирая небритый, похожий на кончик башмака, подбородок. Виктор Гав и Борис Бережков забыли о книгах, сидят, как в театре, вертят головами, чтобы не пропустить ничего интересного.

— Кажется, хвагит! — сытым голосом произносит Григорий и отваливается от тарелки, от стола.

— Георгий, сообщи цифры! — просит он Ракова и по привычке хлопает себя по карманам — ищет зеленый, перетянутый резинкой блокнот. А его нет: остался в мокром пиджаке.

— Дарья! Принеси! — говорит Никита Федорович.

Дарья опрометью бросается в другую комнату, незамедлительно приносит блокнот, хотя нельзя назвать блокнотом то, что видят в ее руках лесозаготовители,— размок он.

— Пропал блокнот! — досадливо восклицает бригадир.

— Все пропал блокнот! Это уж махни рукой! — соглашается с Григорием Никита Федорович.— Надо другой!

Пожалуй, он прав. Нужен другой блокнот. Семенов поднимает голову, оглядывает товарищей, видит их улыбки, их радость за него и соглашается в душе, что стоит завести другой блокнот.

— Заведем другой! — твердо решает бригадир Семенов.— У меня припасен!

Он достает из чемоданчика запасной блокнот, с хрустом раздвигает страницы, нацеливается карандашом на Георгия Ракова.

— Сколько заштабелевано?

— Пятьсот шестьдесят шесть.

— Пятьсот шестьдесят шесть? Не может быть! — Бригадир недоверчиво округляет рот.

— Не врем же! — отвечает Раков.

Никита Федорович мелко помаргивает ресничками, хранит на лице важность, значительность — нет, они не врут, не обманывают. Михаил Силантьев надувает резиновые щеки, катает смешинку в полных губах с довольным видом — нет, не обманывают они бригадира; честно, откровенно глядит длиннолицый Удочкин — мы правду говорим, товарищ бригадир; нет сомнения и у парней-десятиклассников — правда это, Григорий Григорьевич; и только трудно понять, что думает механик Изюмин,— отгородился книгой от бригадира и лесозаготовителей.

— Ясно! — говорит Григорий Григорьевич и ставит прямые цифры в блокноте. Стоило, очень даже стоило, оказывается, заводить новый блокнот!

— Трелевка на завтра есть?

— Кубометров пятьдесят.

— Хватит! Ну, ребята, скажу прямо, теперь уверен — выберем Глухую Мятю!

— Теперь должны бы,— соглашается Никита Федорович.— Дарья, убирай со стола!

Григорию Семенову сейчас совсем хорошо. От сытной еды, от стакана водки и от того, что споро шли дела в его отсутствие, он испытывает душевную размягченность, даже нежность к людям Глухой Мятю.

— Да, Федор, тебя ведь поздравить надо! — вспоминает вдруг Семенов.

— С чем, Григорий Григорьевич?

— Племянник родился! Ульяна говорила — хороший мальчуган и уже пять килограммов тянет. Поздравляю, Федор! Мать здорова.

— Спасибо,— немного смущается от всеобщего внимания Титов.— Сеструха у меня здоровая!

— Бой-баба! — радуется Никита Федорович.

Он подходит к бригадиру, похлопывает ладонью по широкой спине.

— Ну, парень, кажись, отошел ты,— говорит он.— Молодец! Помню, у нас в партизанском отряде такой же лихой человек был — Сергеем Долгушиным кликали...

Семенов смущенно улыбается:

— Вы скажете, Никита Федорович...

— Ничего, ничего,— успокаивает его старик.— Истинную правду говорю: похож ты на Серезжку. Такой же.

Григорий Семенов еще больше смущается, а лежащие рядом Виктор и Борис переглядываются, и их одновременно, как часто бывает с друзьями, думающими и чувствующими одинаково, пронзает одна и та же мысль. Ребятам кажется, что приблизились, вошли в Глухую Мятю со словами старика те далекие героические времена. Дыхание времени ощутили ребята и подумали, что ничего нет странного в том, что в рассказах Никиты Федоровича жизнь партизан походила на жизнь в Глухой Мятю. «Теперь тоже времена интересные», — вспоминают они слова старика и бледнеют от необычности мыслей, пришедших им в голову.

— Григорий Григорьевич,— неожиданно для самого себя говорит Виктор,— а ведь мы мотали бобину... Получилось бы, если бы провод был.

— Виктор, зачем? — испуганно останавливает его Борис, но все уже сказано, и ребята густо краснеют.

— Целую ночь не спали,— насмешливо говорит Георгий Раков.— Думают, никто не видел... Эх, вы!

— Это ничего, это ничего,— поспешно вступает в разговор Никита Федорович.— Это, как говорится, бывает.

— Спать, спать, ребята! — весело приказывает Григорий Семенов и бережно прячет в карман новый блокнот.

9

Петр Удочкин спит.

Он уютно устроился под теплым одеялом. Не слышит, как, шлепая босыми ногами, проходит по комнате Силантьев, склоняется над Петром, долго и пристально смотрит на него, закрытого одеялом.

Тихо в бараке, ни звука за стенами. Силантьев ненавидяще смотрит на Удочкина и вдруг, сбросив с Петра одеяло, говорит свистящим шепотом:

— Вставай, Петька! Вставай!

— Что?! — вскидывается Петр.

— Дарья плачет. Часа два уже плачет... Иди успокой! Спать не даст,— говорит Силантьев.

— Отчего плачет? — сонно спрашивает Петр.

— От тебя, гаденыш, заплачешь! — Михаил больно схватывает его за плечо.— Иди, а не то я тебе вязы сверну! Кому говорят? Иди!

Удочкин натягивает брюки, пятерней расчесывает волосы, запахивает рубаху на голой груди.

— Иди! — задыхается Силантьев.

Петр неслышно бредет по комнате. Он похож на привидение, когда на цыпочках, в белой рубахе, пробирается через порожек. Заходит в комнату. Дарья лежит на постели, уткнувшись в подушку, и поэтому ее плач не слышен, он только временами вырывается наружу, когда ей не хватает воздуха.

— Дарья! — окликает Петр.

Она пугается.

— Ты что, Дарья? — спрашивает он, подходя к ней, и она, точно на морозе, поводит плечами, трясет по-старушечьи головой, смотрит на Петра.— Ты почему плачешь, Дарья? Ведь спать надо.

Дарья бросается головой в подушку. Петр терпеливо ждет, когда она проплачется и опять повернется к нему лицом.

— Не надо! Ты перестань, Дарья... Не надо! — бормочет он.

Дарья постепенно затихает, укладывается на смятой постели, а он все сидит, положив руки на колени, слегка нагнув голову. Мысль, что нужно говорить, как-то успокаивать женщину, произносить слова, все мучит его, и он наконец находит:

— Может быть, попьешь воды?

— Попью...— приглушенно отвечает она.

Стакан дробно постукивает о зубы, Дарья пьет жадно.

— Еще...

Он приносит еще стакан, и она опять пьет. Петр неожиданно для себя с жалостью и болью шепчет:

— Дарья, Дарья, зачем же так!

Стакан ударяется о спинку кровати, но не разбивается. Он подхватывает его, совсем пустой, и ставит на стол. Дарья выпрямляется. Она чутко уловила перемену в его голосе, услышала в нем ласку и нежность, она поняла Петра так, как он сказал.

— Ты меня словно ударил сегодня, Петя! — торопливо, сбивчиво говорит Дарья.— Ой, да ты не слушай меня, я сама не знаю, что говорю...

Лицо ее лихорадочно горит, одеяло высоко поднимается на груди, в голосе снова слезы. Петр боится, что она опять заплачет, что опять нужно будет маяться и искать слова, он берет ее за горячую руку, не раздумывая над словами, начинает успокаивать:

— Пустяки это, Дарья! Я отстал просто так, я даже и не заметил, что ты ушла... Это просто так...

Удочкина охватывает горячая волна жалости к Дарье, и от того, что он говорит, становится легко. Он радуется тому, что исчезла скованность, что ему не нужно вить веревочку из пустых слов.

— Все будет хорошо! — убеждает он Дарью, хотя не знает, что заключено в этих словах, что должно быть хорошо и почему.— Ты не плачь, все будет хорошо! Вот увидишь!

Она глотает слезы, давится ими.

— Я не плачу, не плачу... Мне обидно! Мне так хорошо было раньше с тобой...

Она прячет голову в подушку.

— Дарья, Дарья!..— покачивается Петр.

Она лежит неподвижно, постепенно вытягивается под одеялом, лежит так, как лежат на больничных кроватях,— прямая, длинная и плоская. Перебивая свет лампы, заглядывает в окно луна — по-утреннему яркая. И все бродит, шепчется за стенами весна.

Весна бредет по Глухой Мяте. Для всех весна! Для тайги, для человека, для зверей и птиц, для травы и туч. Для всех весна! А в Глухой Мяте, в той комнатке, что поменьше, по-больничному лежит на кровати молодая женщина, глядит сухими, блестящими глазами в потолок и говорит строго, ясно и печально:

— Ты не бойся, Петр, я навязываться не стану. Моя песня спета. Изломал меня Васька Сторожев... Ты думаешь, я ничего не понимаю? Все вижу, Петр. Мы ведь дуры, бабы. Умом понимаем, а сердцем не верим, надеемся на что-то... Иди, Петр, отдыхай. Тебе завтра работать...

Петр слушает Дарью и не узнает ее — иной человек, мудрый, взрослый и много поживший, говорит ее устами, да и лицо ее постарело на много лет. Глубокие складки у рта, изломанная надвое левая бровь.

— Иди, Петр, отдыхай!

Петр Удочкин поднимается. Великую тяжесть на своих плечах чувствует Петр, точно навалили на него непомерную для человека ношу.

— Ну что? — встречает его свистящий шепот Силантьева.

— Не плачет...

— Ух и гаденыш ты! Чистоплюй! Я таких давил раньше! Дарья для тебя заляпанная, я понимаю! У, сволочь! Чистоплюй!

Мишка Силантьев, человек, много побродивший по земле, повидавший женщин на своем веку, задыхается от ненависти к нему.

Глава пятая

1

В Глухой Мяте оттепель.

С порозовевшей сосульки скользит прозрачная капелька, повиснув и покачавшись на острие, срывается и падает в снег. Потом скользит вторая капелька, вытягивается, за ней еще одна и еще — и бегут наперегонки, и, истекая ими, светлеет, делается прозрачной розовая на заре сосулька, отливает радугой, а свет, пробившийся сквозь нее, разделяется на беленом стволе березы семью цветами спектра.

Григорию Семенову капли вызванивают веселый мотив. Он стоит, касаясь головой крыши барака. Улыбается. Не сутулится. И даже не торопится. Просто стоит у барака и смотрит. Любуется. Стучат, торкочут светлые, совсем уже розовые капли...

— На работу, товарищи! — кричит он в дверь барака.

Утром лесозаготовители идут в лесосеку плотной цепочкой, друг за другом, как в военном строю. Девять человек — целое отделение с командиром впереди — идут по Глухой Мяте. Федор Титов тихонько напевает: «Дан приказ: ему — на запад...». С фыркком вылетает из кустарника рябчик, задев крылом ветку, валится набок, но выравнивается и, кинувшись к земле, косо вздымается. Потревоженная птицей, качается вершинка сосенки.

— Начнем, товарищи! — несетя голос Семенова.

Мотив песни не покидает Федора Титова все утро: «Дан приказ: ему — на запад...» Песня звучит в ушах, слышится в гудении мотора. Песней насыщено утро до отказа, до предела, как тайга солнцем.

Притащив воз на эстакаду, Титов все от той же беспричинной радости кричит Никите Федоровичу:

— Героям гражданской войны привет! Работаем, как говорится, конечным делом...

Он беззлобно и весело дразнит старика его любимыми присказками, но Никита Федорович не обижен — ощерив рот, полный желтоватых зубов, отбивается:

— Дураков не сеют, не жнут, они сами родятся, как говорится! — И сам начинает смеяться.

Приход весны Никита Федорович Боршев узнает ногами. Когда кончаются морозы, отходят ноги, не ноют, не болят по ночам. Натянув шерстяные носки, нагнув портянки, Никита Федорович припечатывает каблук к полу, крутит ногами, как в танце. «Ишь, черти! Им бы теперь хоть снова по девкам. Вот до чего неугомонные!» Хвалится Никита Федорович людям: «Я еще потолкаюсь промеж молодых, как говорится. Я еще хрустенок, как малосольный грибок. Ты, парень, не смотри, что мне семьдесят!» И не зря похваляется старик — редкий может сравниться с ним в работе. Старик берет не силой, не гибкостью мускулов, а умением, сноровкой, хитростью.

Молодо бьются сердца Виктора Гава и Бориса Бережкова. Ребятам кажется, что капель отстукивает такты паровозных плит, которые, взбаламутив мутную обскую воду, скоро потянут паровоз «Пролетарий» к студенческому городу Томску.

Весна идет по Глухой Мяте!

Михаил Силантьев раскряжевывает хлысты. Невесело ему. Ночь почти не спал, ворочался, гонял думу за думой, но так ничего и не придумал.

Случилось с Михаилом однажды такое. Переезжая из города в город, он попал в городишко Званцево. Здесь месяца четыре отработал на цементном заводе и вдруг заскучал, пожаловался товарищам: «Уеду! Вот завтра сяду на поезд и отправлюсь дальше!» Но товарищи в ответ рассмеялись: «Не уедешь! Дальше не уедешь. Назад можешь, а дальше — нет. Тупик!» Он кинулся к карте — действительно тупик! Нет дальше из города стальной нитки рельсов, зеленый светофор только назад открывает путь. И вот тогда, разобравшись в тупиках и дорогах городка Званцево, Михаил взял верх над просмешниками, одолел их стремлением развеять тоску-кручину дальней дорогой, переменной мест — хлопотнул на стол сберегательную книжку, ткнул пальцем в то место, где «итога»: «Видели?» Через три дня на временный аэродром городишка приземлился деревянно-тряпичный самолет «ПО-2», из кабины выбрался мохноногий пилот, спросил сурово: «Кто тут заказывал спецрейс? Прошу грузиться!» И Михаил забрался в машину, погрозив на прощание из самолета: «Выкусили? Мы плевали на тупики! Вот в таком разрезе!»

Теперь Силантьеву кажется, что его положение в Глухой Мяте похоже на званцевское: тупик перед ним, но только не прилетит машина... Не прилетит!

Силантьев бросает пилу, махом скидывает брезентовый фартук, без спроса у бригадира в два прыжка спускается с эстакады. К Дарье!

2

Для Дарьи Скороход весенний день начался неладно.

Затапливая печку, Дарья извела два пучка лучинок, пока пламя жарко охватило смолистые дрова. «Плохая примета!» — испугалась она, но этим дело не кончилось. Когда начала чистить картошку и только

было потянулась рукой за второй или третьей картофелиной — глядь! — лежит на ладони уродина о шести пальцах-отростках, да такая страхолюдная, что сердце зашло. «Совсем плохая примета!»

Дарья верит в приметы. Да как и не верить, когда так нескладно оборачивается жизнь, несчастье следует за несчастьем, а к ним, как тополе-вый пух к одежде, и пристают знаменья, приметы. Перед смертью старухи матери — наверно, месяца за два, — курица-хохлатка запела дурным петушиным голосом, жутко и тревожно прокукарекала в подполье. «Помру я скоро, доченька!» — сказала Дарье семидесятилетняя мать. Так и случилось — по весне проводила Дарья ее на погост. А за месяц до несчастного замужества Дарьи случилась примета из примет: из конца в конец ночное нарымское небо перекрестила страшная бордовая радуга — отблеск далекого северного сияния. Дарья суеверно плевала через левое плечо, и все-таки зря — пьяницей и хулиганом оказался Васька Сторожев. Дарья свалила всю тяжесть на бордовый страшный свет, а соседки говорили: «Где у тебя были глаза, Дарьюшка? Он всему поселку известный пьяница, почто ты, сердечная, шла за него?» Почему шла? Да потому и шла, что от судьбы не уйдешь, не спрячешься, а характер у нее мягкий, слабый, на отказ и решительность она не способна.

Дарья верит в приметы. Да как и не верить, коли всего пять дней назад ее сердце сжималось от предчувствия, томилась она, хотя явных примет и не было. А разве напрасно? Шатким мосточком в половодье рухнули тайные ее надежды, и ничего не осталось на сердце. Пустота!

— Ой, мамочки! — шепчет Дарья, глядя с испугом на страшную картофелину, и в это мгновение в комнату проникает сквозной холодный ветер — дверь широко распахивается, в комнату врывается Силантьев. Оттого, что вошел с улицы в полумрак, глаза его неестественно расширены, светятся. Дарья даже отшатывается. Но он останавливается в двух шагах от нее.

— Вот что, Дарья! Ты слушай и не перебивай! — Его голос звенит. — Любовь там или не любовь, это я не знаю! Мне, Дарья, наплевать, это как хочешь, так и понимай... Я тебе скажу прямо — давай поженимся! Ты мне верь, Дарья! — Он стоит перед ней, распахнув телогрейку, широкий, крепкий, обветренный. — Ты мне, Дарья, верь! — вторяет Михаил, а Дарья застывает перед ним с картошкой в руках.

— Ой, Мишенька! Как же ты так?

А ему вдруг становится безразличным то, что Дарья ответит. Михаил видит, как она бледнеет, хрустит пальцами, ищет и не находит слов, но не это главное для него, оно не в том, что думает и скажет Дарья, а в том, что чувствует к ней Михаил Силантьев. Нежность, признательность чувствует он к Дарье. «Откажет — своего добыю!» — думает он, но и это не главное. Главное в том, что никогда он не был таким большим, хорошим человеком. Вот что главное сейчас для Михаила Силантьева!

— Поженимся, Дарья! — говорит он и прямо, честно смотрит на нее. — Я ведь не хуже других, Дарья!

— Знаю, Миша! — Она тербит цветастый передник.

— Вот и все! — внезапно резко говорит он. — Я тебе сказал — ты решай! Ты хорошо подумай... Ты подумай! — Затем поворачивается и не выходит, а выбегает.

— Ой, мамочки мои хорошие! — шепчет Дарья вслед ему, потом бросается к окну.

Михаил идет по раскисшей дороге. Он шагает крупно, не глядит под ноги.

— Ой, мамочки мои хорошие! — повторяет Дарья, опускаясь на стул. Она берет картофелину, начинает чистить, но руки дрожат, и она бесильно опускает их.

Проходит несколько минут. Дарья вздыхает и вдруг улыбается. Улыбка получается сдержанная, неяркая.

3

Михаил Силантьев возвращается на эстакаду. В Глухой Мяте уже день. Солнце стоит высоко, висит, оплывшее, над сосной-семенником. Деревья втянули в себя тени.

На эстакаде гора хлыстов. Семенов возится у штабеля; заметив Силантьева, укоряет:

— Нельзя же так — в рабочее время...

— Нужно было! — Михаил хватается за инструмент.

Пила «К-5» — жадный, маленький и злобногосый механизм. Как у акулы, вся верхняя часть тела у нее — рот. Маленький двигатель силен, пильная цепь вращается быстро, зубья сливаются в сплошную серую линию. В руках опытного раскряжевщика пила — большой силы инструмент: минут за восемь она пройдет длинный хлыст из конца в конец. Михаил переходит от дерева к дереву, пила то злобно поет, то притихает, то устало пришептывает, когда он перепиливает среднюю часть дерева. Силантьев нетерпелив, двигается по эстакаде нервно — и пила тоже несдержанна, сердита. Человек и пила едины в нервном, возбужденном темпе. И лесозаготовители улавливают это. Семенов прислушивается к вою пилы, Никита Федорович ежится, когда она с визгом грызет дерево, но лучше других чувствует нервность рук раскряжевщика механик электростанции Изюмин. Он высовывается из дощатой будки.

— Уважаемый товарищ! — кричит он Силантьеву. — Минуточку, уважаемый товарищ! Нельзя ли потише? Рекомендуем беситься вечером. Объект, кажется, есть! — И он весело улыбается.

Силантьев даже не поворачивает головы в сторону механика, продолжает кромсать хлысты, рушить, вышибая дрожь из тяжелого наката эстакады. Только во время перехода от хлыста к хлысту Михаил бросает Изюмину грубое ругательство. Он не любит его.

— Если ты еще раз высунешься из конуры, — говорит он Изюмину, поняв намек на Дарью, — я тебя наверну топором! Вот он, видишь?

Механик высовывается еще больше, и улыбка на его лице сияет по-прежнему.

— У меня, милый гражданин Силантьев, есть два молотка и даже кувалда, — склонив голову набок, произносит механик. — Кувалда, между прочим, полупудовая!

— Товарищи, товарищи! — предостерегающе несетя от штабелевки. — Эстакада завалена! Прошу работать!

Михаил подходит к длинному хлысту, оглядев, прикидывает, что в нем не меньше кубометра отборной пиловочной древесины, а из середины можно выкроить и бревно судостроя. Бросив пилу, он накидывает на хлыст мерную палку — так и есть: судострой и пиловочник, дорогой сортимент. Он заходит с комля и начинает пилить, предварительно заглянув в комель ствола — на нем чуть желтеет звездообразная гниль. «Наверное, недалеко уходит!» — соображает он и, работая, снова тревожно окидывает взглядом хлыст. В это время откомелка отваливается, и он видит те же звездообразные полосы на свежем, новом месте. Он выключает пилу, видит, что если отрезать еще кусок дерева от комля, то ни пиловочника, ни судостроя не получится — напенная гниль проникла далеко, и из хлыста выйдет только две кряжины на рудстой-

ку. И так же быстро, как понял это, принимает решение: «Дам все-таки судострой!» И он уже делает шаг, чтобы сделать рез и отвалить судострой, как вдруг приходит мысль: «А для чего? Зачем мне деньги?» Это чужая, незнакомая для него мысль. Она появилась неожиданно, и в голове от этого стало тесно. «Куда мне деньги?» — думает Михаил, застыв в неловкой позе.

Силантьев возвращается к комлю и отпиливает большой кусок дерева, отпиливает так, чтобы ни красинки, ни капельки гнили не осталось в бревне.

Отрезанный кусок комлины падает на эстакаду с тяжелым, сырым стуком.

— Отрезал! — говорит самому себе Силантьев и оглядывается. И кажется ему, что вместе с куском комля отвалился, отрезался большой кусок жизни, ушел в прошлое, тяжело ухнув о землю.

Не радость обновления в эту секунду чувствует Михаил, а тяжесть груза, который взвалил на себя добровольно. «Ох и трудная жизнь начинается! — думает он. — Как же буду теперь?» То, что было раньше простым и веселым, стало нелегким, а то, что было тяжелым, — легким. «Как же жить буду? — думает Михаил. — Выдержу ли?»

4

Семенов обходит лесосеку, проверяет, все ли хлысты выбраны, не разбиты ли тракторные волокни, чисты ли деляны. На полпути к вальщикам Григорий встречается с Изюминым, который внезапно выныривает из сосняка; он в черной кожаной куртке с замками-молниями, галифе туго обтягивают икры, голова простоволоса. Семенов одет обычно: телогрейка, бродни, зимняя шапка.

— Разрешите присоединиться? — говорит механик, наклоня голову и улыбаясь с оттенком насмешки, словно бы подчеркивая этим, что он должен присоединиться к бригадиру по служебному долгу, так как в обязанности механика передвижной электростанции входит контроль за качеством валки деревьев. Поэтому механик тоже следит за хлыстами, огребает снег с пеньков, чтобы убедиться, что Виктор и Борис хорошо ошкурили их. — Десятиклассники работают добросовестно, — наконец говорит механик. — Этого у них не отнимешь!

Семенов искоса наблюдает за ним, тоже разгребает снег на пеньках, а сам думает о словах механика, которые для него прозвучали так: «Да, приходится признать, что парни работают хорошо, хотя вам они доставляют много хлопот, но с этим, видимо, ничего не поделаешь, ибо придрататься к ребятам нельзя». Есть еще какой-то смысл, который Григорий пока уловить не может, но понимает, что Изюмин готовит почву для разговора и оценка работы Виктора и Бориса — начало. Изюмин тем временем огребает еще несколько пеньков, удовлетворенно хмыкает, прислушавшись к грому падающих деревьев, и произносит:

— Да, этого у них не отнимешь! Они работают отменно!

— Я знаю это, — отзывается Григорий и опять расшифровывает: «Как бы вы ни относились к ребятам, парни работают хорошо!» В этом — скрытый смысл слов механика и тоже начало разговора с бригадиром, а то, что разговор должен состояться, Григорий знает. С самого утра ловит он на себе испытующие, оценивающие взгляды Изюмина, видит, что механик ищет случая встретиться с ним наедине, хотя раньше Изюмин вежливо обходил Григория, держался на дистанции наигранной почтительности и подчеркнутого признания его бригадирской власти. Всем своим поведением механик давал понять Семенову, что вынужден подчиняться ему, что в силу обстоятельств безогово-

рочно признает власть бригадира и что, собственно говоря, ему совершенно безразлично, кому повиноваться. Он относится к Григорию так, как человек относится к вывеске «Не курить», — не задается вопросом, почему висит объявление, кто повесил его, зачем, а, прочитав, пожимает плечами: «Приходится подчиняться! Ничего не поделаешь — висит!»

— Придется ребятам дать хорошую справочку! — весело восклицает механик и глядит на Григория.

«Все ясно!» — думает Семенов.

Они теперь идут рядом, и Григорий замечает, что механик почти одного роста с ним. «Метр восемьдесят пять в нем, не меньше!» — ображает Григорий. Изюмин строен, подтянут. И почти против своей воли, против желания Семенов спрашивает:

— Валентин Семенович, вы женаты?

Механик, видимо, не ожидал такого вопроса, он слегка замедляет шаги, немного погодя отвечает:

— Женат. — Опять думает и прибавляет: — Вы не знаете нового главного врача поселковой больницы?

— А что? — Григорий оборачивается к нему.

— Это моя жена!

— Жена-а... — растягивает слово Семенов и останавливается, припомнив восторженный рассказ Ульяны о новом главном враче. — Странно! Вы — Изюмин, она — Снегирева...

— Ей показалась неблагозвучной моя фамилия! — отвечает Изюмин таким тоном, словно оправдывает жену в странности, но в то же время иронизирует над ней, как над человеком, которому свойственна чуждачность. — Есть и еще причина. Моя жена — дочь профессора Снегирева. Ей не хочется менять знаменитую фамилию на безызвестную — Изюмин! — Механик снова не то издевается над женой, не то оправдывает ее.

— Вот как! Я слышал о нем. Известный хирург!

— Мы поженились, когда я учился в техникуме...

Изюмин говорит об этом просто, спокойно и, видимо, без хвастовства, как о деле пережитом.

«Вот оно какое дело!» — думает Григорий и теперь отчетливо припоминает броскую красоту механика, которую он раньше видел мельком, меж делами. Теперь красота механика приобретает иное значение — она имеет прямую связь с именем знаменитого профессора, а это очень важно Григорию. Он старается подробнее вспомнить рассказ жены о главном враче. По словам Ульяны, Снегирева — скромная, душевная, знающая. Григорий вспоминает и другое. Однажды он видел Ульяну со Снегиревой. Они вместе входили в больницу. Он окликнул Ульяну, она задержалась на крыльце, а Снегирева прошла в дверь, но он успел заметить крупную фигуру, покатые плечи и простое, немного широковатое лицо.

— А я видел вашу жену! — говорит он механику.

— Может быть, — небрежно бросает Изюмин, понимая значение взгляда бригадира и позволяя разглядывать себя. — Ну, осмотрели меня?

— Осмотрел! — отвечает Григорий с той же долей вызова, которая прозвучала в голосе механика.

— И что же?

— Вы красивый мужчина! — делая ударение на последнем слове, отвечает Григорий.

— А не мало? — спрашивает Изюмин и тоже становится серьезным. — Давайте начистоту, бригадир!

— Давайте! — отвечает Григорий. — Может быть, присядем на сосну? Так удобнее будет.

— Присядем.

Они сидят рядом, тесно, как старые друзья, но разговор их отрывочен.

— Вам рассказали обо мне? — спрашивает Изюмин.

— Да!

— Что же вы ответили?

— Правду.

— А вы всегда говорите правду?

— Всегда.

— Слушайте, Семенов, вы действительно...

— А вы?

— Стараюсь!

— Стараетесь исправиться?

— Как видите... Слушайте, бригадир! А не много ли вы берете на себя?

— По силам, Изюмин, по силам!

— Курите, Семенов. Вы, кажется, не выдержали, опять начали!

— Не выдержал! По некоторым причинам опять начал...

И они враз опускают руки в серебряный портсигар механика, набитый дорогими папиросами. Их пальцы сталкиваются, и они на мгновение замирают для того, чтобы долго и пристально посмотреть в глаза друг другу. Никто из них первым не опускает взгляда, их глаза спокойны — синие у механика, черные у бригадира. Оба понимают, что взгляды нужно развести разом. Так они и делают. Но Семенов в последний момент замечает, что механик чуть-чуть бледнеет.

— Послушайте, Изюмин, — медленно говорит Семенов, — можете мне ответить на один вопрос?

— Хоть на сто!

— Если бы вы пошли за бобиной, вернулись бы? Я что-то не верю в это! Вы дошли бы на обратном пути до Оби, постояли бы на берегу и — обратно! Вам все поверили бы, что реку перейти нельзя... А, Изюмин?

— А вот этого я не знаю! — отвечает механик и улыбается. Он улыбается весело, открыто. — Ну, бригадир, не ожидал я от вас такого! — И хлопает рукой Григория по коленке. — Что вы можете сказать против меня? Ничего! Вы просто доложите руководству, что механик со своими обязанностями справлялся отменно!

— Я обязан.

— Ну вот видите! — Механик довольно потирает руки и шутливо раскланивается. — Меня ждут дела. Станция, знаете ли, требует примотра! До встречи!

Механик уходит, а Григорий еще долго сидит на сосне и ждет, когда перестанет биться у подбородка трепетный, горячий живчик. Умен механик, коли понял, что бригадир не сказал о нем ничего плохого в леспромхозе. Сыграл на честности, на прямотушии Григория.

«Ничего! — думает Григорий. — Посмотрим, механик Изюмин, посмотрим, что ты дальше будешь делать, как поведешь себя! Сам хотел идти за бобиной — интересно! Очень интересно!»

Федор Титов и Георгий Раков работают до поздней ночи — создают запас древесины на утро. Трелюют хлысты одним трактором, так как чокеровать некому — нельзя же держать вальщиков в лесосеке больше полусуток.

Трактористы работают споро. Всего час прошел, как товарищи с эстакады ушли в барак, а уже громоздится гора леса. Поздняя ночь в Глухой Мяте, но Федор не устал, он весел и подвижен. Давно ему не было так хорошо, как в этот длинный, суматошно радостный весенний день. И еще больше повеселел Федор, когда вспомнил, что в будке механика Изюмина еще с того памятного раза сохранилась водка. Хоть и сильно он был пьян тогда, а все-таки запомнил: на дне литровки немного осталось водки — пальца на два. Вспомнил о ней и обрадовался, решил вечером приложиться.

Они кончают работу в час ночи, зная, что назавтра могут выйти поздно, когда вальшики, переждав темноту, включают пилы.

— Хватит! — говорит Раков и тяжело вылезает из кабины. В первые мгновения он не может ни выпрямиться, ни шагнуть — тело и ноги затекли от неподвижного сидения в машине.

— Хватит так хватит! — соглашается Федор, хотя мог бы работать еще.

Не сговариваясь, они достают тряпки, подходят к машине с двух сторон и начинают протирать ее — теплую, еще немного вздрагивающую, дышащую маслом и бензином.

Иногда руки Федора и Георгия встречаются, и Титов не отдергивает свою. Весенний день размягчил его, и злость на Ракова прошла бесследно, как будто и не было ее никогда. Федор — человек незлопамятный, отходчивый: как прежде, Георгий Раков представляется ему хорошим, правильным человеком. Но порой, когда их руки встречаются на теплом металле, ему хочется в чем-то извиниться перед Георгием. В чем извиняться, он не знает, но чувствует себя виноватым. А бывает и другое: Раков вдруг скажет что-нибудь или повернется так, что у Федора начинает кружиться голова — так говорит и так делает Лена! И Федор долго не может передохнуть.

— Прикрой, Федя, радиатор, — просит его Раков, залезая в кабину. — Я мотор почищу.

— Хорошо, Гоша. — И немного погодя, прикрыв радиатор, сообщает: — Я плотно закрыл, Гоша.

— Спасибо, Федя!

Попроси Раков, Федор гору для него свернет, невозможное сделает, чтобы услужить трактористу, перед которым чувствует себя в чем-то виноватым.

— Пошли, Федя!

Тропинка, ведущая к бараку, проходит мимо будки электростанции, и, чтобы пройти, они должны подняться на бугорок, спуститься, срезав на спуске угол. Кроме сосны, вокруг станции ни дерева, ни кустика. Освещенная полной луной, она окружена затвердевшим к ночи снегом, блестящим и ровным.

«Зайти или нет? — колеблется Федор. — Скажу Георгию, что забыл топор». Раков быстро шагает впереди, размахивает руками. «Нет, пожалуй, не буду заходить. Завтра!» — думает Федор, и в это время тропинка ведет под уклон. Ноги сами бегут по ней, он тоже размахивает руками, боясь поскользнуться на дорожке, которую от блеска луны почти не видно, только черная будка впереди помогает ориентироваться. Федор успевает замедлить бег как раз к свертку тропинки рядом с электростанцией.

— Я забегу на станцию! — кричит он Ракову. — Топор забыл. Ты не жди меня!

— Ладно! — несется снизу.

«Не хозяин я над собой!» — думает Федор, а сам открывает дверь будки. Он не знает, куда спрятал бутылку механик, и сомнение охва-

тывает его: «А вдруг выпил?» Но тотчас же представляется лицо Изюмина. «Такой не станет один пить. Это я могу!» Но раздумывать некогда; торопливо тянется к контактам выключателя, боясь, что ударит током. От этого движения делаются вкрадчивыми, воровскими: Федор шарит боязливо, точно опасается наткнуться на острое. Когда наконец контакт нащупан, он резко отдергивает руку — бьет током, но он все же успевает накинуть проводок на штырь. Однако лампочка не зажигается.

Федор длинно и затейливо ругается: нужно надевать еще один проводок, а спичек у него нет. Не от удара током — он слаб — выругался Титов, а оттого, что вором лазит по станции, что победило в нем желание выпить, и еще оттого, что он немного боится тишины, возвращения Ракова.

Снова выругавшись, он набрасывает второй контакт. Вспыхивает маленькая лампочка, освещает станцию. Здесь чисто, уютно, хорошо пахнет маслом и бензином. На столе лежит развернутая книга.

Бутылки под столом нет. Он перекидывает лампочку на провода за мотор — тоже нет, затем в другую сторону — тоже нет. Стараясь сообразить, где водка, он постепенно обносит лампу по всем углам станции и сердито решает: «Выпил! Вот тебе и механик!», и в это время лампочка свещает пол, а особенно ярко одну из половиц, прибитую неплотно. «Здесь!» — радуется Федор и приподнимает половицу, сует под нее руку, уверенный, что пальцы найдут гладкое стекло, но под половицей снег, и рука нащупывает что-то мягкое, большое. Он сжимает пальцы и понимает, что это материя. Федор вытаскивает большой сверток — в темную фланель обернуто что-то металлическое. Он развертывает и даже присвистывает: на фланели лежит целое богатство. Здесь матово поблескивают запасные свечи, аккуратно обернутые в целлофан провода высокого напряжения, много поршневых колец, контакты от магнето, дистрипный приводной ремень и многое другое.

«Запасливый мужик!» — весело качает головой Федор и смело лезет под половицу, уверенный, что бутылка там. Он шарит рукой, а сам все удивляется запасливости Изюмина. «Этого голыми руками не возьмешь! Все прихватил! Вот почему у него станция работает как часы! Где это он запася? Ну ловкач!» Размышляя так, он нащупывает под половицей что-то металлическое, продолговатое, совсем не похожее на бутылку. Нет, не она! Федор нащупывает пальцами кончик провода и вытаскивает непонятный предмет.

Покачиваясь на тонком проводе, висит bobина. Точно такая bobина, за которой ходил Григорий Семенов. Она поблескивает свежей краской, она новенькая, точно сейчас привезена с завода. Федор снова машинально сует руку в провал и достает шерстяную тряпку. На ней лежала bobина, чтобы не заржаветь. Пока он лазит левой рукой, bobина все покачивается в правой, и ее колебания сначала затихают, но потом она снова начинает раскачиваться все сильнее и сильнее. Это происходит оттого, что рука Федора вздрагивает. Федор осторожно выпрямляется, берет bobину за кончик провода и тихонько выходит со станции, тщательно запирает дверь на щеколду.

Он несет bobину за проводок так, как носят убитую змею, — за кончик хвоста.

6

В вечернем бараке весело. Никита Федорович Борщев — босоногий, в распахнутой нижней рубашке — сидит на табуретке посредине комнаты и кажется мохнатым с ног до головы: так много на нем волос.

Лесозаготовители хохочут. Борис Бережков совсем посинел от хохота, икает и просит заморенным голосом:

— Вы дальше рассказывайте, дальше!

— Дальше ничего интересного.— Старик собирает на лбу гармошку морщин.

Готов хоть до утра развлекать товарищей Никита Федорович, но пора и спать.

— Спать, товарищи! — говорит бригадир.— Спать!..

Ноги Никиты Федоровича сегодня не ноют, не болят, отошли и теперь все лето, до самой осени, будут молодыми. Старик быстро засыпает. Спит Глухая Мята, спит и Петр Удочкин, и только Силантьев ворочается. Он один слышит, как возвращается из лесосеки Георгий Раков, как тихонько укладывается на матрац, как сразу же засыпает, коротко всхрапнув напоследок.

Безмолвие в бараке, спокойствие, да ненадолго. Гремит входная дверь; как выстрел, раздается бухающий удар.

— Вставайте, люди! — кричит Федор Титов, и Силантьев видит его руку с зажженной спичкой — рука мелко вздрагивает.

7

— Вставайте, люди! — кричит Федор так, как кричат в деревнях мужики, обегая сонные темные улицы, с одного края освещенные тревожным отблеском пожара.— Вставайте, люди!

Улица просыпается от этого крика, жители вываливают из теплых сонных домов, лица их краснеют от зарева, которое все разгорается, захватывает уже полнеба, гонит темень из деревни, и уже видны в окнах приплюснутые носы испуганных ребятишек. Ревут в хлевах коровы, бьются нежными бабками ног о стены конюшен лошади, овцы сбиваются в тесную грудку. Холодной тревогой переполняется деревня, и звон набата летит в небо, и все слышится клич: «Вставайте, люди!»

— Вставайте, люди!

Встряхивается Глухая Мята.

— Коло-Юл тронулся?! — испуганно кричит Семенов.

Нет, не тронулся Коло-Юл!

Никита Федорович Борщев открывает стариковские глаза, подозрительно глядит на Федора Титова.

— Ты, как говорится, не пьяный ли?

Нет, не пьян Федор. Ни маковой росинки не было во рту Титова, за был он о бутылке, спрятанной в дощатой будке электростанции, и поэтому, как никогда, ясна холодной трезвостью голова тракториста и только руки дрожат оттого, что висит в них, схваченная за кончик провода, бобина...

Георгий Раков приподнимается на локте, строго глядит на Федора, едва разжимает губы.

— Ложись спать, Федор! — недовольно говорит он, не понимая, что случилось, почему кричит Титов и почему дрожат его пальцы.

Федор Титов бросается к столу, к лампе, выкручивает огонек огромным чадающим пламенем. Свет заливает комнату, и точно отблеск далекого пожара ложится на лицо Федора. С опаской поднимает он над столом бобину и держит ее высоко, чтобы все могли видеть. Бобина по-сверкивает красненькими, блестящими точечками, и это тоже как отблеск пожара.

— Что? — непонимающе произносит кто-то.

Как замороженные, люди глядят на блестящий металл и не могут понять, что за притча. Зачем притащил Федор бобину, почему держит ее над столом, что надо беспокойному, взбалмошному Федыке?

— Прикрути лампу-то! — раздосадованно кричит на него Никита Федорович. — Прикрути, баламут! Коптит!

— Эту бобину я нашел под половицей на электростанции!

Лампа коптит, потрескивает, пламя лижет стекло, как пламя пожара стену дома, и оттого, что верх стекла закоптился, на потолке дрожит круглая тень.

— На шерстяной тряпочке лежала бобина. Смазанная!

Из соседней комнаты неслышной тенью появляется Дарья. Она застывает в двери, молитвенно сложив руки.

Бобина блестит смазанной зеленоватой поверхностью.

Лесозаготовители не могут оторваться от бобины — она слепит, гипнотизирует. Люди молчат и слушают, как на лавке, где спит механик Изюмин, шуршит одеяло, шаркает твердая материя. Они не могут смотреть на механика, нет силы встретиться с ним глазами. Изюмин путается руками в брюках, и Дарье становится страшно — вот оно, начинает сбываться предчувствие!

— Ой, мамочки! — шепчет Дарья ватными губами.

Наконец задыхающееся шуршание смолкает, босые ноги шлепают по полу — шлеп, шлеп! Видимо, механик встал на ноги, но все равно трудно, невозможно поднять на него глаза. Только Георгий Раков медленно начинает подниматься с матраца.

— Ясно! — вдруг раздается негромкий, спокойный голос, и лесозаготовители оборачиваются на него. Это бригадир Григорий Семенов — высокий, под потолок — застегивает пуговицы на нижней рубашке, медленно надевает штаны, тянет их на белые, застиранные кальсоны. — Ясно!

Половицы гнутся, скрипят, когда Григорий медленно проходит к столу, садится на табуретку.

Лесозаготовители осторожно передыхают. Вот кто скажет первое слово — их бригадир! Тот самый человек, что ходил за бобиной по вздувшейся Оби, кто тонул, кто за дела Глухой Мяты отвечает больше всех и с кого больше спросится, как с бригадира, как с начальника. Петр Удочкин бледнеет, нервно перебирает одеяло тонкими пальцами, изумленно вытянули лица десятиклассники, Никита Федорович хмурится, словно что-то далекое, нездешнее увидел он...

— Ну вот, Изюмин! — говорит Семенов. — Ну вот! Все стало ясным. — Он поднимает руку, загибает пальцы. — Трое суток трактор не работал... Более двухсот кубометров могли бы дать! Слышите, ребята, более двухсот! — спокойно подсчитывает он и стягивает губы резинкой.

Лесозаготовители понимают, что трезвые подсчеты для Изюмина опаснее всего — страшнее крика, слов осуждения. Ко всему готов сжавшийся в комок, точно приготовившийся к прыжку механик — к громкому крику, ругани, — а вот к этому не готов: к спокойным подсчетам бригадира.

— Что вы скажете на это, Изюмин?

Теперь на механика смотреть не боязно, не стыдно. Механик молчит. Думает. Он уже пришел в себя, аккуратно засунул рубаху за ремень брюк, и теперь ему легче. Он поднимает голову, бестрепетно встречает взгляд Семенова.

— А ничего не скажу, Семенов! — И на его лице появляется улыбка.

— Игрок! — бросает ему Григорий и тоже улыбается, но не так, как Изюмин, а презрительно, спокойно. — Игрок!

Механик поднимается со скамейки.

— Ну хорошо! — весело говорит он. — Слушайте, Семенов! Бобина-то моя! Понимаете, моя! Я ее купил на базаре, и мое личное дело —

дать ее вам или нет! Вы понимаете, я могу дать и не дать! Это личная собственность, о которой так здраво судил товарищ Раков.— Он кивает на тракториста и шутовски раскланивается.— Я виноват только в одном — пренебрег интересами коллектива, а больше ни в чем! Ну, что вы скажете на это?

Григорий молчит. Молчат и лесозаготовители.

— Разве личная собственность запрещена? — допытывается Изюмин.

Семенов молчит несколько секунд, а потом улыбается с таким видом, точно нашел наконец потерянное, вспомнил забытое важное.

— А ведь вы трус, Изюмин! — говорит он.— Вы трус! Я только сейчас понял это. Вы за насмешкой прячете страх. Понял я вас, Изюмин, вот теперь окончательно понял, хотя месяц, целый месяц гадал, что вы из себя представляете.

Григорий в три шага меряет комнату, беседует сам с собой, останавливается прямо против механика, бросает ему в лицо:

— Значит, потому и поехали в Глухую Мяту, что решили одним махом в партии восстановиться. Ловко было задумано! Для игрока неплохой ход — необычное дело, подвиг своего рода! Осознал ошибки, прислушался к критике, перековался. Так, что ли, по-вашему?.. Да и второй ход не хуже: умолчу о бобине, пойду сам за ней — чем не геройский поступок, а? Ловко, Изюмин! Ничего не скажешь, ловко!

Изюмин весь передергивается, круто поворачивается, сжимает кулаки.

— Замолчите! — оглушительно кричит он.

Никита Федорович Борщев прищуривается.

— Был у нас в партизанах вот такой же, — говорит он.— Мы пошли в атаку, а он в кустах прядал...

— Что? — вскрикивает механик.— Что вы сказали?

— А ничего, как говорится, — отвечает старик и ожесточенно плюет на пол.— Тьфу на тебя, короста!

— Вы не имеете права! — вскрикивает механик, подбегая к старику.

— Имею! Тьфу на тебя!

— Отойдите от Борщева! — строго приказывает механику Семенов.

Изюмин берет себя в руки, кривит губы.

— Слушайте, кто вы такой, чтобы учить меня? Недоучка, бригадиришка!

— Коммунист я! — спокойно отвечает Семенов.— Коммунист! Вот Георгий — тоже коммунист!

— Идите к черту! — опять кричит механик.

Виктор Гав не выдерживает. Выпростав из-под одеяла руки, тонко, юношески ломким голосом бросает Изюмину:

— Вы не кричите на нас!

Тонкий крик Виктора производит на Изюмина неожиданное действие — он не оборачивается, а только сгибается в пояснице. Тем, кто сидит позади, непонятно, что происходит с механиком. А он хохочет. Механик поэтому и перегнулся, что слова Виктора вызвали у него смех.

— Ха-ха-ха! — заливается механик.— Подают голос временные рабочие! Вот забавно! Слушайте, ученые мужи, вы, кажется, тоже не особенно стремились увеличивать славу бригадира Семенова! Вам ведь одно важно — получить справку.

— Замолчите! — надсадно восклицает Бережков.— Мы не такие!

— Такие! — Механик хохочет, наверное, потому, что смех для него разрядка.

Но в это время по полу бухают тяжелые, медленные шаги — к Изюмину подходит Федор.

— Ты мне скажи, Изюмин,— тихо спрашивает Титов, обращаясь к нему на «ты»,— ты со мной дружил от души или нет? Ты только ответь мне: водку пил, слушал, как я тебе душу открывал, разговаривал со мной — ты это от души или нет? Ты скажи правду, от души или нет? Ты, может, играл со мной, на смех заставлял душу выворачивать, а? Ты мне ответь, Изюмин!

— Отвяжись! — кричит ему Изюмин.

Федор изумленно отшатывается от него, тихо говорит:

— Он ведь меня против Семенова и Гошки настраивал. Он ведь меня с ними схлестнуть хотел! — удивляется Федор.— Он, выходит, со мной играл, как кошка с мышью! Вот что выходит! Ну, Изюмин, ты мне за это ответишь! Ты у меня за это горячими слезами наплачешься! Ты мне на душу, Изюмин, наступил! Ну, готовься, Изюмин! Я тебе покажу рабью кровь!

Рука Федора медленно сгребает рубаху механика, бугрит ее на груди, слышен треск, пальцы скользят по телу, он снова захватывает рубаху, придвигается лицом вплотную к лицу Изюмина.

— Ну, Изюмин, держись! Ты у меня поплачешь!

— Отпусти рубаху! — холодно приказывает механик.

— Сейчас отпущу... Я ее отпущу... — бормочет Титов, а сильным и резким движением ударяет Изюмина спиной о стену. — Держись, сволочь!

И тут происходит что-то непонятное, быстрое, неразличимое: Федор вскрикивает, волчком отскакивает от механика и начинает махать рукой, которая висит, словно переломленная. От боли он неловко и странно сгибается и становится на колени.

— Я ведь и руку мог сломать! — говорит механик.

И сразу же после этих слов Федор вскакивает, кидается к столу, хватая бобину, затем делает стремительное движение к механику, и лесозаготовителям видно, как рука Титова с зажатой бобиной ударяет Изюмина по голове. Затем Федор возвращается к столу и кладет бобину так бережно, точно боится разбить ее. А механик медленно опускается на лавку. Позади него, на ярко освещенной стене, возникает черное рваное пятно — кровь. В тишине слышен тяжелый вздох Изюмина.

— Ой, мамочки! — шепчет Дарья.

— Вот так... — говорит Федор Титов.

г. Чита. 1959 г.



СЕРГЕЙ ФИКСИН

★

КРАСНЫЕ МЯЧИ

Если б можно было сделать это,
Я собрал бы всех ребят планеты,
Карапузов бойких и несмелых,
Всех смешных, чумазных, загорелых,
Дал бы им по красному мячу
С надписью короткой: «Жить хочу!»
И пошли б мои друзья в дорогу —
Поднимать по всей земле тревогу.

Вслед за этим шествием утиным
Не мешало б и самим пойти нам —
Посмотреть, как будут их встречать,
Как их будут белыми руками,
Как их будут желтыми руками,
Как их будут черными руками
Поднимать над миром —
и качать!

ЗЕЛЕНЫЙ БАЗАР

Апрельское утро в разгаре,
Чайханщик долил самовар.
Смотри, на «Зеленом базаре»
И вправду зеленый базар.

Лиловый румянец редиски,
Щавельной копны изумруд —
Тяжелые ртутные брызги
Сверканьем за сердце берут.

Но все ж твоему вдохновенью
На этом базаре родней
У саженцев веток сплетенье
И сила дремучих корней.

И ты наблюдаешь в сторонке,
Как дед в выходных сапогах
Торгуетса долго и громко
И пестует вишню в руках.

— Не вишня, а просто картина! —
Хозяйка со вкусом поет.
Дает он четыре с полтиной,
А та и пяти не берет.

Но вот в кошелечке замшелом
Заерзало два трояка —
И тонкое деревце смело
Легло на плечо старика.

И, шею его обнимая,
Уходит от милых подруг
На улицу Первого мая,
К распахнутым окнам на юг.

Сроднится оно с тополями,
Привыкнет к журчанью реки,
И будут под ним вечерами,
Мерца, дымить чубуки.



ВОЛЬФДИТРИХ ШНУРРЕ

★

МАНЕВРЫ

Рассказ

Ждать пришлось недолго; адъютант штаба, руководящего маневрами, доложил, что в запретной зоне не осталось ни души. Генерал все-таки приказал еще раз проверить несколько хуторов, но эта предосторожность оказалась излишней: везде было пусто. Учения можно было начинать. Первыми двинулись полевые автомобили штабистов, за ними — вереница джипов с военными атташе. Колонну замыкала санитарная машина. Погода была ослепительно хороша; высоко под солнцем кружила чета степных орлов; парили жаворонки; в придорожных кустах копошились сорокопуть, временами оттуда вспархивали, сверкая на солнце, стайки овсянок. Настроение господ офицеров было превосходное. Ехать оставалось минут сорок, не больше. Наконец машина генерала, за которой медленно следовали остальные, свернула с проселка и остановилась у гряды холмов, поросших дроком. Здесь все уже было в полной готовности: дымилась походная кухня, провиант был выгружен, полевой телефон подведен, складные стулья расставлены; равнина отсюда просматривалась вся из заранее подготовленных наблюдательных пунктов.

Генерал начал с краткого изложения плана предстоящих боевых учений; главная роль в них отводилась танкам и пехоте. Генерал был еще молод — лет пятидесяти; говорил он отрывисто, высокомерно и с легкой пронией; ему очень хотелось подчеркнуть, что маневры эти он считает пустячными, так как в них не участвует авиация.

На севере границей учебного поля был большой заповедный бор, на юге — высохшие торфяники. На востоке оно переходило в мерцающую сквозь марево степь. Легко было предвидеть, что многочисленные заросли можжевельника, а также холмы и лощины, покрытые вереском или дроком, затруднят действия танков, а рассеянные среди них хутора были, как выразился адъютант, прямо-таки предназначены для противотанковых и полковых орудий.

Наступил полдень. Вестовые уже успели собрать металлические тарелки, на которых подавалась еда офицерам, и над холмом то там, то здесь начали подниматься в неподвижно стоящий воздух голубые облачка папиросного дыма, когда к пению жаворонков и монотонному стрекотанию кузнечиков присоединились далекий глухой рокот гусениц и аст-

Вольфдитрих Шнурре — западногерманский писатель. Он известен как поэт и прозаик, а также как художник-карикатурист. В 1958 году ему была присуждена премия имени Фонтане за вышедшие в том же году две книги — юмористический роман «Когда отец еще был рыжебородым» и сборник рассказов «Задача, которая не выходит». Публикуемый нами рассказ взят из этого сборника.

матическое урчание моторов приближающихся танков. Одновременно на всем пространстве появились движущиеся кусты; они сразу же сливались с окружающей местностью. Лишь овсянки, вдруг тревожно вспархивавшие, позволяли догадываться, что занимала свои позиции пехота.

Прошло не более получаса, и из низкорослого сосняка, едва различимые в бинокль, вырвались первые танки; вплотную за ними следовали без всякой маскировки мелкие группы пехоты; вскоре стало видно, что и со стороны торфяника приближается глубоко эшелонированное танковое соединение. Воздух грохотал; грохот заглушил пение жаворонков, но, должно быть, они все-таки пели, потому что по-прежнему висели над степью. Замаскированная кустами пехота успела окопаться. Заняв свои позиции вблизи хуторов, противотанковая и полевая артиллерия исчезла под маскировочными сетями.

Теперь и те офицеры, которые до сих пор стояли со скучающим видом в стороне, вынуждены были поднять бинокли к глазам: танки наконец открыли огонь. Сначала, правда, они вели неприцельный обстрел местности, но, когда движущаяся с юга танковая группа, совершив глубокий обход, пошла на соединение с северной группой, замыкая клещи, снаряды стали все чаще вгрызаться в поле учебного боя.

Зарывшаяся в землю пехота пропустила над собой главные силы наступающих танков; лишь после этого отделение за отделением, при поддержке артиллерии, начали переходить в атаку на пехоту сопровождения и, пользуясь разного рода специальным оружием,— на отдельные танки, которые отбивались стойко, но довольно неуклюже. Теперь бой был в полном разгаре.

На беду поднялся ветер и погнал облака пыли и порохового дыма на холмы, где находилось командование, так что некоторое время офицеры ничего не видели. Тем временем в окружавшие холм кусты дрока забились перепуганные птицы — щеглы, овсянки и несколько сорокопутов. Страх сделал их доверчивыми; казалось, они принимали офицеров штаба за сбившихся в кучу, напуганных боем степных жителей.

Генерал старался скрыть свое раздражение, но это было нелегко: как ему не сердиться, ежели ветер действует наперекор!

Вдруг на мгновение затих грохот сражения, пелена густого дыма разорвалась, и офицерам представилась странная картина: все учебное поле, стиснутое танковыми клещами до какого-нибудь квадратного километра, кишело овцами. Гонимые смертельным страхом, наталкиваясь друг на друга, они метались между танками.

Танки резко остановились и, чтобы не пугать животных еще больше, выключили моторы. Умолкла и артиллерия. В бинокли можно было различить удивленные лица солдат, с любопытством наблюдавших странное зрелище из окон ближайших домов; в танках стали открываться башенные люки — из каждого показывались два-три испачканных смазкой лица. Грохот сражения, только что заполнявший все вокруг, окончательно умолк, и вместо него раздался топот многих тысяч овечьих копыт по высохшей земле. Он звучал, словно зловеще нарастающая барабанная дробь. Время от времени сквозь него прорывалось бляение полузадушенных овец.

Генерал, красный от ярости, оглянулся на адъютанта, которому поручено было очистить местность для маневров.

Офицер побледнел. Бормоча какие-то неуклюжие извинения, он пытался оправдаться тем, что на учебное поле овцы могли проникнуть только откуда-то извне.

Считаясь с присутствием гостей, генерал воздержался от резкостей

и позвонил в штаб. Срывающимся голосом он приказал: овец удалить, для чего начальники соответствующих отделов должны немедленно сделать необходимые распоряжения.

Штабные офицеры переглянулись. Они отлично понимали неловкость создавшейся ситуации. Но как избавиться от этих обезумевших животных? Приказывать легко... Все же они отдали на северный фланг приказание возобновить огонь, а танкам на южном фланге приказали открыть проход. Они надеялись, что беспорядочно мечущееся по полю стадо устремится в одну сторону.

Но животные подчинялись иным законам. Правда, когда раздался залп, разделившихся было на отдельные кучки овец объединил новый общий испуг; но перед открытым для них проходом животные вдруг замерли, потом, становясь на дыбы, они повернули вспять и еще стремительнее прежнего бросились назад, в мешок. Пехоте, засевшей в своих щелях, оставалось лишь увертываться от пронсящих над ними овечьих копыт.

Генерал не мог больше скрывать свое раздражение. Он снова позвонил на командный пункт и закричал в трубку, что после маневров строго накажет виновных. А теперь пусть господа офицеры поучатся, как надо разделяться с таким вот ошалелым овечьим стадом, — он, генерал, сейчас покажет им это сам. Он извинился перед гостями, оставил с ними вместо себя адъютанта, сошел по склону к своему джипу и приказал шоферу захватить как можно дальше в водоворот овечьих тел.

Но это оказалось совсем не так легко, как думал генерал: танков овцы боялись, но джип показался им далеко не таким уж опасным, и они мгновенно затерли его так, что он не мог двинуться ни вперед ни назад.

Собственно говоря, план генерала заключался в том, чтобы вызвать два-три взвода пехоты и приказать им гнать овец к проходу; теперь он должен был волей-неволей убедиться, что это невозможно. Мало того, он понял, в какое глупое положение поставил себя. Он затылком чувствовал взгляды наблюдающих за ним в бинокли военных атташе, видел, казалось, их улыбки и слышал шутки, которыми они обменивались. Неудержимая ярость поднялась в нем: как, его, показавшего себя в двух мировых войнах и десятках боев, делает посмешищем это скопище тупых, подвластных стадному чувству животных?

Кровь ударила ему в голову, и он закричал шоферу, чтобы тот дал газ и ехал дальше. Шофер повиновался. Взыли, врезаясь в пыльную землю, колеса, но машина не двинулась с места — встречный натиск овечьего стада был сильнее ее. Тогда генерал, обезумев от гнева, выхватил пистолет и, не целясь, разрядил всю обойму в животных. В то же мгновение машина слегка приподнялась с одного борта, покачалась, как на волнах, гонимых ветром, накренилась сильнее и, прежде чем генерал и шофер успели ее уравновесить, откинувшись на противоположную сторону сиденья, медленно, почти осторожно, легла колесами вверх.

Едва придя в себя, генерал начал храбро защищаться от бешено топчущих его копыт и вытащил ушибленные ноги из-под автомобиля. Он встал и растерянно огляделся вокруг. Весь мир, казалось, состоял из одних овец; насколько хватал глаз, всюду лохматились спины; танки высились среди этого овечьего моря, как обреченные на затопление стальные острова.

Только теперь генерал заметил, что вокруг него и джипа образовалось свободное пространство; что-то заставило овец немного отступить. Генерал хотел было подойти к шоферу, который ударился головой и лежал без сознания, но вдруг увидел, что не только они находятся в

этом свободном пространстве: против генерала стоял огромный, тяжело дышащий баран.

Он стоял неподвижно, выжидаяще опустив косматый череп с устрашающе закрученными рогами; белки его глаз покраснели, грудь и передние ноги вздрагивали, как бы сотрясаемые работающим внутри него мотором; на шее и у основания рогов виднелись свежие огнестрельные раны, из которых тонкими струйками сочилась темная, почти черная кровь, медленно впитываясь в облепленную репьями шерсть на груди.

Генерал тотчас же понял: он ранил барана и теперь придется быть перед ним за это в ответе. Он схватился за кобуру—пистолета не было. Тогда он осторожно, не спуская с барана глаз, отступил на шаг к джипу; ему очень хотелось, чтобы автомобиль оказался между ним и бараном. Но баран, видя, что его противник пошевелился, двумя пружинистыми прыжками ринулся на него. Генерал отскочил в сторону, и баран с грохотом ударился лбом о кузов. Оглушенное животное отряхнулось и устало встало в землю.

У генерала сердце едва не выскакивало из груди, он чувствовал, как его лоб и ладони покрылись испариной. Его ярость улетучилась. Он больше не думал и о насмешках господ дипломатов, глядящих с командного пункта. Генерал думал только: «Лишь бы он меня не убил, лишь бы он меня не убил». Он больше не был генералом, он был воплощенный страх, нескрываемый и трепещущий страх, кроме этого страха, в его существе ни для чего не оставалось места.

Баран снова бросился на него, и генерал почувствовал страшную боль в животе. В голове у него как будто взвизгнула механическая пила, его стошнило, он рухнул наземь, и, в то время как он падал, баран еще раз ударил его крутыми шишковатыми рогами в живот. Генерал почувствовал, как что-то, связывающее его с земной жизнью, оборвалось, режущий визг пилы перешел в монотонный скрипичный звук, и он потерял сознание.

Никто и не подозревал, что генерал находится в смертельной опасности. Правда, некоторые офицеры, следившие за происходящим из танков или с холма, подумали, что произошло нечто неприличное, затрагивающее честь, когда сперва опрокинулся джип, а потом на генерала кинулся баран, но мысль, что баран может быть опасен генералу, никому не приходила в голову. Поэтому, когда генерал, упав, не поднялся, офицеры почувствовали, что они тоже попали в весьма странное положение; одни попробовали притвориться, что ничего не видели, другие терялись в догадках, как к нему пробраться сквозь это море овечьих тел.

Овцы сами избавили офицеров от постыдного, но вынужденного бездействия. Внезапно, как по приказу, в центре скопища все еще лихорадочно напирающих друг на друга животных возникло нечто похожее на водоворот, который, расширяясь, втягивал в себя все больше животных, потом из него вдруг вылился мощный поток, который в один миг прекратил коловращение и, увлекая за собой остальных овец, устремился в тускло мерцающие на востоке поля, где вскоре все исчезло в огромном облаке красноватой пыли.

Когда адъютант и офицеры добрались с командного пункта до опрокинутого джипа, генерал уже лежал на носилках, куда его положили с помощью танкистов санитары, чтобы отнести к санитарной машине; генеральский шофер помогал им.

Возобновлять маневры было бессмысленно. Танкам пришлось бы для этого вернуться на исходные позиции, а это потребовало бы по меньшей мере тройного расхода горючего. Поэтому старший по рангу офицер, взяв на себя ответственность, приказал трубить отбой.

Разочарованно побрели офицеры к своим машинам, водители включили моторы, и цепочка джипов медленно потянулась мимо тяжело разворачивающихся танков и групп стягивающейся пехоты; колонну замыкала санитарная машина.

Вскоре тронулась и пехота; за ней следовали подразделения противотанковой и полевой артиллерии. Оставалась лишь походная кухня, на которую вестовые грузили складные стулья. Два связиста сматывали кабель. В скором времени завершена была и эта работа. Шофер грузовика, к которому прицеплена была походная кухня, посигналил, все расселись по местам, и, оставляя за собой тщательно залитую водой кучу золы, походная кухня покатила, слегка притормаживая, вниз по склону.

Птицы, которые в начале боя укрылись в зарослях дрока на холме, вновь осмелели. Они отряхивались, обстоятельно чистили перышки и стая за стая слетали вниз, в равнину, над которой по-прежнему почти неподвижно висели жаворонки. Пение их снова слилось с монотонным стрекотанием кузнечиков, жужжанием пчел и упоенным клекотом орлиной пары.

Перевела с немецкого В. Тиханова



РОБЕРТ ФРОСТ

★

БЕРЕЗЫ

(С английского)

Когда березы ходят ходуном
На фоне стройных и спокойных сосен,
Мне кажется — мальчишка деревенский
Качается на них, как на качелях.
Но не качанье горбит их стволы,
А дождь зимой. Морозным ясным утром
Их веточки, покрытые глазурью,
Звенят под ветерком, и многоцветно
На них горит потрескавшийся лед.
К полудню солнце припекает их,
И вниз летят прозрачные скорлупки,
Что, разбивая наст, нагромождают
Такие горы битого стекла,
Как будто рухнул самый свод небесный.
Стволы под ношей ледяною никнут
И клонятся к земле. А раз согнувшись,
Березы никогда не распрямятся.
И много лет спустя мы набредаем
На их горбатые стволы с листвою,
Влачащейся безвольно по земле, —
Как девушки, что, стоя на коленях,
Просушивают волосы на солнце...
Но я хотел сказать — когда вмешалась
Сухая проза о дожде зимой, —
Что лучше бы березы гнул мальчишка,
Пастух, живущий слишком далеко
От города, чтобы играть в бейсбол.
Он сам себе выдумывает игры
Зимой и летом — и играет сам.
Он обуздал отцовские березы,
На них раскачиваясь ежедневно,
И все они склонились перед ним.
Он овладел нелегкою наукой
На дерево взбираться до макушки,
До самых верхних веток, сохраняя
Все время равновесие, — вот так же
Мы наполняем кружку до краев
И даже с верхом. Он держался крепко
За тонкую вершину и, рванувшись,

Описывал со свистом полукруг —
И достигал земли благополучно.
Я в детстве сам катался на березах,
И я мечтаю снова покататься.
Когда я устаю от размышлений
И жизнь мне кажется дремучим лесом,
Где я иду с горящими щеками,
А все лицо покрыто паутиной,
И плачет глаз, задетый острой веткой,—
Тогда мне хочется покинуть землю,
Чтоб, возвратившись, все начать сначала.
Пусть не поймет судьба меня превратно
И не исполнит только половину
Желания. Мне надо вновь на землю.
Земля — вот место для моей любви.
Не знаю, где бы мне любилось лучше.
И я хочу взбираться на березу
По черным веткам белого ствола
Все выше к небу — до того предела.
Когда она меня опустит наземь.
Прекрасно уходить и возвращаться.
И вообще занятия бывают
Похуже, чем катанье на березах.

НАША ПЕВЧЕСКАЯ МОЩЬ

В весенний день снежинки не могли
Коснуться теплой и сухой земли.
Их орды зря растрачивали прыть,
Чтоб местность увлажнить и остудить.
С землей не удавалось совладать —
Она их словно отсылала вспять.
Но после свежей ночи ей пришлось
Рядами рваных снеговых полос
Признаться, что зима опять пришла.
Одну дорогу стужа не взяла.
Наш край назавтра был как неживой:
Трава примята льдистой стопой,
Концами в землю, словно черенки,
Уткнулись мускулистые суки,
От урожая снежного склонясь.
Лишь на дороге властвовала грязь.
Распутица — что б там ни шло ей впрок:
Подземный огонь иль шарканье ног.

Весной мы слышим тысячи певцов,
Слетевшихся сюда со всех концов,—
Щеглов, дроздов, малиновок, скворцов.
Одни из них на север улетят,
Другие тут же завернут назад,
А третьи здесь до осени гостят.
И вот что им принес уход весны:
Окрестные поля занесены,
Порхать все время не достанет сил,
Тяжелый снег деревья завалил —

Попробуй-ка стряхнуть его с ветвей!
Лишь на дороге малость потеплей.

И, завязая в грязных колеях,
Ряды сроднившихся в несчастье птах
Бежали бесконечной чередой,
Блестящие, как гальки под водой.
Они толпой шарахались от ног
И щебетали, полные тревог,
Что я могу каким-нибудь путем
Лишить их права двигаться пешком.
И кое-кто с тяжелым шумом крыл
Взлетал туда, где лес под снегом был
Таким непрочным сказочным дворцом,
Что рухнет, только тронь его крылом.
Взлетавшие садились предо мной,
Чтоб снова трепетать за свой покой
(А я, гонитель, просто шел домой).
Их опыт до сих пор не научил,
Что стоит залететь погоне в тыл —
И ты недосыгаем для врагов.

И так, в весенний день, среди снегов,
Я видел нашу певческую мощь,
Что, ковыляя мимо белых рощ,
Была готова, взмыв под облака,
Воспеть весь мир от корня до цветка.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Под вечер я добрался до лачуги,
Сколоченной из грубых горбылей,
С одним окном, одной худою дверью...
Единственное в этой части гор
Жилище, да и в том нет ни мужчины,
Ни женщины. (А впрочем, непохоже,
Чтоб женщина когда-нибудь была тут,—
Так что о ней вздыхать?) Я в эту глушь
Пришел, чтобы переписать людей,
Но ни одной живой души не встретил
За сотню миль пути. И этот дом,
Куда я шел с какою-то надеждой
И за которым долго наблюдал,
Спускаясь по извилистой тропинке,
Был пуст. Я там не встретил никого,
Кто мог бы смело выйти мне навстречу,
Кому не страшен посторонний глаз.

Стоял сентябрь. Но как бы вы смогли
Сказать, какое было время года,
Когда от тех деревьев, что должны бы
Ронять осенний золотистый лист,
Остались только пни, чьи срезы были
Покрыты сахаристой смолой?
А на деревьях, что еще стояли,

Ни листьев не было, ни даже веток,
Что в сентябре секут со свистом воздух.
Лишенный помощи деревьев, ветер,
По-видимому, что-то сообщал
О времени — как года, так и дня —
Тем грохотом, с которым дверью хлопал.
Казалось, будто грубые мужчины
Входили, каждый резко двинув дверью,
И следующий вновь ее толкал.
Я насчитал девятерых из тех,
Кого я права не имел считать,
И сам переступил порог — десятым.

Где ужин мой? И где хозяйский ужин?
Нет лампы, что горела б над столом.
Печь холодна и завалилась набок,
Обрушилась труба, и пылен стол.
А люди, громко хлопавшие дверью,
Людьми для слуха были, не для глаза.
Они не упирались в стол локтями,
Они не спали на кривых полатях.
Нет ни людей, ни их костей — и все ж я,
Подумав о костях, вооружился
Изгвазданным смолою топорщиком,
Которое валялось на полу.
Не кости лязгали, а стекла в раме.
Умолкла дверь, припертая ногой.
А я стоял и думал, что бы сделать
Для дома и для тех, кого здесь нет.
Покинутая ветхая лачуга
Меня наполнила не меньшей грустью,
Чем древние руины там, где Азия
От Африки Европу отрезает.
Мне ничего не оставалось, разве,
Установив, что дом необитаем,
Далеким скалам громко объявить:
«Дом пуст! И тот, кто прячется в молчанье,
Пусть возразит — иль пусть вовек молчит!»

Тоска считать людей в таких местах,
Где их число с годами убывает.
Невыносимо там, где их не стало.
Мне хочется, чтоб жизнь была вездс.

ПОСЛЕДНИЙ ИНДЕЕЦ

Мне говорили — это был последний
Индеец в Эктоне, и добавляли,
Что мельник все смеялся, — если можно
Его хихиканье принять за смех.
Другим же он смеяться не давал
И вдруг мрачнел, как будто заявляя:
«А вам-то что? Ведь это сделал я,
Что вам-то? Хватит языки чесать!
Я кончил то, что начали другие».

Нам не смотреть на мир его глазами.
И отыскать причину розни рас
Возможно только в отдаленном прошлом,
И дело здесь не в том, чтобы найти
Того, кто первый начал эту распрю.

Увидев мельничное колесо,
Огромное и шумное, индеец
Гортанно закричал от изумленья,
Чем мельник возмущился до предела —
Какое право голос подавать
Имеет краснокожий? — и позвал:
«Эй, Джон, ты хочешь видеть колесо?»

Он проводил его в гудящий сруб
И показал сквозь люк в полу на струи,
Что, словно обезумевшие стаи
Лососей, осетров, хвостами били.
Затем он резко двинул дверцей люка,
И звон ее кольца на миг прорезал
Шум мельницы. Хихикая, он вышел —
Уже один — и что-то пояснил
Помольщику, привезшему мешки,
Чего помольщик в тот момент не понял.

Он показал индейцу колесо.

ВЕСЕННИЕ ОЗЕРА

Вода, залившая весенний лес,
Исправно отражает свод небес,
И, как цветы весны, дрожит и стынет,
И, как цветы весны, легко сойдет,
Но не ручьями в реки бурно схлынет,
А к почкам наверх тихо уползет.

Пусть лес, хранящий их до теплых дней,
Чтоб расцвести богаче и темней, —
Пусть трижды он подумает о листьях
И вдруг не скажет, что прошла пора
Цветочных вод, соцветий водянистых
От снега, что растаял лишь вчера.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗНАТЬ ТОЛК В ДЕРЕВЕНСКИХ ДЕЛАХ

Над домом в полночи встал закат,
Озаривший тусклую цепь облаков,
И от дома осталась одна лишь печь,
Как пестик, лишившийся лепестков.

А во дворе до сих пор сарай
Стоит, название фермы храня.
Но если бы ветер тогда подул,
И он попал бы в объятья огня.

Давно уже перед возами с зерном
Сарай ворота не открывал,
Забылась звонкая дробь подков,
И стал горою трухи сеновал.

В разбитые окна сарая снуют
Птицы, что гнезд понавили в нем.
Их щебет порою похож на вздох,
Вызванный думами о былом.

И все же для птиц расцвела сирень,
И ожил задетый пожаром вяз,
И остов колодца для них, и забор,
Где проволока у колов завилась.

Не к птицам сюда приходила беда.
Но как хорошо бы им ни жилось,
Знающий толк в деревенских делах
В их песнях не может не слышать слез.

УКАЗАНИЕ

Теперь нам слишком трудно возвращаться
Ко временам, упрощенным утратой
Подробностей, ко временам поблекшим,
Распавшимся и выветренным, словно
Скульптура над старинною могилой,—
Туда, где дом, что более не дом,
На ферме, что давным-давно не ферма,
Близ городка, которого не стало.
Направляясь в прошлое, не доверяйся
Проводнику — он может сбить с пути.
Дорога в те забытые края
Скорей похожа на каменоломню —
Огромные округлые колени
Былого городка; теперь никто их
От взглядов посторонних не скрывает.
А вот что в книжке сказано об этом:
«Из-под колес заброшенных вагонов
Стальные рельсы с северо-востока
Ведут на юго-запад. Здесь прошелся
Резец чудовищного ледника,
Который пятками уперся в полюс».
К тебе ледник прохладно отнесется;
По слухам, он и в наши дни шаманит
На этой стороне горы Пантеры.
Не обращай внимания на то,
Что на тебя из сорока подвалов
Назойливо глазают сорок бочек.
А что касается волненья леса,
Который зашумит в лицо листвою,
То это дерзость глупого юнца.
Где был он, скажем, двадцать лет назад?
Он много возомнил, бросая тень
На яблони, исклеванные дятлом.

Итак, начни веселенькую песню
О том, кто этою дорогой прежде
Ходил домой с работы, кто, быть может,
И в этот миг шагает впереди
Иль едет на трясущейся тележке.
Вершина путешествия — вершина
Холма, где два заросших поля, слившись,
Друг в друге потерялись безвозвратно.
И если ты настолько заблудился,
Чтобы найти себя, то за собою,
Как лестницу, дорогу подыми
И прикрепи табличку «Хо́да нет»
Для всех, за исключением меня.
Будь здесь как дома. Все твое пространство,
От сорняков свободное, похоже
На ссадину от сбруи. Но зато здесь
Твой детский невзаправдашний домишко.
Вот черепки под елкою лежат —
Игрушки для игрушечного дома.
Оплачь же эти бедные осколки,
Так радовавшие детей, оплачь
Тот дом, который более не дом,
А лаз в подполье, что в густой сирени
Скрывается, как вмятина на тесте.
Тут был когда-то настоящий дом.
Твоя судьба и цель твоих скитаний —
Ручей, который был водопроводом,
Студеный, как родник, и столь высокий,
Что он всегда невозмутимо чист.
(Известно, разбуди ручей в долине,
И он лохмотья по кустам развесит.)
Я спрятал под стопою кедра чашку.
Пусть, как святой Грааль, она таится
От глаз непосвященных. (Я стащил
Ту чашку из игрушечного дома.)
Остановись. Вот твой источник. Пей
И обретай утраченную цельность.

Перевел Андрей Сергеев.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

К. Т. СВЕРДЛОВА (НОВГОРОДЦЕВА)

★

ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ СВЕРДЛОВ

В этом месяце исполнится семьдесят пять лет со дня рождения Я. М. Свердлова. Ниже мы публикуем фрагменты из второго издания книги К. Т. Свердловой (Новгородцевой) — члена КПСС с 1904 года, друга, соратника и жены Я. М. Свердлова.

К. Т. Свердлова (Новгородцева) работала над вторым изданием книги совместно с сыном — А. Я. Свердловым — и закончила работу незадолго до своей смерти.

Мы предлагаем читателю познакомиться с некоторыми написанными вновь эпизодами из жизни Я. М. Свердлова.

Полностью книга выходит в издательстве «Молодая гвардия».

В КАНУН ОКТЯБРЯ

Около полутора лет прожили мы с Яковом Михайловичем в туруханской ссылке, вплоть до Февральской революции. В первых числах марта 1917 года Яков Михайлович покинул Монастырское и уехал в Красноярск. Оттуда — в Петроград, затем на Урал, в Екатеринбург. Вновь, как и в дни первой русской революции, встал товарищ Андрей (партийная кличка Я. М. Свердлова) во главе уральских большевиков и революционного пролетариата Урала.

В середине апреля состоялась Уральская областная партийная конференция, избравшая Якова Михайловича членом областного комитета партии и делегатом от Урала на VII Всероссийскую партийную конференцию. Здесь, на Апрельской конференции, осуществилась многолетняя заветная мечта Якова Михайловича — он впервые встретился с вождем и учителем, с Владимиром Ильичем Лениным. До этого они были знакомы лишь заочно.

Связь с Лениным поддерживалась Свердловым после июльских событий постоянно. Чуть не каждый день я слышала от него об Ильиче: о его новых письмах, статьях, еще не увидевших свет, об оценках тех или иных событий, фактов. Сегодня Яков Михайлович рассказывал об Ильиче то, чего не рассказывал вчера, завтра — чего не рассказывал сегодня.

Центральный Комитет, руководствуясь указаниями Ленина, все шире развертывал работу по подготовке вооруженного восстания. Шла мобилизация сил в Петрограде, среди моряков Балтики, по всей стране. ЦК направлял своих представителей в крупнейшие пролетарские центры, в армию, на флот. Яков Михайлович лично инструктировал большинство отъезжающих товарищей, знакомил их с указаниями Ильича.

Постоянно бывая на митингах и собраниях, в гуще питерского пролетариата, беседа запросто с рабочими, солдатами, моряками, Свердлов знал настроения масс Петрограда. Он ежедневно принимал десятки партийных работников с мест, представителей большевистских фракций Советов, наконец, бесчисленное множество всякого рода ходяков, приехавших в Петроград, и через них узнавал, что делается повсюду. Слушая их рассказы, Яков Михайлович все больше и больше сознавал, насколько прав Ленин. Уверенность в успехе восстания, в бесконечной правоте Ильича была у Якова

Михайловича незыблемой, несокрушимой. Она основывалась на знании обстановки, на неразрывной органической связи с партийным активом, с широчайшими массами трудящихся, на безграничной вере в силы и революционный энтузиазм российской пролетарии. Недаром, характеризуя Свердлова, Ленин говорил, что нашу партию «никто не воплощал и не выражал так цельно, как Я. М. Свердлов», что «Свердлову довелось в ходе нашей революции, в ее победах, выразить полнее и цельнее, чем кому бы то ни было другому, самые главные и самые существенные черты пролетарской революции».

Я обычно не приставала к Якову Михайловичу с расспросами. У нас в семье наистрожайше соблюдалась святая святых подполья: не рассказывают — не спрашивай; знание того, что тебе знать не обязательно, может только повредить общему делу. Однако тут, в канун Октября, я не раз изменяла этому правилу и расспрашивала Якова Михайловича: скоро ли? Когда наконец выступаем? А он посмеивался над моей горячностью:

— Подожди, все в свое время.— Потом серьезнел и говорил: — Пока Ильича нет, о начале нечего и думать. Вот вернется Ильич, тогда... тогда посмотрим!

Как-то вечером, в последних числах сентября, Яков Михайлович явился домой как никогда возбужденный. Было ясно, что случилось нечто из ряда вон выходящее.

— Ну, будь наготове,— сказал он.— На днях Ильич возвращается в Петроград. Возможно, он придет к нам домой.

Ничего больше он на этот раз не сказал, только тщательно проинструктировал меня, что нужно сделать на случай прихода Ленина, да еще подчеркнул, что ни одна живая душа не должна знать об этом. Но это-то я и без него понимала.

Жили мы в то время на Фурштатской, и квартира у нас была действительно очень удобная. Секретариат ЦК рядом, до Смольного — рукой подать. Хозяин квартиры, одинокий старик, паралитик, целыми днями сидел в кресле в большой проходной комнате, возле телефона. Двери двух наших комнат выходили прямо в небольшую прихожую, к входной двери. К нам можно было пройти, никому в квартире не показываясь на глаза.

С этого вечера я свои ключи стала оставлять снаружи, в условном месте, которое знали только мы с Яковым Михайловичем. Он предупредил, что Владимир Ильич может появиться в любой момент — ни день, ни час пока не известны.

На следующее утро я не сразу отправилась на работу в издательство ЦК «Пробой», которым тогда заведовала: мыла, терла, скребла каждую вещь в той комнате, где мы решили поселить Ильича. Ушла только к полудню, так никого и не дождавись. Вечером возвратилась домой пораньше — опять никого.

Прошел день, другой. Яков Михайлович больше об этом не заговаривал, молчала и я, но ждать ждала.

В начале октября Яков Михайлович вернулся из Смольного в необычайно приподнятом настроении.

— Все в порядке,— заявил он с порога.— Ильич уже в Питере!

Опять, как вначале, он никаких подробностей не сообщил. Так и не знаю; почему он ждал Владимира Ильича к нам, как и через кого связывался с ним в эти дни. Вероятно, готовили Ленину несколько квартир, и он выбрал наиболее подходящую.

Между тем положение становилось все напряженнее. Все шире раздвигалась подготовка вооруженного восстания. Яков Михайлович, бывало, домой не появлялся и ночью, работая сутки-другие напролет.

Вскоре после возвращения Ленина из Выборга в Питер, 10 октября 1917 года, состоялось заседание Центрального Комитета большевиков, на котором был заслушан доклад Владимира Ильича о текущем моменте и принята предложенная им резолюция о вооруженном восстании. Петроградский Совет создал Военно-революционный комитет (ВРК). Мобилизация рабочих и солдат Питера, моряков Балтики, трудящихся по всей стране пошла полным ходом. Народ поднимался на последний, решительный бой.

Смольный кипел. Я пользовалась каждой возможностью, чтобы побывать здесь, часто заходила в комнату, где работали Свердлов, Дзержинский, другие члены ВРК. Беспрестанной чередой шли сюда представители фабрик и заводов, полков и батальонов, кораблей и флотилий. У каждого были свои вопросы, нужды, дела.

Грань между днем и ночью стиралась. Яков Михайлович или Фелкс Эдмундович нороу засыпали на час-другой на одном из столов — диванов в комнате не было — и снова брались за дело.

Люди были нужны постоянно. Каждый, кто появлялся, на лету получал задание и немедленно отправлялся его выполнять.

Двадцать четвертого октября ночью в Смольный прибыл В. И. Ленин, взявший в свои руки практическое, непосредственное руководство всем ходом восстания.

Утром 25 октября собралась большевистская фракция II съезда Советов. Председательствует Свердлов. На трибуне — Ленин. Долго гремят овации в честь великого вождя пролетарской революции. Ленин спокойно, по-деловому говорит о тех задачах, которые встанут теперь, когда победа восстания очевидна, когда с часу на час будет низложено Временное правительство.

Двадцать пятое октября 1917 года, 2 часа 35 минут дня. В Смольном началось заседание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. В бушующем рукоплевсканиями зале появился Ленин. Окруженный боевыми соратниками, он прошел в президиум и поднялся на трибуну.

— Товарищи! — начал Ленин, как только стих гром оваций. — Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЦИКА

Вскоре после победы Октября Я. М. Свердлов был избран Председателем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Одновременно он продолжал по-прежнему руководить Секретариатом ЦК партии.

Вопросы партийного и советского строительства требовали от Якова Михайловича — одного из ближайших помощников Ленина в эти годы — предельного напряжения сил, способностей, энергии. Ведь все приходилось создавать, строить заново, ломая отчаянное сопротивление буржуазии и ее наемников из государственных чиновников и служащих. Надо было находить новые формы государственного устройства, определять характер отношений партийных организаций с органами государственной власти, разрабатывать структуру советских и партийных органов, решать проблемы взаимоотношений различных наркоматов, ведомств, учреждений между собой и центра с местами. А опыта не было.

Решение коренных организационных вопросов неразрывно связывалось с подбором людей, с расстановкой партийных сил. Сотни и тысячи работников требовались на местах для организации Советской власти и укрепления партийных организаций; нужно было подбирать наркомов и членов коллегий наркоматов, руководящих работников для центрального аппарата, руководителей ведомств, председателей губисполкомов и секретарей уездных комитетов партии.

Сохранились десятки коротеньких записок Якова Михайловича по вопросам кадров.

«Уважаемый Леонид Борисович! — писал он Красину. — Направляю к Вам т. Лебедева, старого партийного товарища. Прошу принять и поговорить, т. к. Лебедев сможет работать у Вас в коллегии».

В Секретариат ЦК:

«Направляю т. Шишкова, лично мне известного старого партийного товарища. Его можно направить во Владимир, снабдив письмом, что т. Шишков пригоден в качестве Председателя Губисполкома. Пусть присмотрятся к нему в течение 1—2 недель, а затем проводят, если не будет возражений».

Яков Михайлович знал прошлую революционную деятельность сотен и сотен большевиков, их профессии, жизненный опыт, наклонности и все это умело использовал на благо революции. Он знал обстановку и конкретные условия работы не только в любой отрасли партийного и советского строительства, но и в каждой губернии. Он учитывал все, причем всегда был предельно объективен и беспристрастен, никогда не руководствовался личными симпатиями или антипатиями.

Ему приходилось ежедневно принимать огромное количество товарищей. Каждого

он внимательно выслушивал, для каждого находил теплое слово, каждому подыскивал наиболее целесообразное применение. Вот скучные цифры отчета ЦК РКП(б) VIII съезду партии: «Тов. Свердлов принимал ежедневно по партийным делам до 20—25 товарищей». До двадцати — двадцати пяти ежедневно только по партийным делам, а сколько еще у него бывало по делам ВЦИКа!

Не раз Яков Михайлович отправлял на работу товарища, который боялся, что не справится, считая, что ему поручено слишком трудное дело, а готовиться некогда, времени нет. У Свердлова всегда находились в таком случае бодрящие слова; его горячая вера в человека, в творческую силу народа передавалась собеседнику, вдохновляла и заставляла каждого напрячь все усилия, чтобы оправдать оказанное ему доверие.

Мне довелось бывать на партийных съездах, на всероссийских съездах Советов, проходивших в те годы, на большинстве заседаний ВЦИКа, собиравшегося, как правило, еженедельно.

Далеко не все заседания и не всегда проходили гладко. Большое искусство требовалось тогда от председателя, особенно если учесть, что на собрание пришли не только единомышленники, но и политические противники, когда среди собравшихся царят разногласия, бушуют политические страсти. Яков Михайлович Свердлов был очень умелым председателем, подлинным мастером этого дела.

Каких только происшествий порою не случалось! Помню, на одном из съездов Советов, где-то за кулисами, вспыхнул и начал разгораться пожар. Никто, кроме председателя Якова Михайловича да еще двух-трех членов президиума, ничего не знал, и, пока боролись с пожаром, пока его потушили, съезд работал как ни в чем не бывало. Свердлов с невозмутимым видом вел заседание.

На V съезде Советов, проходившем необычайно бурно, в дни левозсеровского мятежа, в разгар одного из заседаний вдруг грохнул оглушительный взрыв. Поднялась было паника, но Яков Михайлович мгновенно восстановил порядок, разъяснив делегатам, что взорвались гранаты у стоявшего в фойе часового и пострадавшему оказана необходимая помощь.

Твердость при ведении собраний сочеталась у Свердлова с величайшим уважением к принципам демократизма. Председательствуя на собрании, он соблюдал регламент жестко и неумолимо: кончилось время — кончай выступление.

Вспоминаю, как на V съезде Советов Яков Михайлович беспощадно пресекал многочисленные попытки левых эсеров выступать с многословными речами против политики нашей партии. А когда те попытались устроить обструкцию, он безапелляционно заявил:

— Принятый регламент дает мне право останавливать оратора.

Или вот VII съезд партии. На трибуну поднимаются в который раз то Бухарин, то Радек, то Рязанов, пытаясь под видом поправок и заявлений по мотивам голосования произносить все новые и новые речи против позиции Ленина, против большинства съезда. Но тщетно! Не успевают они произнести несколько фраз, как неумолимо звучит голос Свердлова:

— Вы взяли слово по мотивам голосования, а вместо этого полемизируете. Я принужден был дать слово, но прошу держаться в пределах вашего заявления.

Отличительной чертой Свердлова как председателя было то, что он легко и быстро ориентировался в политических формулировках любого оттенка, тотчас же опровергал неправильные, нечеткие предложения, мгновенно находил нужную формулировку, которую большинство собрания единодушно принимало.

В МОСКВЕ

В марте 1918 года Советское правительство переехало из Петрограда в Москву. Поезд ВЦИКа, в котором ехали и мы с Яковом Михайловичем, прибыл в Москву 10 марта. Владимир Ильич и Надежда Константиновна приехали днем позже, с поездом Совнаркома. Поселились они вначале, как и ряд других товарищей, в том числе и мы, в гостинице «Националь», преобразованной в 1-й дом Советов.

На следующий же день после приезда Свердлов, Аванесов, еще кто-то, сейчас уж не помню, отправились осматривать Кремль, так как еще до отъезда из Питера было решено разместить там Совнарком и ВЦИК. Пошла и я.

Яков Михайлович осматривал все очень придирчиво, прикидывая, что где разместить. Кто-то из сопровождавших нас москвичей сказал было, когда мы ходили по величественным залам Большого дворца, что вот, мол, подходящее помещение для Совнаркома.

— Что вы, батенька,— повернулся к нему Яков Михайлович.— Здесь учреждение? Нет! Великолепный тут музей будет, для всего народа... Может, не сейчас, но со временем будет обязательно!

Закончив осмотр Кремля, Яков Михайлович пришел к выводу, что Совнарком и ВЦИК лучше всего разместить в здании Судебных установлений. Там же, в непосредственной близости от помещения Совнаркома, он присмотрел квартиру для Владимира Ильича, стремясь избавить его от излишних хождений. Владимир Ильич потом полностью одобрил все эти предложения.

Первые дни после переезда из Петрограда в Москву Якову Михайловичу за уймой срочных дел некогда было заняться Секретариатом Центрального Комитета, который фактически оказался без аппарата. Елена Дмитриевна Стасова и другие товарищи, работавшие ранее в Секретариате, остались в Петрограде. Еще 11 марта на места было разослано такое письмо: «Центральный Комитет РКП(б) уведомляет, что он переместился в Москву. Точного адреса мы вам не можем сообщить, а потому просим непосредственно обращаться по адресу Центрального Исполнительного Комитета Советов, также переехавшего в Москву».

В Москве нужно было вновь создавать аппарат, налаживать работу Секретариата на новом месте. Центральный Комитет возложил это дело на меня, а в конце марта 1918 года утвердил меня помощником секретаря ЦК РКП(б).

Яков Михайлович бывал в Секретариате раз-два в неделю, иногда даже реже, обычно по вечерам. Чаше я ходила к нему во ВЦИК, где он вел основной прием — и по делам советского строительства и по партийным.

Домой Яков Михайлович возвращался очень поздно, зачастую совсем измотанный, поэтому дома с делами я к нему никогда не обращалась. Но, надо сказать, напряженная деятельность, разрешение сложных задач доставляли Якову Михайловичу высшее удовлетворение, хотя порою он и валился с ног от усталости.

Решал он все вопросы очень быстро. В тех же случаях, когда предмет был столь серьезен, что нужно было посоветоваться с Лениным или обсудить в ЦК, Яков Михайлович чаще всего тут же, по телефону, связывался с Владимиром Ильичем или же шел к нему. Лишней писанины, ненужных бумажек Яков Михайлович не терпел.

В то же время Яков Михайлович никогда не отрывал Владимира Ильича или членов ЦК от работы, если не было на то особой нужды, и самостоятельно решал те вопросы, которые не требовали коллективного обсуждения.

Нередко бывало, что часть бумаг он забирал домой, за полночь вновь садился за дела и просиживал до трех-четырёх часов утра, пока все не было рассмотрено. Ночное время он по-прежнему использовал и для работы над книгами. Если бумаг было очень много, то книгам Свердлов уделял полчаса-час, если же документов было поменьше, то на литературу отводилось не менее двух-трех часов. Так и получалось, что он спал не более пяти часов в сутки.

СЕМЬЯ

В двадцатых числах марта 1918 года Яков Михайлович поехал по делам в Нижний Новгород. Возвращаясь в Москву, он забрал с собой ребятишек, которые с лета прошлого года жили в Нижнем, у деда. Наконец-то наша семья была в сборе!

Двенадцать лет мы прожили с Яковом Михайловичем до революции, и все эти годы, за вычетом полутора лет туруханской ссылки, были годами беспрестанных скитаний, постоянного преследования царскими сатрапами, годами коротких встреч и

долгих разлук. Редкие дни и недели, проведенные вместе на свободе на нелегальном положении, сменялись месяцами и годами тюремного заключения, суровой ссылкой, вдали друг от друга. Арест, тюрьма, этап, ссылка. Опять тюрьма, опять ссылка — такова была наша жизнь. Впервые по своим документам, не опасаясь ареста, мы жили только после Октября.

Но и в первые месяцы Советской власти жили, как на бивуаке. Сегодня Питер: Фурштатская, Таврический; завтра Москва: «Националь», Белый коридор. Мы с Яковом Михайловичем то в Питере, то в Москве, ребята — в Нижнем Новгороде.

И вот мы все вместе!

Яков Михайлович пользовался каждой возможностью, чтобы повозиться с ребятами, побыть с ними. Мы оба уходили из дому около девяти часов утра и возвращались поздней ночью, когда дети давно уже спали. И все же Яков Михайлович находил время пристально следить за формированием их сознания, характера. Он требовал от ребят самостоятельности, уважения к труду. Следил, чтобы они сами убирали свои кровати, соблюдали опрятность и чистоту в квартире, держали в порядке свои вещи и игрушки. С непередаваемой иронией он высмеивал сына, если тот просил кого-нибудь пришить оторвавшуюся пуговицу. В то же время он никогда не ставил перед детьми непосильных задач, чтобы не отбить у них охоты делать что-то самостоятельно.

Простыми и доходчивыми словами рассказывал им Яков Михайлович, кто такие буржуи, зачем рабочие совершили революцию, что за люди большевики. И ребята понимали. Помню, как однажды горько разрыдался семилетний Андрей, когда один из товарищей в шутку назвал его анархистом. Захлебываясь слезами, он твердил: «Неправда! Неправда! Я большевик, как папа!»

Жизнь наша шла в каком-то необычайно стремительном, бодром темпе. Победа революции, зримые успехи в переустройстве общества, в строительстве новой жизни наполняли сердце огромной радостью. Ведь совершилось то, чему были отданы все наши помыслы, ради чего мы, большевики, жили и боролись. И какие бы трудности ни стояли на пути, их преодолевали с сознанием, что страна успешно движется вперед, делает пусть первые, но уверенные шаги к коммунизму.

А жизнь была нелегкой. Если подойти с чисто житейской точки зрения, взять те материальные условия, в которых мы жили, то, пожалуй, в туруханской ссылке питались мы лучше, чем в Кремле. Оно и понятно: слишком тяжелое наследство получил наш народ от старого строя. Всего было в обрез, на всем приходилось экономить. О себе, о собственном благе большевики думали меньше всего. Рабочий класс, трудящиеся нашей Родины верили власть большевистской партии, потому что она полнее, чем кто-либо другой, выражала их интересы и сокровенные чаяния; потому что, будучи авангардом рабочего класса, большевики были прежде всего его составной частью, жили и боролись в тех условиях, что и любой трудящийся.

Мы были очень щепетильны во всем, что касалось нашей личной жизни, личного поведения. Вот народный комиссар продовольствия, Александр Дмитриевич Цюрупа, человек, распорядившийся всеми продовольственными ресурсами страны, порою валился с ног из-за недоедания. Только вмешательство Владимира Ильича, чуть не насильно заставившего его отдохнуть и улучшить питание, спасло Цюрупу.

30 АВГУСТА 1918 ГОДА...

Шло к концу лето 1918 года. День 30 августа начался, как обычно. Как всегда, шли в Секретариат ЦК посетители, много было бумаг, писем. Около полудня раздался телефонный звонок. Я сняла трубку и услышала голос Якова Михайловича:

— Из Питера получено сообщение: убит Урицкий. Феликс выезжает туда...

Не стало пламенного революционера, так много сделавшего для победы Октября, для упрочения Советской власти. Сначала Володарский, теперь Урицкий...

Тридцатое августа была пятница — партийный день. По городу шли митинги, собрания. Владимир Ильич должен был выступать в Басманном районе и в Замо-

скворечье, на заводе Михельсона, Яков Михайлович — в Лефортовском районе, во Введенском народном доме.

Под вечер я созвонилась с Яковом Михайловичем: как, состоится собрания? Он даже удивился:

— Что же, мы испугаемся всякой буржуазной сволочи? Прятаться начнем? Конечно, состоится! И об Урицком расскажем.

Мне в этот день обязательно нужно было съездить в Кунцево, к ребятишкам, жившим там на даче. Вечером, закончив наиболее срочные дела, я захватила кое-какие продукты и отправилась в Кунцево, решив там переночевать. Яков Михайлович обещал тоже подъехать, попозже, ночью.

Примерно через час или два после моего приезда на дачу позвонил Яков Михайлович. Впервые за те годы, что я его знала, Яков Михайлович не смог скрыть своего волнения. Я с трудом узнала его обычно спокойный голос, столько в нем было тревоги.

— Ильич ранен... тяжело...

Ничего больше он не добавил, никаких подробностей не сообщил, сказал только, чтобы я его не ждала — не приедет, — и положил трубку.

Спать я не могла. Едва рассвело, я собрала наши немудреные пожитки, погрузила ребят в машину и поехала в Москву.

Кремль выглядел как-то необычно, настороженно. Все было то же, что и вчера, что и неделю назад, и не то. Так же стояли у кремлевских ворот часовые, но вид у них был необычайно суровый, на лицах тревога, руки крепче, чем всегда, сжимали винтовки. С небывалой придирчивостью проверяли они пропуска.

В нашей квартире было пусто, кровать Якова Михайловича стояла нетронутой. Ночь он провел возле Ильича — то в его квартире, то в кабинете, примостившись на стульях.

Встретились мы только днем, когда я пришла к нему с неотложными делами Секретариата ЦК. Он коротко рассказал подробности злодейского покушения и сказал, что положение Владимира Ильича тяжелое, но не безнадежное. «Тяжелое, но не безнадежное», — это Яков Михайлович повторял постоянно, пока в состоянии здоровья Ленина не наметился перелом и дело не пошло на поправку.

Ни в этот раз, ни позднее я не замечала у Якова Михайловича ни тени растерянности, никакой нервозности. Скорее он был еще тверже, еще решительнее и собраннее, чем всегда.

Как должное принял Яков Михайлович всю тяжесть ответственности, которая легла теперь на его плечи. Ответственность эта была тем больше, что многих членов ЦК в первые дни после покушения на Ленина не было в Москве: Дзержинский уехал в Петроград, Сталин был в Царицыне, Артем — на Украине, кто на фронте, кто где. В дополнение к делам по ВЦИКу и Секретариату ЦК Якову Михайловичу пришлось теперь работать и в Совнаркоме.

Несколько раз он говорил мне в эти дни, как ему сейчас пригодилось, что он постоянно участвовал в работе Совнаркома, был в курсе всех дел, как это теперь облегчает ему работу.

— И все же как трудно, как невозможно трудно без Ильича! — восклицал он.

Выступая 2 сентября 1918 года на заседании ВЦИКа, Яков Михайлович сказал: «Вы знаете, что товарища Ленина заменить мы не можем никем... Каждый из вас рос, работал и воспитывался в качестве революционера под руководством товарища Ленина».

Якова Михайловича связывала с Лениным большая, глубокая дружба. Уважение, с которым он относился к Владимиру Ильичу, было безграничным. Воля Ильича была для Свердлова законом, его авторитет — непререкаемым. С первых шагов своей революционной деятельности Яков Михайлович видел в Ленине великого вождя и учителя, и это отношение к Ильичу пронес через всю свою жизнь. С апреля 1917 года, когда Яков Михайлович познакомился с Владимиром Ильичем, в дальнейшем, когда близко сошелся с ним, к этому чувству прибавилась любовь к Ильичу как к человеку, как к товарищу и другу.

В свою очередь и Владимир Ильич, пристально наблюдавший за ростом Свердлова, все больше и больше ценил его, полагался на его политическое чутье, не говоря уже об организационных, практических делах. Я нередко видела Владимира Ильича вместе с Яковом Михайловичем, иногда присутствовала при их разговорах, постоянно слышала от Якова Михайловича о Владимире Ильиче и беспрестанно убеждалась в том, какое единогласие было между ними. Они как-то удивительно быстро, буквально с полуслова, понимали друг друга. Любую мысль, любое указание Ленина Свердлов сразу подхватывал и безоговорочно принимал. Принимал не только потому, что горячо верил в великую мудрость и прозорливость Ленина, но и потому, что мысли Владимира Ильича соответствовали строю его собственных мыслей, потому, что Яков Михайлович смотрел всегда в том же направлении, что и Ильич.

Нередко, принимая кого-либо из товарищей, беседуя с посетителями, Владимир Ильич приглашал и Якова Михайловича. От многих я слышала, что когда кто-либо из ответственных работников обращался к Ленину по организационным вопросам, то слышал в ответ: «Столкнитесь со Свердловым!», «Обратитесь к Якову Михайловичу».

Бывало, Владимир Ильич брал телефонную трубку, чтобы дать Якову Михайловичу какое-либо практическое указание, и в ответ слышал спокойный голос Свердлова: «Уже!» Это значило, что уже сделано, уже меры приняты, уже люди посланы, уже указания даны. Яков Михайлович настолько хорошо понимал ленинскую линию, так пристально следил за замечаниями, высказываниями, ходом рассуждений Владимира Ильича, что часто ту или иную его мысль претворял в жизнь, не дожидаясь конкретных указаний Ленина.

ДО ПОСЛЕДНЕГО БИЕНИЯ СЕРДЦА

В конце февраля 1919 года Яков Михайлович выехал в Харьков, на III съезд КП(б) Украины и III Всеукраинский съезд Советов.

В Коммунистической партии Украины тогда было не все благополучно. Шла ожесточенная внутрипартийная борьба, носившая порой не вполне принципиальный характер. Много примешивалось личного, ненужного. Четырежды выступил Яков Михайлович на III съезде КП(б)У, призывая украинских большевиков к единству, к сплоченности.

Много лучшего оставлял желать ход дискуссии в первые дни съезда. Яков Михайлович телеграфировал из Харькова: «На съезде временами страсти разгораются, мое присутствие все время оказывается полезным... Улаживаю кучи ведомственных конфликтов...»

С обстоятельной речью выступил Яков Михайлович по отчету ЦК КП(б)У. Он дал резкий отпор тем, кто пытался нарушить единство украинских большевиков.

Как только закончился партийный съезд, открылся III Всеукраинский съезд Советов. Яков Михайлович принял участие и в его работе.

В Харькове Яков Михайлович почувствовал первые приступы болезни. Но он не хстел ей поддаваться, твердо верил, что преодолеет болезнь, как это бывало уже не раз. Дел было слишком много, дел важных и неотложных, и он не считал себя вправе терять хоть час.

Шестого марта Яков Михайлович выехал из Харькова в Москву, но и в дороге он продолжал напряженную работу. То и дело летели телеграммы:

«Белгород, Комитету коммунистов. Выезжаю из Харькова 6 марта в 21 час, буду в Белгороде в 23 часа. Прошу прийти в мой поезд совместно с президиумом Исполкома. Свердлов».

«Курск, Губком коммунистов. Проезжая Курск, считаю целесообразным переговорить по некоторым вопросам партийным и советским. Прошу прийти в мой поезд совместно с президиумом Губисполкома. Буду в Курске в пять часов утра седьмого марта. Пред. ВЦИК Свердлов».

«Орел, Губком коммунистов, Губисполком. ...Прошу прийти в мой поезд президиум... Пред. ВЦИК Свердлов». «Тула, Губком коммунистов, Губисполком...». «Серпухов, Реввоенсовет Республики...».

Десятки людей, возглавлявших губернии и армии, шли в поезд председателя ВЦИКа, докладывали Свердлову о состоянии дел, советовались по многим вопросам. А температура у Якова Михайловича ползла вверх...

Когда Яков Михайлович вернулся в Москву и приехал домой, на нем уже лица не было. Измерили температуру: 39 градусов с лишним. Однако утром он встал и, как я ни сопротивлялась, ушел на работу — ведь за время его отсутствия накопилась масса неотложной, срочной работы. Особенно волновал его ход подготовки к VIII партийному съезду.

Он участвовал в этот день в заседании Совнаркома, провел заседание Президиума ВЦИКа, созвал товарищей, занимавшихся подготовкой съезда партии, а к ночи ему стало совсем плохо. Это было 9 марта 1919 года.

Однако он и тут не хотел сдаваться. По требованию Якова Михайловича я в эту же ночь отправляла Ленину несколько документов, с которыми Яков Михайлович хотел немедленно ознакомить Владимира Ильича. А тайком от Якова Михайловича приложила к этим документам короткую записку: написала Ильичу, что вчера у Якова Михайловича температура была 39 градусов, а сегодня к ночи поднялась до 40,3 градуса.

На следующий день, уже не спрашивая Якова Михайловича, впервые вызвали врачей. Диагноз был краток — испанка. Испанка (нечто вроде нынешнего вирусного гриппа) свирепствовала тогда в России, в Европе и тысячами косила людей. Но Яков Михайлович был молод, ведь ему не было еще и тридцати четырех лет, сердце у него работало бесперебойно, и врачи надеялись на благополучный исход. Однако ему становилось все хуже.

Владимир Ильич уезжал в эти дни в Петроград. Он вернулся 14 марта и сразу позвонил Якову Михайловичу, но тому уже трудно было говорить. В этот день он стал терять сознание, начался бред. 16 марта наступило резкое ухудшение. Весть об этом мгновенно распространилась по Кремлю. Все члены ЦК, десятки самых близких товарищей собрались в комнатах, смежных с той, где Свердлов вел свой последний бой — с неумолимой смертью. К Якову Михайловичу мы уже не впускали никого.

Около четырех часов дня за стеной послышалось какое-то движение, дверь тихо открылась, вошел Ильич. Двое суток, с момента возвращения из Питера, порывался Владимир Ильич к Якову Михайловичу, но его не пускали — опасность заражения была слишком велика. Но 16 марта, узнав, что больному стало еще хуже, Ленин махнул рукой на все запреты. Остановить его никто не смог, да и не решился. Быстро пройдя через толпу товарищей, Владимир Ильич вошел в комнату. В этот момент к Якову Михайловичу на мгновение вернулось сознание. Он узнал Ленина и ласково, но жалобно, как-то по-детски беспомощно улыбнулся. Владимир Ильич взял его за руку и нежно, ласково стал гладить эту ослабевшую руку.

В страшной, мучительной тишине прошло десять, пятнадцать минут. Рука Якова Михайловича безжизненно упала на одеяло. Владимир Ильич судорожно глотнул, низко опустил голову и вышел из комнаты. Его окружили. Он молча взял со стола свою кепку, резко наклонил ее на самые глаза и, ни на кого не глядя, никому не сказав ни слова, по-прежнему низко склонив голову, ушел.

«Пока сердце бьется у меня в груди, пока в жилах моих струится кровь, — говорил Яков Михайлович, — я буду бороться». И он боролся до самого конца, до самой последней минуты, всего себя, всю свою жизнь отдав партии, народу.

Два дня спустя, 18 марта, было созвано экстренное заседание ВЦИКа, посвященное памяти Я. М. Свердлова, на котором выступил В. И. Ленин. В своей речи Владимир Ильич сказал:

— Если нам удалось в течение более чем года вынести непомерные тяжести, которые падали на узкий круг беззаветных революционеров, если руководящие группы могли так твердо, так быстро, так единодушно решать труднейшие вопросы, то это только потому, что выдающееся место среди них занимал такой исключительный, талантливый организатор, как Яков Михайлович.



М. ГАЛЛАЙ

★

ЧЕРЕЗ НЕВИДИМЫЕ БАРЬЕРЫ

Из записок летчика-испытателя

Начало начал

Мне было тогда двадцать два года. Я сидел в просторном кабинете начальника отдела летных испытаний Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) в большом кресле перед письменным столом. Сам начальник отдела В. И. Чекалов был в это время в Париже, на очередном международном авиационном «салоне», и разговаривал со мной его заместитель по летной части Иван Фролович Козлов.

Позади меня, за широким, во всю стену, окном, происходили исключительно интересные вещи: кто-то выруливал на старт, кто-то заруливал на стоянку, шумели на разные голоса (скоро я научился различать их) прогреваемые механиками моторы, техники устанавливали приборы-самописцы — словом, испытательный аэродром жил своей обычной жизнью. Не мудрено, что в течение всего разговора, сколь ни велико было его значение для моей дальнейшей судьбы, я не раз воровато оглядывался, чтобы бросить лишний ненасытный взгляд на открывавшуюся за окном картину.

Козлов задавал вопросы. Из моих ответов явствовало, что еще несколько лет тому назад я начал летать на планерах, имею более тридцати прыжков с парашютом (в то время подобная цифра казалась куда более внушительной, чем сейчас), работал инструктором парашютного спорта Ленинградского аэроклуба и подготовил несколько десятков «перворазников».

В том же Ленинградском аэроклубе я научился летать на самолете и даже закончил группу подготовки инструкторов-летчиков. Впрочем, применить полученные в этой группе знания я еще не успел и никого к искусству полета пока не приобщил.

Когда я бодрым голосом упомянул, при каких обстоятельствах «научился летать», на лице Ивана Фроловича отразилось легкое сомнение. Впрочем, никаких комментариев по этому поводу он не высказал. В том, что летать я еще далеко не научился, мне предстояло убедиться самостоятельно, и, несколько забегаая вперед, должен сказать, что произошло это довольно скоро.

А пока разговор продолжался. Я рассказал, что в нынешнем, 1936 году окончил курс Ленинградского политехнического института по специальности аэродинамики. В ЦАГИ направлен, чтобы пройти преддипломную практику и написать дипломную работу, но что конечная моя цель — стать летчиком-испытателем, так как именно в этом я вижу вершину и летного искусства и инженерной деятельности.

Козлов не торопился заканчивать беседу. Он интересовался моими представлениями об испытательной работе, об известных мне типах самолетов, об авиации вообще. Словом, это был, как я понял впоследствии, если не вступительный экзамен (экзамен я

сдавал, разумеется, в воздухе), то, во всяком случае, пользуясь терминологией наших дней, нечто вроде «предэкзаменационного собеседования».

Так произошло мое первое знакомство с человеком, сыгравшим в последующие годы чрезвычайно большую роль в моем (и не только моем) становлении как летчика-испытателя.

Разумеется, обстоятельства моего прихода в отдел летных испытаний ЦАГИ могли бы сложиться иначе. Но самый факт моего появления здесь не был случаен. В полном соответствии со стандартом, установившимся в мемуарной и биографической авиационной литературе, я «заболел» авиацией еще смолоду. Читал все, что мог достать о самолетах, дальних полетах, известных летчиках. Немало времени проводил в Ленинградском аэромузее на Литейном проспекте, наизусть изучив все его экспонаты начиная от «настоящего» носа летающей лодки «М-9», отрезанного от самолета и установленного в одном из залов музея наподобие ростра старинной колонны, и кончая последней фотографией. Словом, вопрос о том, чему посвятить свою жизнь, был смолоду твердо решен мной в пользу авиации. Но что именно делать в ней? Какую избрать специальность? Разумеется, ни о каких преградах, способных закрыть мне путь к той или иной авиационной профессии, я в то счастливое время не думал. Главное было решить для самого себя, чего я конкретно хочу, а в возможности осуществить свое решение никаких сомнений у меня даже не возникало. Изречение Козьмы Пруткова «Если хочешь быть счастливым,— будь им!» воспринималось мной не как отвлеченный афоризм, а как жизненное кредо. В свое оправдание сошлюсь, во-первых, на то, что в дни описываемых здесь раздумий мне не было еще и двадцати лет, а во-вторых, на то, что, сколь это ни странно, вся моя дальнейшая жизнь в авиации, в общем, не дала мне существенных поводов к пересмотру этой юношеской оптимистической точки зрения.

Итак, меня манили две авиационные профессии: летчика и инженера. Каждая имела свои притягательные стороны. Кто, как не летчик, имеет дело с настоящим полетом, с реальной, живой, не нарисованной на бумаге авиацией! Я еще ни разу не летал тогда, но интуитивно чувствовал, какое наслаждение должно заключаться в самом состоянии полета, к которому со времен легенды об Икаре стремилось человечество. С другой стороны, кто лучше инженера понимает все сложные явления, происходящие в полете, кто лучше него может предсказать поведение самолета в воздухе, кто, наконец, является творцом и создателем этой чудесной машины!

Разрешению моих сомнений помогла сама жизнь. В газетах замелькали имена людей новой, неизвестной ранее профессии летчика-испытателя. Чкалов, Громов, Коккинали, Алексеев, Нюхтиков, снова Чкалов, снова Коккинаки... Они ставили все новые и новые рекорды, используя для этого все явные и даже скрытые возможности своих самолетов. Между строк газетных сообщений чувствовалось (как чувствуется и в наши дни), что авиационный рекорд — это лишь последняя черта, итог большой, сложной, умной, а иногда и рискованной работы, без которой невозможно «научить самолет летать».

Это было как раз то, что я искал: высший класс искусства пилотирования и настоящая инженерная, а порой даже научная работа. Мои жизненные планы наконец определились. Делиться ими без особой необходимости с окружающими я, конечно, избегал (при всей своей юношеской самонадеянности я сознавал, что «замахнулся» довольно широко), но, когда дело подошло к окончанию института, все-таки рассказал о них своему учителю, заведующему кафедрой аэродинамики нашего института, профессору Льву Герасимовичу Лоїцянскому. Видный специалист в области теоретической механики и аэродинамики, сравнительно далекий даже от инженерной практики, не говоря уже о летной, он, казалось бы, должен был отнестись к моим устремлениям достаточно прохладно. Но он понял меня. То ли подействовала на него моя фанатическая убежденность, то ли не дал я ему совсем уж никаких поводов видеть в моем лице будущего светило чистой науки, то ли просто по присущей ему доброте душевной, но Лев Герасимович не остался равнодушным к моим планам. Его слово в ЦАГИ было достаточно веско, и возможность испробовать свои силы была мне предоставлена.

И вот я в святая святых летно-испытательной работы!

Все вокруг приводило меня в состояние благоговения и священного трепета — от комнаты летчиков, в которой готовились к полетам, отдыхали, разговаривали люди, лишь с большими оговорками относимые мной к категории обыкновенных смертных, и до производственных мастерских отдела, где на видном месте висел большой плакат «Товарищ! Помни, что от твоей работы зависит человеческая жизнь!»

Однако особенно долго предаваться трепету и благоговению не приходилось. Надо было работать, причем работать на два фронта: собирать материал для дипломной работы (институт так или иначе следовало окончить) и летать.

Так я попал «в руки» Ивана Фроловича Козлова.

Это был плотный, коренастый человек с крупными чертами дотемна загорелого лица. Читая, он надевал очки. Помнится, это несколько смущало меня. Очки плохо согласовались с уже укореившимся в моем воображении внешним обликом летчика-испытателя — эдакого атлетического молодца типа «кровь с молоком», с нестерпимо волевым лицом и, конечно, безукоризненного, вплоть до мелочей, здоровья.

В дальнейшем я быстро расстался с этим наивным заблуждением, но судьба тем не менее жестоко наказала меня за него: в течение последующих двадцати с лишним лет добрая половина людей, с которыми меня знакомили, начинала разговор стереотипной фразой:

— Вы летчик-испытатель? Не может быть! Вы совершенно не похожи на летчика-испытателя.

На гимнастерке Ивана Фроловича бросался в глаза орден Красной Звезды, в те годы весьма редкий (он был учрежден незадолго до этого) и вызывавший особое уважение потому, что я уже знал обстоятельства, при которых он был получен.

Козлов испытывал новый истребитель оригинальной схемы: фюзеляж его был значительно короче обычного и заканчивался почти сразу за крылом, а мощные пушки, расположенные на обоих крыльях, переходили в балки, на которых крепилось хвостовое оперение. Большая часть программы испытаний была уже позади, когда Иван Фролович вылетел на отстрел пушек. Как полагалось, он сделал круг над полигоном, убедился, что на земле выложен знак, разрешающий стрельбу, и со второго захода ввел самолет в пологое пикирование. Машина, набирая скорость, устойчиво пошла на мишени. Летчик прицелился и нажал на гашетки. Какую-то долю секунды он слышал гулкие пушечные выстрелы и ощущал привычные, сливающиеся в ровную тряску толчки отдачи. Внезапно возник резкий посторонний стук, самолет задрожал и начал рыскать, как заторможенный на скользкой дороге автомобиль. Немедленно прекратив стрельбу, Козлов стал выводить из пикирования дрожащую, качающуюся с крыла на крыло и почти не слушающуюся рулей машину. Кое-как перейдя в горизонтальный полет, он осмотрелся, и то, что открылось его взору, не давало ни малейших оснований для сколько-нибудь оптимистической оценки событий. Левую пушку разорвало, причем разрушения распространились на силовую балку: она потеряла жесткость и качалась, вызывая этим колебания хвостового оперения, а за ним всего самолета. В любую секунду балка могла отвалиться полностью, после чего машина, конечно, сразу же рухнула бы на землю.

Казалось бы, летчику не остается ничего другого, как выбрасываться с парашютом, причем выбрасываться без промедления. Дело в том, что, вопреки распространенному мнению, самая рискованная и, так сказать, «негарантийная» часть вынужденного прыжка с парашютом — это не его раскрытие («раскроется или не раскроется») и даже не приземление, хотя и оно иногда бывает сильно осложнено, а покидание кабины. Недавно сейчас на боевых и экспериментальных самолетах непрямым элементом обстрелов являются катапультируемые сиденья экипажа, позволяющие в случае необходимости «выстрелиться» из терпящего аварию самолета. В те же времена, о которых идет речь, никаких катапульти не существовало, а вылезти при помощи собственных усилий из кабины самолета, летящего горизонтально, было, разумеется, все же проще, чем из пикирующего, штопорящего или находящегося в беспорядочном падении. Именно поэтому шансы на благополучное покидание поврежденного самолета уменьшались с каждой секундой промедления.

Итак, все говорило за то, чтобы прыгать.

Но Козлов не прыгнул. Верный традициям настоящих летчиков-испытателей, он стал «тянуть» к аэродрому, точными движениями рулей парировал попытки самолета сорваться, применил весь свой опыт, все свое искусство и в конце концов дотянул и благополучно посадил тяжело раненную машину. Только благодаря этому оказалось возможным на земле разобраться в конкретных дефектах, послуживших причиной происшествия, и надежно устранить их.

Естественное стремление каждого летчика — сохранить доверенный ему самолет — у летчиков-испытателей развито особенно сильно. Новая опытная машина представляет собой не только огромную материальную ценность — эквивалент напряженного длительного труда большого коллектива ее создателей, — но и является вещественным воплощением прогресса авиации. Гибель опытной машины всегда отбрасывает весь этот коллектив далеко назад, так как заставляет начинать все с самого начала, от старта, да к тому же делать это с тяжелым сознанием наличия нераскрытого, а потому вдвое более опасного дефекта, из-за которого погиб первый экземпляр. Потеря опытного самолета — большая беда! И за его сохранение, за его «доставку» на землю в таком виде, который по крайней мере позволил бы разобраться в причинах происшествия, летчик-испытатель всегда борется, не жалея ни сил, ни самой жизни.

Это положение среди специалистов нашего дела считается азбучным, но тогда и впервые столкнулся с конкретным примером его приложения на практике, и орден на гимнастерке Ивана Фроловича вызывал у меня большое уважение не только к нему самому, но и ко всей лётно-испытательной профессии.

К моменту моего появления в ЦАГИ личная испытательная деятельность Козлова уже заканчивалась. Правда, он еще продолжал летать и, в частности, в недалеком будущем оказался ведущим летчиком испытаний, связанных с моим дипломным проектом, но за опытные машины и другие серьезные задания уже не брался (не зря, оказывается, меня смутили его очки!). Освободившиеся силы и время Иван Фролович стал отдавать руководящей работе в отделе, а также обучению и вводу в строй молодых летчиков-испытателей.

Первыми его выучениками были Ю. К. Станкевич, Н. С. Рыбко и Г. М. Шиянов, которых я застал молодыми — со стажем немногим более года, — но уже полностью «введенными в строй», действующими испытателями. Станкевич был авиационным инженером, Рыбко и Шиянов — старшими техниками. Учиться летать все трое начали, так сказать, с азов, уже работая в ЦАГИ.

Юрий Константинович Станкевич, красивый brunet, с подтянутой спортивной фигурой (в недалеком прошлом он занимал призовые места по фигурному катанию на коньках), воспитанный, культурный в полном смысле этого слова человек, был в моих (и не только моих) глазах ближе, чем кто-либо другой, к эталону летчика-испытателя нового, формировавшегося на наших глазах типа. Он быстро совершенствовался, выполнял все более и более сложные задания, незадолго до войны успешно начал испытания новой опытной машины конструкции В. К. Таирова и, без сомнения, совершил бы еще немало замечательных дел, если бы не погиб, выполняя свой долг, в начале 1942 года.

Николай Степанович Рыбко и Георгий Михайлович Шиянов — ныне Герои Советского Союза, заслуженные летчики-испытатели СССР — также с самых первых шагов на испытательном поприще проявили свои незаурядные способности и уже через несколько лет уверенно вошли в ведущую группу отечественных летчиков-испытателей — «первую десятку», представителям которой неизменно поручались наиболее ответственные и сложные задания.

Даже самым придирчивым критикам было ясно, что первая же тройка «доморошенных» летчиков-испытателей оказалась для нашей авиации весьма ценным приобретением.

Этот успех носил в те времена гораздо более принципиальный характер, чем просто удачный дебют трех симпатичных молодых людей.

В наши дни подавляющее большинство летчиков-испытателей либо уже является инженерами или техниками, либо получает специальное образование без отрыва от ос-

новой работы. Быть первоклассным испытателем без глубоких технических знаний сейчас попросту немислимо. Этого настойчиво требует непрерывно усложняющаяся авиационная техника. Широкой известностью пользуются имена летчиков-испытателей инженеров Ю. К. Сташкевича, А. Н. Гринчика, Г. А. Седова, А. Г. Кочеткова, Р. И. Капрэляна и других, не только испытавших много новых опытных самолетов и вертолетов, но и сыгравших немалую роль в развитии новой отрасли авиационной науки — методики летных испытаний. Есть сейчас среди летчиков-испытателей не только инженеры, но даже исследователи, ученые, такие, как кандидаты технических наук И. И. Шунейко и Н. В. Адамович.

Но все это сейчас.

Двадцать с лишним лет назад положение было совсем другим. Вопрос о том, насколько необходимо летчику-испытателю высшее образование, в такой формулировке даже не возникал: нужно было сначала практическими делами доказать, что оно хотя бы полезно.

Более того, находились люди, всерьез обсуждавшие, не мешает ли летчику-испытателю образование. Их доводы были просты: чем меньше летчик будет понимать сущность происходящих с самолетом явлений, тем легче и охотнее пойдет на выполнение любого рискованного эксперимента.

— Ну, а если риск не оправдывается и какие-то неприятности все же произойдут, — спрашивали такого сторонника «смелости неведения», — не лучше ли справиться с ними летчик, заранее подготовленный к этому?

— Тогда все дело будет зависеть от интуиции; считать на логарифмической линейке все равно времени не останется. Чувствует летчик машину — выкрутится из любого положения. Не чувствует — так или иначе убьется, не в этом полете, так в другом!

Спорить с подобными доводами было нелегко, во-первых, потому, что их авторы, как правило, по своей личной квалификации в то время стояли еще гораздо выше «доморощенных», и, следовательно, известное положение диалектики, гласящее, что критерием истины является практика, лежало на их чаше весов. Во-вторых, отрицать значение интуиции в летном деле действительно приходилось (как, впрочем, не приходится и теперь!). К сожалению, нам тогда была еще не известна чеканная формулировка «информация — мать интуиции», которая в применении к явлениям общественной жизни справедливо носит иронический характер, но к интуиции технической применима без всяких кавычек.

Становление нового, как почти всегда, проходило не гладко.

Далеко не все «влиятельные» персоны видели связанные с ним перспективы, и здесь снова нельзя не помянуть добрым словом И. Ф. Козлова — пионера создания инженерных кадров летчиков-испытателей, отдавшего этому делу много сил и энергии и претерпевшего за это, как и положено всякому уважающему себя новатору, немало упреков, поношений и прочих неприятностей.

В нашу вторую группу молодых летчиков ЦАГИ входили уже шесть человек: А. Н. Гринчик (впоследствии один из наиболее выдающихся летчиков-испытателей нашей страны, участник испытаний первых советских реактивных самолетов), Ф. И. Ежов, В. А. Карпов, В. С. Папкратов, И. И. Шунейко и автор этих строк.

В отличие от первой «тройки» мы все уже прошли курс обучения полетам на самолете «У-2» в аэроклубах, а некоторые из нас успели закончить и инструкторские группы и даже поработать аэроклубными инструкторами первоначального обучения.

Мы умели взлететь на нашем «У-2», пролететь по «коробочке» вокруг аэродрома, рассчитать заход на посадку и произвести ее. Умели выполнить в зоне простейшие фигуры пилотажа — петлю, переворот через крыло, вираж, штопор. Тысячи молодых людей в аэроклубах всего за несколько месяцев обучения осваивали всю эту премудрость. И, превзойдя ее, мы наивно полагали, что уже умеем летать. Но, странное дело, чем больше элементов настоящего овладения благородным искусством полета постепенно оказывалось у нас в руках, тем яснее становилось, сколь многого мы еще не знаем и не умеем! Прав был мыслитель древности, сказавший, что чем больше радиус известного, тем больше и длина окружности соприкосновения с неизвестным.

Но все это выяснилось в дальнейшем.

А пока Козлов решил проверить нас в воздухе, чтобы составить себе хотя бы предварительное мнение о том, что мы собой представляем.

И вот после почти четырехмесячного перерыва в полетах (тогда это был для меня серьезный перерыв!) я снова в воздухе. Правая рука на ручке управления, левая — на секторе газа, ноги — на педалях. Передо мной ставшая уже привычной нехитрая приборная доска «У-2». На ней всего четыре-пять приборов; даже счетчик оборотов и тот вынесен из кабины наружу, на стойку центральной части верхнего крыла. Привычная, освоенная машина, простейшее учебническое задание — полет по кругу, — но очень уж ново все, что проплывает у нас под крылом.

Дома, в аэроклубе, мы летали над полями, болотами и перелесками — равнинным пейзажем ленинградских окрестностей. Наш аэродром располагался вблизи Красного Села, на том самом поле, где когда-то происходили гвардейские скачки, где Махотин на Гладиаторе обошел Вронского, где сломала себе спину красавица Фру-Фру и не смогла скрыть своей тревоги за Вронского Анна Каренина. Несмотря на столь громкую литературную славу, аэродром был маленький, обрамленный кустарником, за которым проходила линия пригородной электрички. Невдалеке виднелись крыши Красного Села, с другой стороны кустарник постепенно переходил в невысокий лесок — больше смотреть было не на что.

Совсем другое дело было теперь. Отдел летных испытаний ЦАГИ располагался на большом стационарном аэродроме. Казавшиеся мне огромными бетонированные взлетно-посадочные полосы, обилие ангаров, целая сеть рулежных дорожек — все внушало почтение. А сейчас, взлетев с этого «настоящего» аэродрома, я увидел с воздуха Москву. Море крыш, широкие даже с трехсотметровой высоты улицы, трамваи, троллейбусы, автобусы и надо всем этим дымка, прячущая где-то в себе и горизонт и границы этого бескрайнего города. Вот Белорусский вокзал, вот Ленинградское шоссе, множество радиомачт на Хорошевке, Всехсвятское.

Впоследствии мне довелось летать над Ленинградом, Киевом, Варшавой, Берлином, но это был мой первый полет над большим городом. Впечатление складывалось сильно. Заглядевшись, я едва не упустил из виду, что прохожу проверку и надо стараться не ударить в грязь лицом. Все же особенно грубых прегрешений против правил пилотирования я, по-видимому, не совершил и после посадки узнал, что допущен к дальнейшим полетам.

После проверки Козлов дал нам еще немного полетать на «У-2», чтобы восстановить навыки после перерыва — снять «ржавчину», и постепенно стал пересаживать нас на боевые самолеты начиная с широко распространенного в ту пору в нашей авиации разведчика — биплана «Р-5».

Внешне «Р-5» мало отличался от нашего доброго друга «У-2»: та же бипланная схема, та же деревянная конструкция с обшивкой из фанеры и специального авиационного полотна — перкаля, даже окраска одинаковая: темно-зеленая сверху и голубая снизу. Разве что мотор помощнее да размеры побольше. Тем не менее летать на «Р-5» мы начинали с великим благоговением: что ни говори, это была наша первая боевая — не учебная! — машина.

В Гражданском воздушном флоте, строевых частях военной авиации и других летных организациях освоение летчиком нового для него типа самолета производится почти всегда путем так называемой «вывозки».

За второе управление садится инструктор. Сначала он демонстрирует обучаемому поведение самолета на всех этапах полета. Затем постепенно все больше и больше доверяет ему управление, исправляет словом, а иногда и прямым вмешательством, ошибки обучаемого и наконец, когда эти ошибки больше не повторяются, выпускает своего подопечного в самостоятельный полет.

Такой способ, наиболее надежный и безопасный из всех возможных, вызывает, однако, естественный вопрос: а кто же учит первого летчика, раньше всех приступающего к освоению нового самолета?

Учить этого первого летчика, а им, естественно, является летчик-испытатель, некому.

Существует, правда, разработанная методика его подготовки к первому вылету на новом, еще никогда не поднимавшемся в воздух самолете. Многие можно предсказать путем изучения расчетов и результатов продувок модели в аэродинамической трубе. Во многом новый самолет будет вести себя похоже на кого-то из своих предшественников. Словом, не следует представлять себе первый вылет, как какой-то прыжок в неизвестное, ничем, кроме пресловутого «авось», не подкрепленный.

Но все же изрядная доля риска при этом, конечно, остается.

Почти во всех первых вылетах в повадках самолета обнаруживается что-нибудь новое, не предусмотренное на земле и требующее быстрой, четкой и обязательно правильной реакции со стороны испытателя.

В первом вылете, как, пожалуй, мало в каком ином виде испытательных полетов, летчик-испытатель должен проявить то самое свойство «привычки к непривычному», которое, в сущности, больше всего отличает его от других летчиков. Дается оно, конечно, далеко не сразу. Воспитание и формирование испытателя опытных и экспериментальных самолетов требует немало труда и времени.

Иван Фролович с самого начала стал «делать» из нас испытателей.

Всякие вывозки были сведены к минимуму; так, на «Р-5» он дал нам всего по десять—двенадцать вывозных полетов, после чего выпустил самостоятельно.

На первом в нашей практике двухмоторном самолете — моноплане «Р-6» («АНТ-7») — меня по поручению Козлова вывозил Н. С. Рыбко. Многие на «Р-шестом» было для меня ново: два мотора, управлять которыми следовало синхронно (согласованно), двойное количество моторных приборов, даже управление элеронами и рулем высоты при помощи штурвала вместо привычной на более легких самолетах ручки — все это, вместе взятое, на первых порах не раз вгоняло меня в пот. Но уже через несколько полетов я почувствовал, что начинаю держать машину в руках.

Как раз в те дни проходил международный конкурс пианистов, на котором одержали победу советские музыканты. Рыбко, большой любитель музыки, внимательно следил за сообщениями о ходе конкурса, переживал все его перипетии и был весь под впечатлением успеха наших пианистов.

— Хорошо, — сказал он после очередного, пятого или шестого по счету, полета, — прямо как Флиер! Давай еще один такой же полетик по кругу.

После того как и этот «полетик» был успешно выполнен, Коля благодушно резюмировал:

— Гилельс! Летит сам...

После «Р-6» последовали три-четыре типа самолетов, преимущественно среднего тоннажа, на которых нам давали один так называемый контрольно-ознакомительный полет, и во второй полет отправляли уже самостоятельно.

На всех последующих типах летательных аппаратов — а их прошло много через мои руки — я вылетал сам.

Иногда вылету предшествовало изучение инструкций по пилотированию данного самолета или беседы с летчиками, ранее летавшими на нем. Иногда, как, например, при освоении трофейных самолетов, помогало лишь сознание (значительно более успокаивающее, чем может показаться читателю), что кто-то на таком самолете летал. А раз летал «кто-то» — значит, нет причин не полететь и мне. Иногда же — при первых вылетах на новых опытных и экспериментальных самолетах — не было и этого приятного сознания...

Впрочем, установленный Иваном Фроловичем «спартанский» порядок освоения молодыми летчиками-испытателями новых для них самолетов вытекал не только из вполне разумных соображений воспитательного характера, но был вызван отчасти и тем, что двойное управление имелось не на всех машинах, а специальных двухместных учебных вариантов боевых самолетов тогда почти не существовало. Поэтому, например, на всех истребителях, включая такую «строгую» в управлении машину, как знаменитый «И-16», нам приходилось вылетать только «по данным наземного инструктора».

Первым самолетом, на котором я вылетел таким образом, был истребитель «И-15», получивший за своеобразную форму центральной части крыла прозвище «Чайка». Это

был очень легкий по весу, исключительно хорошо управляемый самолет, обладавший поразительной способностью устойчиво держаться в воздухе едва ли не в любом положении: вверх колесами («на спине»), на боку, с задраным под большим углом вверх носом — как угодно. Но все эти его качества я ощутил и оценил позже, а вылетая на «И-15» впервые, поразился, помнится, тому, как внезапно изменился весь облик, казалось бы, детально изученного мной самолета (а я немало времени добросовестно просидел в его кабине, мысленно «проигрывая» полет, пока не выучил наизусть расположение всех приборов и не довел до полного автоматизма пользование всеми кранами и рычагами). Но вот после короткого разбега я в воздухе — и все волшебным образом изменилось: верхняя часть мотора проектируется не на крышу соседнего ангара, а на быстро приближающиеся облака, слегка вздрагивают ожившие стрелки приборов, на ручке управления ощущается упругое давление воздуха на рули — самолет живет!

И сколько после этого ни приходилось мне вылетать на новом для меня (а иногда и не только для меня) типе самолета, каждый раз я изумлялся этому чудесному превращению, которое можно сравнить разве с пробуждением спавшего человека.

До этого на самолетах с двойным управлением такого ощущения не возникало, наверное, потому, что условия «вывозки» не требовали столь тщательного «вживания» в кабину и облик неподвижно стоящего на земле самолета не успевал сколько-нибудь прочно запечатлеться в сознании летчика. Следовательно, «ожившую» в воздухе машину сравнивать было фактически не с чем.

Оставаясь один на один с летчиком, самолет откровенно (хотя порой и не сразу) выдает свои тайны. И тут, как почти при всяком откровенном разговоре, третий — лишний. Поэтому и в дальнейшем я всегда старался даже на самолетах с двойным управлением вылетать самостоятельно. Так я быстрее «понимал» новую машину, полнее оценивал ее качества, увереннее реагировал на всякие неожиданности.

...Постепенно мы обретали самостоятельность. Но отнюдь не бесконтрольность! Фролыч неустанно следил за нами, и каждый из нас не раз имел случай с досадой убедиться в его чрезвычайной «глазастости», а также почти мистической способности отвлекаться от своих многочисленных текущих дел и бросить мимоличный взгляд на крутящийся в небе в нескольких километрах от аэродрома самолет как раз в тот момент, когда означенный самолет делал что-нибудь не то, что надо.

Тогда после приземления и заруливания на стоянку, где начлет неизменно встречал нас, провинившегося ожидал не традиционный доброжелательный полувопрос-полуконстатация: «Ну что, все нормально?» — а немедленный разбор с тем более явными элементами «протирапия с песочком», чем грубее была ошибка и чем меньше склонялся обвиняемый к чистосердечному признанию.

Бурный темперамент Фролыча не позволял ему чересчур долго затягивать начало разбора. Поэтому часто монолог начинался издалека, под аккомпанемент еще не выключенного мотора, и вынужденно протекал в довольно громких тонах. Впрочем, даже когда подобных внешних обстоятельств и не было, Иван Фролович все равно предпочитал высказывать свои замечания так, чтобы каждое его слово легко воспринималось любым случайным слушателем в радиусе не менее чем в двести метров.

В силу указанных причин наше обучение и ввод в строй происходили, можно сказать, под неусыпным контролем широкой общественности, и некоторые наиболее острые на язык ее представители любили при случае процитировать нам, грешным, наиболее эффектные места из направленных по нашему адресу нотаций Фролыча.

Мой старинный приятель авиатехник (ныне инженер) Костя Лопухов вдруг в трамвае, за обедом, на собрании — словом, в самом неподходящем для этого месте — мрачно сдвигал брови, старался похоже, как ему казалось, изобразить Козлова и назидательным голосом произносил что-нибудь вроде:

— Повнимательнее, Галлай, надо. Повнимательнее. Иначе летать не будешь.

Иногда, когда прегрешение очередного летающего было особенно велико, жертвой гнева Ивана Фроловича становился любой оказавшийся случайно поблизости летчик.

Так, мне как-то раз попало по первое число за «козлы» (многократные подпрыгивания на посадке), учиненные Федей Ежовым. Зато в другой раз, когда я обогнал

более тихоходный самолет с неположенной стороны, жестокому поношению был подвергнут на свою беду подвернувшийся Леша Гринчик.

И горе несчастному, который вздумал бы сказать:

— За что вы, Иван Фролович, меня-то ругаете? Ведь не я сейчас виноват!

Подобную неосмотрительную реплику Фролыч немедленно парировал — увы! — вполне справедливым утверждением: «А ты еще хуже номера откальываешь!» — после чего в порядке аргументации следовал исчерпывающий перечень прегрешений незадачливого оппонента за весь последний сезон. Память у начлета была отличная, а к нашим полетам он относился с великим вниманием...

Когда мы дошли до самолетов таких типов, на которых Иван Фролович сам не летал, он всячески поощрял полученне нами консультации у других летчиков, но перед самым вылетом всегда давал краткое, четкое резюме главных особенностей этого самолета, а также наиболее возможных его «каверз», которых следовало опасаться. Трудно сказать, откуда он черпал эти сведения, но можно было поручиться, что в них содержится та самая «изюминка», которая присуща каждому самолету не в меньшей степени, чем любому человеку. Жадный интерес ко всему новому в авиации и огромный личный опыт позволили Фролычу в течение добрых двух десятков лет после ухода с летной работы оставаться полностью в курсе мельчайших деталей пилотирования самолетов новейших типов.

Я особенно оценил эту редкую способность много лет спустя, когда присутствовал на учебном сборе повышения квалификации летчиков-испытателей и слушал лекцию одного в прошлом весьма известного летчика на тему о полетах «вслепую», то есть по приборам, без видимости естественного горизонта. Такой полет, если не пользоваться специальными приборами, дающими хотя бы косвенное представление о положении самолета в пространстве, попросту невозможен, причем не только для человека. Птица, сброшенная с аэростата с завязанными глазами, тоже лететь не может. Она падает, причем не беспорядочно, а штопором — совсем как потерявший управляемость самолет.

Только пользование приборами делает слепой полет возможным. Но оно требует немало искусства и справедливо считается и поныне одной из вершин летной квалификации. Наш лектор в свое время действительно был одним из пионеров освоения слепого пилотирования и достиг в этом деле значительных успехов, но в дальнейшем лет пятнадцать не занимался им, главное, не очень интересовался им. А за эти пятнадцать лет авиация не стояла на месте. Были созданы новые, совершенные приборы, разработана методика пользования ими, и многие советские летчики — в частности, некоторые из слушателей этой лекции — совершили во время войны ряд выдающихся полетов в таких метеорологических условиях, которые незадолго до того считались абсолютно нелегкими. И этой-то аудитории пришлось выслушать доклад, в котором в качестве новинки преподносилась положения, либо успешно стать общезвестными, либо давно отвергнутые. После окончания лекции многие слушатели, недавно пришедшие на испытательную работу, но успевшие послушаться от «старожиллов» (в том числе и от меня) о славном прошлом нашего лектора, его замечательных полетах и разработанных им прогрессивных принципах проведения летных испытаний, недоумевали:

— Неужели это тот самый человек, о котором вы нам все уши прожужжали?!

Да, к сожалению, это был тот самый! И я подумал о нелегкой задаче летчика, оставляющего свою профессию, но стремящегося быть по-прежнему в курсе всех деталей ее развития и по мере сил помогать «с земли» своим летающим коллегам. Как внимательно должен он слушать их! Как неустанно следить за всем новым, что ежедневно появляется в авиации! А главное, уметь сказать себе: «Это я знаю, а этого не знаю» — и ни в коем случае не пытаться учить других тому, в чем не слишком тверд сам.

И. Ф. Козлов, занимавший в авиации, может быть, и более скромное место, чем упомянутый лектор, в подобное неловкое положение не попал бы никогда...

Кроме начлета, нам активно помогали осваивать летное мастерство без преувеличения почти все коллеги, имевшие перед нами преимущество в летном стаже от одного до пятнадцати—восемнадцати лет. Если искать аналогий с подготовкой специалистов других профессий, наше положение было более всего похоже на так называемое «бригадное ученичество», в те годы широко распространенное на заводах.

Особенно много прямых, конкретных советов и дружеских критических замечаний исходило от наших ближайших предшественников — Станкевича, Рыбко и Шиянова, особенно от Рыбко, с которым у меня еще в ту пору установились и продолжают по сей день отношения тесной дружбы. Из летчиков старшего поколения наибольшее влияние на нас оказывал Чернавский, явно импонировавший молодежи своей технической и общей культурой, а также умением преподносить мысли в четкой, порой афористической форме.

Огромную пользу принесли нам доброжелательные советы наших коллег, но все же основной формой освоения их опыта были наши собственные наблюдения.

«Имеющий глаза да видит!» — это немного перефразированное библейское изречение было как нельзя более применимо к открывшимся перед нами широким возможностям учиться уму-разуму «вприглядку».

Казалось бы, чему можно научиться таким способом в летном деле?

Оказывается, многому. Главный показатель квалификации летчика-испытателя не то, как он взлетает или производит посадку в обычных условиях (такие вещи входят в необходимый минимум, обязательный не только для испытателя, но для любого летчика вообще), а то, как он действует в тех самых нередко возникающих в практике испытательной работы случаях, когда нужно единолично в считанные секунды принимать решения, от которых зависят жизни людей, сохранность уникальной опытной техники и, следовательно, прогресс нашей авиации. Поведение летчика-испытателя в подобных случаях определяется не только уровнем его профессиональной квалификации. Огромное значение имеют и его чисто человеческие моральные качества: воля, решительность, чувство ответственности и многое другое. Правда, некоторые из этих качеств при ближайшем рассмотрении выглядят несколько иначе, чем может представиться с первого взгляда. Взять хотя бы «проблему» смелости, осторожности и расчета. Общеизвестно, что смелость должна быть органически присуща летчику. Тут, казалось бы, и рассуждать не о чем. Однако в отделе летных испытаний ЦАГИ жизнь вскоре же натолкнула меня на определенные раздумья и в этой «бесспорной» области.

Однажды Ю. К. Станкевич собрался лететь по какому-то текущему, не бог весть какому серьезному заданию. Он надел парашют, сел в самолет, запустил мотор, но, опробовав, снова выключил его, вылез из машины и спокойно зашагал к ангарной пристройке, в которой находилась комната летчиков. На мой вопрос: «Что случилось?» — последовал невозмутимый ответ:

— Сбрасывает сто тридцать оборотов.

Это означало, что при переключении зажигания с двух магнето на одно обороты мотора уменьшались не на положенные сто, а на сто тридцать в минуту. Казалось бы, мелочь! Так горячая показалась и мне. Откладывать, а может быть, даже отменять испытательный полет из-за такой ерунды! Решение Станкевича было для меня тем более неожиданным, что как-то плохо вязалось с твердо установившимся у меня мнением о нем, как о человеке очень смелом. Как раз незадолго до этого он закончил серию испытаний на штопор — фигуру, в те времена еще мало изученную и преподносившую летчикам частые и весьма неприятные сюрпризы. Намеренно вводить в штопор машину, о которой заведомо известно, что она неохотно из него выходит, Станкевич мог, а плюнуть на какие-то несчастные тридцать оборотов не мог! Тут было над чем призадуматься. К тому же вскоре я получил возможность убедиться, что в своих воззрениях на сей предмет Станкевич не был одинок.

Взлетая как-то на легкомоторном тренировочном моноплане «УТ-1», я сразу после взлета, с высоты один-два метра от земли, «загнул» глубокий вираж с подъемом. Самолет «УТ-1» считался строгим, он легко срывался в штопор даже при незначительных неточностях пилотирования, словом, требовал достаточно тонкой руки, и, овладев этим самолетом, как мне тогда представлялось, в совершенстве, я таким наглядным (хотя и не очень умным) способом пытался выразить свое полное удовольствие по сему поводу.

Через полчаса в комнате летчиков Чернавский встретил меня многозначительным заявлением:

— Один философ сказал, что осторожность — неременная и едва ли не лучшая часть мужества.

Я попытался ответить, что автор этого глубокого афоризма мне неизвестен и, по моим подозрениям, им является не кто иной, как мой собеседник, собственной персоной.

— Не будем спорить о личности автора, — не поддался Александр Петрович, — поговорим лучше о существе дела! Впрочем, если абстрактные истины до тебя не доходят, могу сослаться на авторитет, более соответствующий уровню аудитории. Автор популярных авиационных книжек американец Ассен Джорданов отличал хорошего летчика от плохого знаешь каким образом?

— Каким?

— Он говорил, что хороший летчик умеет делать все то же, что и плохой, но, кроме того, достоверно знает, чего нельзя делать...

Точке зрения наших опытных испытателей нельзя было отказать в логичности. Вкратце эта точка зрения сводилась к тому, что любой риск допустим, когда речь идет о проникновении в новое (новые, не достигнутые ранее скорости, новые высоты, новые виды маневров, принципиально новые конструкции и т. д.) и обойтись без него невозможно, но категорически недопустим, если вызван тем, что кто-то что-то забыл, упустил или поленился сделать в расчете на пресловутое «авось обойдется».

Неожиданного (а впрочем, если подумать, то не такого уж неожиданного) сторонника подобной же точки зрения я обнаружил во время войны в лице нашего командира полка — тогда майора, а ныне генерал-полковника авиации — Григория Алексеевича Чучева.

Шла тяжелая первая зима Великой Отечественной войны. Противник имел значительное преимущество перед нами в количестве самолетов и зенитной артиллерии. Редкий вылет проходил без боя, и редкий бой протекал в более или менее выгодных для нас условиях. Полк выполнял боевые задачи, но нес тяжелые потери.

Экипаж летчика младшего лейтенанта Свиридова получил задание среди бела дня сфотографировать полосу полевых укреплений, строящуюся в глубоком тылу врага. Рискованность задания бросалась в глаза сразу, но всю важность его мы поняли лишь через некоторое время, когда наш фронт тронулся с места, перешел в наступление и, дойдя до городов Пено, Андреаполь, Торопец, Белый, вбил глубокий, измеряемый сотнями километров клин в захваченную врагом территорию. В дни наступления выполненная Свиридовым разведка позволила сбереечь немало жизней бойцов, овладевавших снятой им полосой укреплений. Но это было, повторяю, уже впоследствии, а в день, когда задание на фоторазведку было получено и экипаж пикировщика ушел в воздух, мысли всех оставшихся на аэродроме были направлены на предметы вполне конкретные. Где Свиридов? Прорвался ли к объекту? Произвел ли съемку? Не отсекали ли истребители фашистов его возвращение? Они, естественно, приложат все силы, чтобы не выпустить разведчика с добытыми им данными обратно на свою территорию.

Радиосвязи со Свиридовым, пока он находился за линией фронта, по понятным причинам не было, и все эти вопросы последовательно всплывали у нас, по мере того как, согласно расчету времени, сменялись этапы его боевого полета.

И вот наконец радиogramма: «Задание выполнено. Линию фронта перешел. Посадка через десять минут».

Точно через десять минут над вершинами окаймлявших аэродром елей с шумом проскочил самолет. Вот он выровнялся над блестящим настом узкой укатанной посадочной полосы, коснулся ее колесами и покатился, оставляя за собой завесу из снежной пыли. Все бросились к капониру, к которому уже рулил Свиридов. Он выполнил задание и вернулся на свой аэродром, но, бог мой, в каком виде! Вся машина была покрыта рваными ранами от попаданий осколков, в борту фюзеляжа кусок обшивки был начисто выдран, от левого руля направления остался один каркас, откуда-то текла гидросмесь. Люди, к счастью, были целы, но самолет получил тяжелые ранения.

— Где вам так досталось? — спросил летчика Чучев, приняв его доклад и поблагодарив за образцовое выполнение трудного задания.

— Над целью. Они ее, оказывается, плотно прикрыли зенитками. Сплошной заградительный огонь. Хочешь снимать — лезь в него, не хочешь — уходи восвояси, ничего не сняв, — отвечал Свиридов.

— Молодец! Герой! — сказал командир полка. — Так и надо: огонь там или не огонь, а на цель иди!..

После этого незаурядного вылета прошло всего несколько дней, и другой летчик также вернулся с задания на изрядно потрепанном самолете. Каково же было наше общее удивление, когда Чучев реагировал на это событие диаметрально противоположным образом! Почему? Очень просто. Оказалось, что никакого сопротивления в районе цели ни с земли, ни с воздуха противник не оказал. Все повреждения были получены частично при перелете линии фронта, когда самолет напоролся на заранее известную нам зону сосредоточения зенитной артиллерии, а частично на обратном пути — зазевавшись, экипаж просмотрел приближение истребителей противника и не успел замаскироваться облачностью.

— Вы что думаете, — повысил голос командир полка, — вам экипаж доверили, чтобы вы его так, за здорово живешь, угробили? А каждый самолет сейчас для нас на вес золота — так и на это вам наплевать? Если противник мешает задание выполнить — другое дело: пробивайтесь сквозь огонь, как Свиридов пробился, а свое дело сделайте! Но по дороге к цели или от цели — шевелите мозгами хоть до скрипа, а пройдите так, чтобы царапины напрасной не получить!

Напрасной царапины! Это было сказано с упором на слово «напрасной» и полностью соответствовало тому самому критерию нужности или ненужности риска, с которым я познакомился за несколько лет до этого в отделе летных испытаний ЦАГИ.

Разумеется, сама оценка этой нужности или ненужности бывает достаточно субъективной и может в каком-то частном случае оказаться ошибочной. Так, например, в довоенные годы мне не раз попадало за упорное стремление в совершенстве отработать выполнение резких, энергичных маневров с бреющего полета — от самой земли, а на войне это умение не раз выручало меня из весьма критических положений. Однако это — исключение, отнюдь не порочащее самый принцип как таковой; исключение, лишь подтверждающее правило.

Чтобы покончить с вопросом о разумном и неразумном риске, хочу только добавить, что в тех редких случаях, когда я по каким-либо причинам (всегда неуважительным) отступал от трезвой позиции, принятой среди опытных летчиков-испытателей, ничего хорошего из этого никогда не получалось.

Становлюсь летчиком-испытателем

Немало тонкостей испытательного искусства открылось мне в полетах с более опытными товарищами в качестве второго летчика. Это было полезно со всех точек зрения. Знакомство с пилотированием тяжелых многомоторных самолетов прививало столь необходимую летчику-испытателю универсальность. Одновременно практически осваивалась методика проведения испытательных полетов. Наконец, продолжительное пребывание в воздухе заставляло чисто физически втягиваться в работу.

Больше всего я летал с Ю. К. Станкевичем на четырехмоторном тяжелом бомбардировщике «ТБ-3» («АНТ-6»). По своим размерам — размаху крыльев, длине фюзеляжа, высоте расположения кабины летчиков от земли — этот самолет намного превосходил не только нашего первого друга «У-2», но и недавно освоенных нами разведчиков — «Р-5», «Р-2» и других. Очертаниями он был очень похож на пропорционально увеличенный в некотором масштабе двухмоторный «Р-6», на котором я вылетел с помощью Н. С. Рыбка. Это сходство, впрочем, было не случайно — и «ТБ-3», и «Р-6», как и многие другие самолеты, были созданы одной и той же группой конструкторов, работавшей под руководством А. Н. Туполева. Индекс «ТБ» расшифровывался как «тяжелый бомбардировщик». Правда, сейчас он не кажется таким уж тяжелым. Да и во-

общее опыты показывает, что присваивать самолетам такие эпитеты, как «скоростной», «высотный», «тяжелый», «дальний», рискованно. Их звучание может очень быстро из гордого превратиться в ироническое. Но в те времена «ТБ-3» был действительно одной из самых тяжелых машин в мире, уступая разве только знаменитому «Максиму Горькому» («АНТ-20») и германскому гидросамолету «ДО-Х».

В кабине летчиков «ТБ-3» располагались два огромных круглых штурвала и две пары педалей, похожих на галоши сказочных великанов. Ноги летчика, даже обутые в пушистые унты, в этих педалях утопали. Зато приборов на доске было сравнительно мало — почти все оборудование, относящееся к силовой установке, было, как это принято на многомоторных самолетах, вынесено на отдельный пульт бортмеханика. Все равно объема внимания летчика вряд ли хватило бы на столь большое хозяйство.

Такое освобождение пилота хотя бы от малой части возложенных на него многообразных обязанностей всегда казалось мне исключительно удобным, но при одном обязательном условии: чтобы за пультом бортмеханика сидел человек, пользующийся неограниченным доверием летчика. Впоследствии это не раз подтверждалось в совместной работе с такими блестящими бортмеханиками и бортинженерами, как А. П. Беспалов, Г. А. Нефедов, П. А. Мулько, К. Я. Лопухов, Н. И. Филлизон. Но как зато, летая с некоторыми другими, не внушавшими такого доверия механиками, хотелось буквально вывернуться наизнанку, чтобы хоть одним глазком взглянуть на приборы их пульта и воочию убедиться, что все в порядке! Впрочем, интерес к взаимоотношениям с механиком и остальным экипажем пришел ко мне позже, вместе с ответственностью командира корабля. А пока об этом должен был думать — и думал — Станкевич. Я же был всецело поглощен новыми ощущениями управления большим, инертным, требующим изрядных физических усилий, медленно реагирующим на отклонения рулей кораблем. Поначалу он показался мне абсолютно ничем не похожим на уже освоенные типы более легких самолетов. Наверное, нечто похожее испытал бы шофер-любитель, пересевший со своего «Москвича» за руль сорокаторного самосвала. Но от полета к полету ощущение новизны проходило, появился элемент привычности, и я смог обратить высвободившуюся долю внимания на пресловутые «тонкости».

В одном из полетов мое овладение «ТБ-3» подверглось неожиданному испытанию. Станкевич полетел не в обычном летном комбинезоне, а в скафандре — едва ли не первом скафандре отечественной конструкции, который надо было проверить на самолете с двойным управлением, прежде чем вылетать в нем на истребителе. Эта предосторожность оказалась не лишней. В начале полета все шло хорошо, и похожий в своем скафандре на марсианина Станкевич успешно орудовал штурвалом, педалями и секторами газа. Время от времени он поворачивал ко мне голову в массивном шлеме и из-за его стекол бодро подмигивал правым глазом (повернуть голову так, чтобы я видел и его левый глаз, не позволяла конструкция первенца нашего скафандростроения): все, мол, в порядке!

Однако так продолжалось недолго. Внезапно в системе клапанов и регуляторов скафандра что-то (не помню уж сейчас, что именно) вышло из строя: стекла шлема стали быстро запотевать, а шарнирные соединения в плечах и локтях летчика надулись так, что почти полностью ограничили подвижность его рук. Пришлось мне брать управление на себя и заканчивать полет самостоятельно. С радостным удивлением и не без примеси некоторой нездоровой гордыни я убедился, что это не вызвало у меня никакой тревоги и что я управляюсь с массивным «ТБ-3» вполне уверенно. Это был уже какой-то шаг к универсальности настоящего летчика-испытателя, который, по словам одного из старейших пилотов ЦАГИ С. А. Корзинщикова, «должен свободно лететь на всем, что только может летать, и с некоторым трудом на том, что, вообще говоря, летать не может».

Среди больших и малых открытий, сделанных мной во время полетов вторым летчиком, были и довольно неожиданные. Так, например, осваивая выполнение так называемых «площадок», я не без удивления установил, что к числу непрменных добродетелей летчика-испытателя относится и столь, казалось бы, прозаическое свойство, как терпение. Впоследствии я убедился, что терпение в широком смысле этого слова в на-

шем деле необходимо во многих случаях, в частности для того, чтобы, не поддаваясь ни собственному азарту, ни каким-либо уговорам и «привходящим соображениям», выждать погоду, подходящую для выполнения намеченного эксперимента. В этом случае летчик-испытатель должен уметь ждать так же, как его собрат — полярный летчик. Но впервые терпение как очередная — сколько их там еще есть? — обязательная сторона характера летчика-испытателя открылось мне именно на площадках.

Что такое «площадка»? Полное ее наименование — режим прямолинейного горизонтального полета на установившейся максимальной скорости. Площадки встречаются почти в каждом испытательном полете, и, не научившись «гонять» их, работать летчиком-испытателем невозможно. Казалось бы, это самый простой из всех возможных режимов: не петля, не вираж, не пикирование, а обыкновенный полет по прямой. Но в действительности простота этого режима только кажущаяся. Все дело в том, что выполнять его нужно с исключительной точностью: самолет должен нестись в небе не шелохнувшись, не отклоняясь от прямолинейного курса, без малейших колебаний высоты полета, без крена — словом, должен буквально замереть, если только это выражение применимо к многотонной массе металла, с огромной скоростью перемещающейся в пространстве.

Во время площадки самолет постепенно разгоняется до установившейся максимальной скорости. Разгон этот продолжается значительно дольше, чем обычно думают: не менее пяти, а иногда — особенно вблизи потолка — восемь, десять, двенадцать и более минут. И каждая из этих минут наполнена большим напряжением. Попробуйте прицелиться из винтовки в мишень и продержаться, ни на секунду не упуская, мушку над «яблочком» хотя бы в течение тридцати секунд! А летчику-испытателю во время площадки приходится, образно говоря, «прицеливаться» из нескольких винтовок сразу: он должен следить одновременно и за высотой, и за курсом, и за креном — словом, едва ли не за всеми элементами полета.

Не мудрено, что sobald поскорее закончить столь напряженный режим весьма велик. И поддаваться этому соблазну — одна из наиболее часто встречающихся ошибок молодых летчиков-испытателей. А коварные соглядатаи — спидограф, барограф и другие приборы, — бесстрастно фиксирующие все, что происходит с самолетом, запишут в этом случае, что площадка «недодержана», постоянная скорость установилась не успела.

— Как же так? — спрашивает иной молодой летчик, сокрушенно взирая на расшифрованные ленты самописцев. — Как же так? Вроде скорость установилась. Стрелка больше не ползла — я ясно видел.

В этом месте обязательно кто-нибудь многоопытный из числа присутствующих (ох, как много лишних людей неизменно присутствует, когда обнаруживается упущение молодого летчика!) ехидно указывает перстом на висящие на стене часы и ласковым, раскисительным голосом говорит:

— Эти стрелочки, если на глаз судить, тоже не ползут. Что же, значит и время «установилось»?

Да. Недаром опытные летчики привозят из полета такие барограммы, что хоть под стеклом на стенку вешай: каждая площадка будто по линейке прочерчена!

Летчик-испытатель может быть безукоризненно храбрым, исключительно грамотным и неутомимо выносливым, но, если ко всем этим обязательным качествам не приложено еще и терпение, хороших барограмм от него не жди!

Сформировавшийся в моем юношеском сознании эталон достойного представителя героической лётно-испытательной профессии постепенно обрстал прозаическими чертами. Осторожность, методичность, а теперь вот, оказывается, еще и терпение...

И самое удивительное — от подобной трансформации упомянутый светлый облик не терял присущей ему романтичности! Больше, чем когда-либо, хотелось стать настоящим летчиком-испытателем.

Но каков же он — этот настоящий летчик-испытатель?

Казалось бы, ответ на этот вопрос легко было получить, применяя метод, так сказать, прямого наблюдения, благо в нашей святой святых — отделе летных испыта-

ний ЦАГИ — был собран едва ли не весь цвет этой профессии. Смотри на корифеев и учись!

Но действительность, увы, всегда сложнее схемы.

Корифеи оказались... очень разными!

Разными даже по внешнему виду. Так называемой атлетической фигурой обладал только Громов; знаменитый Корзинщиков был невысок ростом и щупловат, Рыбушкин отличался преждевременной тучностью, а голову Кудрина — в полном противоречии с его фамилией — украшала уже в те годы заметная лысина. Назовите мне произведение художественной литературы, в котором фигурировал бы толстый или лысый летчик-испытатель!

Лица корифеев также не были отмечены печатью доблести, нечеловеческой воли, отрешенности от всего земного или какой-нибудь иной, подходящей для данного случая печатью. Это были обыкновенные лица обыкновенных людей, различной степени привлекательности и выразительности.

Да и не во внешности, разумеется, было дело.

Важно было другое — внутренний облик летчика-испытателя, его подход к своей работе, приемы, которыми он кует себе удачу (мы уже поняли, что удачу надо ковать).

И в этом — самом важном — корифеи оказались еще более разными, чем по внешности! Выбирать, «делать жизнь с кого», оказалось далеко не просто.

Имя одного из ведущих летчиков ЦАГИ, установившего несколько рекордов в высотных полетах, не сходило с газетных полос и было хорошо известно мне задолго до того, как я увидел этого человека собственными глазами. Действительно, природные летные данные у него были отличные, и он почти всегда летал очень хорошо.

К сожалению, почти.

По каким-то неуловимым причинам с этим летчиком периодически случались «казусы» весьма рискованного характера. Так, один раз он, полетев на большую высоту, забыл включить подачу кислорода. Естественно, что по мере подъема его самочувствие стало резко ухудшаться, но он своевременно не придал этому значения и, как и следовало ожидать, вскоре же потерял сознание. Все находившиеся на аэродроме слышали пронзительный, похожий на звук сирены вой самолета, который пикировал с работающими на полном газу моторами, и уже ожидали удара о землю и взрыва. Буквально в последнюю минуту, на небольшой высоте, летчик пришел в сознание, вывел машину из пикирования и — снова ошибка! — вместо того чтобы пролететь немного горизонтально на умеренной скорости, прийти в себя, осмотреть самолет и осмотреться самому, он, повинувшись импульсу «скорее домой!», с хода пошел на посадку и приземлился... не выпустив шасси. Машина была серьезно повреждена, но виновника за это даже особенно не ругали — очень уж все были рады, что он чудом (иначе не назывешь) остался жив, несмотря на то, что, как сказал один из летчиков, «сделал все, лично от него зависящее, чтобы убится».

В другой раз тот же летчик пошел на новой опытной машине на предельную дальность. Полет длился много часов, по пути приходилось пересекать циклоны, подолгу лететь в изнурительной болтанке, на ходу ликвидировать различные мелкие неполадки новой, еще мало облетанной машины — в общем, летчику досталось немало работы, и он отлично справился с ней. Вот наконец впереди родной аэродром! Но что это? Внизу, на летном поле, выложен обычный посадочный знак — полотняная буква «Т», рядом со стартом, как всегда, стоят дежурный грузовик и санитарная автомашина, какой-то самолет негорючливо ползет по нейтральной полосе к ангарам. Аэродром живет своей обычной жизнью. Никаких знамен, оркестров или иных атрибутов торжественной встречи не видно.

«Не может быть! — подумал летчик. — После такого перелета встречать должны как положено. Не иначе, встреча приготовлена не в Москве, а на одном из подмосковных аэродромов».

Он развернулся и пошел на этот аэродром. Однако и там никаких признаков подготовленного торжества не оказалось. А надо сказать, что полет на предельную дальность потому так и называется, что в нем емкость баков используется практически полностью, и у самолета, завершающего такой полет, бензина остается чуть-чуть.

Вот это-то немаловажное обстоятельство и упустил из виду летчик, о котором идет речь. После нескольких, как выразился Костя Лопухов, таких «челночных операций» бензин кончился, и вынужденная посадка среди подмосковных дач не привела к трагическому финалу опять лишь по счастливой случайности.

Сейчас, через двадцать лет, может показаться странным, почему такого летчика, явно не обладавшего одним из основных обязательных качеств испытателя — «надежностью», — продолжали держать на этой работе. Трудно подходить к явлениям прошлого с современной меркой, но думаю, что так получалось отчасти благодаря уже завоеванному им громкому имени, отчасти потому, что в промежутках между очередными срывами он летал, повторяю, действительно очень неплохо, а отчасти, как я понял позже, просто по недостатку требовательности.

Окончил он свои дни трагически, сорвавшись в штопор с разворота при заходе на посадку на совершенно исправном, не представляющем особой сложности серийном самолете.

Полным антиподом человека, о котором только что шла речь, был другой, еще более знаменитый летчик. На земле — при обсуждении программы испытаний, составлении задания, предполетном осмотре самолета — он проявлял предельную придирчивость и дотошность. Готовясь к полету, педантично продумывал сам (и всячески советовал делать то же другим) все детали предстоящего задания. При этом он не только не гнал от себя мысли о возможных осложнениях, отказах и неисправностях (как это часто делают иные не в меру впечатлительные люди), а, напротив, активно шел им навстречу, сам старательно выискивал их и заранее намечал наиболее правильные действия в любом самом неблагоприятном варианте. Уже сев в кабину, он осматривал все находящиеся в ней ручки, кнопки и краны в строгой, раз навсегда установленной последовательности. «Забыть» открыть кран кислорода при такой системе было — будьте покойны! — невозможно. Надо сознаться, подобный образ действий вызывал одобрение далеко не у всех окружающих. Кто-то вполголоса бросил реплику:

— Это уже не осторожность. Это больше...

Правда, в интересах истины следует заметить, что подобные иронические комментарии особенно охотно отпускали люди, сами в испытательных полетах не участвовавшие.

И, странное дело, как-то незаметно получалось, что именно этот летчик брался за наиболее сложные и важные испытания, причем выполнял их неизменно «как по писаному» — спокойно, четко, результативно. Ценой педантичности на земле он покупал себе уверенность в воздухе.

Это был действительно летчик-испытатель высшего класса. И его подход к работе можно было с полным основанием назвать образцовым.

Я многому научился у этого человека. И стараюсь не забывать об этом, несмотря на все то, что впоследствии бесповоротно оттолкнуло меня от него.

Оба нарисованных здесь портрета известных (я намеренно остановился на известных) летчиков принадлежат, повторяю, антиподам, занимавшим предельные, крайние позиции.

Остальные летчики, которых я мог тогда наблюдать, были где-то «в середине». Некоторые из них — Чернавский, Станкевич, Рыбко, Шнянов — больше тяготели к принципу «сначала думать, потом лететь». Но были и апологеты вольной интуиции, позиция которых определялась отчасти недостаточностью их технической подготовки, а отчасти тем, что интуиция до поры до времени служила им, и служила куда более исправно, чем первому из описанных здесь «антиподов».

Я сам еще тогда безоговорочно стал на позиции «педантов» и двадцать с лишним лет упорно не сходил с них. Не будь этого, вряд ли были бы написаны и эти записки. Мне не раз приходилось видеть летчиков, порою даже неплохих или, во всяком случае, популярных, которые пытались действовать в испытательных полетах «на авось». Внешний эффект от их полетов бывал, как правило, довольно шумный. Свой авантюризм они почти всегда прикрывали якобы руководившими ими благими намерениями — желанием ускорить проведение испытаний, «во что бы то ни стало» выполнить задание и так далее, вплоть до любезного сердцу каждого конструктора проникновенного

заявления: «Я так верю в вашу машину!» Однако в действительности ни к чему хорошему их бесшабашные действия, как правило, не приводили. Когда по прошествии нескольких дней после «нашумевшего» полета страсти успокаивались и начинался объективный разбор — что же этот полет реально дал, — почти всегда выяснялось, что в лучшем случае — ничего, а в худшем — дополнительную задержку для тщательного осмотра, а иногда и ремонта машины.

Итак, святая святых, как выяснилось, была населена огнюдь не святыми, а очень разными, живыми, неустанно спорящими между собой людьми. Но насколько же их облик оказался привлекательнее стандартного «героя-летчика» с газетных страниц! Как много дали нам — советом, показом, примером и даже собственной ошибкой — на первых порах нелегкого нашего пути товарищи, о которых всегда думается с сердечной благодарностью!

И я пользуюсь случаем, чтобы здесь сказать об этом.

Формы, в которых проявлялось влияние на «молодежь» со стороны коллег — от представителей «старой гвардии»: Козлова, Громова, Чернавского, Корзинщикова до наших непосредственных предшественников: Станкевича, Рыбко и Шиянова, — были довольно разнообразны.

Я уже говорил о «вывозке», о совместной работе на тяжелых самолетах с двойным управлением, о многочисленных «частных» советах, пожеланиях, а иногда и упреках. Но, кроме всего этого, существовал еще один неисчерпаемый источник, щедро питавший нас «авиационным умом-разумом»: летная комната. Когда летчики собирались в ней, одна за другой следовали невыдуманные истории, каждая из которых будто случайно (а может быть, как я полагаю сейчас, не так уж случайно) приводила к вполне конкретным и очень важным профессиональным выводам.

Впрочем, в комнате летчиков велись не только строго деловые разговоры. Должное внимание уделялось всему, что помогало отдохнуть и рассеяться между полетами: обсуждению только что прочитанных книг, бесконечным рассказам на житейские (чаще всего — комические) темы, взаимным «розыгрышам», шахматам и даже бильярду, поиграть на котором частенько замахивал работавший по соседству Чкалов.

Играли по-разному, но чаще всего на «под стол». Проигравший должен был залезть под бильярд и проникновенным (обязательно проникновенным!) голосом превозносить высокий класс игры победителя, одновременно всячески понося себя самого.

Чкалов проигрывал редко, но если уж проигрывал, то проделывал процедуру «подстольного покаяния» с чрезвычайной серьезностью.

Он был тогда знаменитым человеком в полном смысле этого слова: одним из первых — девятым по счету — Героев Советского Союза, депутатом Верховного Совета, комбригом (это воинское звание соответствует нынешнему генерал-майору). О нем много и часто писали газеты. Незнакомые люди на улице узнавали и тепло приветствовали его.

Все это, однако, никак не повлияло ни на его отношение к людям, независимо от их ранга, ни на весь его внутренний облик.

Мое знакомство с этим человеком, к сожалению, не было очень близким и продолжалось всего около двух лет — в декабре 1938 года Чкалов погиб при испытании нового самолета, — но оставило глубокий след в моей душе.

О Чкалове-летчике написано очень много, и вряд ли я сумел бы добавить к этому что-нибудь мало-мальски существенное. Мне хочется сказать о другом — какой это был интересный, своеобразный и, главное, по-настоящему хороший человек.

Увидев Чкалова впервые, я, каюсь, проявил интерес к нему только как к знаменитости и заметил в его облике лишь то, что прежде всего бросалось в глаза. Внешняя манера его поведения была грубоватая: он с первого знакомства именовал собеседника на «ты», широко орнаментировал свою речь «фольклорными» терминами и не пытался выдавать кефир за свой любимый напиток. Все это, повторяю, легко бросалось

в глаза даже такому поверхностному наблюдателю, каким был я. Но вскоре произошел случай, открывший Чкалова с новой, неожиданной для меня стороны. В жизни одного из наших летчиков возникла сложная ситуация личного характера, которую он очень остро переживал. И вот в комнате летчиков я как-то обнаружил, что едва тема общего разговора, перескакивая с одного предмета на другой, отдаленно приближалась к тому, что могло затронуть душевные переживания нашего товарища, — не кто иной, как Чкалов, неизменно очень тонко, но решительно поворачивал беседу в безопасную сторону. Это было новым для меня в его облике и заставило призадуматься.

Еще одна, может быть мелкая, но характерная для Чкалова деталь. После перелета через Северный полюс в Америку он привез с собой легковую автомашину — блестящий темно-синий «паккард». В те годы личная автомашина, а тем более столь роскошная, была редкостью. Так вот в этом автомобиле Чкалов никогда не уезжал с работы один. Если полный комплект пассажиров не набирался на аэродроме, он продолжал подбирать людей, которых обгонял по дороге, и успокаивался лишь тогда, когда машина была полна.

Таков был Чкалов не только в малом, но и в большом.

Высокое общественное положение Чкалова, естественно, заметно расширило круг его знакомых. В числе его новых друзей были писатели и журналисты, художники и артисты. Они заняли свое место в сердце Чкалова, но не вытеснили из него старой привязанности ко всем людям авиации, до последнего моториста включительно.

Чкалов успешно выдержал одно из труднейших человеческих испытаний, перед лицом которого не устояло немало видных личностей, — испытание славой.

Органически присущий ему демократизм не имел ничего общего с внешней простотой обращения, которой иногда щеголяют иные знаменитости: смотрите, мол, восхищайтесь, как я просто разговариваю с обыкновенными людьми, будто с равными!

Ничего похожего у Чкалова не было и в помине.

Чкалова любили. Причем любили больше всего не за его общепризнанную отвагу. И даже не за летное мастерство или заслуги в деле развития воздушного флота — можно было назвать летчиков, обладавших более совершенной техникой пилотирования и внесших не меньший вклад в прогресс авиации. Его любили за человечность, за остро развитое чувство товарищества, за его большую душу, за то, что он был тем самым Человеком, имя которого звучит гордо!

В авиации нередко случается, что входящий в состав экипажа второй летчик владеет тем или иным элементом пилотирования лучше, чем первый летчик — командир корабля. Именно так получилось и в чкаловском экипаже, в котором обязанности второго пилота выполнял Георгий Филиппович Байдуков — один из лучших (если не лучший) мастеров слепого полета того времени. Не мудрено, что большую часть пути из Москвы через Северный полюс в Америку — а этот путь изобиловал сплошной облачностью, в которой приходилось лететь по приборам «вслепую», не видя ни земли, ни горизонта, — машину пилотировал Байдуков. В этом не было ничего неожиданного — пожалуй, любой командир корабля, имея на борту такого второго летчика, как Байдуков, распределил бы обязанности внутри экипажа именно таким образом.

Не всякий командир после посадки по собственной инициативе стал бы во всеуслышанье подчеркивать это обстоятельство. А Чкалов поступил именно так, причем не в узком кругу товарищей, а перед лицом мирового общественного мнения: именно с этого он начал свой рассказ о перелете слетевшимся к месту посадки корреспондентам крупнейших газет и телеграфных агентств Америки.

Таков был Чкалов.

Мне повезло — я знал этого человека...

...В комнате летчиков всегда ощущалась жизнь отдела. Кто-то переодевается в легкое обмундирование, кто-то заполняет коллегией листы, кто-то спорит со своим ведущим инженером о подробностях предстоящего задания, многих в комнате нет — они в воздухе. Только в нелетную погоду все хозяева комнаты летчиков собирались вместе. И тогда наши «старички» ударялись в воспоминания. Особенно интересно было слушать Корзинщикова. Рассказчик он был отменный. Из его уст я впервые услышал

подробности и почувствовал атмосферу отечественной авиации двадцатых годов, каковой период сам Сергей Александрович безапелляционно характеризовал, как «золотой век» всего нашего рода войск вообще и летающей братии в частности.

— Сейчас кто решает, лететь тебе или не лететь? — говорил он. — Метеоролог, начлет, ведущий инженер и еще черт его знает кто. А тогда, бывало, заедет пилот на аэродром (Корзинщиков так и говорил — заедет), скажет, что ему что-то погода не нравится, или что вчера он «перебрал», или просто, что нет настроения летать, — и никаких разговоров! Машины чехлить, команде петь и веселиться! Вот так-то!..

Отвлекаясь несколько в сторону, скажу, что при всей анархичности столь живописно нарисованного Корзинщиковым облика «типичного летчика двадцатых годов» некоторое, как говорят, рациональное зерно если не во всем поведении, то в присвоенных ему правах (разумеется, при условии более разумного и обоснованного их применения) было! Кто, как не летчик, представляет себе во всех подробностях предстоящий полет? Кто несет за него большую ответственность во всех ее возможных формах (это как раз тот случай, когда распространенное выражение — ответить головой — теряет свой переносный смысл)? Поэтому не кто иной, как он сам, и должен, взвесив все обстоятельства, принимать окончательное решение о вылете в испытательный полет.

Кстати, сейчас, в дни, когда пишутся эти строки, подобный порядок узаконен.

Из рассказов Корзинщикова мы узнали, что летчик тогда — в двадцатых годах — был «фигурой». Даже внешне он отличался от командиров других родов войск: на голове у него была не фуражка, а бархатная пилотка с серебряной «птицей» сбоку, на поясе висел кортик, и даже «летная» походка чем-то отличалась (разумеется, в положительную сторону!) от походки кавалериста, моряка или пехотинца.

В последние годы мы достаточно насмотрелись всяких кортиков, «крабов», «капуст» и различных других знаков летного достоинства, но, слушая Сергея Александровича, удивлялись: авиационная форма тогда была очень скромная, она отличалась от общевойсковой только голубым цветом петлиц и нарукавным знаком («курицей»). Не мудрено, что у меня, например, нарисованный Корзинщиковым внешний облик летчика ассоциировался с гусарами и уланами, портреты которых я видел в раннем детстве на страницах «Нивы» и других дореволюционных иллюстрированных журналов.

Рассказал нам Корзинщиков и о том, что в «его годы» неперменным элементом поведения уважающего себя летчика было какое-нибудь — неважно какое — чудачество. Так, например, одно время пошла мода на... сочинение завещаний! При этом требовалось одно — чтобы завещание было как можно оригинальнее. Изошряясь в этом, казалось бы, не очень веселом занятии, один летчик завещал, чтобы на его похоронах оркестр играл не траурные марши, а... вальсы Штрауса. В скором времени то, о чем он говорил в шутку, произошло в действительности — бедняга погиб при авиационной катастрофе. И тогда все было сделано в соответствии с его завещанием — оркестр играл вальсы.

Услышал я тогда и историю летчика, у самолета которого во время выполнения фигур высшего пилотажа... отлетело крыло! Подобный случай, показавшийся нам совершенно немислимым, в годы гражданской войны и первое время после ее окончания не был столь невероятным: новых самолетов взять было неоткуда, приходилось, следовательно, летать на старых, залатанных и перечиненных вдоль и поперек, зачастую к тому же в совершенно кустарных условиях. Парашютов тогда тоже не было, и, оказавшись без крыла, летчик мог считать себя покойником, а время надения — как вставил в рассказ Корзинщикова Чернавский — использовать для того, чтобы пожалеть о принятом в свое время опрометчивом решении идти в летчики.

Но человеку, о котором шла речь, невероятно повезло!

Он, что называется, «выиграл сто тысяч по трамвайному билету». Падающий самолет налетел на тянувшиеся вокруг аэродрома многочисленные провода, которые в какой-то степени затормозили падение, после чего машина вместе с летчиком упала на покрытый снегом склон оврага. Удар получился косою, скользящий, к тому же до-

полнительное тормозящее действие оказал глубокий снег, и в результате — человек остался жив, отделавшись ушибами и переломами.

Длительное время он пролежал в больнице, а выписавшись, поехал в отпуск к себе на родину, по дороге в поезде подхватил сыпняк и... умер.

Заключенную во всей этой истории мораль — от судьбы, мол, не уйдешь — мы по молодости лет пропустили мимо ушей. Фатализм у нас хождения не имел. А может быть, дело было и не в молодости слушателей, а в том, что мы все же были летчиками уже не двадцатых, а тридцатых годов и, признавая существование таких категорий, как везение, невезение и даже судьба, отнюдь не были склонны пассивно отдаваться им на милость. Поэтому и рассказанная нам притча в этом смысле должного впечатления не произвела.

Зато мы увидели в ней другое — в каких условиях, на каких самолетах, при каком техническом обслуживании вели свою героическую работу летчики тех лет. Главное, основное в их облике были, конечно, не пилотки с «птицами» и не все их чудачества, а горячий сплав высокого патриотизма, беспредельной любви к своему делу и блестящего мастерства. Без этого немыслимо было бы на чиненных-перечиненных старых «летающих гробах» с ненадежными моторами, без парашютов успешно воевать на фронтах гражданской войны, учить новых летчиков и в конечном счете заложить основу всего последующего развития отечественной авиации, свидетелями и сильными участниками которого посчастливилось стать и нам.

Со многими выдающимися летчиками — участниками гражданской войны — Корзинщиков был знаком лично. Особенно тепло и охотно он рассказывал о «красном асе» Ширинкине — подлинном рыцаре воздуха. Не раз вылетал он в одиночку против двух, трех, а один раз — даже четырех противников и неизменно оказывался победителем. Впоследствии, в первые, самые тяжелые месяцы Великой Отечественной войны, наши летчики вынуждены были почти всегда драться с превосходящими силами фашистской авиации. Некоторые из подобных боев получили широкую известность. Таковы, например, действия трех летчиков-истребителей Калининского фронта — Алкидова, Баклана и Селищева — против восемнадцати самолетов врага, бой семерки майора Еремина с двадцатью пятью фашистскими летчиками и многие другие. Герои этих боев представлялись мне прямыми наследниками славы Ширинкина, имевшими, правда, перед ним то преимущество, что воевали они хоть и в малом числе, но на современных, вполне исправных самолетах.

Впрочем, о гражданской войне мы имели возможность послушать не только из уст, так сказать, третьих лиц. Среди летчиков отдела был один участник гражданской войны, награжденный еще тогда боевым орденом Красного Знамени, — Б. Н. Кудрин. Глубоко интеллигентный человек, свободно владеющий иностранными языками, прекрасно играющий на рояле, Борис Николаевич в совершенстве владел и даром речи, но, странное дело, начисто лишился его, как только дело заходило о его собственных заслугах. А ему было о чем рассказать. Он штурмовал конницу Мамонтова, участвовал в боевых операциях на Кавказе и совершил много других интересных и немаловажных дел. Но чтобы «вытянуть» из Кудрина мало-мальски связный рассказ о себе самом, требовались незаурядные дипломатические таланты Корзинщикова и Чернавского в сочетании с дружным напором всех присутствовавших слушателей. Впоследствии — уже после Великой Отечественной войны — он, находясь в относительно преклонных (по авиационным понятиям) годах, принимал участие в столь острых и сложных полетах, как испытания самолетов с ракетными двигателями, а в дни, когда пишется эти строки, ведет большую работу по составлению истории отечественной авиации.

Никогда в жизни мне не приходилось и, я думаю, уже не придется делать столько дел одновременно, как в те месяцы, о которых идет речь: освоение пилотирования новых типов самолетов, полеты в качестве наблюдателя, работа над дипломным проектом, изучение методики летных испытаний — сейчас мне даже не вполне понятно, как я все это более или менее успевал делать.

Руководителем моего дипломного проекта был один из старейших специалистов по летным испытаниям — основоположник этой отрасли авиационной науки — Макс Аркадьевич Таїц. Недавно в разговоре со мной он вспомнил, как перед ним

предстал некий довольно беззастенчивый молодой человек и попросил порекомендовать такую тему дипломной работы, которая обязательно была бы связана с экспериментом в полете, которую, несмотря на это, можно было бы с полной уверенностью закончить в срок (то есть за шесть месяцев), которая представляла бы не только учебный, но и практический интерес, которой... словом, требований было немало, и все они были высказаны в весьма категорической форме,— я был тогда довольно напористым человеком, хотя сам и не сознавал этого.

— Самое забавное,— добавил Макс Аркадьевич,— что такая тема нашлась.

Действительно, предложенная им тема «Определение профильного сопротивления крыла самолета в полете методом импульсов» отвечала всем требованиям и была мне утверждена в качестве дипломной. Не буду здесь вдаваться в ее техническую суть. Так или иначе, я принялся за имевшуюся по этому вопросу литературу, с тем чтобы перейти потом к составлению плана экспериментов, проектированию и изготовлению аппаратуры и всем прочим необходимым делам, вплоть до испытательных полетов и их обработки.

Однако вскоре обстоятельства несколько усложнились: М. А. Тайца откомандировали в распоряжение специального штаба, подготовлявшего трансарктические перелеты экипажей Чкалова и Громова, и он перебрался в связи с этим на другой — Щелковский — аэродром, где проходила подготовка и откуда через несколько месяцев один за другим стартовали оба самолета «АНТ-25». Пришлось продолжать трудиться над дипломной работой более самостоятельно. Время от времени Макс Аркадьевич приглашал меня вечерами к себе домой для разбора встречающихся затруднений и доклада, как идут дела.

Но дела уже шли: с помощью поднаторевших в подобных нестандартных экспериментах старших техников по оборудованию — О. И. Смирновой и Н. А. Воронцовой — аппаратура была спроектирована, изготовлена и смонтирована на самолете «Р-5».

Быстро была составлена программа летных испытаний, в которой, как положено, указывалось количество полетов, продолжительность каждого из них, перечень заданий и многое другое, обязательно входящее в этот основной документ, определяющий весь ход каждого испытания. Это была первая программа, под которой я с гордостью поставил — пока как ведущий инженер — свою подпись.

Ведущим летчиком в этих испытаниях взялся быть сам И. Ф. Козлов.

Когда он на заданной высоте выполнял нужные режимы — подъемы, снижения и горизонталь на определенных скоростях,— я был по горло занят своими экспериментаторскими делами: записывал в заранее заготовленный планшет показания приборов, включал и выключал кинокамеру, приводил в действие самописцы — словом, вертелся как белка в колесе.

Зато в остальное время полета — на взлете, наборе высоты, снижении из испытательной зоны к своему аэродрому и особенно на посадке — я весь превращался во внимание и ревностно следил за тем, как Фролыч управляется с нашим «Р-пятым». Непонятно точно на таком самолете я в это же время тренировался самостоятельно, сидя уже не в задней — наблюдательской, а в передней — пилотской кабине.

Иван Фролович, по-видимому, прекрасно понимал это и старался «показать класс». Точно рассчитав посадку, он без малейшего толчка «притирал» машину к земле возле самого посадочного знака и еще на пробеге, полуобернувшись в мою сторону, кричал:

— Видал? Вот так надо летать!

Получиться у него действительно было чему. Когда летчик, собираясь произвести посадку, приближается к аэродрому, он должен в определенный момент «убрать газ» — перевести мотор на режим минимальной тяги,— и самолет начнет планировать, то есть наклонно скользить вниз, будто скатываясь на салазках со склона невидимой горы. Глазомерное определение момента, когда пора переходить к планированию, и называется «расчетом на посадку». Таким образом, этот «расчет», кроме названия, не имеет ничего общего с какими-либо цифрами, графиками, арифмометрами или ло-

гарифмическими линейками. Чем точнее угадает летчик правильный момент перехода к планированию, тем ближе к посадочным знакам приземлится самолет.

Не менее тонкое дело и сама посадка.

Выровняв самолет на высоте одного-двух метров, летчик должен плавно уменьшать скорость, одновременно осторожно подпуская машину все ближе к земле. Счет высоты тут идет уже не на километры, а на сантиметры, которые надо четко видеть, несмотря на быстроту, с которой земля сплошной пеленой несется под самолетом. Достижение посадочной скорости должно точно совпасть с первым касанием земли. Стоило (особенно на самолетах, имеющих, подобно «Р-5», старую «двухколесную» схему шасси), приземлиться на чуть-чуть большей скорости, как самолет «давал козла» — некрасиво подпрыгивал. При обратной ошибке — потере скорости до посадочной выше, чем нужно, машина грузно, иногда с креном, проваливалась, и приземление сопровождалось грубым толчком о землю.

Точный расчет и точная посадка на бумаге выглядят просто, но в действительности их безукоризненное выполнение требует быстрой реакции, тренированности и даже определенной интуиции. Недаром говорят — и в этом нет большого преувеличения, — что по посадке можно судить о классе летчика.

Иван Фролович владел расчетом и посадкой в совершенстве, и его неизменное — «Видал? Вот так надо летать!» — было вполне законно.

Но случилось как-то, что и он, то ли рассредоточив перед самым приземлением свое внимание, то ли ошибившись на какие-то считанные сантиметры в оценке высоты, то ли по какой-то другой причине, сплеховал — «дал козла».

Я в коварном молчании затанялся в своей кабине, с интересом ожидая дальнейших комментариев нашего придирчивого руководителя. Но «старик» не растерялся. Он, как обычно, полуобернул ко мне свой бронзовый профиль и бодро крикнул:

— Видал? Вот так не надо летать!

Весь заготовленный мной перечень ехидных вопросов, как говорят, «замкнулся на массу». Взять Фролыча «голыми руками» не удалось.

Летать в качестве экспериментатора-наблюдателя я начал еще за несколько месяцев до «моего собственного» эксперимента.

Правда, первый блин получился комом. Я хорошо запомнил этот полет, во-первых, потому, что он был первым, а во-вторых, по той простой причине, что мне довольно долго и охотно напоминали о нем.

По заданию мы должны были выполнить серию планирований и пикирований под разными углами и на разных скоростях на одном из наиболее блестящих в истории нашей авиации самолетов — скоростном бомбардировщике «АНТ-40». В кабине летчика занял свое место за штурвалом Н. С. Рыбко, в кормовой кабине поместился ведущий инженер по этому испытанию А. С. Качанов, а в носовой место было предоставлено мне. Я должен был после начала очередного планирования или пикирования смотреть, не спуская глаз, на высотомер. На определенной высоте следовало включить секундомер, на другой, также заданной заранее, выключить его, а во время набора высоты до исходной точки следующего режима записать показания секундомера и вернуть стрелку в нулевое положение.

Сам я как летчик ко дню этого полета еще только начинал самостоятельно летать на «Р-пятом». Поэтому, помню, ощущение полета на скоростной по тому времени машине — мелкий зуд обшивки, металлический звон работающих моторов, непривычно широкий «балконный» обзор из носовой кабины, стремительное перемещение по циферблату стрелки высотомера, даже непривычное поведение самолета при попадании в возмущенные слои воздуха (резкое вздрагивание вместо раскачки с крыла на крыло) — полностью захватило меня. Не успел я оглянуться, как исходная высота начала первого режима была набрана, шум моторов стих, и самолет плавно заскользил вниз. В переговорном аппарате раздалась отрывистая команда Рыбко: «Есть режим!» Я, как было детально продумано еще на земле, впился глазами в высотомер, начал щелкать секундомером, писать в планшет, снова щелкать, опять писать — словом, включился в работу.

К концу полета я был мокрым, как мышь, но преисполненным горделивого сознания, что ничего не пропустил, все успел и, следовательно, успешно справился с первым в своей жизни — пусть пока в качестве наблюдателя — летно-испытательным заданием.

Однако на земле меня ожидало горькое разочарование. Мои замеры никак не согласовывались ни с записями Качанова, ни даже с элементарным здравым смыслом. На пикировании скорость снижения получилась у меня меньшей, чем на планировании, экспериментальные же точки на графике не выстраивались в плавную линию, а являли собой картину, напоминавшую звездное небо. Детальный анализ возможных причин столь загадочного поведения этих упрямых точек привел в конце концов к весьма конфузному для меня результату: оказалось, что я просто-напросто... не завел секундомер! Его предыдущий завод был уже «на последнем издыхании», но не кончился полностью. Поэтому злодей секундомер, будучи включен, не оставался на нуле — это уж я как-нибудь заметил бы! — а лениво плелся, то останавливаясь, то вновь отсчитываемая секунды, и, естественно, показывал совсем не то, что следовало.

Горделивого сознания успешного начала испытательной работы как не бывало.

В довершение всего Коля Рыбко, а за ним и все желающие (таковых оказалось гораздо больше, чем хотелось бы) приступили к развернутому анализу как моей деятельности в данном конкретном полете, так и вообще жалких перспектив в жизни, которые, по их глубокому убеждению, могли оставаться у такого вконец скомпрометировавшего себя человека, как я.

И только Чернавский, не выдержав моего убитого вида, изрек:

— Ничего, Маркуша. Это тебе же на пользу. Помни, что подначка — вторая поллитпроработка!

Не знаю, как насчет политпроработки (существовала тогда и такая «форма работы»), но в одном Чернавский был прав: на пользу вся эта история мне, безусловно, пошла.

Мне довелось еще немало полетать наблюдателем, и я усвоил благодаря этому ряд приемов и привычек, очень пригодившихся мне впоследствии, когда я начал работать летчиком-испытателем. Я научился заранее, на земле, продумывать во всех подробностях план предстоящей работы в воздухе, привык тщательно проверять перед вылетом измерительную аппаратуру, наконец, обеспечил себе в будущем неизменное полное взаимопонимание со своими наблюдателями, «в шкуре» которых своевременно побывал сам.

Шли месяцы. У меня постепенно создавалась репутация более или менее «надежного» наблюдателя. Успешно подвигалась вперед летная тренировка. Были позади и десятки полетов на тяжелых самолетах в качестве второго летчика. Но ни разу еще моя фамилия не фигурировала в полетном задании в графе «ведущий летчик-испытатель».

Наконец настал и этот день!

Первое доверенное мне задание было, конечно, самое простое. Беспредельно широка гамма испытательных полетов: от первого вылета на новом опытном самолете и до... хотя бы до испытании нового барографа, которое мне предстояло выполнить в этот памятный день.

Барограф — это самописец высоты полета. На смирном, серийном, хорошо освоенном мной «Р-пятом» были установлены два барографа — новый, опытный, и старый, эталонный. Я должен был сделать полдюжины площадок на разных высотах, включая оба барографа на каждой из них.

Простой самолет. Простое задание. Но оно было первое! И я по сей день помню все незамысловатые подробности этого полета, в сущности ничем не отличавшегося от сотен ранее выполненных мной в порядке тренировки: и в какую сторону был в этот день взлет, и какая была облачность, и как на посадку я зашел со второго круга, потому что на первом мне помешал вырывающийся для взлета истребитель. Особенно же, конечно, запомнилось, как на стоянке, куда я зарулил после полета, меня

встретили Козлов и несколько сослуживцев. Какие теплые, дружеские поздравления и пожелания услышал я тогда, едва успев вылезти из кабины и снять парашют!

Что ж, сейчас уже можно — в порядке подведения итогов — сказать, что почти все, услышанное мной в тот день сбылось. Такова, видно, судьба всех пожеланий, сделанных от чистого сердца!

Пора ученичества кончилась.

Я стал летчиком-испытателем.

Нет. Не кончилась пора ученичества!

Проработав три года летчиком-испытателем, я уже достаточно твердо уразумел это.

Забегая вперед, скажу, что и в дальнейшем жизнь заставляла меня непрерывно, каждый день, учиться чему-либо новому, причем отнюдь не ради чистой любознательности — так сказать, для расширения эрудиции, — а по прямой профессиональной необходимости.

Пора ученичества, таким образом, растянулась на всю жизнь, с той лишь особенностью, что чем дальше, тем меньше тут было школярства и тем больше самостоятельности. Учиться приходилось прежде всего на собственном опыте, собственных удачах и — увы! — собственных ошибках.

Летчиков-испытателей часто называют экзаменаторами самолетов. Это почетно и, в общем, правильно. Но нельзя забывать, что если летчик-испытатель экзаменует самолет, то и самолет каждый раз, в каждом полете в свою очередь как бы экзаменует летчика-испытателя! И делает это со всей строгостью. «Срезавшийся» зачастую уже никогда не сможет попытаться «исправить отметку».

И кто хочет всегда, неизменно, изо дня в день выдерживать этот растянувшийся на много лет — сотни и тысячи полетов — экзамен, должен всю свою летную жизнь непрерывно готовиться к нему.

(Окончание следует)



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЦЕЦИЛИЯ КИН

★

ЧЕРНАЯ ТЕНЬ НАД ИТАЛИЕЙ

Заметки о католической культуре

«Священник не такой человек, как все остальные. Кто верит в славу и могущество Христа, тот знает, что священник обладает такой же властью, как и сам Иисус, что он, подобно Иисусу, вселяет в души благодать и любовь к Господу». Как торжественно-мистически и высокопарно это звучит... Откуда это? Из религиозной проповеди или священного писания? Перелистываем страницу, и вот уже у вас допытываются вкрадчиво и нагло: «Что говорят о священниках люди, с которыми вы знакомы?»

Так что же это такое?

Это выдержки из пособия для школьных учителей, вышедшего в издательстве «Ла Скуола» («Школа») в итальянском городе Брешиа и озаглавленного «Будем искать вместе». Что искать? Путь к сердцу ребенка. И в этом нет ничего удивительного. Церковникам давно уже ясно, что начинать надо с детей, надо стараться поймать в тенета католической идеологии школьников, которые так мало знают; женщин, которым так нужно порою утешение; неграмотных и темных людей, которых легче подчинить авторитету духовного пастыря. Надо бороться за души, и борьба идет нешуточная. Не случайно один из виднейших деятелей Ватикана, архиепископ Генуи кардинал Сири, в послании верующим, озаглавленном «Ортодоксия, заблуждения и опасности», с гневом обрушивается на всех, кто позволяет себе малейшую самостоятельность в суждениях, и сетует на то, что строптивых становится все больше.

Идеологи клерикализма знают, что время работает против них, и делают все, что в их силах, чтобы остановить ход истории. Они приводят в действие все приводные ремни, все многообразные средства воздействия на массы. Еще в 1930 году Антонио Грамши, заточенный в фашистской тюрьме, писал о том, каким могучим институтом была и продолжает оставаться католическая церковь...

Со времен энциклики папы Льва XIII «Рерум новарум» (1891), которую справедливо называют «антикоммунистическим манифестом», католическая церковь, изошряясь в социальной демагогии, лавируя и маскируясь, неустанно ведет идеологическую и политическую борьбу с коммунизмом. Особенно упорна эта борьба в такой традиционно католической стране, как Италия...

Католическая церковь оказывает огромное воздействие и на всю культурную жизнь итальянского общества. «Борьба двух культур» в условиях современной Италии усложняется тем, что в этой стране молодой демократической культуре приходится вести борьбу и против традиционной светской буржуазной культуры и против культуры католической.

Правда, между католической и буржуазной культурой в свою очередь существуют противоречия, и притом давние: корни их уходят в далекое средневековье. Когда же в семидесятых годах прошлого века произошла итальянская буржуазная революция — «Рисорджименто» — и либеральная буржуазия, игравшая ведущую роль в процессе формирования нации, была опьянена своими политическими успехами, она заняла в

отношении клерикалов совершенно непримиримую позицию. Свергнув светскую власть папства, буржуазия не допускала никакого вмешательства церкви в государственные дела и решительно противилась попыткам Ватикана оказывать влияние на культуру. Однако Грамши и вслед за ним другие видные историки-марксисты рассматривают «Рисорджименто», при всем его громадном положительном значении, как незавершенную революцию, которой не удалось осуществить все необходимые социальные преобразования, особенно в деревне. В значительной мере это объяснялось тем, что буржуазия отчаянно боялась политических выступлений рабочего класса и делала все, чтобы парализовать его активность. Такая же трусливая, своекорыстная политика проводилась и в отношении крестьянства. Именно поэтому в стране сохранилось столько пережитков феодализма, не были заложены прочные основы национальной демократии и не была создана общенациональная культура.

По этой же причине решительный антиклерикализм либеральной буржуазии был очень недолговечен: уже в девяностых годах, когда в стране поднялась волна забастовок, буржуазия поторопилась пойти на мировую с церковью. Церковь взяла на себя роль посредника между правящим классом и народными массами, особенно крестьянскими. Между либеральной буржуазией и клерикалами был заключен своего рода союз: за узким кругом «образованных людей» сохранялось право на свободу мысли, а католическая церковь должна была находить наиболее гибкие и эффективные методы, чтобы удерживать в повиновении массы, заставляя их терпеть, мириться с нуждой и эксплуатацией, уповая на блаженство загробной жизни.

Не надо, однако, представлять политику и методы идеологического воздействия на массы, применяемые католической церковью, как «однолинейные». Ватикан отлично владеет оружием социальной демагогии. Он очень часто действует в качестве так называемой «третьей силы», выступающей-де и против социализма, и против капитализма, и вообще против классовой борьбы, за общество, основанное на принципах «христианского братства и справедливости». Бывают, однако, политические ситуации, когда клерикалы отказываются от флера аполитичности и действуют в открытую, не брезгая прямыми угрозами, шантажом и принуждением. Происходит это обычно тогда, когда под ногами правящих классов начинает сильно колебаться почва. Не случайно после победы Октября в России, когда бурно нарастало революционное движение во многих странах Европы и, в частности, в Италии, Ватикан выступил одним из застрельщиков и идеологов интервенции против Советской республики.

Можно привести множество официальных высказываний руководящих деятелей Ватикана, осуждавших «богачей», но при этом надо иметь в виду и такой немаловажный фактор: начиная с конца прошлого века католическая церковь постепенно сама превратилась в крупнейшего капиталиста, непосредственно заинтересованного в социальной консервации. Церковь захватила ключевые позиции во многих отраслях экономики Италии, в ее финансах. Все это сделало ее могущественным союзником не либеральных, но наиболее реакционных групп буржуазии и еще более приблизило к греховным, земным интересам.

Было бы, разумеется, упрощением приводить к одному знаменателю все направления католицизма в современной Италии. Остается историческим фактом, что в движении Сопротивления принимали участие не только многие трудящиеся-католики, но и некоторые представители сельского духовенства. Правда, правящая христианско-демократическая партия разбила антифашистское единство и не сумела разрешить мучительные проблемы, раздирающие итальянское общество. Однако сама христианско-демократическая партия уже раскололась: от нее отделилась группа «Христианско-социальный союз», бывшая одно время у власти в Сицилии в блоке с коммунистами и социалистами. Наконец даже в руководящих кругах Ватикана появилось так называемое «модернистское» направление, более гибкое, стремящееся найти новые формы воздействия на массы, учитывая «непостижимое обаяние», которое оказывает на них марксистская идеология.

Неправильно было бы преуменьшать и степень влияния, которое оказывают на трудящихся-католиков прогрессивные силы. Итальянские коммунисты, борющиеся за создание демократического большинства в стране, делают очень много для установ-

ления контактов с католиками, не затрагивая их религиозных чувств и находя немало конкретных, жизненных возможностей для осуществления единства действий в борьбе за экономический и социальный прогресс, против монополий, поддерживаемых реакционной верхушкой Ватикана. В этой стране безработицы и острейших классовых противоречий, где существует почти двухмиллионная коммунистическая партия, влияние которой неуклонно растет, кризис католического движения представляется закономерным и неизбежным.

В таких условиях вопросы идеологии и культуры приобретают, естественно, особо важное значение.

Антифашистская революция 1943—1945 годов вызвала к жизни новую демократическую национальную культуру, которая утверждается и крепнет наряду с существующей традиционной светской буржуазной и католической культурами. Вот как характеризует создавшееся за последние годы положение марксистский журнал «Контемпоранео»: «Католическая церковь открыто ставит перед собой задачу достичь «культурной унификации» народа на базе своей собственной идеологии, сделав ее цементом, который должен укрепить пошатнувшуюся гегемонию старого правящего класса.. Для этого она хочет в первую очередь привлечь к себе интеллигенцию, расширить свой контроль над органами, руководящими интеллектуальной и духовной жизнью нации, принудить значительные группы творческой интеллигенции к новому конформизму»¹.

Иными словами, клерикальная реакция захватить командные высоты абсолютно во всех областях общественной и культурной жизни. Один из представителей «модернистского» направления среди католической интеллигенции, Марио Гоццини, заявил как-то, что в такой стране, как Италия, где происходит борьба между католической культурой, традиционной светской буржуазной культурой и марксистской, то есть демократической, культурой, должна в конечном счете победить католическая культура, которая пойдет на некоторые компромиссы, включит в себя «наиболее ценные аспекты» традиционной культуры и одержит верх над марксистской идеологией.

Эта задача борьбы с марксистской идеологией, питающей новую культуру,— основа основ для «генерального штаба» католиков, их интеллектуальной элиты — ордена иезуитов. В 1957 году состоялась XXX конгрегация (конференция) ордена, и в итальянскую печать проникли некоторые сведения о происходивших там дебатах, в частности о разногласиях между «традиционалистами» и «модернистами».

Орден этот насчитывает 33 732 члена, он располагает колоссальными средствами и огромным влиянием. Достаточно сказать, что иезуиты выпускают 1 112 периодических изданий на пятидесяти языках общим тиражом 150 миллионов экземпляров. У них есть свой теоретический орган — «Чивильта каттолика», — который уделяет большое место вопросам культуры. Сотрудники его редакции — крупные специалисты по самым различным вопросам права, социологии, экономики, политики, искусства. Все они члены ордена и занимают в нем совершенно особое место, подчиняясь непосредственно «Черному папе» — генералу ордена. Фактический руководитель журнала, падре Антонио Мессинео, считается одним из самых авторитетных иезуитских деятелей. Недавно он, и это симптоматично, высказался против атомной войны, объявив ее преступной. Вообще же падре Мессинео, в течение многих лет выступающий как выразитель политической линии ордена, — отъявленный враг не только марксизма, но и светской буржуазной культуры.

«Чивильта каттолика» с необычайной оперативностью откликается на самые различные события жизни СССР. И, конечно, такое событие, как подписание Советско-Итальянского соглашения о культурном сотрудничестве, не осталось незамеченным журналом. Едва только успели подписать соглашение, как он выступил с большой статьей некоего католического деятеля Улисса Алессіо Флориди «Организованные» контакты между Италией и СССР». Приводя множество цитат из советской прессы, падре Флориди признавал сквозь зубы разумность мотивов, обусловивших это соглашение, но тут же всячески пытался предостеречь верующих против напрасных, мол, иллюзий: коммунистическая идеология не изменилась, она остается прежней. Кстати сказать, журнал «Чивильта каттолика» тесно связан и с возглавляемым иезуитами колледжем

¹ «Контемпоранео», № 1—2, 1958, стр. 4.

«Руссикум», где готовятся «на всякий случай» специалисты по различным проблемам стран социалистического лагеря, отлично владеющие русским языком и другими славянскими языками.

Как же практически итальянские клерикалы оказывают свое влияние на различные области культуры?

Прежде всего церковники цепко держатся за свои позиции в школе. Они не только конкурируют со светской школой, но и стремятся подчинить своему влиянию весь ее преподавательский состав. Под вывеской «Национальная ассоциация итальянской школы» действуют несколько католических организаций, контролирующих всю систему народного образования. Здесь и Ассоциация католических учителей, и Католический союз преподавателей средней школы, и Ассоциация бывших воспитанников католических школ, и Федерация институтов, подчиненных церковной власти, и Общество сотрудничества между родителями и педагогами, которое занимается, в частности, дискредитацией и преследованием преподавателей, негодных клерикалам. Для характеристики нравов достаточен факт, о котором с негодованием сообщили прогрессивные газеты «Унита» и «Аванти»¹. Преподаватель английской литературы одного из лицеев, Джованни Радиче, был уволен за то, что в лекции о Мильтоне он с восхищением отозвался о поэме «Потерянный рай». Расхваливать в католической стране произведение писателя-пуританина — какое кощунство! Это было расценено как подрыв моральных устоев учащихся. Политика Ватикана в школе особенно агрессивна. Не случайно борьба за светскую и демократическую школу занимает большое место в программе Коммунистической партии Италии и других левых партий.

Необходимо отметить, что католики непосредственно руководят значительным количеством высших учебных заведений — в частности, ряд университетов контролируется иезуитами.

Католическая церковь практически контролирует также кинематограф, радио и телевидение. Покойный папа Пий XII в специальной энциклике «Миранда прорсум» писал о том, что, не ограничиваясь контролем, церковь должна активно использовать все возможности «жювейшей техники» для пропаганды и укрепления веры. В частности, упоминалось о хороших результатах, которые дает телевизионная передача церковных служб. Не приходится говорить о том, как широко католики используют радио. Вообще в этом отношении они настолько «модернизированы», что, как однажды сообщил еженедельник «Вие нуове»², в Ассизи во время церковных празднеств исполнялись тексты из евангелия, переложенные на мотивы фокстротов.

Прогрессивная печать приводит немало фактов, свидетельствующих о все более глубоком проникновении клерикалов во все звенья аппарата, контролирующего и направляющего культурную деятельность. Они захватили главные позиции в телевидении и радио, и это отнюдь не синеккура. Недавно произошел следующий характерный случай. При реорганизации учреждения, ведающего зрелищными предприятиями, в печать проникли слухи о различных кандидатах на один из крупных постов. Тогда руководство массовой организации «Католическое действие» обратилось с письмом к секретарю христианско-демократической партии Моро и ко всем министрам с решительным протестом против одного из кандидатов. Его обвиняли в том, что он поддерживал дружеские отношения с некоторыми деятелями «марксистской культуры» — писателями, киносценаристами и проч. Социалистическая газета «Аванти» с возмущением писала о беспримерном цинизме клерикалов, позволяющих себе открыто вмешиваться в вопросы назначения должностных лиц государственного аппарата Итальянской республики.

Сращивание государственной цензуры с католической давно уж ни для кого не секрет в Италии. Об этом писалось неоднократно. Известны случаи привлечения деятелей культуры к суду под предлогом «безнравственности», под которую можно подвести все, что угодно, случаи запрещения фильмов и театральных постановок.

Мы уже упоминали о том, как расправились с преподавателем, осмелившимся похвалиться отозваться о поэме Мильтона. Гораздо более громкий скандал разыгрался, когда Национальный институт античной драмы подготовил в 1957 году представление

¹ «Унита» от 9 и 16 июля 1959 года, «Аванти» от 10 июля 1959 года.

² «Вие нуове», № 16. 1957.

знаменитой комедии Аристофана «Женщины в народном собрании». Премьера должна была состояться в городе Беневенто, в здании античного театра, пустовавшего на протяжении шестнадцати веков. Постановка комедии Аристофана была крупным событием в культурной жизни страны. Однако накануне премьеры архиепископ Беневенто Агостино Манчинелли обратился к верующим с воззванием, которое было прочитано с амвона во всех церквах. «Две тысячи лет христианства,— говорилось в послании,— не дали ничего, если находятся люди, позволяющие себе организовывать и поощрять подобные зрелища». Монсеньор Манчинелли не пощадил ни Аристофана, обвиненного в безнравственности, ни Национальный институт античной драмы. Но этого мало: были приняты организационные меры, чтобы сорвать спектакль. Все католические ассоциации города развернули бурную деятельность. Членов «Католического действия» предупредили, что они будут немедленно исключены из организации, если осмелятся присутствовать на представлении. По счастью, клерикалы не могли грозить еретикам сожжением на костре, но вся непристойная шумиха, поднятая вокруг премьеры, чрезвычайно характерна для общей обстановки. К чести жителей Беневенто, надо отметить, что, вопреки всему, премьера состоялась и прошла с большим успехом.

Если уж клерикалы не пощадил Аристофана, не приходится удивляться случаям запрещения и бойкота пьес современных прогрессивных драматургов, например, Эдуардо де Филиппо или Джан Паоло Каллегари. В последнее время Ватикан ставит перед собой задачу «создания христианского театра, который сумеет дать полное изображение реального мира христианства, состоящего, как известно, из земной жизни и полусторонней жизни» — так писал по этому поводу близкий к католикам еженедельник «Фьера леттерариа».

«Примирилась ли церковь с театром?» — под таким названием вышла несколько лет назад в Париже книга некоего падре Амбруаза-Мари Карре, деятеля «католического объединения театра и музыки». Вскоре автор приехал в Италию и встретился с представителями итальянской католической культуры. Церковь ныне не только «примирилась с театром», но регулярно проводит конкурсы на лучшие христианские пьесы. В Италии есть немало католических драматургов, и довольно плодovitых. Можно назвать Диего Фаббри, Тури Вазиле, Луиджи Сантуччи, Аполлонно, Пинолли и т. д. Особенно плодovit Диего Фаббри. Его пьесы пользуются популярностью. В них всегда неплохо задумана интрига, умело разработаны острые сюжеты, и все в конечном итоге сводится (за редкими исключениями) к откровенной апологии католицизма и, в частности, ордена иезуитов. Фаббри, а также Тури Вазиле очень любят заниматься «драмами совести», переплетенными с довольно «живописными» сценами всяких плотских грехов. Их пьесы — это галерея кающихся грешников, добродетельных пастырей и т. д.

Одним из крупных итальянских католических писателей и драматургов считается Луиджи Сантуччи, которого сравнивают с Честертоном и Мориаком. Он любит парадоксы, и ему принадлежит, в частности, следующее сногшибательное открытие: «Любить Господа и жить согласно его заповедям — это прежде всего ужасно приятное и интересное занятие, и только из-за лени или по недоразумению можно пренебрегать им, предаваясь гораздо более скучным и мрачным делам на пути неверия и греха». Вообще творчество Сантуччи, как любят говорить критики, — «смесь юмора и патетики». Несколько лет назад Сантуччи написал драму с очень хлестким названием «Ангел Каина» и получил за нее высшую премию на конкурсе, проходившем под девизом «Люди нуждаются в Христе». На конкурс было представлено семьдесят восемь пьес. Когда драма Сантуччи получила премию, католическая печать подняла ее на щит; критик Итало А. Кьюзано писал без обиняков, что «никогда еще не было более убедительного и волнующего изображения догмы святого причастия».

Сюжет пьесы сводится к следующему.

Ангел-хранитель Каина настолько исполнен к нему сострадания, что делает невольную попытку изменить божественные предначертания. Оказывается, бог повелел, чтобы Каин умер в детском возрасте — он должен был упасть в воду во время шаловливой борьбы с Авелем и утонуть. Однако, когда Каин, как ему полагалось, упал в воду, ангел-хранитель, увидев отчаяние родителей, неожиданно материализовался, превратился в человека, прыгнул в воду и спас Каина. Разумеется, поступив таким

образом, ангел позволил себе весьма серьезное вмешательство в намерения «того, кто лучше знает». Возмездие наступает немедленно: ангел не может дематериализоваться и так и остается простым человеком, вынужденным поселиться в доме родителей Каина — Адама и Евы. Лишенный своего ангела-хранителя, Каин вступает на путь зла, в нем зарождаются самые отвратительные инстинкты. Однажды, приревновав Авеля к некой Флоре, Каин в приступе ярости убивает его. Однако в этот самый момент ангел, за которого ходатайствовал перед богом мощный хор душ, томящихся в чистилище, вновь обретает свою ангельскую природу. Итак, по милости Христа все снова становится на свои места и входит в норму: Авель, правда, убит братом, но зато вкушает блаженство в загробном мире; Каин обретает утраченную было веру в бога, и ему удается стать первым раскаявшимся грешником, который заслужит прощение, так как Христос искупит его грех своей кровью; что касается Адама и Евы, то они впервые начинают понимать, что такое истинная вера.

Персонажи пьесы чрезвычайно модернизированы: Адам играет на гитаре, Ева строчит на швейной машинке. Это не мешает появлению на сцене мистического хора душ из чистилища. Души играют большую роль: хор воздействует на развитие событий с помощью молитв, и именно это позволило католическим критикам утверждать, что христианский театр существует уже не только в теории. Драма Сантуччи идет на сцене, идут и многие другие пьесы католических драматургов.

В 1959 году высшую премию за лучшую католическую пьесу получил Брунелло Рондо за свою драму в стихах «Осада». Действие ее происходит в средние века, главный герой — священик, который жертвует жизнью, пытаясь примирить восставших крестьян с феодалом. Вообще, как справедливо заметил итальянский критик Арнальдо Фрателли, «на итальянской сцене веет ветер религии. Зачастую сидишь в театре, а кажется, будто находишься в церкви... Уместно спросить себя: вдохновение ли заставляет дуть этот ветер, либо же ветер (правительственный, разумеется) вызывает к жизни подобное вдохновение?».

Главным орудием клерикальной политики в кинематографии служит «ККК» — кинематографический центр кино, действующий через многие каналы, в частности через «АКЕК» — ассоциацию, ведающую приходскими кинотеатрами. Во главе обеих организаций стоят епископы. Уже одно это говорит о значении, которое придает деятельности этих организаций Ватикан. «ККК» контролирует всю выпускаемую на экраны продукцию. У него имеется разработанная система градации кинофильмов, целых пять категорий — от рекомендованных до категорически запрещенных. Количество приходских кинотеатров, составлявшее в 1949 году около полутора тысяч, сейчас достигло шести тысяч и во многих городах превосходит число обычных кинотеатров. В одном Риме насчитывается свыше ста приходских кинотеатров, великолепно оборудованных, с общим количеством мест до сорока тысяч. Там показываются исключительно фильмы одной категории, предназначенные «ККК» для приходских кинематографов.

Именно в кино, больше чем в любой другой области культуры, католикам удалось достичь успехов. Об этом говорил прогрессивный кинорежиссер Джузеппе де Сантис во время дискуссии о реализме в Институте Грамши. Он считает, что в наши дни в мировой кинематографии борются между собой две основные, самые сильные и резко враждебные друг другу тенденции: католическая кинематография и «реалистическая кинематография в демократическом смысле слова». Католики давно перестали выступать с одними лишь банальными и посредственными фильмами. Они широко использовали опыт мирового послевоенного киноискусства и «в лучших своих фильмах приблизились к тому особому методу проникновения в действительность, который предложили и продолжают проводить в искусстве марксисты»¹. Во время дискуссии на примерах отдельных фильмов (в частности, известного у нас фильма «Хлеб, любовь и фантазия») демонстрировалось, как католики, используя чисто внешние приемы прогрессивного искусства неореализма, создают фильмы, в которых выхоленно присущее неореализму революционное содержание и вместо него проводятся совершенно иные идеи. Существуют католические фильмы, где все это очевиднее и обнаженнее, но есть и очень вы-

¹ «Контемпоранео», № 11, 1959, стр. 37.

сокие и сложные явления искусства, например некоторые фильмы Феллини, где «католический контрреализм» проявляется несравненно более тонко, талантливо и завуалировано. Правда, они не типичны для методов борьбы церковников за массы — по большей части они действуют примитивнее и грубее.

Католическая церковь располагает громадными финансовыми возможностями для организации своих «домов культуры», спортивных и танцевальных площадок, клубов и т. д. Она заинтересована в привлечении самых широких слоев населения, в частности женщин и молодежи. «Мондо» воспроизвел как-то на своих страницах текст эффектных открыток на зеленой бумаге, которые епископ города Бриндизи рассылал своим незамужним духовным дочерям в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет. Девиц приглашали посетить цикл лекций и диспутов, темы которых должны были особенно их заинтересовать. Первый назывался «Три условия, необходимые для того, чтобы выйти замуж», одна из тем была и вовсе заманчивой: «Маленький шедевр, которым является твое тело», и т. д. Девицы, посетившие все лекции, получали право участвовать в розыгрыше «богатых премий, среди которых имеется радиоприемник»¹.

Подобные методы привлечения масс представляются нам грубыми и элементарными, но это типично для католицизма. Клерикалы агрессивны: не ограничиваясь «пропагандой», они переходят в наступление всякий раз, когда обнаруживают непокорность у своей паствы. Два года назад, например, Италия буквально раскололась на два лагеря из-за того, что верующая католичка согласилась на гражданский брак с атеистом Мауро Белланди вопреки запрещению духовного пастыря, который потом публично обвинил молодых супругов в «грязном разврате». Клерикалы в своей борьбе против «марксизма» стремятся закрепить свое влияние в массах любыми средствами.

Вся Италия — это кипящий котел; политические страсти накалены до предела; классовые противоречия исключительно остры; нужда, в которой живет множество людей, неописуема. В этих условиях с цинизмом, который кажется почти невероятным, католики прибегают к бесстыдной социальной демагогии. В городе Лорето, например, среди верующих распространяется приходский бюллетень, в котором содержатся такие образчики клерикальной пропаганды:

«Несчастье быть богатым

Сейчас очень многие выступают против богатых, говорят, что их надо стереть с лица земли. Но что стали бы делать бедные без богатых? Ведь богатые подобны источнику. Вода не могла бы орошать все участки земли, не будь каналов.

Кроме того, у богатых есть свои горести, о которых бедные, пожалуй, никогда и не задумываются. Вот несколько примеров: богатые никогда не бывают довольными; их всегда заботит мысль о том, как устроить жизнь и умножить свое состояние; они всегда боятся воров, пролаж, недостаточно выгодного помещения капитала; они платят больше налогов, чем бедные; они разрушают свое здоровье, употребляя слишком обильную и изысканную пищу, чрезмерно предаваясь наслаждениям, проводя бессонные ночи и рискуя иногда властью в грех; им завидуют, и у них много врагов; они часто подвергают свою жизнь опасности автомобильной или авиационной катастрофы; они плохо понимают нужды своих ближних и чаще рискуют навлечь на себя гнев Господа; наконец, им всегда грозит опасность разориться и стать бедными.

Счастье родиться бедным

Зато бедняки имеют многочисленные преимущества. Они довольствуются малым; у них меньше забот; они охотнее работают; они не боятся воров; они ближе к Иисусу Христу; они реже рискуют заболеть от излишеств; они лучше понимают нужды других и великодушнее; наконец, они всегда питают надежду стать богатыми».

¹ «Мондо» от 4 июня 1957 года.

В несколько иной, быть может не столь примитивной и более искусной, форме те же идеи внушаются людям не только с амвона, но и по радио, по телевидению, в кино. Смирение, непротивление, покорность — вот к чему зовут итальянский народ клерикалы.

В Италии регулярно, не реже раза в год, проводятся конференции католических писателей и деятелей культуры. На четвертой конференции, в сентябре 1957 года, в Терминильо основной темой обсуждения был «интегральный гуманизм» — речь шла о том, может ли он существовать вне христианства. Как сообщала близкая к католическим кругам печать, на конференции столкнулись две противоположные точки зрения: схоластическая, сторонники которой огульно отрицали все достижения современной философии, и «модернистская», стоящая на позиции ордена августинцев и настаивающая на необходимости «синтеза между современным миром и христианством».

Уже на этой конференции звучали ноты тревоги и скептицизма, особенно после докладов «Литература и общество» и «Человек в современном романе». Речь шла о том, каковы признаки, определяющие католического писателя, каким образом можно проводить христианские идеи в литературе, кого из современных итальянских прозаиков можно отнести к католическим литераторам. В том же году вышла антология Валерио Вольпини «Католические прозаики», причем сам Вольпини признавал, что крупных писателей-католиков в Италии очень мало. В то время появилось немало статей о судьбах католической литературы в Италии, причем они свидетельствовали о настоящем смятении умов, поскольку высказывались самые различные точки зрения по поводу определения католического романа. Выступали сторонники воинствующего католицизма, как Владимир Кажоли, отстаивавший тенденциозность католической прозы. Выступали и противники этой концепции, например Марчелло Камилуччи, утверждавший, что «католический роман не должен служить политическим целям определенной группировки, не должен давать частичного и тенденциозного изображения действительности, но, напротив, должен стремиться к объективному изображению мира и драмы человеческого существования». Эти высказывания свидетельствуют о том, что уже в 1957 году среди деятелей католической культуры существовали большие разногласия в вопросе о функции католической литературы и искусства. Тогда уже звучали полные горечи слова, говорившие о значительном расслоении среди мыслящих представителей католической интеллигенции.

С еще большей силой пессимистические ноты прозвучали в следующем году на конференции деятелей католической культуры в Каденаббия. Некоторые из выступавших требовали большей свободы для католических писателей, с горечью говорили об убожестве официальной культуры, о «превосходстве марксистов».

История явно работает не на католиков. Идейный кризис, нарастающий внутри католического движения, очень сказывается на настроениях художественной интеллигенции. Подтверждением этого является последний конгресс деятелей католической культуры, состоявшийся в октябре 1959 года в Санта Маргарита Лигуре. Темой его было: «Культура и свобода». Здесь прозвучало много откровенно скептических слов. Известный поэт Альфонсо Гатто говорил о том, что католические художники не свободны в своем творчестве и вынуждены приспособляться к конкретным, непосредственным требованиям церкви, что идет в ущерб художественной ценности их произведений. С интересной речью выступил на конгрессе профессор Аугусто Дель Ноче. «Это кажется парадоксальным, — сказал он, — но можно считать, что наше политическое господство контрбалансируется поражением, быть может временным, в области культуры». Дель Ноче заявил далее, что «марксизм — одно из самых выдающихся явлений нашего века, и политическая мысль католиков должна найти концепции, которые смогут противостоять марксистской философии».

Выступление профессора Дель Ноче, прозвучавшее как сигнал о бедствии, имело большой резонанс. Журнал «Уманитас», вполне «ортодоксальный» и ставящий своей целью развитие католической культуры, опубликовал интересную статью Джованни Кристини, который прямо ссылается на точку зрения Аугусто Дель Ноче. Кристини без обиняков пишет о том, что, помимо разных препятствий и рогаatok, которые «зачастую

ставятся церковной иерархией», налицо «своего рода бессилие современной католической культуры перед лицом проблем сегодняшнего дня». Кристини пишет о схематизме, о доктринерстве — словом, о том, что Аугусто Дель Ноче назвал «идеологической несостоятельностью» католицизма.

Этот пессимизм, эта тревога являются лишним подтверждением того очевидного факта, что католическая интеллигенция и культура не являются чем-то монолитным. Несомненно, что лучшая часть католической интеллигенции переживает глубокий кризис. Интересно отметить, что реакционная печать всячески старалась преуменьшить значение речи профессора Дель Ноче, дававшей большой козырь идейным противникам католицизма. «Чивильта каттолика» посвятила конгрессу в Санта Маргарита Лигуре большую статью, в которой полностью солидаризировалась с «ортодоксальными» речами и очень резко отозвалась о выступлении Дель Ноче. Автор статьи, известный публицист-иезуит падре Ленер, называет выступление профессора Дель Ноче «дезорентирующим», утверждает, что оно прозвучало диссонансом в общем хоре. Растерянно комментировала речь Аугусто Дель Ноче и католическая газета «Пополо».

Но отвлечемся от раздумий и тревоги наиболее чутких и мыслящих представителей католической культуры и приведем пример из литературной практики. Возьмем среднюю типичную книгу писателя-католика, не принадлежащего к интеллектуальной «элите», но вполне профессионального, печатающегося регулярно и заслужившего признание критики.

Этот писатель — Телио Таддеи. Он родился в 1915 году, много лет возглавляет местный приход. Но, будучи священником, Таддеи одновременно и профессиональный литератор, он постоянно сотрудничает в клерикальной прессе, издал два тома новелл и два романа, представлен в «Антологии католических прозаиков» Вольпини. На примере его романа «Открытый дом»¹ нетрудно уяснить себе внутренний механизм клерикальной литературной пропаганды.

В аннотации издательства весьма высокопарно говорится, что главное действующее лицо в романе Таддеи — народ, «раздираемый имманентными противоречиями между духом и материей». Дух — иными словами, католическая церковь — воплощен в образе доброго пастыря, падре Джозуэ. Материя — иначе говоря, «марксизм» — воплощена в образе коммуниста Джанни ди Санти. Название романа — «Открытый дом» — символично. Под «открытым домом» подразумевается католическая церковь, всегда готовая принять в свое лоно заблудших, но раскаявшихся людей.

Действие романа начинается в период немецкой оккупации и Сопrotивления и доходит до начала пятидесятых годов. Некий инженер по имени Ной (имя, конечно, выбрано не случайно, так как описываемые события уподобляются всемирному потопу) в самый разгар политической борьбы решает уйти в тишину картезианского монастыря. Вокруг монастыря бушуют события и страсти, но в его стенах царят нерушимый покой и тишина — здесь обитель Духа. Ной играет в романе второстепенную роль, он отнюдь не активный участник происходящих событий, он просто запечатлевает их в своем дневнике, становясь своего рода летописцем. Местность, где разворачивается действие, вымышленная, она называется Вальсанта. После того как по не вполне понятным причинам кто-то из партизан убивает местного священника (в то время как люди предполагают, что он убит оккупантами), приходским священником назначается сверхдобродетельный герой романа, дон Джозуэ. Он наделен всеми возможными достоинствами: добр, умен, великодушен, чуток, смел, лишен ханжеских предрассудков, сострадателен и проч.

Антиподом этого ультрадобродетельного священника служит вожак местных партизан, коммунист Джанни ди Санти — злой, вероломный, жестокий, неблагодарный, циничный и проч. Единственное, в чем не отказывает ему автор, — это в личной смелости, но и она объясняется низменными инстинктами: властолюбием, жадностью и карьеризмом. У Джанни есть возлюбленная — Пина, девушка из благомыслящей семьи, мечтающая о церковном браке и в начале романа кажущаяся всего лишь заблудшей

¹ T e l i o T a d d e i. La casa aperta. Edizioni Paoline.

овечкой. На протяжении двухсот двадцати страниц романа происходит множество событий в политической и личной жизни героев. Джанни организует диверсию против нацистов. Дон Джозуе входит как представитель католической партии в подпольный комитет Освобождения. После диверсии нацисты проводят репрессии, священник проявляет при этом большое мужество, но тут приходят американцы, и нацисты бегут; дон Джозуе неустанно заботится о нуждах своих прихожан, разоренных войной, в то время как Джанни принимает участие в спекуляции американскими продуктами. Пина беременеет, и Джанни понуждает ее сделать аборт. Она чуть не перегрызает ему горло, а он чуть не убивает ее, но ей удается бежать в дом священника, мать которого спасает ее от свирепого любовника и помогает укрыться от него. Проходит несколько лет, и Пина возвращается к Джанни, который венчается с ней в мэрии и признает сына. Пина (по непонятным причинам) становится активной коммунисткой и атеисткой, хотя в глубине сердца сохраняет признательность к священнику и его матери. Власть в районе фактически принадлежит коммунистам, которые, чиня произвол, запугивают всех благомыслящих людей. Священник пытается организовать отпор коммунистам, но все их боятся, и дон Джозуе понимает, что ему остается только уповать на бога. Местный аристократ, маркиз, также проявляет узость и ограниченность и не понимает всей глубины гражданских чувств священника, находящего поддержку только у своего духовного начальства и в картезианском монастыре. Происходят выборы в парламент, «марксисты» терпят поражение, и вскоре Ватикан издает предписание об отлучении коммунистов от церкви, при этом местному духовенству предоставляется право применять этот декрет гибко, в зависимости от сложившейся ситуации. На совещании священников епархии дон Джозуе по велению свещи высказывается за самое жестокое и неуклонное осуществление указаний свыше. Но вот во время обвала в местной шахте гибнут два коммуниста, и семья их хочет, чтобы в погребении, согласно обычаю, участвовал и священник. Однако дон Джозуе отказывается участвовать в похоронах, если за гробами понесут красные флаги. Происходит перепалка: коммунисты настаивают на красных флагах, священник непреклонен. Тогда Пина произносит зажигательную речь и предлагает изгнать священника из селения. Так оно и происходит. Дон Джозуе заходит в последний раз в церковь, забирает одно лишь распятие и уходит навсегда. Затем прибывает епископ и закрывает церковь до того дня, пока мятежное население Вальсанты, изгнавшее доброго пастыря, не раскается, не подчинится и не вернется в «открытый дом». Божественное возмездие наступает очень скоро: во время купания тонет в реке сын Пины и Джанни. Ребенок должен стать искупительной жертвой, и Пина прекрасно понимает, что в его лице божественное провидение наказало ее за безбожие.

Требуется финал с моралью. Пина рыдает и вопит: «Донато!.. Сын мой!.. Дитя мое!.. Заплатить пришлось тебе!.. Удар пришелся по невинному!.. Виноваты мы!..» Коммунистка и атеистка Пина в отчаянии оттого, что все разучились молиться, церковь закрыта и ее сын будет похоронен без церковного обряда. Пина бьет себя в грудь и твердит, что церковь закрыта по ее вине, что по ее вине ушел добрый пастырь и причиненное зло нельзя искупить. В это время в селение спускаются из монастыря «летописец» Ной и еще один монах. Пина умоляет их просить епископа, чтобы он решил вновь открыть церковь. Монахи безмолвствуют. Однако, сжалившись, «летописец» Ной простирает руку и благословляет труп ребенка. Мать рыдает, толпа местных жителей потрясена. Тут монах произносит речь, из которой следует, что «Дух побеждает всегда, а Бог живет в надежде... Бог — это добро. Церковь закрыта, но жертва, принесенная невинным, распахнет перед вами двери Отца, находящегося на небесах. Этот дом всегда открыт в ожидании заблудших детей, которые должны в него вернуться».

Столь подробное изложение сюжета этой книги сделано именно потому, что она типична. Можно ли говорить о каких-либо художественных ее достоинствах? Все в ней чрезвычайно элементарно и вызывает в памяти слова Грамши об известном католическом писателе Брешиани. Иезуит Антонио Брешиани (1798—1862) редактировал тот самый журнал «Чивильта каттолика», о котором мы уже не раз упоминали. Он яростно выступал против всякого либерализма в политике и был в литературе родона-

чальником традиции, сохранившейся до наших дней. «В глазах Брешиани,— писал Грамши,— все патриоты были негодьями, подлецами, убийцами и т. д., в то время как защитники трона и алтаря, как их называли в те времена, были все ангелами божьими, сошедшими на землю, дабы творить чудеса».

Воистину, Телио Таддеи верен этой традиции. Полутон у него нет, трудно найти пороки, которыми не обладал бы «марксист» Джанни ди Санти, совративший и погубивший Пину, эту, как говорится в аннотации, «мятушую женскую душу». Идея божественного возмездия проводится в романе с удивительной прямолинейностью и примитивностью — как говорится, в лоб. Находятся ли читатели, на которых все это производит впечатление? Видимо, да, так как книга выдержала несколько изданий. Вот перед нами образчик той духовной пищи, которой клерикальные писатели снабжают в изобилии свою паству. По существу Телио Таддеи не так уж далеко ушел от анекдотического уровня притчи о бедных и богатых. Мы имеем в виду, разумеется, только одну сторону вопроса — эту поразительную примитивность приемов идеологического воздействия.

Но поражаться этому не приходится.

Не так давно в одной из крупнейших буржуазных газет, «Коррьере делла сера», была опубликована статья Антонио Чампи, озаглавленная «Мы — одна из стран, в которых меньше всего читают». Статья опирается на данные официальной статистики. Из нее мы узнаем, что из сорока семи миллионов человек населения Италии свыше десяти процентов совершенно неграмотно, около пятидесяти процентов не учились дальше третьего класса начальной школы и около двадцати процентов закончили пять классов. Многие из этих людей, когда-то все же учившихся, становятся «вторично неграмотными». Чампи с горечью пишет об «унизительности» этого явления. Из ста итальянских семей книги покупают всего лишь семь.

Цифры и факты, которые приводит Чампи (а мы упомянули лишь немногие), создают исключительно мрачную картину, настолько мрачную, что порой хочется не верить автору. Однако не верить нет оснований, потому что меньше всего можно заподозрить такую газету, как «Коррьере делла сера», в желании сгустить краски. Кроме того, мы многое знаем о современной итальянской действительности из произведений прогрессивных писателей и из таких сильных человеческих документов, как «Письма итальянских детей» или недавно вышедшая книга «Итальянки исповедуются». Статья Чампи проливает свет на трагическую картину нужды, невежества и духовной отсталости, в которой до сих пор живут миллионы итальянцев. Ясно, что малограмотная, а то и просто неграмотная масса людей — благодатная почва для клерикальной реакции, пытающейся использовать все: проповедь с амвона, преподавание в школе, пропаганду по радио, телевидению и в кино, чтобы выиграть сражение с марксистской идеологией. Той же цели католическая церковь хочет подчинить и свою литературу. Любопытно отметить, что, в то время как верхушка католической интеллигенции на своих конгрессах и в журналах, предназначенных для интеллектуальной «элиты», прибегает к высокопарной риторике, к языку символов и аллегорий, философских отступлений, — массовая, «серийная», продукция католической «культуры» далека от туманных, мистических разглагольствований. Она уже не бежит «греховной действительности». Напротив, она пытается отражать вполне реальную жизнь вполне реальных людей и даже самые животрепещущие проблемы современности, но преломляя их и окрашивая в духе католической идеологии. Роман Таддеи — красноречивый тому пример.

В самом деле, ведь тема Сопrotивления — одна из основных тем современной итальянской литературы. Борьба в рядах Сопrotивления, фашизм и антифашизм — узловые проблемы. Именно этот жизненно важный и острый материал берет католический писатель, священник Телио Таддеи, и предлагает читателю грубо тенденциозное, искаженное, клеветническое изображение действительности. Он не за фашистов — боже избавь! Его герой — дон Джозуэ — член районного комитета Освобождения. Но весь роман построен на том, чтобы изобразить коммунистов, подлинно ведущую силу всенародного движения Сопrotивления, как негодяев или же грешников, которые могут еще заслужить прощение церкви, если они раскаются. Телио Таддеи не очень-то

изощряется в художественных средствах. Его роман — наглядная иллюстрация правильности жалоб Альфонсо Гатто на то, что художники вынуждены приспосабливаться к конкретным, непосредственным требованиям культурной политики церкви.

Есть такое итальянское слово «импеньято», буквально оно означает «взявший на себя обязательство», «обещавший». Так теперь определяют деятелей культуры, твердо стоящих на почве определенной идеологии, и большей частью это определение относят к левым писателям и художникам, которые гордятся тем, что их творчество неотделимо от всего их мировоззрения.

Но и деятели католической культуры, если они не подвержены сомнениям и стоят на идейных позициях церкви, отнюдь не аполитичны, они в высокой степени «импеньято».

В условиях современной Италии борьба двух культур находит непосредственное свое выражение в борьбе между самым научным и передовым мышлением нашей эпохи — марксистской философией — и между фанатичной, изуверской идеологией клерикальной реакции. Ведь до сих пор существует пресловутый ватиканский «индекс» запрещенных книг. В 1559 году в первом списке этих книг было несколько сот названий. в 1930-м их числилось больше восьми тысяч, а с тех пор списки неустанно пополняются. Рядом с Кантом, Спинозой, Флорбером, Руссо, Вольтером, Гюго, Стендалем, Жорж Занд, Паскалем, Ламартином значатся Моравиа, Сартр, Симона де Бовуар, Малапарте, не говоря уже о философах и писателях-марксистах. В мае прошлого года журнал «Контемпоранео» сообщал: для того чтобы получить разрешение прочесть запрещенную книгу, верующие католики должны через своего приходского священника обратиться с письменной просьбой в «святую канцелярию» (инквизицию). Надо думать, однако, что не все они так уж точно соблюдают этот порядок...

Как бы ни была громадна сила клерикализма, его активность, его напор и искусство лавирования, все равно католическая реакция в конечном счете обречена на поражение. Ведь нельзя закрывать глаза на то, что наиболее вдумчивые, чуткие и честные люди, стоящие на позициях католицизма, проявляют, вопреки всему, самостоятельность суждений и широту взглядов. Делать это им очень нелегко. Достаточно было видному католическому критику Карло Бо осудить выступление воинствующего кардинала Оттавиани в связи с поездкой президента Громи в Москву, чтобы его чуть не предали анафеме; во всяком случае, католическая газета «Котидьяно» обозвала Карло Бо лжехристианином. Но и такие окрики не помешали крупному католическому писателю Гвидо Пьевене в последнее время последовательно отстаивать необходимость широкого культурного сотрудничества со странами социализма. Пьевене принял участие в конференции на тему «Ответственность писателя» и подписал заключительный документ, осуждавший всякую дискриминацию в отношении марксистской культуры. Наконец, весь мир знает, что среди католической интеллигенции есть такие смелые, искренние, высокогуманные люди, как Данило Дольчи. Рядом с воинствующими клерикалами, которых жизнь ничему не научила и которые продолжают мыслить категориями «креста и меча», созревают и активизируются представители католической мысли, честно и мужественно ищущие выход из «мучительных противоречий современного мира».



Г. ХРОМУШИН

Кандидат экономических наук

★

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ГУМАНИЗМ» И ЕГО ПРИРОДА

В поисках этикеток

С возникновением мировой системы социализма капитализму приходится во многом уступать свои позиции. Монополисты теперь уже не в силах по-прежнему диктовать свою волю народам. Лагерь социализма способен оказывать решающее влияние на мировую политику.

Наглядные уроки политических и экономических успехов Советского Союза, стран народной демократии не могут пройти мимо сознания самых широких масс в капиталистических государствах. «Идеи социализма не нуждаются в принудительном экспорте, они и без того свободно и быстро распространяются во всем мире, вытесняя в сознании миллионов людей идеи капитализма», — подчеркнул Н. С. Хрущев в своем заявлении, переданном представителям профсоюзов Франции во время встречи в Париже.

Все это доставляет апологетам капитализма немало забот и тревог. Буржуазные идеологи вынуждены проявлять в наши дни повышенную активность в подыскании новых рецептов для поддержания авторитета одряхлевшей системы. Тон задают в США. На страницах периодической печати, в пухлых трудах ученых, в выступлениях общественных и государственных деятелей замелькало слово «трансформация». Оно используется каждый раз при утверждении, что американский капитализм якобы коренным образом переродился и не имеет ничего общего с традиционными представлениями, сложившимися о нем в XIX — начале XX века. Эту мысль впервые образно сформулировал в 1951 году орган деловых кругов, журнал «Форчун»: «Ничто не демонстрирует силу американского образа жизни и приспособляемость американской системы лучше, чем трансформация американского капитализма».

Идея пришлась по вкусу финансовым магнатам. Концерн Дюпона издал монографию об истории Дюпонов. «Сто лет назад, — говорится в книге, — Карл Маркс мечтал и писал об утопической стране, где народ будет владеть орудиями производства и делить между собой свою продукцию. Его мечта осуществилась, но не в коммунистическом государстве, основанном на теориях, которые он так горячо проповедовал, она стала реальностью в капиталистической Америке».

Вслед за легендой о ликвидации неравенства в распределении доходов в 1956 году была сотворена теория о «народном капитализме». Газета «Нью-Йорк геральд трибюн» тотчас же ударила в набат. «Открытие одного-единственного слова может изменить весь ход исторического развития», — провозглашалось в статье «Найти новое имя для капитализма».

Американские дельцы спешно организовали специальную передвижную выставку, открывавшуюся громадным аншлагом: «Соединенные Штаты — народный капитализм».

Новый путь жизни для людей». Выставку эту повезли во многие страны, в частности в Грецию, Турцию, Афганистан, но успех ее оказался более чем сомнительным. Тем не менее главный американский совет по рекламе, оформлявший выставку, объявил об открытии нового свойства «народного капитализма»: оказывается, что «большая часть американского народа стала владеть средствами производства».

Пропаганда этой выдумки немедленно получила широкий размах. Новый зал фондовой биржи в Нью-Йорке украсился объявлением: «Нью-Йоркская фондовая биржа — краеугольный камень народного капитализма». Ниже помещены пояснения: «Две важные линии развития отличают наш демократический капитализм — разделение собственности корпораций на акции и наличие бирж, где эти акции покупаются и продаются» и «Наши национальные корпорации принадлежат миллионам людей». Огромными тиражами была издана брошюрка «Народный капитализм», снабженная серией фотографий из киноинсценировок о «блестящем образе жизни в США»; на одной фотографии изображена голливудская звезда Дорис Дэй в образе матери семейства. В пропаганду «народного капитализма» включилась и реакционная художественная литература США. На литературном рынке появился роман С. Вильсона «Человек в сером фланелевом костюме». Книга попала в списки «бестселлеров», по сюжету романа был снят фильм. В рецензии, опубликованной в «Нью-Йорк таймс», подробно перечислялись достоинства этого произведения и прежде всего то, что бизнесмены в нем «не напоминают зверей».

Появились и разного рода «исследования», наполненные туманными теоретическими рассуждениями и фальсифицированными данными. Достаточно сказать, что проблеме «народного капитализма» была посвящена специальная сессия Йельского университета. Сессию открыл старейший профессор Эдмунд В. Синнот, который объявил о необходимости вскрыть истинную природу американского капитализма. «Не только враги, — сетовал он, — которые желают представить Америку в ложном свете, но и друзья этой страны, даже сам американский народ, понимают экономическую систему и культурные ценности США неполно или просто неверно». Америка сегодня является «системой, которая в немалой степени комбинирует динамичную ценность капитализма с широким распространением преимуществ, связываемых раньше исключительно с социализмом».

Вот, оказывается, в чем дело! Идеологи монополий готовы набросить на себя даже маску социалистов, чтобы придать своей апологетике хотя бы оттенок привлекательности.

Миф о «народном капитализме» прочно вошел в арсенал империалистической пропаганды. Но прошло не столь уж много времени, и его авторам пришлось с горечью убедиться в том, что число простаков, клюющих на эту приманку, весьма ограничено. Каждый шаг реальной жизни капиталистического мира властно опровергал небылицы об уравнивании доходов, превращении в собственников все большего круга лиц и ликвидации классовых антагонизмов.

Лопнула и попытка опорочить перед народными массами буржуазных стран социалистический строй и доказать преимущества капитализма. Решающий удар нанесла наша семилетка, наметившая период развернутого строительства коммунизма в СССР и неопровержимо доказавшая жизненность и перспективность действительного, а не надуманного социализма.

И вот тогда легенду о «народном капитализме» начали расцвечивать новыми красками. В потоке рекламных ярлыков на глаза все чаще попадался тот, на котором было написано: «человеческие отношения в промышленности». Хозяйевам бизнеса этикетка понравилась, ее отобрали, дали социальный заказ на массовое производство. Буквально за один-два года появились десятки трудов, исследующих проблему «человеческих отношений», снова созываются научные конференции, домысливаются детали побасенки о гуманизме монополистов и взаимном уважении капиталистов и рабочих.

Особенно усилили свою пропагандистскую деятельность монополии во время и после поездки Н. С. Хрущева по США в прошлом году. Это и понятно: в выступлениях главы Советского правительства, «коммуниста № 1», как называла американская печать Н. С. Хрущева, была ярко, просто, предельно доходчиво объяснена американцам сущность социалистической идеологии, громадные успехи Советской страны, развивающейся на основе гранитной базы марксизма-ленинизма. Этому буржуазные идео-

логи ничего не смогли противопоставить. Но они не оставили попыток хоть как-то нейтрализовать воздействие слов Никиты Сергеевича на американский народ. Именно такая попытка была предпринята Генри К. Лоджем 17 сентября на заседании «Экономического клуба Нью-Йорка». Лодж сообщил, что он не является сторонником слова «капитализм» и предложил переименовать капиталистов в «экономических гуманистов». «Такую систему,— провозгласил он,— лучше охарактеризовать как экономический гуманизм, нежели монополистический капитализм».

Еще один из многих вариантов на тему о «народном капитализме»!

Статистика и действительность

Американскому народу внушается мысль, будто на протяжении последних десятилетий в США осуществлен целый ряд революций, приведших к перерождению эксплуататорской природы капитализма. Особая роль отводится «революции в доходах».

Суть этой теории сводится к тому, что в Америке якобы происходит процесс выравнивания доходов всех групп доходополучателей, в результате чего богатый становится беднее, а бедный богаче. Это приводит к формированию некоего «среднего класса», что и означает будто бы трансформацию капитализма, влечет за собой ликвидацию анархии производства, кризисов и безработицы.

Причину кризисов буржуазные теоретики усматривают лишь в недостаточном спросе населения. Они всячески открещиваются от основного противоречия капитализма — противоречия между общественным характером производства и частной формой присвоения,— объявляя рост рынка потребительских товаров вернейшим стабилизатором экономической конъюнктуры.

Особую признательность монополий заслужили книги американских авторов, пропагандирующих мысль о том, будто эксплуатация, анализ которой дал К. Маркс, стала теперь достоянием истории. «Некоторые уродливые черты капитализма XIX века,— бодро опровергает марксизм социолог Мур,— преодолены современным капитализмом... В Америке и Англии, по мере того как мы сокращаем экономическое неравенство и привилегии, мы можем также уничтожить источники возникновения противоречий и недовольства».

Профессор Голбрейт предпринял более широкие попытки в этом направлении. В его новой книге «Общество изобилия» излагается концепция современного капитализма. Утверждая, будто Маркс не дал ничего нового по сравнению со Смитом и Рикардо, Голбрейт считает, что конкуренция как социальное отображение естественного отбора вела к неравенству и противоречиям. «Эта теоретическая модель,— говорится в книге,— не оставляла места для тех, кто обладал низкой производительностью». «Риск — это добродетель; теряющие должны терять» — таков девиз этой концепции, пишет Голбрейт; на американской почве она облеклась в форму социального дарвинизма и пропагандировала лозунг Спенсера: «Победители живут, побежденные — на съедение львам». Отсюда — взлет Рокфеллеров, Вандербильтов и им подобных, отсюда же теория о том, что «простой человек имеет шансы устроить свою судьбу». Но современный капитализм якобы опроверг эту концепцию, создал «общество изобилия» и ликвидировал социальные антагонизмы. Главным моментом в этом «перерождении», по Голбрейту, явилась нивелировка социальных групп, рост доходов трудящихся и сокращение доходов богатых.

Ренегат Браудер в своей лакейской книжонке «Маркс и Америка» заявляет: «Америка не укладывается в рамки марксистской схемы капитализма, о чем наиболее ярко свидетельствуют высокие показатели по заработной плате и жизненному уровню — факты, которые противоречат доктрине об обнищании как «абсолютном, всеобщем законе капиталистического накопления». Браудер претендует на теоретическое опровержение марксизма-ленинизма, утверждая, будто Маркс и Ленин игнорировали традиционный для данной страны жизненный уровень при характеристике движения заработной платы,

Однако, чтобы разоблачить клевету ревизиониста, прославляющего «американскую исключительность», достаточно указать на то, что Маркс всегда подчеркивал важность учета «исторического и морального элементов» в стойности рабочей силы.

Браудер ни единым фактом, ни хотя бы сколько-нибудь обоснованным аргументом не позаботился подкрепить свои утверждения. Он просто объявил, что факты «общеизвестны», имея в виду книги буржуазных социологов С. Кузнецца, К. Голбрейта и других, которые попытались в обоснование «теории» об имущественном уравнении апеллировать к статистике.

Но сама капиталистическая действительность восстает против своих апологетов. И здесь стоит разобраться детально, так как мы имеем дело с одним из краеугольных камней в новейших концепциях американского капитализма.

Буржуазные фальсификаторы рассматривают капиталистическое общество как однородную массу доходополучателей. При этом принципиальное различие между капиталистом и наемным рабочим полностью затушевывается. С этой точки зрения, все обладают общим свойством — они получают доход; вопрос лишь в величине дохода.

Опираясь на эту бессодержательную абстракцию, С. Кузнец и другие буржуазные экономисты составляют шкалу средних доходов данного общества — от самого низкого до самого высокого. Затем шкала условно и совершенно произвольно делится на две части: девяносто пять процентов и пять процентов (иногда девяносто и десять процентов). Все доходополучатели, благодаря этому насильно над статистикой попавшие в девяностопятипроцентную часть шкалы, именуются «группой получателей низких доходов»; вошедшие в пятипроцентную часть шкалы названы «получателями высоких доходов». Наконец для пущей «объективности» из этой верхушки богатеев дополнительно выделен один процент «получателей наивысших доходов».

Подменив реально существующие испокон веков общественные классы этим произвольным делением на группы доходополучателей, горе-теоретики пытаются доказать, что доход «высших групп» (особенно «наивысшей», однопроцентной) склонен снижаться, а доход «низшей группы», наоборот, повышается. Отсюда делается вывод: в США якобы наблюдается явная тенденция к выравниванию всех доходов и ликвидации даже количественных различий между доходополучателями, к слиянию со «средним классом» и той верхушки, которая пока еще представлена пятью процентами получателей высокого дохода.

Внешне — наукообразно, по существу — абсурдно. Никаких общественных «групп», с которыми манипулируют С. Кузнец и его соратники, в природе нет, они иллюзорны, придуманы в тиши кабинетов. А реальные общественные классы, как известно, характеризуются не величиной получаемых ими «доходов», а отношением к собственности на средства производства, местом в системе общественного производства и лишь затем видом, происхождением получаемого дохода.

Однако антинаучная буржуазная «теория» о существовании неких «процентных групп» доходополучателей не выдерживает критики и по другой причине, уже не теоретического, а чисто практического порядка. При правильном анализе статистических данных обнаруживается, что никакого снижения доли пятипроцентной группы (а тем более однопроцентной) в национальном доходе США не произошло, и точно так же не было и какого-либо повышения доли девяностопятипроцентной группы.

Дело в том, что в качестве источника цифрового материала о размере доходов различных лиц авторы названной «теории» пользуются налоговыми отчетами, представляемыми в департамент торговли США практически всеми лицами, получающими денежный доход. Но эти документы не отражают фактического уровня дохода миллионеров, так как значительная его доля скрывается от налогообложения (примерно тридцать процентов даже по признанию некоторых американских экономистов). Совершенно очевидно, что утаивают свою наживу наиболее богатые лица; налоговые отчеты трудового люда очень близки к действительности, ведь налоги взимаются из заработной платы еще до ее выплаты рабочим и служащим.

Далее, при характеристике личных доходов капиталистов не принимаются во внимание доходы от игры на курсе акций, хотя это немалый источник обогащения. Другой способ искусственного преуменьшения доходов финансовых магнатов — исключение не-

распределенных прибылей, то есть той части прибылей, которая остается в бюджете корпораций для расширения производства, создания резервных фондов и так далее. В то же время величина нераспределенных прибылей, усиливающих власть капитала над наемным трудом, систематически возрастает, причем этот вид капиталистического дохода не подлежит налогообложению. Так, в 1956 году по сравнению с 1929 годом уровень сохраненных в корпорациях средств вырос почти в четыре раза (с 2,5 миллиарда долларов до 9,5 миллиарда), тогда как выплата дивидендов увеличилась только в два раза (соответственно 5,8 миллиарда долларов и 12 миллиардов).

Весьма неплюно указываются в налоговых отчетах суммы, получаемые в виде компенсаций за занимаемые административные должности. А это немалый куш. Как подсчитал прогрессивный американский экономист В. Перло, «жалование» лиц в высших по доходу группах, являющееся по существу одной из форм капиталистического дохода, должно быть увеличено не менее чем на двенадцать процентов.

Наконец, капиталисты весьма существенно преуменьшают свои доходы, раскладывая их на всех членов семьи и иждивенцев. Вместо одного крупного дохода в налоговых отчетах фигурируют несколько «умеренных» доходов. Например, Дюпоны владеют тридцатью пятью процентами акций «Дюпон де Немур энд компани». Акции эти распределены между ста семнадцатью членами семьи, включая стариков, женщин и детей. В 1948 году выплаченные Дюпоном дивиденды составили сумму в сорок два миллиона долларов, а в 1950 году — около ста миллионов. Эта сумма превысила сведения о дивидендах, сообщенные в трех отчетах о самых крупных доходах. Однако распределение акций Дюпонов между ста семнадцатью членами семьи повело к тому, что большинство «единиц» этого клана оказалось не включенным в группу высоких доходополучателей.

Обобщив данные американской статистики, В. Перло доказал, что доли высшей процентной группы С. Кузнецца в национальном доходе США преуменьшены почти вдвое. Значит, никакого уменьшения разрыва даже между произвольно выделенными высшей и низшей группами доходополучателей не происходит. Анализ же распределения доходов между основными классами капиталистического общества наглядно показывает, что «революция в доходах» — фикция, а относительное обнищание, обусловленное господством отношений частной собственности, — бесспорный факт.

В национальном доходе США прибыли относительно небольшого числа капиталистов всегда превышают доходы всех трудящихся страны. Но если в 1929—1940 годах это превышение составило 9,2 процента, то за период 1941—1952 годов разрыв увеличился уже до 19,6 процента. Вот вам и «экономические гуманисты»!

Данные последнего времени вновь отказываются служить защитникам капитализма — они свидетельствуют, что социальная нищета в США является грозной реальностью. Американская система статистики не позволяет абсолютно точно выделить долю трудящихся и долю предпринимателей в национальном доходе США, так как американские экономисты в рубрику «зароботная плата и жалование» включают значительную часть предпринимательской прибыли, огромные оклады высших чиновников корпораций, доходы мелких капиталистов и так далее. Но объективный анализ цифровых материалов дает картину явного углубления социальных контрастов. Примерно тридцать шесть процентов всех американских семей с доходом до четырех тысяч долларов в год получают только четырнадцать процентов национального дохода; на долю двадцати пяти процентов семей с доходом от четырех до шести тысяч долларов в год приходится двадцать процентов. Следовательно, более половины, точнее, шестьдесят один процент американских потребителей получает лишь немногим свыше одной трети (тридцать четыре процента) национального дохода. В то же время тридцать девять процентов американских потребителей — капиталисты и их прислужники — захватили две трети (шестьдесят шесть процентов) национального дохода.

Надо учесть при этом, что доход до шести тысяч долларов в год едва покрывает скромный прожиточный минимум, высчитанный Институтом Геллера для 1957 года, и имеет его лишь одна четверть американских трудящихся; свыше трети американских семей получает доход ниже четырех тысяч долларов в год. Как указал профсоюзный деятель Хаберман, такой доход в 1957 году «означал нищету». Положение же не белых

трудящихся еще хуже. В том же году этот «доход нищеты» (до четырех тысяч долларов в год) получали 68,1 процента не белых семей! Даже журнал «Форчун» вынужден был признать, что «семья с доходом до четырех тысяч долларов после уплаты налогов вынуждена тратить почти все на необходимые пищу, одежду, крив, транспорт».

Реальный, а не придуманный американский образ жизни властно опровергает буржуазные «теории» о ликвидации в этой стране социальных полюсов, о нивелировке положения капиталистов и трудящихся. Тогда как такой беспристрастный свидетель, как непрерывный рост жизненного уровня стран социалистического лагеря, показывает народам всего мира, что лишь подлинный социализм, основанный на учении Маркса — Ленина, может правильно организовать производственные отношения людей, ликвидировать эксплуатацию, обеспечить действительное равенство и подъем материального благосостояния всех членов общества.

В поисках соломинки

Вслед за провозглашением ликвидации неравенства в распределении доходов идеологи монополий волей-неволей были вынуждены заняться и таким, лежащим в той же плоскости вопросом, как «трансформация» собственности.

Еще сравнительно недавно для буржуазных теоретиков было непреложной истиной, что капиталистическая частная собственность является единственно возможной формой собственности и что именно такая форма якобы соответствует самой природе человека. Но вот появилось первое в истории государство, где вся полнота власти принадлежит трудящимся и все средства производства стали всенародным достоянием. Небывалое по своей активности развитие экономики СССР, а затем и всей мировой системы социализма явило всем здравомыслящим людям нагляднейший пример того, что общественная социалистическая собственность характеризуется неоспоримыми преимуществами.

Выполняя заказ своих хозяев — любыми способами парализовать влияние этого примера на сознание народных масс, — буржуазные ученые выдвинули идею, согласно которой в нынешнем состоянии капитализма частная собственность на средства производства также «трансформировалась» и приняла облик общественной собственности.

Но ведь это же надо сперва доказать. А чем?

Если верить буржуазным экономистам, в мире капитала все совершенствуется само собой, причем на редкость тихо и благопристойно. Вот так, оказывается, и частная собственность незаметно переродилась в общественную, подразумевая под этим названием собственность корпораций, кооперативов, штатов, городов, наконец, государства. Тот факт, что и собственностью корпораций и собственностью буржуазного государства распоряжаются финансовые магнаты и никто другой, идеологи монополий предпочитают обходить молчанием. Они особенно упирают на расширение собственности буржуазного государства, маскируя его классовый характер.

Внешне государственная собственность как в условиях социализма, так и при капитализме имеет сходные черты — и в том и в другом случае собственником является государство. Но это только чисто формальное сходство, в действительности существует глубоко принципиальное различие. Государственная социалистическая собственность безраздельно принадлежит всему народу; собственностью капиталистического государства владеют банковые тузы, промышленные «короли», они диктуют свою волю правительству, всему государственному институту. Они же, повторяем, являются хозяевами и так называемой «общественной собственности» корпораций, кооперативов и так далее.

Такое «решение» проблемы собственности идеологами монополий не отличается оригинальностью: по существу возрождена «теория» ярого оппортуниста, ревизиониста и предателя интересов рабочего класса Эдуарда Бернштейна о «демократизации капитала». Тут же было декларировано, что право на эту «общественную собственность» будто бы распределено между всем американским народом. Выходит, что почти все

американцы стали теперь капиталистическими собственниками. Так ли? Предоставим слово фактам.

В Соединенных Штатах Америки восемь финансовых групп владеют двадцатью пятью процентами всех активов страны. Состояния одних только Дюпонов, Меллонов и Рокфеллеров за последние двадцать лет увеличились в восемь—десять раз; с учетом активов, контролируемых ими, эта цифра возрастает в двадцать пять — тридцать раз.

Председатель Нью-Йоркской фондовой биржи Фанстон утверждает, что «особенностью американского свободного предпринимательства является широко распространенное владение акциями», а «8 630 000 человек в США являются прямыми собственниками корпораций». Мистер Фанстон глубоко заблуждается. Во-первых, лишь совсем ничтожная часть американцев владеет акциями. В настоящее время акционеров всего-навсего около пяти процентов населения Америки, причем из этого числа только три процента — рабочие. Во-вторых, трудящиеся США если и приобретают акции, то на мизерную сумму. О каком превращении трудящихся в капиталистов можно говорить, когда общая стоимость акций американских рабочих составляет лишь две десятих процента стоимости всех акций, имеющихся в стране. Следовательно, 99,8 процента акций принадлежит бизнесменам. Акции, находящиеся в руках трудящихся, В. Перло метко назвал «символической долей собственности на средства производства».

Но можно ли даже те три процента рабочих, которые имеют акции, причислить к капиталистическим собственникам, то есть лицам, не нуждающимся в продаже своей рабочей силы для поддержания жизни? Абсурдность этого видна невооруженным глазом. Достаточно сказать, что типичные дивиденды владельцев акций — рабочих и служащих — равны всего-навсего двухдневной заработной плате рабочих в таких отраслях промышленности, как сталелитейная и автомобильная. В течение же 1950—1959 годов в США прибыль от труда одного рабочего примерно в 15 раз превышала символический дивиденд «капиталиста из трудящихся».

Агитация за продажу мелких акций рабочим имеет определенный классовый смысл: таким путем монополии стремятся привязать рабочих к предприятию, разбить единство рабочего движения, предотвратить забастовки. Убеждая трудящихся в их заинтересованности в работе корпораций, монополисты одновременно делают все для того, чтобы рабочий, купивший акции, был ограничен даже в элементарных правах акционера. Так, прогрессивный американский экономист Д. Будиш приводит характерный пример продажи акций предпринимателями «Эссо стандарт ойл компани» своим работникам: из двадцати семи тысяч рабочих этой компании двадцать тысяч владеют мелкими акциями и на их долю приходится менее одного процента всех акций компании. Более того, эти акции находятся в руках «доверительного фонда» и не могут предъявляться к голосованию.

Миф о превращении трудящихся в собственников полностью разоблачен фактами реальной действительности.

У теоретически подкованных защитников капиталистической системы есть еще один «козырь». Говоря о трансформации американского капитализма, они притягивают себе в помощь теорию «человеческих отношений в промышленности».

Новые формы эксплуатации

Итак, арсенал трубадуров «народного капитализма» пополнился совсем свежим термином. Разговор об «экономическом гуманизме» затян для того, чтобы убедить трудящихся американцев еще в одном «благе» системы наемного рабства, в том, будто погоня за прибылью перестала быть главным движущим мотивом капиталистического производства; что капиталистическая эксплуатация якобы уступила место сотрудничеству предпринимателей и рабочих как равноправных членов «заводского сообщества»; что в основе отношений между рабочими и капиталистами теперь лежат принципы гуманности и христианской морали. А уж коли так, то само слово «капитализм» становится неприменимым к экономической системе США. Вот ведь как можно повернуть вопрос!

В сборнике статей «Исследование человеческих отношений в промышленности» один из авторов, сотрудник крупной компании «Сирс, Робэк энд К°» Д. Уорси утверждает, будто получение прибыли «отнюдь не единственная и не главная цель» предпринимателей. Этой целью, возмещает он, является забота о благосостоянии людей, желание создать каждому работнику условия «для личного роста». Творцы доктрины «человеческих отношений» открыто говорят, что их задача состоит в примирении труда и капитала, воспитании у рабочих чувства ответственности за работу предприятия, трудового подъема, или, иначе говоря, в усилении интенсификации труда.

Сотрудник Мичиганского университета Г. Виленский надеется с помощью кампании за «человеческие отношения» убедить рабочих рассматривать цели предприятия как свои собственные и признать «право начальства руководить ими». Для этого, с его точки зрения, необходимо внушить рабочим, будто у них общие интересы с предпринимателями.

Эта весьма удобная для монополий концепция быстро перекочевала в другие страны. Одному из руководителей научно-исследовательского комитета по вопросам индустриальной психологии при Совете медицинских исследований в Англии — Мэрриоту — пришла в голову хитрая мысль: отказ рабочих увеличивать выработку путем сверхнапряжения надо рассматривать как недоверие к администрации. Поэтому, заявляет он, «в настоящее время представители всех политических воззрений признают, что более широкое участие рабочих в делах производства является жизненно важной проблемой».

Так теория о «человеческих отношениях» становится на службу делу усиления потогонной системы труда и роста прибылей. А чтобы это было не так заметно, давайте, мол, отвлечемся от земных забот и поговорим на такую ни к чему не обязывающую тему, как чудесное превращение «алчного капитализма», с его классовой борьбой, в «экономический гуманизм», не знающий социальных противоречий.

Антинаучный характер и провокационная подоплека этих реакционных иллюзий совершенно очевидны. Ведь «социальный климат» создается не пожеланиями людей, а системой отношений людей в процессе производства, в свою очередь обусловленных отношениями собственности.

Безмерная интенсификация труда в капиталистических странах исключает возможность нормального восстановления работоспособности, в связи с чем организм рабочего изнашивается к сорока — пятидесяти годам. Даже в сборнике департамента труда США признано, что громадный рост числа рабочих с 1900 по 1955 год сопровождался значительным уменьшением пропорции пожилых рабочих. Если в начале нашего века около шестидесяти восьми процентов немолодых людей продолжало работу, то спустя полсотни лет эта пропорция упала до тридцати восьми процентов. «Некоторые конторы по найму рабочей силы не дают даже анкеты для поступления на работу, как только узнают, что вам больше 45 лет», — писал один американский рабочий. Это объясняется тем, что безмерная интенсификация труда исключает возможность нормального восстановления работоспособности обычно после сорока лет. В этом возрасте рабочий, как правило, выбрасывается за ворота фабрик, и самый что ни на есть «экономический гуманизм» отнюдь не обеспечивает ему получение новой работы — единственного источника существования.

Доктрина «человеческих отношений» призвана сотворить еще одно грязное дело — ослабить влияние профсоюзов. В США существует специальная организация, дающая по заказу монополий советы о том, как увязать интересы компании с требованиями рабочих и вдохновить последних на разрешение стоящих перед хозяевами проблем. Монополия «Дженерал электрик» располагает особым отделом с большим штатом «экспертов» для обеспечения системы «человеческих отношений», а фирма «Дженерал стандарт» разработала многочисленные способы установления «дружеских отношений» с рабочими, в частности встречи дирекции с работниками под лозунгом: «Классовый мир выгоден промышленности».

Однако организаторы «дружеских» встреч и консультаций с рабочими отнюдь не стремятся к свободному обмену мнениями, выслушиванию предложений и требова-

ний трудящихся. Им отводится роль безмолвных слушателей, и, едва только они пытаются подать свой голос, слышится резкий хозяйский окрик: «Бизнес — это не дискуссионный клуб!» Как откровенно пишет В. Ноулз в своей книге «Личное управление», «консультации совсем не значат, что предприниматели отказываются от власти».

Цели системы «человеческих отношений» весьма цинично выболтал американский экономист Чемберлин. «Если предприниматели научатся понимать, что у рабочего на уме,— писал он,— и смогут воздействовать на его сознание... они научатся удовлетворять желания рабочих, и тогда профсоюзы исчезнут как ненужные».

Идеологи монополий придают большое значение психическим приемам, с помощью которых можно было бы убедить рабочих повысить производительность труда. Они всячески стараются внушить им, что капиталистическое производство предназначено для роста благосостояния в с е х людей, поэтому труд рабочего, так же как и деятельность администрации, направлен к достижению общей цели, имеет большое общественное значение. В этом направлении и разрабатываются различные рекомендации для административного персонала. В наставлении для мастеров одной из крупнейших компаний США «Лайф иншуэренс К^о» говорится об «искусстве так обращаться с людьми, чтобы они сами по доброй воле вели себя желательным образом». «Сохраняйте дружескую улыбку»,— рекомендует наставление.

Среди многих приемов психологической обработки трудящихся широкое распространение получила система «исповедей». Многие предприятия создают специальный штат «исповедников», задача которых состоит в беседе с рабочими, выслушивании их жалоб и невзгод, короче, в том, чтобы помочь рабочему «излить душу» и успокоиться на этом. Эта унижительная для человеческого достоинства система особенно развита в США. Например, в компании «Уэстерн электрик» системой исповедей охвачено тридцать четыре тысячи человек, а на содержание заводских психологов компания тратит до двухсот пятидесяти тысяч долларов в год.

К чести ряда буржуазных ученых, они с гневом отзываются о подобных методах. «Есть что-то жестокое и трагическое в этих человеческих исповедях мужчин и женщин, которых искусно заставляют рассказывать о своих жизненных условиях, своей нужде, своих больших и малых проблемах и которым только этого и достаточно, чтобы успокоиться»,— писал французский социолог Ж. Фридман.

Разумеется, вся эта «психотерапевтическая» обработка сознания трудящихся направлена к обеспечению интересов монополий. Предприниматели используют для этого все средства — массовые фабричные издания, радио, листовки, желтые профсоюзы.

Вдохновители теории и практики «человеческих отношений», стремясь к усилению капиталистической эксплуатации, лживо заявляют о ликвидации классовых антагонизмов. «В Америке отсутствует классовая борьба»,— пишет М. Кернер, — ибо «открытое общество и почти неограниченная социальная мобильность позволяют каждому осуществить любую мечту». В США, Англии и скандинавских странах капитализм обнаружил удивительную способность приспосабливаться к изменившимся социальным условиям, вторит ему П. Кон. Этот «необычный строй» включил «всех в процветающее общество средних классов».

Но даже некоторые буржуазные ученые вынуждены опровергать эту монополистическую пропаганду. Например, профессор социологии университета штата Оклахома Виятт Маррс выступил в 1958 году с книгой под характерным заголовком «Человек у вас на спине. Введение в искусство жить за счет современного общества». Хотя этот буржуазный идеолог и далек от анализа реального классового антагонизма, тем не менее он вынужден сделать признание, что «владельцы земли и капитала занимают стратегическую позицию и имеют обычно достаточно сил, чтобы навязать свою волю рабочему». Показательно, что Маррс называет «социальными паразитами» не только нищих, воров и мошенников, но и рантье, банкиров, богатых наследников.

Реакционные идейки о «равных возможностях» и «гуманизме» предпринимателей наглядно разоблачаются в некоторых новых произведениях прогрессивных писателей.

В 1958 году в США был опубликован роман популярного американского писателя Уилларда Мотли «Пусть никто не пишет им эпитафии». Эта книга — продолжение

произведения, известного русскому читателю по переводу, «Стучите в любую дверь». В новом романе Мотли нарисована яркая картина гнетущих социальных контрастов в США.

Автор описал жизнь чикагских трущоб, полную унижений, жестокостей, нищеты, историю нескольких жителей типичной улицы американского города — Медиссон-стрит. Сын героя первой книги Ник Романсо пытается вырваться из окружающей среды, завоевать право на человеческую жизнь. Но «социальная мобильность» — выдумка буржуазных апологетов, и действительность опровергает ее, ибо в реальной жизни господствует только «господин Капитал». Ник Романсо проходит через бездну социальных несправедливостей, и хотя ему удается вырваться из психиатрической больницы, куда его заточили, у него нет никакой уверенности в будущем. В ночлежке умирает духовный наставник Ника, идеалист и «джентльмен в лохмотьях» Сэлливэн, окончательно опускается на дно мать Романсо — Нелли, а в кабаках Медиссон-стрит по-прежнему звучит пластинка о погибшей любви, об одиночестве, гнетущей безысходности человеческого существования.

Нет, не страной «среднего класса», не «обществом изобилия», «гуманизма» и «социальной мобильности» является современная Америка, сколько бы ни твердили об этом идеологи монополий. Груз финансового капитала давит на плечи трудящихся все с большей силой, а социальные контрасты в США глубоки, как никогда раньше. Но рабочий класс не мирится со своим рабским положением и отвечает проповедникам «человеческих отношений» новыми классовыми битвами. Недавняя грандиозная забастовка рабочих сталелитейной промышленности США — яркое свидетельство того, что не в «классовом мире с капиталом» видят рабочие свое будущее, а в открытой борьбе за свои требования подлинно человеческой жизни. Эти требования никогда не удовлетворит выдуманный буржуа «синтез капитализма и социализма».

Лишь социалистическая система, которая неизбежно восторжествует над отживающим свой век капитализмом, сможет обеспечить всем людям существование достойное высокого имени — Человек.



ПУБЛИЦИСТИКА

Л. ЛАСКАВАЯ

★

ЗЕМЛЯ И ВЕТЕР

ЧЕРНАЯ БУРЯ

Мимо окон вагона проносились знакомые и незнакомые названия станций. Менялся облик и говор пассажиров. Поезд Москва — Караганда пересекал границы поясов времени, и все принимались переводить часы. За окном начались земли, к которым еще недавно пристально приглядывалась вся страна. Несколько лет назад здесь кипела своеобразная, по существу никем еще не описанная жизнь. Молодые энтузиасты разбивали палатки в глухой степи и пахали землю, никогда не знавшую прикосновения плуга. Целинники работали днем и ночью, подчас засыпая за рулем трактора. В зимнюю стужу под пронизывающим ветром строили они ковые совхозы.

Понадобилось совсем немного времени, и все мы поняли, что такое для нас целина. Сейчас тут все казалось обжитым, устоявшимся.

Ехать было еще далеко. Я просматривала цифры, выписанные перед поездкой в блокнот. Цифры были красноречивы.

До 1954 года посевная площадь Казахской республики занимала лишь девять и семь десятых миллиона гектаров. Казахстан производил примерно двести сорок миллионов пудов зерна в год. Теперь здесь освоено двадцать миллионов гектаров земли, которые за три последних года дали стране два миллиарда пудов товарного хлеба. Казахская ССР ежегодно сдает государству зерна на десятки процентов больше, чем Украина, и занимает по производству зерновых культур второе место в Советском Союзе после Российской Федерации. Казахский хлеб — самый дешевый. Там на колоссальных площадях можно применять самые совершенные сельскохозяйственные машины.

Но дело даже не в цифрах. Северный Казахстан, где освоены большие массивы целины, изменился и внешне. К железнодорожному полотну вплотную с обеих сторон подступали распаханное поля. За пашнями виднелись домики из свежего теса. Они вытягивались в прямые улицы хорошо спланированных селений.

Выйдя из вагона на небольшой станции, я отправилась в один из таких поселков — совхоз «Перспективный». Он занимал около сорока тысяч гектаров земли и продолжал осваивать новые поля. Центральное отделение совхоза закончило строительство домов, клуба, столовой. Рабочие и служащие жили не совсем так, как в картине «Иван Бровкин на целине», но все-таки в достатке. У многих в квартирах были личные библиотеки и радиоприемники, возле некоторых домиков виднелись затянутые в брезент легковые автомобили. В квартире директора совхоза Ивана Онуфриевича Печатникова, энергичного, молодежавшего человека средних лет, была даже ванна. Он привез ее с собственной подмосковной дачи, которую пришлось оставить ради работы на целине.

Я приехала в «Перспективный» после майских праздников. В степных районах

европейской части страны уже давно отселись, а здесь в березовых колках¹ еще кое-где блестел ноздреватый снег. Посевная только начиналась. Командировка моя была рассчитана на несколько месяцев, и времени для работы хватало. На совхозной конюшне мне выделили самую смирную лошадь, и я, взбираясь по утрам в седло, целые дни проводила в поле, беседуя с сеяльщиками и трактористами, с бригадирами и агрономами.

Эти разговоры нередко касались ветровой эрозии. В целинных районах, рассказывали мне, происходит сильное распыление почвы под воздействием ветра. Последние годы здесь часто поднимаются черные бури, которые разрушают почву и приносят заметный вред сельскому хозяйству...

«Перспективный» закончил сеять в конце мая. Наступило лучшее время года. Стих гул тракторов. Распаханные гоны закурились по горизонту изумрудным дымком. Расцвели дикие тюльпаны. Раскустился и выпустил жесткие щетки типчак. Налились зеленью клубки кучерявки, кермека. Тихий ветерок-степняк нес влажную свежесть — может, из ближних осиновых и березовых колков, а может, из далеких сибирских лесов.

Но хорошая погода стояла недолго. Дождей не было. Постепенно горячий зной выпил живительные соки дикой спаржи, верблюжьего сена, качима; порывистый ветер-сухмень ломал их хрупкие корешки, и они неслись горьким, мертвым перекачн-полем. Над степью все чаще подымались сухие туманы. Мутная белизна заслоняла солнечные лучи, не пропускала их сквозь блеклую мглу. В удушливом раскаленном воздухе тускнели травы, изнемогали люди. Отражения в этом воздухе дрожали от зноя, мерцали, распылялись в неясные тени, искажались и оборачивались причудливыми миражами. Путники ясно видели, как вдали по степи медленно шагали караваны верблюдов. Потом рождалось новое марево: верблюды исчезали, а появлялись озера, заросшие камышом и рогозом, луга, сады... Но постепенно и они таяли в воздухе.

В один из таких дней я просталась с «Перспективным» и собиралась ехать дальше, как требовала того моя командировка.

Город П., куда мне предстояло добираться, находился в ста пятидесяти километрах от совхоза. Здесь я уже бывала не раз.

Мы выехали в полдень. Степь, оплетенная паутиной проселков, бредила миражами. Дороги пересекали друг дружку — изъезженные, с толстым слоем пыли, в которой вязли колеса автомобиля, и едва заметные, проложенные весной случайным гусеничным трактором.

Шофер Вася, который вез меня, оказался всезнающим человеком. Несмотря на свою молодость (Вася только недавно отслужил в армии), он побывал во многих городах Советского Союза. Не всякий путешественник-исследователь старого времени мог так подробно рассказывать о знакомых местах. Вася жил в Закарпатье, на Урале, работал на Ангаре и в Темир-Тау. Но крестьянская кровь, любовь к земле потянули его на целину. Тут из неутомимого путешественника Вася превратился в человека солидного и семейного. Пожалуй, ни о чем он не рассказывал с таким восторгом, как о своей недавно родившейся дочурке. Сам Вася с его наивными голубыми глазами тоже походил на ребенка. На целине не редкость встретить таких вот недавних подростков, которые, несмотря на юные годы, успели прожить большую, интересную жизнь.

В разговорах время текло незаметно. Часа через два показался П. Строящийся город уже расстилал по горизонту десятки змеек-дымков. Едва различные башенные краны высоко вздымали свои стрелы.

Мы проехали еще километров двадцать,

Город по-прежнему пламенел вдали под огненным солнцем, Вася уже советовался со мной, какие игрушки купить в здешних магазинах, когда вдруг наяву город как бы зашевелился в воздухе, сдвинулся с места и весь, как стоял, отделился от земли.

¹ Колки — небольшие березовые и осиновые рощи в степях Зауралья и Северного Казахстана.

Дымы засверкали, здания замельтешили, башенные краны исказились и вытянулись, все заструнилось багрецом и медленно потекло вдаль. Теперь П. казался отраженным в озере, где легкий ветерок внезапно подернул воду мелкой рябью. Вася, оторопев, резко затормозил «газик». Растерянно приподнявшись, мы провожали уходящее видение.

Мираж растворился в мутной сухой мгле. Над степью остались размытые тени; они сгустились, и вскоре из них родилось тонкое облако легчайшей пыли, желтой, как цветень подсолнуха. Облако понеслось навстречу машине. Стемнело. Маленькие сухие молнии упали в пожухлые травы. Истошно завопила птица, ей с тревогой ответила другая. Сквозь внезапную серую ночь «газик» двигался медленно, словно нащупывая дорогу. В светлые промежутки мы видели на горизонте высокие столбы бурой земли. Похоже, там рвались фугасные бомбы. Пыльные громады кружились в бурунах и неслись прямо к нам. По брезенту зашуршал песок, забарабанили сотни мелких камешков. Пыльная мгла пробиралась за ворот, больно щипала во рту, в носу, в глазах. Впотьмах пришлось зажечь фары, чтобы различать дорогу.

Сперва Вася искал подходящее место, чтобы отстояться,— какую-нибудь степную балку или ложе пересохшей речушки под крутояром. Но вдруг от пыли заглох мотор, и сколько Вася ни барахтался в песке под машиной — сдвинуть ее с места не удалось. Мы остались лицом к лицу с черной бурей.

Тем временем ветер крепчал. В пучине урагана вместе с пылью клубились остатки прошлогодних трав и небольшие кусты, вырванные с корнем. Град камешков колотил по обшивке автомобиля, валы рыжей земли, унесенной с пашни, захлестывали его. Намет вокруг нас увеличивался. Постепенно он закрыл колеса и превратился в большую дюну. Мы устали, отбрасывая землю от дверцы. Разбитые ладони покрылись пузырями, нестерпимо хотелось пить, но вода давно кончилась.

Ночью ветер немного утих, а растерзанная степь еще курилась, как после пожара. Мотор отказал. О том, чтобы продолжать поездку, не могло быть и речи. Забравшись на сиденье с ногами, я тщетно пыталась заснуть. А у Васи еще хватало сил возиться с машиной. Он то рылся в моторе, то раскапывал пыль и залезал под колеса. На рассвете подоспели тракторы, высланные из совхоза. Они зацепили «газик» и с трудом поволокли его вперед, через переметы, нанесенные вчерашней бурей. И мы и трактористы, которым много раз приходилось здесь ездить, не узнавали местности. Там, где позавчера радовали глаз дружные всходы яровой пшеницы, обещая невиданный урожай, простиралась теперь пустыня. На больших участках плодородный слой почвы снесло. Выданные с корнями зеленые стебли растений лежали на пересохшей земле растерзанные, жалкие, беспомощно растопырив узкие мертвые листочки.

В других местах колки погрузились в барханы, из которых чуть виднелись изломанные верхушки кустарника. Природные ярки, котловинки, балки и овраги буря сровняла со степью. Груды нанесенного мелкозема во многих местах перекрыли русло довольно большой реки и превратили ее в цепочку узких прерывистых бочагов. Мы легко переправились через реку, и по ту сторону увидели заметное пыльное село. Кучи песка поднимались у плодовых деревьев и ягодных кустов. На улицах копошились бульдозеры. Надрывно урча и дергая блестящими ножами, они откапывали деревню.

Наш отряд въезжал в П., когда край неба за городом налился ярко-желтой, в багровых и черных подпалинах краской. В атмосфере смешались дождевые, полные воды облака с распыленной почвой, унесенной бураном за сотни километров с распашанных полей.

Пошел дождь, такой же пегий, как туча, нависшая над городскими крышами,— сперва мелкий, будто сквозь сито; потом сито прорвалось, и та же пегая вода хлынула ливнем. Но и ливень не принес долгожданной свежести и чистоты воздуха. Посредине центральной улицы, обычно такой опрятной и тщательно подметенной, возвышались теперь кучегуры мокрой пыли. Взвизгивая гусеницами, тракторы ныряли в бурю жижу,

После нашего нелегкого путешествия мы отправились в гостиницу отдыхать.

Из «Перспективного» я собиралась ехать через П. в другие районы Северного Казахстана, но черная буря изменила мои планы. Я вернулась в совхоз, чтобы узнать, каких бед там наделал ветер. Несчастье «Перспективного» было большое. Ураган уничтожил большие площади лучшей яровой пшеницы. С главным агрономом и группой бригадиров мы ездили на поля, чтобы посмотреть, нельзя ли пересеять некоторые участки. Куда там! Пашни деформировались — плодородный слой почвы развеяло, а местами нанесло бугры и дюны бесплодного сыпучего песка, над которыми все еще вилось курево...

Так я увидела черную бурю, увидела, какой вред причиняет ветровая эрозия здешним степным пахотным землям.

В БОРЬБЕ С ЭРОЗИЕЙ

Что же предпринимают здесь люди, чтобы укротить враждебную стихию и убедить плодородные почвы? Как и следовало предполагать, на борьбу с эрозией мобилизованы целые отряды ученых. Те, кто поднимал целину, ясно представляли себе не только огромную пользу, которую получит от этого страна, но и все трудности, какие придется преодолевать здесь на первых порах земледельцу. Черные бури были одной из таких неизбежных, заранее предвиденных трудностей. В республиканских сельскохозяйственных организациях, перечисляя многочисленные научные учреждения, занимающиеся изучением черных бурь, особенно много рассказывали об интересных работах Казахского института зернового хозяйства, созданного недавно на базе Шортандинской опытной станции. Через несколько дней я уехала туда.

Шортанды — крохотный поселок в целинной степи. Три небольших двухэтажных дома, в которых живут научные сотрудники. Длинное здание барачного типа, где временно разместился институт. Два ряда только что законченных и строящихся коттеджей образуют широкую улицу, обсаженную молодыми березками. По проектам, здесь должен вырасти целый городок, а пока за коттеджами в беспорядке разбросаны подслеповатые саманные мазанки с кривыми стенами — наследие опытной станции. Она была совсем микроскопической — всего четыре научных работника. Правда, внешний убогий вид станции никак не соответствует богатому содержанию проделанной ею работы. Необычайно важны исследования, которые провел в Шортанды известный селекционер академик Валентин Петрович Кузьмин.

Валентин Петрович прожил тут почти всю жизнь и вывел основные сорта яровой пшеницы, которыми засеваются поля Казахстана. Он также вырастил многочисленные сорта картофеля, подсолнечника, ржи, гречихи, рыжика, люцерны и других культур. Некоторые из них можно встретить на огромных пространствах от Енисея до Днестра. Сейчас, когда в Шортанды организовали институт, старый селекционер совершенствует выведенные им сорта и продолжает работу над новыми.

Кроме селекции, недавно рожденное исследовательское учреждение — детище целины — разрабатывает десятки других проблем. Его основная цель — создать новую, научно обоснованную систему земледелия для вновь освоенных целинных земель. Здесь нельзя вести хозяйство так, как в старых земледельческих районах — на Украине, Кубани или в Центральной черноземной полосе России. Сухой климат, бедные перегноем почвы, сильные ветры требуют от земледельца иных, своеобразных приемов борьбы за урожай. Одно из самых важных условий — борьба с черными бурями.

Работу института в Шортанды возглавляет академик Александр Иванович Бараев. Старший сын в многодетной семье крестьянина-бедняка из села Понизовья Волгодонской области, Александр Бараев был с детства надеждой отца — сельского опытного, снимавшего невиданные урожаи с крохотного клочка скудной северной земли. Этот клочок отец получил в надел после Октябрьской революции. Он проводил здесь свои опыты с клевером, картофелем, овощами. В 1923 году старик попал в число экспонентов первой Всероссийской сельскохозяйственной выставки.

Напрягая все силы, отец учил Александра, надеясь передать сыну опыты и исследования, начатые в примитивных условиях собственного малого надела.

Сын продолжил начинания отца на огромных полях, принадлежащих всему народу. Окончив институт, Александр Иванович вел исследовательскую работу в Поволжье, в Зауралье, Казахстане. Постановление партии о подъеме целины застало его в Алма-Ате на посту директора Казахского института земледелия. Бараев сразу же возглавил работу экспедиций, разосланных в разные концы республики весной 1954 года. Вдумчивый анализ добытых этими экспедициями материалов позволил Бараеву в самый короткий срок издать книжку «Рекомендации по освоению целинных и залежных земель» — ценнейшее пособие для новоселов, прибывших по призыву партии и правительства в Казахстан, Сибирь и на Алтай.

Когда решено было создать научно-исследовательский институт непосредственно в степи, Александр Иванович, недолго думая, отправился его организовать. Иные пожимали недоуменно плечами, пытаясь объяснить себе внезапный отъезд в глушь пятидесятилетнего человека, имеющего крупные труды и ученые звания, оставляющего обжитый дом в чудесном городе.

Бараев уехал в Шортанды директором института, существующего только на бумаге. С ним отправилась жена, чтобы разделить с мужем все организационные тяготы в качестве научного сотрудника.

В то время пришлось много отвлекаться от исследовательской работы. Александр Иванович месяцами не жил дома, летал из Акмолинска в Алма-Ату, из Алма-Аты в Москву, вникал в проекты строительства институтского городка, добывал аппаратуру для лаборатории, знакомился с постановкой научно-исследовательской работы в Советском Союзе и за границей. Он посетил Северную Америку, побывал на лучших экспериментальных фермах Канады, привез множество фотографий, альбомов, журналов и книг, отражающих передовой опыт, накопленный зарубежной наукой. Александр Иванович заказывал семена разнообразных деревьев — у него была мечта: вырастить в Шортанды ботанический сад, собирая со всего земного шара древесные породы, способные прижиться в суровом климате Северного Казахстана...

Слушая по вечерам пыльные рассказы Александра Ивановича о будущем института, о первом в СССР крупном семеочистительном заводе, который будет построен в Шортанды и снабдит чуть ли не весь Казахстан отборными семенами, об институтском саде в полтора гектара, я очень жалела, что аудитория, внимающая Александру Ивановичу, так мала. Своими речами он мог бы убедить поехать на целину самых отъявленных скептиков и остановить всех, кто, не выдержав трудностей, бежал отсюда.

О ветровой эрозии Бараев заговорил в первую же нашу встречу.

— И для ученых и для всех труженников сельского хозяйства — это самая животрепещущая проблема. Если не прекратить дефляцию почвы, она может превратиться в бедствие.

Александр Иванович показал старые снимки, сделанные в тридцатых годах на опустошенных, покинутых хозяевами фермах Соединенных Штатов Америки и Канады. Тогда этим странам пыльные бури принесли миллионные убытки.

— Конечно, я убежден, что у нас это не повторится, — горячо заявил академик. — Мы трудимся, ищем и, конечно, вскоре найдем радикальные меры борьбы с дефляцией. Кое-чему и за рубежом стоит поучиться. У них эта мерзость давно завелась, и за последнее время там научились неплохо ее лечить. Только весь чужестранный опыт надо проверить в наших условиях.

В институтской библиотеке собран большой материал о ветровой эрозии начиная от старых пожелтевших газет и журналов столетней давности до капитальных исследований, изданных в самые последние годы. Шортанды получают литературу из разных стран мира. На отдельных полках уже стоят небольшие книжечки сотрудников института. Авторы их успели провести здесь немаловажные опыты по борьбе с черными бурями.

Я принялась за чтение; мои познания в области дефляции почв значительно расширились, но, признаться, часы, проведенные в институтской читальне, не приносили

радости. Из прочитанного следовало, что ветер — самая страшная разрушительная сила природы. Эта сила действует более постоянно, чем, например, сила воды, и способна разрушать высокие горы, тесные ущелья и обширные равнины. Ветер выдувает из почвы мелкозем — самые плодородные частицы. Однако естественная эрозия земли происходит медленно, потери от нее постепенно восстанавливаются. Вместе с тем в местных масштабах большие бедствия способна принести ускоренная эрозия, вызванная ошибками в землепользовании. Даже малозаметные поначалу промахи агрономов увеличивают естественную дефляцию и вызывают губительные пыльные бури и метели, «поползуху» (легкую земляную поземку) и «помоху» (буран, идущий понизу, сухой пыльный туман, состоящий из мельчайших частиц земли). Ускоренная ветровая эрозия чаще всего развивается в засушливых степных районах. В неблагоприятные годы она может распространиться и на лесостепь.

Пыльные бури разрушают верхние слои почвы, меняют не только механический, но и химический ее состав. Выветренная земля восстанавливается трудно. Когда ветер уничтожает почву на глубину в восемнадцать сантиметров, пропадает то, что сделано природой за долгие сроки.

Ветровой эрозии подвержены почти все страны и части света с развитым земледелием. Знаменитые путешественники Н. М. Пржевальский и Г. Н. Потанин описывают пыльные бури Средней и Центральной Азии. От них страдают земледельцы Ирана, Афганистана, Индии. Черная буря, возникшая 26—27 февраля 1876 года в Южной Венгрии, Сербии и Банате, распространилась затем по всей Европе. Пыльные ураганы, начинавшиеся на берегах Черного и Азовского морей, достигали Прибалтики, орошая ее грязевыми дождями. Русский ученый Н. М. Сибирцев доказал, что унесенные бурями почвы оседают даже на ледниках Гренландии. Когда Ч. Дарвин путешествовал вокруг света, его корабль «Бигль» на расстоянии в тысячу морских миль от африканских берегов попал в полосу воды, густо окрашенную цветной пылью.

Пыль, поднятая в пустыне Сахаре, несется за три тысячи километров в Центральную Европу и даже в Англию. Частицы плодородных земель Австралии, пролетев около двух с половиной тысяч километров, оседают в Новой Зеландии. Мелкозем, взвихренный в одном месте, разносит на тысячи километров сельскохозяйственные болезни и вредителей.

Все ученые в один голос утверждают, что выдувание чаще всего происходит там, где непрерывно сеют одну и ту же культуру, где низок уровень агротехники, где ведется распашка больших массивов легких почв на открытых равнинах при сильных и частых ветрах.

Пыльные бури, как мы уже видели, хорошо знакомы фермерам американских и канадских прерий, где в начале нынешнего века миллионы гектаров целины были беспланово распаханы переселенцами, ринувшимися сюда через океан из всех стран мира на поиски земли обетованной, о сказочных богатствах которой наслушались они дома и по дороге. Каждый торопился захватить кусок получше, каждый пахал и сеял без разбору, где хотел и как хотел. Пришельцы рубили леса, уничтожали степную растительность, хищнически эксплуатировали почву. В результате исчезли естественные препятствия для вихрей, земля была предана опустошающему действию воды и ветра. В тридцатых годах нынешнего века эрозия почвы стала в США подлинно всенародным бедствием. «Великие равнины» — штаты Монтана, Вайоминг, Северная и Южная Дакота, Небраска, Канзас, Колорадо, Оклахома, Новая Мексика, Техас и Айова — курились пыльными тучами, сквозь которые не пробивался солнечный свет. Черные бури начались в Калифорнии и Аризоне. 12 мая 1934 года облака пыли из сожженных полей пронесли над Нью-Йорком и повергли его жителей в ужас. Этот ураган сдул с «Великих равнин» до трехсот миллионов тонн почвы и повредил третью часть обрабатываемой в США площади. В 1935 году среди населения Америки распространилась эпидемия особой болезни — пыльной пневмонии.

В ту пору Соединенные Штаты Америки потеряли тридцать пять миллионов гектаров плодородной земли. Та же беда постигла и канадских земледельцев. Засухи и черные бури разрушали поля, на фермы надвигались перекатные барханы выхо-

лощенной земли. Урожай катастрофически падали. Если раньше в Канаде каждый гектар давал по тринадцати центнеров яровой пшеницы, то к 1937 году урожай здесь снизился до одного и семи десятых центнера с гектара. Многие фермеры разорялись, бросали фермы и превращались в бездомных бродяг. Хозяйства, оставленные людьми, еще быстрее поддавались разрушающему действию стихии.

Сейчас в США разрушено сто тринадцать миллионов гектаров пахотной и пастбищной земли, а триста тринадцать миллионов гектаров находятся под угрозой гибели. Ежегодно все убытки, которые приносит Соединенным Штатам Америки разрушение почвы, равняются трем миллиардам долларов.

Я с интересом прочла увлекательную книгу «Основы охраны почв», написанную известным американским исследователем почвенной эрозии Хью Хэммондом Беннетом. В 1933 году он создал при департаменте земледелия США службу охраны почв, много ездил по стране, изучая вредоносное выдувание и вымывание грунта. Беннет называет эрозию самым злостным врагом человека. Он считает, что, если защитить от нее землю, это равносильно увеличению посевных площадей почти в полтора раза.

О распространении ветровой эрозии в России написано сравнительно немного. Хотя русские исследователи природы наблюдали дефляцию уже в глубокой древности, до последнего времени сильные черные бури подымались у нас довольно редко и не охватывали больших пространств.

Первые упоминания о ветровой эрозии на территории России относятся к XIII веку. Итальянский путешественник, францисканский монах Джованни да Плано Карпини, в 1245 году по заданию папы Иннокентия IV отправился к монгольскому хану с дипломатическим поручением. Он проехал через Арало-Каспийскую впадину, по реке Сыр-Дарье, вдоль склонов монгольского Алтая и был застигнут черной бурей в Прикаспийских степях. В своих записках Карпини рассказывает, как пережил он этот страшный ураган, прильнув ничком к земле.

О распространении пыльных метелей сообщают исследователи-натуралисты XVIII и XIX веков П. С. Паллас, К. М. Бэр, Г. П. Гельмерсен. Изучением ветровой эрозии занимались И. В. Мушкетов, Н. М. Сибирцев, А. И. Колосов.

В середине XIX столетия — с развитием земледелия — дефляция увеличивается и охватывает Приазовье, степные части Украины, бассейны рек Дона и Кубани. Голодные годы в южных губерниях России часто бывали вызваны неурожаями вследствие эрозии почвы.

Исследователь А. А. Бачихин впервые обстоятельно и подробно описывает черную бурю 1886 года в Бердянском уезде Таврической губернии. Ураган принес больше беды. Слой почвы в полях снесло на двадцать пять сантиметров. Наносы возле домов и в садах достигали полутора-двух метров. Местами мелкозем заносил усадьбы и рощи; плодовые деревья и кусты виноградников по всему уезду погрузились на полметра в пылевые отложения; в полях образовались дюны более метра высотой и до десяти метров в длину. В соседнем, Мариупольском уезде чернозем, унесенный с посевов, засыпал долину реки Кашлагор, русло ее значительно сузилось.

В 1892 и 1893 годах черные бури охватили часть области Войска Донского, Таврическую, Херсонскую, Одесскую, Бессарабскую губернии и частично распространились на Киевщину, Подолию и Виленщину. Памятный ураган, бушевавший 13—18 июня 1896 года, разыгрался на огромной территории — от Акмолинска и бывшей Енисейской губернии до западной окраины страны...

Нужно сказать, что до конца прошлого века регулярным изучением ветровой эрозии в России не занимались. В издававшейся тогда периодической литературе помещались отдельные заметки о «мгле», «помохе», или сухом тумане, который губит хлеб. Систематических наблюдений не было. Даже метеостанции и метеопункты не фиксировали проявлений эрозии.

Началом регулярного изучения пыльных бурь можно считать регистрационно-статистический (анкетный) метод. Его применение связано с сильным ураганом 1892 года. Редакция «Метеорологического вестника» обратилась к читателям с просьбой присылать свои наблюдения, связанные с пыльными бурями и подобными им явле-

ниями. Это была первая серьезная попытка зарегистрировать факты развеивания почвы. Присланные сообщения анализировал Б. Срезневский в своих «Обзорах погоды». Такую же работу провел в 1892 году С. Попруженко, обобщивший анкеты многих корреспондентов. В 1896 году на заседании ученого комитета министерства земледелия и государственных имуществ был заслушан доклад «О необходимости изучения метеорологического явления, известного под названием мглы или помохи». Ученый комитет отметил полную неизученность этого явления, придя к выводу, что мгла «представляет много темных сторон, и разъяснение последних желательно не только в научных целях, но и для практических соображений».

Однако никаких дальнейших публикаций по этому поводу не обнаружено вплоть до послереволюционных лет. Лишь в 1930 году С. О. Воробьев очень удачно применил регистрационно-статистический метод при изучении последствий сильной пыльной бури, возникшей на Украине.

Видную роль в изучении эрозии сыграли экспедиции, которые вели наблюдения, выезжая в дефляционные районы. В. В. Докучаев придавал таким экспедициям большое значение. Однако он впервые рекомендовал изучать влияние ветра на землю постоянно, в одном месте, стационарно. Этот способ плодотворно использовали Всесоюзный и Украинский научно-исследовательские институты агролесомелиорации.

Вред, причиняемый эрозией на старопашотных землях, велик, и они очень нуждаются в защите. Но ветры не развивают тут таких скоростей, как в Казахстане и степях Юго-Западной Сибири. Встречая на своем пути строения, сады и рощи, ветер теряет силу; к тому же почвы здесь значительно тяжелее, чем на поднятой целине. Супесчаные и легкосуглинистые каштановые почвы Казахстана оказались менее стойкими против эрозии.

За последние годы в Казахстане распаханно больше двадцати миллионов гектаров целины, в ближайшее время предстоит освоить еще шесть-семь миллионов гектаров. Рядом простираются целинные земли Алтая и Западной Сибири, и все они в большей или меньшей мере подвержены дефляции.

Тысячелетиями лежала целина под мощным покровом многолетних трав. Корни типчака и ковыля, густо переплетаясь, образовывали на почве плотную броню. Над степью гуляли свирепые ветры, но броня оставалась непроницаемой. И вот землю распахали, перевернули травяной пласт, уничтожили защиту. Через некоторое время после распахки, особенно при использовании дисковых орудий, почва измельчается, теряет комковатую структуру, превращается в пыль. Тут-то и поднимаются черные бури. Ветры, родившиеся где-нибудь у Каспия, мчатся без преград через весь Казахстан до Алтая, с каждой секундой увеличивая скорость, и насыщаются мелкоземом.

Книги, прочитанные в шортандинской библиотеке, и черная буря, увиденная воочию, приводили к несомненному выводу: для борьбы с эрозией у нас делается очень много, советские ученые начали борьбу против черных бурь на новых землях еще до того, как на целину пришли первые землепашцы, но работу эту можно — и необходимо — форсировать еще более. А главное, результаты, достигнутые учеными, нужно энергичнее и быстрее реализовать на практике.

Защитить степь от черных бурь можно лесными полосами. Мне приходилось бывать в совхозах и колхозах Кубани, на Ставропольщине, где с помощью искусственных лесонасаждений ветровая эрозия почти прекращена. Но можно ли ждать, пока в безводной, засушливой степи, на площади, равной десяткам миллионов гектаров, поднимутся деревья, способные остановить стремительные ураганы? Сколько надо потратить времени, денег, энергии на посадку, поливку, заботливый уход! При самых благоприятных условиях ощутимый результат получится лет через десять — пятнадцать.

Шортандинские ученые предлагают другой способ охраны земель — посевы зерновых по стерне. Этим методом пользуются канадские и американские фермеры.

Есть такое короткое английское слово «mulch». В Большой Советской Энциклопедии этот глагол объясняется так: «обкладывать корни растений соломой, навозом и т. п.». От этого слова произошел термин «мульчирование» — агротехнический прием, уменьшающий испарение влаги из почвы, защищающий поверхность почвы от размы-

вания и выветривания. Мульчу можно создавать гораздо быстрее, чем лесные полосы. Нераспаханная стерня является как бы естественной мульчей. Однако требуются еще систематические опыты и тщательные наблюдения, чтобы можно было с уверенностью сказать, насколько надежно сможет стерня защитить целину от черных бурь. Такие исследования ведет институт вместе со своими опытными станциями. Когда я впервые приезжала в Шортанды, часть опытов была закончена, но, к сожалению, мне не удалось их посмотреть. Командировка моя кончалась, и тогда я решила побывать в Казахстане осенью, когда станут закладываться новые опыты. Теперь целина уже не казалась мне — как поначалу, из окна вагона, — обжитым полем, где давно отгремели бои. Битва за хлеб продолжалась. Видно было, что она остается такой же напряженной, как и в первые годы освоения.

СПАСИТЕЛЬНАЯ СТЕРНЯ

Итак, осень. Снова Казахстан.

Вместе с начальником комплексной экспедиции Казахского института зернового хозяйства Сергеем Сергеевичем Сдобниковым мы отправляемся в поле. Лучи бесцветного солнца скользят по валкам скошенной пшеницы. Комбайны с подборщиками втягивают в себя мокрые, чуть присыпанные легкими снежинками стебли, и барабаны работают натужно, с перебойми, как бы захлебываясь.

Те, кому приходилось наблюдать уборку на целине, знают, что разгар косовицы нередко совпадает здесь с первым снегом. Тогда приходится нелегко: колоски полностью не обмолачиваются, влажное зерно подпревает на токах. Но что предпринять? Уборка, как и сев, запаздывает по сравнению с центральными областями на месяц и больше. Зерновые вызревают к концу августа. А осень на целине стремительная и ненастная...

Мы свернули на проселочную дорогу. Недалеко от комбайнов тракторы пахали зябь. Коричневые пласты земли ползли из-под отвалов.

Сергей Сергеевич с другими участниками экспедиции жил в дощатом вагончике на землях Красивинского совхоза. В соседних вагончиках помещались практиканты Тимирязевской академии — буйное молодое племя, которое по утрам высыпало на мороз в одних майках, плескалось у полевых рукомошников, в шутку обливая друг друга ледяной водой. Порою они забегали в вагончик научных сотрудников и, даже если никого там не заставали и попросить было не у кого, по студенческой привычке к обобществлению «уводили» во временное пользование термосы, примусы и прочий инвентарь кочевой жизни. Некоторые сотрудники злились, но Сергей Сергеевич смотрел снисходительно на беззабогную и фамильярную бесхозяйственность, присущую молодости.

Начальник экспедиции не так давно сам был студентом. Не так давно он прогуливался по Лиственничной аллее близ Тимирязевки, жил в общежитии, ездил на практику, как эти вот приехавшие с ним ребята, защищал диплом. Затем аспирантура, диссертация, ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук; теперь — Казахстан, целина, исследовательская работа. Сергей Сергеевич уже не первый год проводил опыты со стерней. Они показывали хорошие результаты. Параллельно подобные опыты велись и в других районах целинных земель.

Мы пришли на участок, выделенный экспедиции для исследований. Поле пестрело огромными, в несколько гектаров, прямоугольниками — на одних из них торчала высокая рыжая взлущенная стерня, другие темнели ровными полосами зяби, вспаханной по всем правилам — тяжелыми плугами с отвалами. На участке стоял наскоро срубленный навес. Под ним две девчухи в выцветших телогрейках — завитая светлоглазая хохотушка Лида и застенчивая, с туго заплетенными на затылке косичками Тоня — готовили к отправке образцы почв, взятые на опытных делянках, тех, что со стерней, и на контрольных, с зяблевой пахотой. Они наполняли небольшие стаканчики свежей землей, щелкали весами, запечатывали пробы и клали их в ячеистый ящик. Сергей Сергеевич уселся за стол, ножки которого, из грубых неотесанных жердей, были забиты глубоко в землю. Стул, сооруженный таким же образом, не отличался удоб-

ством, и Сдобников подложил на сиденье пук сена, не доеденный лошадью. Начальник экспедиции принялся писать жене. Письма сопровождали образцы почв, отправляемые для анализов в агрохимическую лабораторию института, которой жена заведовала, и торопливый рассказ о себе перемежался в этих письмах обильными цифрами и формулами. Впрочем, описание заложенных опытов и было самым точным рассказом о жизни Сдобникова...

Вечером мы собрались в вагончике. Посредине гудела добела раскаленная печка из листового железа. На кривых жердях между нарами сушились фланелевые портянки; от них несло потом и гнилыми болотными травами. Видно, владелец этих портянок на вечерней заре охотился на уток в камышах у реки. Теперь он сидел на нарах, поджав под себя ноги, и просматривал толстый журнал. Желтый свет керосиновой лампы освещал страницы, оставляя в густой тени лицо читавшего.

Некоторые обитатели вагончика укладывали чемоданы. Зимой на опытных участках объем работы сокращался, предполагались лишь небольшие наблюдения, поэтому изо всей экспедиции здесь должны были остаться всего три человека.

На зиму Сдобников и двое его товарищей перебрались из вагончика в дом на центральной усадьбе Красивинского совхоза. Они вставали ранним утром, становились на лыжи и отправлялись в поле.

На опытных участках, покрытых стерней, лежал глубокий плотный снег, его покров увеличивался каждую неделю. Ученые копали лунки, измеряли температуру и убеждались, что земля, согретая снегом, сумеет весной хорошо впитать талые воды. По-другому выглядели контрольные делянки, вспаханные осенью под зябь. Тут почва, едва прикрытая снежной коркой, рябила черными плешинами. Кое-где плешины курились пылью, над ними дрожали бурые облачка — эрозия давала знать себя и зимой. Показатели термометра тоже были неутешительны: земля промерзала глубоко и сильно, образуя крепкий, непроницаемый слой, — вешние воды будут долго скользпать по нему, не проникая внутрь и унося с поля живительную влагу...

Ранней весной в совхоз снова начали съезжаться сотрудники научной экспедиции. Приехал и академик Бараев. Наступила пора бурного снеготаяния. Наблюдения продолжались. Окончательные замеры показали, что глубина снега на участках, оставленных под весеннее лушение, достигает тридцати пяти сантиметров, тогда как на зяби с оборотом пласта толщина снежного покрова равнялась всего двадцати трем—двадцати четырем сантиметрам. Это означало, что во время таяния снега гектар земли, покрытой стерней, получит тысячу сорок семь кубических метров воды, а каждый гектар зяби — только семьсот семнадцать кубометров. Эти цифры совпадали с данными наблюдений разных лет, в разных местах, разных исследователей.

Картины степной весны со всей наглядностью подтверждали пользу стерни. По участкам зяби мчались широкие ручьи. Вешние воды уходили в овраги и реки. Они смывали плодородный слой почвы, образуя губительные промоины и вызывая таким образом еще одно бедствие — водную эрозию. А на квадратах, оставленных под лушение, образовались тихие заводи. Стерня задерживала талые воды, и они постепенно впитывались в грунт.

Провожая Бараева и Сдобникова к опытным делянкам, пуская лошадь вплавь через бурные потоки и прижавшись к седлу, с поджатыми ногами, я вспоминала свою жизнь в деревне, потом работу в сельхозотделе областной газеты. На память приходили собрания, где привычно говорили о подъеме глубокой зяби с оборотом пласта земли, выговоры председателям колхозов и директорам совхозов. И вот это правило, такое важное там, на западе, здесь подводило.

Как часто забывают иные, что сельское хозяйство не терпит шаблонов. Приемы, замечательные для одного района, вредны для другого. Легким почвам глубокая пахота под зябь с оборотом пласта приносит не пользу, а вред.

Отшумели вешние воды, и в Красивинском совхозе началась посевная кампания. Совхозные тракторы днем и ночью пахали землю тяжелыми многокорпусными плугами на глубину до двадцати семи сантиметров, бороновали поля, вспаханные осенью. А на опытных участках Сдобников и его товарищи по экспедиции сеяли пшеницу по-инному.

Осторожно, чтобы не повредить стерню, они лущили почву лемешными лущильниками и высевали на взлущенное поле зерно. Поле имело непривлекательный вид — всюду торчали стебли и солома. Казалось, как может на такой не по-хозяйски обработанной земле вырасти что-нибудь хорошее? Но пшеница дала прекрасные всходы и отлично укрепилась корнями в насыщенной влагой почве. Летом, в засуху, когда начались сильные ветры, поля, засеянные по глубокой вспашке с оборотом пласта, а особенно по зяби, беспрерывно клубились пылью. Пшеница поднималась здесь медленно. Во многих местах чухалье, истощенные борьбой с суховеями растения погибли, кое-где посевы выдуло совсем, вместе с землей. Рядом, на лущевке, пшеница осталась невредимой. Ее спасала стерня. Натыкаясь на сухие прошлогодние стебли, ветер снижал скорость с семи метров в секунду до четырех и не выдувал мелкозема. Старые корни тоже делали свое дело, укрепляя почву.

Итак, наблюдения экспедиции в Красивинском, как и опыты предыдущих лет, показали, что стерня согревает землю, щедро поит ее водой, укрывает от суховеев. Результаты всего этого опыта сказались осенью — на полях, вспаханных под зябь плугами с отвалами, каждый гектар дал девять-десять центнеров пшеницы, а гектар лущевки, мульчированной стерней, — по тринадцать-четырнадцать центнеров.

Превосходство безотвальной обработки отразилось и на главном показателе — себестоимости зерна. Об этом также свидетельствуют повторенные несколько раз опыты. В засушливый 1957 год один центнер пшеницы, собранной по зяби, вспаханной плугами с отвалами, обошелся хозяйству более чем в тридцать восемь рублей. Центнер пшеницы, выросшей на лущеном поле, стоил всего тринадцать рублей. В обычные, незадушливые годы разница себестоимости и урожая на отвальной пахоте и лущении не так велика, но все-таки очень значительна.

Безотвальная обработка почвы с мульчированием поля стерней оказалась выгодной во всех отношениях. Она сулит громадные прибыли нашему государству. Конечно, стерня требует от земледельца усиленной борьбы с сорняками. Но об этом дальше.

САМОЕ ГЛАВНОЕ

Прошлым летом ученый совет Шортандинского института зернового хозяйства обсуждал проблему ветровой эрозии. Первой выступала Галина Окунь — лесовод, молодая женщина с умными карими глазами, живо поблескивающими из-под толстых стекол очков. Многие из колхозных и совхозных агрономов, бригадиров, полеводов хорошо знали докладчицу. Она уже давно изучала влияние лесных полос на режим ветра в целинных степях. Докладчик соглашался с тем, что мульчирование поля стерней — дело выгодное. Однако и лесные посадки тоже принесут пользу. Пусть не сейчас, но через десяток лет они будут надежнее всего защищать поля от эрозии.

Правда, за последние годы, отмечала Окунь, в полезащитном лесоразведении немало напутано. Некоторые агролесомелиораторы рекомендовали целинникам сажать деревья широкими непродуваемыми полосами. Такие посадки приносили только вред. Густо насаженный американский клен, карагач, лох, желтая акация создавали на пути ветра плотный барьер. Казалось бы, все хорошо: ветер, задержанный лесом, снижает скорость, и земля защищена от выдувания. На самом же деле, поля между такими лесными полосами особенно подвергаются дефляции. Ветер, ударяясь о зеленую стену, создает «воздухопады».

Происходит это следующим образом. Воздушный поток, встретив препятствие, поднимается вверх, сжимается, на некотором расстоянии от полосы леса падает вниз, набирает при падении скорость и с огромной силой обрушивается на землю. Образуется зона завихрения с неблагоприятным микроклиматом, усиленным испарением и низкими урожаями.

На совещании в Шортанды кандидат биологических наук Галина Окунь убежденно отстаивала лесные полосы совершенно другого типа. Она рекомендовала узкие, ажурные, продуваемые ветром посадки, с широкими междурядьями, примерно в два с половиной метра, опущенные кустарником. Вихрь, набегая на такую полосу, просачивается сквозь нее мелкими струйками, снижает скорость и ослабляет вертикальный

поток воздуха. Возможность выдувания почвы значительно уменьшается. Между насаждениями создается хороший микроклимат, деревья меньше накапливают снега возле себя и отдают его полям. Такие полосы меньше страдают от снеголомов. Широкие междурядья допускают в течение длительного времени механизированный уход за посадками, сокращая затраты средств.

За рекомендациями, содержащимися в докладе, стоял большой и тщательно проверенный опыт. На основании опыта пересматривался и выбор древесных пород. Рекомендованные прежде американский клен, карагач, лох не годятся для целинных земель. Тут лучше приживаются местные породы: береза бородавчатая, лиственница сибирская, кое-где тополь; для опушек полос — ягодники: дикая степная вишня, шиповник, черная смородина, различные таволги...

После Галины Окунь выступил научный сотрудник Владимир Петрович Томилов. Он рассказал о своих опытах с гербицидами — химическими соединениями, которые без труда уничтожают заросли осота и других злостных сорняков. С давних времен существует целый комплекс машин, уничтожающих сорные травы. Но механический способ требует многократной обработки полей культиваторами, дисковыми бородами. Орудия эти измельчают и распыляют землю. Создается благоприятная среда для ветровой эрозии. Гербициды же уничтожают сорняки без рыхления грунта, сохраняя структуру почвы. Применение химии в земледелии расширяется с каждым годом. Постепенно многие почвообрабатывающие машины, предназначенные для уничтожения сорных растений, станут ненужными благодаря гербицидам, которым принадлежит огромное будущее. Применение гербицидов приобретает особую важность там, где практикуется посев зерновых по лущеной стерне. На сильно засоренных почвах без применения гербицидов такие посевы могут дать очень низкие урожаи. Помнить об этом необходимо.

На совещании много говорили о многолетних травах, о полосном земледелии и других важных средствах борьбы с эрозией. Но меня удивило, почему ничего не было сказано о безотвальной обработке почвы, о спасительной стерне. Во время перерыва я заговорила об этом с академиком Бараевым.

— Да, да, стерня — это самое главное. Самый быстрый и дешевый способ избавиться от ветровой эрозии. Но, как бы вам лучше объяснить... — академик поглядел по сторонам, будто ища поддержки у окружающих, — это проблема, уже фактически для нас решенная.

— Как решенная? — Я припомнила Александру Ивановичу цифры. В Акмолинской области в позапрошлом году засеяли по лущеной стерне семьдесят две тысячи гектаров, в прошлом году в десять раз больше, в нынешнем — около миллиона гектаров. Об этом можно говорить, как о самом начале. Но ведь в других областях сделано куда меньше. Миллионы гектаров целины обрабатываются по-старому. Мощные плуги, бесплодно поглощая силу тракторов и горючее, переворачивают пласт и дробят землю. Драгоценная стерня, спасающая поля от ветра, запахивается вглубь на двадцать пять — тридцать сантиметров. Далеко не всюду применяется даже давно одобренный полеводцами способ Мальцева — глубокая пахота безотвальными плугами, когда пласт грунта не оборачивается. Мальцевский метод не предусматривает сохранения стерни, но все же польза от него большая.

— Верно, — согласился Бараев. — Но для нас-то, для всех, кто присутствует на этом совещании, это вопрос решенный. Поначалу многие сеяли по стерне с опаской. А сейчас полеводы убедились, как важен такой посев. Спорить, дискутировать уже не о чем. Надо действовать. Действовать! — повторил он.

Услышав разговор, к нам подошел директор совхоза «Перспективный» — Иван Онуфриевич Печатников.

— Наш самый яростный поклонник стерни, — шутиливо представил его академик. — Вот объясни-ка, пожалуйста, товарищу, как идут у тебя дела с новой системой обработки почвы. Ведь ты непосредственный производитель зерна, лицо самое объективное.

Печатников поясняет несколькими словами:

— Нужны машины. Новые почвообрабатывающие машины! Дело за Министерством сельского хозяйства, за Госпланом СССР, за конструкторскими бюро заводов.

Потом Печатников подробно рассказывает о трудностях, которые приходится испытывать ему и другим целинникам.

Действительно, можно написать десятки хороших книг и статей о пользе стерни, принять отличные решения и постановления, а толку от этого будет мало. Чтобы обрабатывать землю по-новому, надо создать новые орудия. Сеять яровую пшеницу по стерне Иван Онуфриевич начал одним из первых. Для этого совхозная мастерская была превращена в своеобразное конструкторское бюро. Здесь механизаторы в домашних условиях приспособливали сельскохозяйственные машины для новой системы земледелия: клепали, паяли, варили, подбирали лапы культиваторов, пристраивали на лемешные лущильники деревянные ящики, сооружая таким образом примитивные буккерные сеялки. Может, небольшое хозяйство и обошлось бы таким инвентарем, но обработать им сорок тысяч гектаров трудно. Взрыхлить же и засеять миллион гектаров целины — совсем невозможно.

— Нужны новые машины! — говорят ученые, проводившие опыты со стерней.

— Нужны новые машины! — подтверждают агрономы, убедившиеся в полезности стерни.

— Нужны новые машины! — таково мнение колхозников, рабочих совхозов, партийных, советских и профсоюзных работников — всех, кому дорого будущее поднятой целины.

А новых машин пока нет.

На полях Казахстана работают плуги «П-5-35-ЦУ»¹ со стойкой для безотвальной вспашки, предложенной Т. С. Мальцевым. Плуг рыхлит землю, не переворачивая пласта, но все-таки уничтожает шестьдесят процентов стерни. Кроме того, он оставляет за собой высокие гребни земли, которые особенно подвержены выветриванию.

Коллектив Казахского научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства сконструировал для поверхностной обработки почвы рыхлители «ПР-75» (плуг-рыхлитель с захватом рабочего органа семьдесят пять сантиметров) и «ПР-Н-75» (плуг-рыхлитель навесной). Небольшие партии этих плугов выпустил алма-атинский завод «Двадцать лет Октября». Они испытывались на полях и неплохо показали себя в работе. Производительность рыхлителя на двадцать пять процентов выше плуга «П-5-35-ЦУ», затраты горючего на двадцать пять процентов меньше. При этом рыхлитель хорошо сохраняет стерню и оставляет за собою ровное, негребнистое поле.

Одесский завод имени Октябрьской революции создал навесной культиватор «КПЛ-3-1,5» (культиватор-плоскорез лапчатый, с тремя рабочими органами, каждый из которых имеет захват по полтора метра). При работе на парах этот культиватор подрезает все сорняки и сохраняет стерню. Целинники очень хорошо отзываются об этом плоскорезе.

Однако, чтобы пустить алма-атинский плуг и одесский культиватор в серийное производство, заводским конструкторам предстоит еще немало над ними поработать. Результаты испытаний с достаточной ясностью указывают направление для таких поисков.

Но если почвообрабатывающие машины хоть и чересчур неторопливо, но все же готовятся к выпуску, то с посевными дела обстоят совсем скверно. Их нет еще даже в проектах. А без сеялок новых образцов не обойтись — старые работают по стерне с большим трудом: их сошники забиваются соломой и ломаются.

Чтобы меньше распылять землю и лучше сохранить мульчу, сеялка должна одновременно выполнять два процесса: поверхностное рыхление грунта и посев. Преобразами этой сеялки могут стать буккеры, сделанные в мастерских некоторых целинных совхозов и в Шортанды.

В заводском производстве их нет.

На целине — в степи с так называемым недостаточным увлажнением — нужны и совершенно своеобразные машины, каких не знают хлеборобы старых земледельческих

¹ «П-5-35-ЦУ» — плуг пятикорпусный, целинный, усиленный, с захватом каждого рабочего органа 35 см.

районов. Казахские ученые и механизаторы конструируют сейчас лушилник для образования лунок. Он должен делать неглубокие ячейки-лунки, которые будут задерживать талые воды. Стремление оставить на поле побольше стерни требует новых культиваторов, катков для уплотнения земли после посева. Уже испытывался в полевых условиях опытный штанговый культиватор. Для прикатывания каждого рядка посева применялись экспериментальные кольчатые катки (широко известные гладкие катки ломают стерню).

Но эти опытные и экспериментальные образцы создаются пока лишь усилиями совхозных и колхозных рационализаторов — умных, рачительных хозяев, которые поняли преимущества посева по лущеной стерне. Рационализаторам кое-где помогают ученые местных исследовательских учреждений. Но промышленных образцов машин не существует, и серьезная конструкторская работа в этой области все еще не организована.

Вернувшись в Москву, я решила дознаться, кто же виноват в этом.

Звоню в ВИМ — Всесоюзный институт механизации сельского хозяйства. Ответают: «Работы идут хорошо, на днях готовим к отправке на испытания в целинных районах большой набор рабочих органов к основному почвообрабатывающему орудю — культиватору-плоскорезу».

ВИМ — крупнейшее в стране научно-исследовательское учреждение, призванное создавать и внедрять в совхозное и колхозное производство самую новую технику. Институт родился в те далекие годы, когда на деревенских улицах появились первые тракторы, окруженные толпами любопытных, недоверчивых мужиков. Он имеет свой экспериментальный завод. В ВИМе трудятся опытные специалисты. Разумеется, захотелось встретиться с ними, поговорить и своими глазами увидеть механизмы, которых с такой надеждой ждут целинники. Приезжаю в институт. Мне любезно показывают чертежи плоскорезов. Научные сотрудники предложили поставить ножи различной ширины на раму серийного плуга «П-5-35-ЦУ». Идея прекрасная. Она даст возможность скорее запустить плоскорез в массовое производство — заводы могут использовать станки, производящие пятикорпусные плуги.

Пока мы разглядываем рулоны плотного ватмана, все выглядит чрезвычайно утешительно, но я хочу потрогать руками ножи плоскорезов на экспериментальном заводе. Далеко идти не приходится, завод дымит трубами тут же, во дворе. И вот оказывается, что рабочие органы плоскорезов... не начали делать! Даже не приступили к заготовке деталей!

В эту пору на целине как раз шла обработка паров — самое подходящее время для испытаний плоскорезов на полях. Но испытывать было нечего.

С весны в институте шли споры, где вести испытания. На Кавказе, под Армавиром, находится хорошо оснащенная вимовская машиноиспытательная станция, а в Северный Казахстан надо ехать на голое место. Забросить опытные образцы на Кавказ тоже гораздо легче. Правда, машины создаются в основном для Северного Казахстана и лежащих поблизости районов целины, подверженных бурной ветровой эрозии. Но сторонники того, что полегче и попроще, убеждали, что испытания можно провести и под Армавиром, а работать машины все равно будут на целинных землях. Как ни странно, но в конце концов именно такая точка зрения одержала верх. Опытные орудия испытывались на Кавказе...

Итак, не узнав в ВИМе ничего утешительного для своих казахстанских друзей, я отправилась в Министерство сельского хозяйства СССР. Здесь успели примириться с затянувшимися обещаниями вимовцев и к проектам их относились скептически. Все надежды возлагались на Одесский завод имени Октябрьской революции. Мне сказали, что оттуда несколько часов тому назад отправили самолетом на Акмолинскую машиноиспытательную станцию два плоскореза. А ведь испытания плоскорезов можно было (и следовало) начинать и в прошлом году, и в позапрошлом, и даже раньше. Человеку, знакомому с сельскохозяйственной техникой, хорошо известно, как просты эти машины. Их конструкции не представляют сложности и не требуют длительной разработки. Стоило ли министерству тянуть два-три года с заданиями, чтобы потом ударяться в штурмовщину и использовать дорогостоящий транспорт!..

Сейчас конструкторские бюро некоторых заводов страны работают над созданием новых машин для целинных землеробов. Есть договоренность с кировоградским заводом «Красная звезда» относительно изготовления прессовых сеялок. Таганрогский завод должен выпустить первые пять комбайнов с разбрасывателями соломы (рассыпанная по полю солома — испытанный вид мульчи, предохраняющей землю от развевания). По заверениям Главной инспекции механизации и электрификации сельского хозяйства, весной нынешнего года в целинную степь выходят двести плоскорезов. Цифра пока еще невероятно мала по сравнению с миллионами гектаров поднятой целины. И если люди, от которых зависит выпуск новых машин, еще раз внимательно подсчитают, какой вред приносит нашим землям ветровая эрозия и какие прибыли несет хлеборобам посев зерновых по луценой стерне, они, безусловно, увеличат эти цифры и поторопят конструкторов.

* * *

Черные бури должны быть побеждены.

Как это сделать?

«Спасительная стерня» — это лишь частность. К тому же для одних мест она и в самом деле спасительна, для других же могут оказаться более полезными иные приемы обработки почвы. Значит, тщательное изучение местных условий необходимо тут прежде всего.

Внедрение новых машин, на которых мы остановились в конце, необходимо. Но и это лишь частность.

Вообще же борьба с ветровой эрозией — большой и сложный комплекс многообразных мероприятий. Тут вместе с агрономами должны потрудиться и мелиораторы, и лесоводы, и механизаторы. Надобно умно и энергично вводить специальные противоэрозионные севообороты, применять посевы многолетних трав и кулис, умело использовать полосное земледелие, сочетать посев по стерне с уничтожением сорняков — всего тут не перечислишь.

Наступление на черные бури нужно вести широким фронтом и всеми доступными средствами. Мы достаточно вооружены знаниями, чтобы заставить эрозию почвы отступить и не дать ей превратиться в бедствие.



С. КРАСИВСКИЙ

*Главный специалист по автоматике и телемеханике
Государственного научно-технического комитета
Совета Министров СССР*

★

УСПЕХИ АВТОМАТИЗАЦИИ

1

Автоматизация производства — одно из самых выдающихся и перспективных достижений современной науки и техники. Хотя отдельные автоматические устройства были известны уже давно, широкое применение их началось главным образом за последние десять — пятнадцать лет.

Сегодня можно уже обозначить основные факторы, благодаря которым внедрение автоматизации становится не только выгодным, но в некоторых случаях просто неизбежным. К ним относятся: необходимость более эффективного использования рабочей силы, оборудования, сырья, энергии, капитальных вложений; улучшение качества продукции; надежность и бесперебойность работы; охрана труда на производстве; появление новых методов производства, требующих особой точности.

Не только в Советском Союзе, но и во многих странах мира, в частности в США, Англии, Франции, Италии, ФРГ, Швейцарии, проблемам автоматизации уделяется все большее внимание. Изучением экономических аспектов автоматизации, которые особенно волнуют капиталистические страны, занимается сейчас Европейская экономическая комиссия ООН. В сентябре минувшего года в Женеве состоялось первое специальное совещание экспертов. Уже самый факт созыва совещания знаменателен — это лишний раз подтверждает громадное значение автоматизации.

Не так давно образована Международная федерация по автоматическому управлению (ИФАК), в которую входит большинство европейских стран, США, Япония.

Первый международный конгресс федерация решила провести в Москве с 27 июня по 7 июля этого года. Проведение конгресса поручено Национальному комитету СССР по автоматическому управлению, который входит в ИФАК. Конгресс будет проходить под девизом: теории — практическое применение, техническим средствам — максимальную надежность, автоматизации производства — максимальную эффективность.

Предстоящий конгресс вызывает исключительный интерес среди советских и зарубежных ученых и инженеров. В его работе примут участие представители тридцати стран. Уже представлено около трехсот докладов. Конгресс будет содействовать установлению более тесного сотрудничества между специалистами разных стран, работающими в области автоматики, телемеханики, вычислительной техники.

В Советском Союзе развитию автоматики в промышленности, на транспорте, на предприятиях связи придается большое значение. В решениях июньского (1959 г.) Пленума ЦК КПСС говорится, что Коммунистическая партия рассматривает комплексную механизацию и автоматизацию производственных процессов как основное средство технического прогресса, без которого невозможны высокие темпы дальнейшего роста производительности труда. Наряду с этим Пленум отметил: «В области автоматизации решается пока еще частная задача — автоматизация отдельных агрегатов, операций

и цехов. Работы сосредоточены в основном на автоматизации функций контроля за производством; автоматическое регулирование и управление производственными процессами не получило широкого применения».

Ошибочно думать, что автоматизация заключается в простом соединении существующих машин с приборами для изготовления точно таких же изделий, как и в производстве неавтоматизированном. Во многих случаях для наиболее эффективного использования всех преимуществ автоматизации необходимо вносить изменения не только в рабочие машины и в технологию производства, но даже и в форму, конструкцию изделия. Конструкторы, технологи, специалисты по автоматике должны создавать только такие типы новых высокопроизводительных и экономичных машин и аппаратов, в которых устройства управления и регулирования являются не механическими дополнениями, а органическими частями.

Наиболее благоприятные условия для широкого внедрения автоматизации создаются там, где установлен непрерывный поток продукции. Так, например, на новых непрерывных листовых станах листы прокатываются в виде длинных широких полос, сматываемых в рулоны (а не отдельными «карточками», как на старых станах). Благодаря этому скорость горячей прокатки в десять, а при холодной прокатке даже в двадцать—тридцать раз больше, чем при прежних способах. Электрические станции и сети высоко автоматизированы и телемеханизированы именно потому, что процесс производства и распределения электрической энергии является непрерывным.

Число подобных примеров должно быть увеличено в самых различных отраслях промышленности. Непрерывным процессом может управлять один человек или даже автоматическое устройство, например вычислительная машина.

Нам представляется, что соответствующая подготовка оборудования и технологических процессов — важнейшее условие успешного и широкого внедрения и развития автоматизации. Это — основная задача для созданного в прошлом году Государственного комитета Совета Министров СССР по автоматизации и машиностроению.

Очень важным является следующее обстоятельство. Обычно считают, что автоматизация требует больших капитальных затрат. Это верно только в тех случаях, когда речь идет об автоматизации уже действующих предприятий. Но утверждать, что вновь создаваемое автоматизированное предприятие всегда намного дороже, чем неавтоматизированное, было бы неправильным. Ведь за счет сокращения площади и кубатуры производственных и вспомогательных зданий, коммуникаций и других факторов можно в значительной мере или даже полностью компенсировать дополнительные затраты на автоматизацию. К сожалению, работа по методике определения эффективности автоматизации, проводимая в разных организациях Академии наук СССР, Госплана СССР и Государственного комитета по автоматизации и машиностроению, идет очень медленно.

В связи с этим хочется обратить внимание на один существенный вопрос. В соответствии с решением XXI съезда КПСС во всех отраслях промышленности должны быть созданы опытно-показательные предприятия, на которых будут осуществлены новейшие схемы комплексной автоматизации. Высокая технико-экономическая эффективность и наименьшие затраты могут быть при этом достигнуты лишь в случае, если такие предприятия будут взяты из числа строящихся или проектируемых. Между тем на практике происходит нечто иное.

Среди объектов, выбранных в качестве опытно-показательных, имеются старые предприятия металлургической, машиностроительной, нефтяной и других отраслей промышленности. Осуществление комплексной автоматизации на этих объектах связано с большими работами по замене и модернизации оборудования, аппаратуры и приборов, переделке коммуникаций и так далее. Такая, с позволения сказать, комплексная автоматизация — а фактически реконструкция — обходится чрезвычайно дорого и не может обеспечить быстрой окупаемости произведенных затрат. Рентабельная реконструкция старых предприятий, конечно, вполне целесообразна, но нельзя выдавать ее за новейшую автоматизацию. Выбор опытно-показательных предприятий и проектирование их комплексной автоматизации должны осуществляться с участием широкой научной и инженерно-технической общественности.

Нельзя умолчать и о том, что при существующих условиях не исключен разный подход к определению объема работ по комплексной автоматизации предприятий, поскольку, как ни странно, до сих пор еще не определено само содержание понятия «комплексная автоматизация предприятий», хотя это название часто фигурирует в различных планах и заданиях. Нет даже общепринятого определения термина «автоматизация». Но ведь каждому ясно, что вопрос об основной терминологии интересующей нас области имеет большое научное и практическое значение.

2

Замечательным достижением современной науки и техники является создание «накопительной информации», так называемых запоминающих устройств, которые служат одной из основных частей электронных вычислительных машин. Эти устройства, обладая большой быстродействующей «памятью», позволяют очень долго (до десятков лет) хранить записанную информацию.

Быстрота действия этих устройств исчисляется микросекундами или даже долями микросекунды, а информационная емкость составляет несколько миллионов двоичных единиц. Ведутся работы по созданию запоминающих устройств с быстродействием порядка тысячных долей микросекунды и емкостью в сотни миллионов и миллиарды двоичных единиц.

В Советском Союзе созданы и создаются счетно-решающие (называемые часто управляющими) машины для управления электростанциями и энергосистемами, химическими производствами, прокатными станами, доменными и сталеплавильными печами. Но программирование работы вычислительных машин не всегда возможно. Поэтому создаются такие машины, которые сами ориентируются в обстановке и в зависимости от обстоятельств перестраивают свою программу. Для этих машин достаточно составить общую ориентировочную программу и задать конечную цель (например, провести поезд к пункту назначения в такой-то срок при минимальном расходе топлива). Эти машины называются «самоорганизующимися» или «самонастраивающимися». Они должны не только перерабатывать вновь поступающую информацию, но и использовать при отыскании новых программ работы информацию, ранее накопленную в их «памяти».

3

В связи с автоматизацией возникла необходимость в телемеханической централизации контроля и управления. Как уже говорилось выше, наиболее широко телемеханика применяется в наших энергосистемах. В настоящее время диспетчерские пункты большинства энергосистем, в том числе диспетчерские пункты Центра, Урала и Юга, оборудованы устройствами телемеханики, при помощи которых осуществляется управление подстанциями и гидроэлектростанциями на расстоянии в десятки и сотни километров, измерение ряда электрических величин и так далее.

Возможность передавать при помощи телемеханических устройств все необходимые для контроля и управления технологическим процессом параметры в центральный диспетчерский пункт и стсюда же осуществлять управление производственными агрегатами, позволяет решать весьма многообразные и сложные задачи комплексной автоматизации.

При органическом соединении автоматизации и телемеханизации возникает так называемая телеавтоматизация. Это более высокая фаза автоматизации, значительно увеличивающая ее эффективность и позволяющая охватывать автоматизацией целые производственные системы с территориально разобщенными установками. Телеавтоматизация открывает возможности широкого применения в центральных пунктах управления вычислительных и логических устройств и перехода к совершенно новым и более эффективным способам управления.

Несомненно, что телеавтоматизация представляет собой основное направление развития техники автоматизации и телемеханики в ближайшие годы.

Расскажем кратко о сегодняшнем и завтрашнем дне автоматизации в некоторых важнейших отраслях промышленности.

На предприятиях машиностроения автоматизация производственных процессов получила наибольшее распространение пока лишь в цехах механической обработки металлических изделий и деталей машин. Здесь уже имеются простейшие виды комплексной автоматизации — автоматические линии, объединяющие целую группу машин-автоматов, связанных между собой автоматическими транспортными устройствами. Создаются цехи-автоматы, как, например, на Первом ГПЗ.

На предприятиях машиностроения сейчас работает несколько сот автоматических линий. В основном они построены на базе агрегатных станков, то есть таких, где все основные узлы независимы друг от друга и, как правило, не имеют между собой кинематической связи. Объединение узлов таких станков в единый цикл производится при помощи общей электросхемы.

Анализ трудовых затрат при массовом производстве показывает, что на механическую обработку идет от пятнадцати до тридцати пяти процентов времени. Остальное время затрачивается на другие технологические операции: штамповку, отливку, термообработку, сборку, окраску. Кроме того, значительное количество рабочих занято на заводах вспомогательными функциями: транспортировкой деталей, контролем, сушкой, консервацией, упаковкой. Объем этих работ весьма велик и на многих заводах доходит до семидесяти процентов трудовых затрат.

Стремление применить автоматические линии для обработки более широкого круга деталей и автоматизировать не только механическую обработку, но и весь процесс изготовления деталей привело к созданию комплексных автоматических линий.

В нашей стране уже создан ряд таких линий по производству автомобильных поршней, шариковых и роликовых подшипников, лемехов для плугов, болтов и гаек, валов электродвигателей, корпусов часов, велосипедных спиц, трикотажных игл, лезвий безопасных бритв и многих других изделий и деталей.

На таких линиях выполняются разнообразные технологические операции: литейные, кузнечно-прессовые, сварочные, штамповочные, механические и по термообработке, покрытию, мойке, сушке, сортировке, маркировке, консервации, упаковке, сборке.

На Выставке достижений народного хозяйства в павильоне «Машиностроение» установлена автоматическая линия из унифицированных узлов, предназначенных для обработки замка лопаток газовых турбин. Там же посетители могут познакомиться с комплексной автоматической линией производства вкладышей к режущим аппаратам сельскохозяйственных уборочных машин. Эта линия, рассчитанная на выпуск двадцати шести миллионов вкладышей в год, позволила увеличить производительность труда в семь раз и снизить себестоимость продукции в два раза.

На ВДНХ демонстрируется также автоматическая линия МР-107, созданная Станкостроительным заводом имени Серго Орджоникидзе. Эта линия получила на Всемирной выставке в Брюсселе главную премию. Линия производит полную обработку ступенчатых валиков с цилиндрическими, коническими и фасонными шейками. После соответствующей переналадки она может выпускать и многие другие детали. Такие линии обладают широкой универсальностью.

Весьма перспективными являются так называемые роторные автоматические линии, в которых достигается непрерывность технологического процесса. Их главными элементами служат рабочие и приемно-питающие роторы. На непрерывно вращающихся рабочих роторах, имеющих обычно цилиндрическую форму, размещаются инструменты и обрабатываемые изделия. Технологические операции производятся без остановки транспортного движения деталей.

На орехово-зубевском заводе «Карболит» разрабатывается проект автоматической роторной линии для изготовления изделий из пластмассы. При этом запроецированы такие показатели: производительность труда увеличится в пятнадцать раз, потребность в производственных площадях сократится в шесть раз. Окупится эта линия (стоимость ее составят примерно двести — двести пятьдесят тысяч рублей) всего лишь за четыре месяца!

В соответствии с решениями XXI съезда КПСС в машиностроении должно быть обеспечено значительное расширение механизации и автоматизации не только основных, но и вспомогательных работ (в первую очередь в литейном и кузнечно-прессовом производствах), введено в действие не менее тысячи трехсот автоматических линий, увеличится производство станков с программным управлением.

Такие станки, находящие все более широкое применение в СССР и за рубежом, представляют собой интереснейший вид автоматизации не только в машиностроении, но и в некоторых других отраслях промышленности. В станках используются схемы и узлы современных вычислительных машин.

Программа для управления станком, разработанная на основе чертежа изделия, которое предстоит изготовить, переводится на перфоленту или перфокарту. Вычислительное устройство определяет траектории движения режущего инструмента и записывает выработанные им команды на магнитную ленту или другое запоминающее устройство. В дальнейшем команды поступают на исполнительные механизмы, управляющие движением инструментов и рабочей части станка.

На Всемирной выставке в Брюсселе экспонировались пять металлорежущих станков с программным управлением, созданные Экспериментальным научно-исследовательским институтом металлорежущих станков. Все они спроектированы на базе моделей универсального металлорежущего оборудования без коренной его переделки.

Один из усовершенствованных промышленных образцов станка с программным управлением, построенный в этом институте, обрабатывает без непосредственного участия человека сложные детали машин, требующие высокой квалификации фрезеровщика. Соответствующий технологический процесс заранее определяется программой, которая наносится на кинолентку. Специальное устройство — так называемый шаговый двигатель — управляет работой всех частей машины. Пользуясь киноленткой, можно при осуществлении одной программы обработать тысячи деталей. Сигналы для управления операциями «считываются» с кинолентки при помощи фотоусилителей и направляются в узел электронного управления.

Коллектив одной нашей научно-исследовательской лаборатории электроавтоматики сконструировал самонастраивающийся токарный станок с программно-дистанционным управлением. Появилась возможность полностью автоматизировать подачу инструментов, корректировку резцов, проверку степени их износа и замену сработанных резцов новыми. Станочник (фактически он теперь оператор) может следить за процессом обработки детали, не отходя от пульта управления, на котором при помощи обычной установки промышленного телевидения можно видеть изображение резца на обрабатываемом участке.

В Московском технологическом институте создан фрезерный станок с программным управлением, предназначенный для обработки различных деталей сложной формы по данным чертежа или даже по математической формуле, выражающей кривизну поверхности изделия.

К 1965 году намечается изготовить не менее четырех тысяч станков с программным управлением.

Однако то, что мы рассказали об автоматизации в машиностроении, относится главным образом к методам обработки металлов резанием. Что же касается прочих производственных участков машиностроения — литейных, кузнечно-прессовых, сборочных, подъемно-транспортных и других, — то здесь автоматизация проводится пока слабо, и это причиняет немалый ущерб народному хозяйству. Например, из-за медленного внедрения наиболее прогрессивных и легко поддающихся автоматизации способов литья отход металла в стружку при обработке отливок составляет до двух миллионов тонн в год.

В машиностроении и в некоторых других отраслях промышленности большое значение имеет автоматизация технических измерений и контроля. Существующая система контроля качества продукции обеспечивает, как правило, лишь выявление брака, но не преследует цели устранить причины его возникновения. Из-за этого потери от брака

достигают громадной суммы, хотя контролеры составляют в среднем около одной пятой числа производственных рабочих. Необходимо поэтому смелее внедрять средства активного (управляющего) контроля, осуществляемого в процессе обработки и производства деталей и изделий.

Большой эффект дает автоматизация аналитического контроля на химических заводах. Опыт показывает, что один человек обычно обслуживает около двадцати анализаторов и тем самым заменяет примерно столько же лаборантов и отборщиков проб.

Достижения науки и техники позволяют создавать новые сложные приборы и средства автоматизации.

Существуют уже, например, приборы, при помощи которых можно видеть внутреннее строение любого непрозрачного материала или тела, в том числе и металла. В этих приборах невидимые проникающие излучения (инфракрасные лучи, ультразвуковые волны, рентгеновские лучи, гамма-лучи и другие) преобразуются в видимое изображение.

Применение радиоактивных изотопов позволяет контролировать уровни в закрытых сосудах и печах в металлургии, химии и других отраслях промышленности, определять толщину листовых материалов, качество сварочных и литейных работ, плотность растворов и пульп и так далее. Нужно сказать, что приборы, основанные на использовании изотопов, не нуждаются в контакте с измеряемой поверхностью или средой; это делает их незаменимыми при автоматизации контроля многих производств.

Интересные комплексно-автоматизированные предприятия и установки создаются в угольной, металлургической и других отраслях промышленности.

Прообразом шахт будущего с высоким уровнем механизации и автоматизации производственных процессов является шахта «Петровская-Глубокая» (Донбасс), проект которой уже разработан. Глубина этой шахты, самой глубокой в стране, составит тысячу четыреста метров, мощность — шесть тысяч тонн высококачественного коксующегося угля в сутки.

Четыре диспетчера и оператора, которые займут места у пультов на поверхности и под землей, заменят, по расчетам, не менее ста пятидесяти рабочих. В их распоряжении будут телевизионные установки, которые позволят управлять на расстоянии производственными процессами. Транспортный диспетчер с помощью высокочастотной радиосвязи сможет регулировать движение электровозов на внутришахтном транспорте. В каждой лаве новой шахты предусмотрено оборудовать контрольные станции, которые будут постоянно измерять количество опасного газа и передавать сигналы в диспетчерскую (сейчас десятки газометров наблюдают за составом воздуха в горных выработках). В руках диспетчера сконцентрируются нити дистанционного управления всеми стационарными установками, станцией дегазации, шахтной котельной.

Большая глубина разработок вызовет повышение температуры в горных выработках. Для охлаждения воздуха предусмотрены машины «искусственного климата». Полностью механизмируются процессы выемки, транспортировки угля и другие.

По такому же типу намечается строительство нескольких сверхглубоких шахт и в других угольных центрах экономического района.

Коллектив конструкторского бюро прокатного оборудования Уралмашзавода разрабатывает проект блюминга-автомата производительностью до четырех миллионов тонн проката в год. Этим агрегатом (его смело можно назвать заводом), включающим десятки сложнейших машин и механизмов, будет управлять всего один человек — с помощью программных счетно-решающих устройств, промышленных телевизионных установок и других современных средств автоматизации. Все технологические операции на проектируемом блюминге — от подачи слитка до выдачи готовой продукции — станут выполнять автоматы.

В течение семилетия завод решил выпустить не только блюминг-автомат, но также серию высокомеханизированных станков холодной прокатки автомобильного листа и жести. Они позволят увеличить выпуск холоднокатаного листа в стране в четыре раза. Из пятидесяти двух новых прокатных станков, которые вступают в строй за годы семилетки, тридцать девять поставит Уралмашзавод.

Машиностроители Ново-Краматорского завода приступили к изготовлению нового прокатного стана-слябинга «1150», предназначенного для Карагандинского металлургического комбината. В системе управления слябингом предусмотрена комплексная автоматизация всех основных производственных процессов. Это будет первый в мировой практике слябинг-автомат. Режимом прокатки металла — в зависимости от состояния непрерывно поступающих заготовок — будет руководить электронная счетно-решающая машина. Это позволит повысить производительность агрегата на двести пятьдесят тысяч тонн слябов в год, предохранит механизмы и машины от преждевременного износа, повысит качество продукции.

5

Богатые возможности открывает применение автоматики и телемеханики, а также вычислительной техники на железнодорожном, водном, воздушном и городском транспорте. Применение этих устройств осуществляется у нас не только для достижения высоких технико-экономических результатов, но и для значительного повышения безопасности движения.

Возьмем, к примеру, железнодорожный транспорт. Десятки тысяч станций, полустанков, платформ, разъездов, разбросанных на огромной территории, представляют собой сложнейшую комплексную систему, требующую предельной четкости действий каждого составляющего ее элемента. Эту четкость обеспечивают устройства автоматики и телемеханики.

Известно, что на железных дорогах широкое применение находит автоматическая блокировка, при которой показания светофоров изменяются в результате воздействия на сигнальные устройства самих движущихся поездов. Но и при автоблокировке может случиться, что машинист несвоевременно воспримет сигнал светофора — например, когда поезд следует в гористой местности, на крутых поворотах, во время сильного тумана или снегопада. В подобных случаях применяют непрерывную автоматическую локомотивную сигнализацию, при которой сигналы светофора воспроизводятся непосредственно в будке машиниста. На случай, если бы машинист своевременно не принял мер к торможению поезда при появлении запрещающего сигнала, локомотивную сигнализацию соединяют теперь с автостопом, который осуществляет принудительное торможение поезда.

Одним из основных видов железнодорожной автоматики и телемеханики является электрическая централизация стрелок и сигналов. Она представляет собой устройство для управления из одного пункта всеми стрелками и сигнальными приборами, расположенными на станции или в каком-нибудь ее районе. Электрическая централизация стрелок и сигналов ускоряет операции по определению маршрутов до пяти — десяти секунд вместо десяти — пятнадцати минут при ручном управлении.

Электрическая централизация стрелок и сигналов и автоматическая блокировка на перегонах позволяют применить так называемую диспетчерскую централизацию. Суть ее заключается в том, что все операции, связанные с приемом, отправлением и следованием поездов через промежуточные станции участка, проводятся при помощи телемеханических устройств одним диспетчером — без дежурных по станции и без стрелочников. При этом диспетчер, получая информацию о движении поездов, осуществляет перевод стрелок и управление сигнальными приборами. Протяженность участков, управляемых одним диспетчером, достигает ста километров и более.

И все же масштабы и темпы внедрения автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте пока недостаточны. В частности, речь идет о радиосвязи между поездами, а также о телевидении.

Автоматика и телемеханика применяются и на городском транспорте.

Интересная система контроля за движением автобусов разработана в Лондоне. Вдоль маршрута устанавливается ряд контрольных точек, на которых специальное фотоэлектронное устройство автоматически прочитывает номер каждого проходящего автобуса и передает этот номер на центральный пункт. Здесь он воспроизводится на щите диспетчера и регистрируется на карте.

В США разработано устройство для управления световыми сигналами на пересечениях городских улиц. На некотором расстоянии от перекрестка устанавливаются чувствительные элементы, воздействующие на автоматическое устройство, которое учитывает и запоминает число автомобилей и время их прибытия. Это позволяет отказать от регулировщиков и добиться более четкого и, если можно так выразиться, справедливого регулирования уличного движения.

Подобные работы ведутся и в нашей стране. На одном из перекрестков Невского проспекта недавно установлен светофор. Он самостоятельно, без вмешательства человека, решает, с какой стороны лучше в данный момент пропустить автомобильный транспорт. Делается это с помощью специального счетно-решающего электронного устройства. Сигналы к нему поступают с металлических шин, заложенных в мостовую на всех четырех направлениях, и постоянно осведомляют светофор о количестве направляющихся к перекрестку машин. Кибернетическому устройству остается сосчитать, с какого направления машин подошло больше, и включить для них зеленый свет.

Предполагается соединить все городские светофоры в единую систему, способную определять, на каком перекрестке, где и какой нужно дать световой сигнал. Применение электронной вычислительной техники во всех этих случаях обеспечит оптимальный результат и позволит транспорту передвигаться по городу с наименьшей потерей времени.

Не лишним будет напомнить читателям, что новейшие достижения отечественной автоматики и телемеханики явились одним из важнейших условий успешного запуска искусственных спутников Земли и космических ракет.

Уже из небольшого числа примеров новейших средств автоматики, телемеханики и вычислительной техники, которые мы привели, видно, какие прямо-таки захватывающие перспективы открывает применение автоматизации не только в области производства материальных благ, но и буквально во всех сферах человеческой деятельности.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. ВИНОГРАДОВ

★

ВО ИМЯ ЖИВЫХ

Прошло уже пятнадцать лет. У людей новые заботы, иные тревоги. Но все так же требовательно и четко живет в памяти прошлое. Годы Отечественной войны, годы великого народного подвига, годы долгого и трудного пути к победе. Мужество и страдания, миллионы и миллионы навсегда ушедших от нас дорогих и близких...

Слишком многое война заставила ощутить с новой силой. Слишком неотвратно приблизила она каждого к той черте, за которой во всей его огромной серьезности встает вопрос о цене и смысле человеческой жизни. Слишком много обнажила она нового, подчас неожиданного, и слишком много старого пришлось открывать для себя вновь, чтобы эти суровые годы не стали для каждого, кто их пережил, рубежом нового нравственного сознания. И чтобы духовные итоги этих лет не показались людям чрезвычайно важными для их будущей мирной жизни.

Таковыми они и были действительно.

Рядом со священной памятью о павших в этом, пожалуй, и состоит смысл и естественное оправдание тех настойчивых и непрерывных обращений к военной теме, которые до сих пор мы наблюдаем в нашей литературе — через пятнадцать лет после того, как отгремели последние победные залпы. Какую бы книгу о войне мы ни взяли — если только она настоящая, — она всегда продиктована ощущением важности духовного опыта тех лет для нашей сегодняшней жизни.

И при всемразнообразии, часто несходстве конкретных впечатлений, полученных теми или иными писателями на полях сражений, есть нечто такое, что объединяет их. То, что в самом корне отличает наше восприя-

тие войны от восприятия ее теми, чью исповедь, памятную нам по ранним романам Хемингуэя и Ремарка, называют исповедью «потерянного поколения». Мы помним, какой страшный удар нанесла первая мировая война по наивной вере мелкобуржуазной интеллигенции в человечность капиталистической цивилизации. Кровавый пожар, охвативший землю, заставил это потрясенное поколение отказаться от всякой попытки переделать мир. С презрением и в отчаянии отвернувшись от его бессмысленно звериного лика, оно попыталось найти последнее убежище для последних обломков своих верований в замкнутом внутреннем мире своего «я». Страшный опыт войны привел его к мысли, что «не обманывает только самое простое — тепло, вода, кров над головой, хлеб, тишина и доверие к собственному телу»; что тонкая сердечная нить, связывающая тебя с любимой женщиной, с немногими друзьями, — единственная подлинная ценность, и она стоит того, чтобы ради нее плюнуть на весь мир, который все равно не исправишь. Гуманизм утерять для «потерянного поколения» общественный смысл, стал всего лишь индивидуальной, личной нормой.

Этот нравственный итог войны и не мог быть другим: чтобы стать рядом с революционными силами на позиции общественной активности и брать у войны уроки гуманизма не только «для себя», но и «для всех», нужно было ощутить себя не затерянным одиночкой, а членом великого классового братства.

В этом и состоит коренная причина столь разного отношения к опыту войны со стороны героев «потерянного поколения» и героев нашей жизни и литературы. Конечно, многое здесь объясняет уже самый резко отличный

характер двух мировых войн. Война 1914—1918 годов перед судом гуманизма была действительно бессмысленным, алогичным кошмаром. Великие жертвы второй мировой войны были отданы во имя великой гуманной идеи — освободить мир от чумной заразы фашизма, от страшной перспективы стать грандиозным лагерем смерти.

Но дело не только в этом. Дело прежде всего в различном отношении к миру. Мы стремимся построить справедливейшее и гуманнейшее общество, построить коммунизм; мы верим в разум народа и его творческую силу. А потому и наш нравственный опыт войны, результатом каких бы тяжких испытаний он ни был, никак не мог привести к желанию отгородиться от всего мира в маленьком мирке личных радостей, особо остро оцененных за годы «окопной жизни».

Да, конечно, и наш герой неизмеримо полнее стал чувствовать счастье простых человеческих радостей — тепла, воды, крова над головой, тишины и голубого неба. И для него мир любви и дружбы раскрылся и глубже и шире, чем раньше. Но даже эти нравственные итоги не могли стать его личным приобретением без того, чтобы не был понят их общественный смысл, их применимость ко всем.

Всякое обращение нашей литературы к военной теме примечательно поэтому не только тем, что оно вызвано вопросами сегодняшнего дня. Оно примечательно и всегда гражданским, общественным характером этих вопросов. Не уроки для одиночек, а глубокие общественные ценности ищет наш художник в суровом опыте тех лет.

Все эти соображения возникают, когда, читая новый роман К. Симонова «Живые и мертвые», думаешь о его смысле и общественной значимости.

1

По внешней форме, по характеру построения это как будто бы традиционный психологический роман, повествующий прежде всего о судьбе одного, главного героя. Действительно, история политура Синцова составляет сюжетный стержень романа, и все, о чем бы ни рассказывал автор, так или иначе определяется тем, что видит, наблюдает герой, или тем, что происходит рядом с ним. Более того,

хотя действие романа охватывает всего лишь несколько первых месяцев войны, эта история героя настолько полна всяких превратностей, острых, неожиданных ситуаций, так богата событиями, что можно подумать — именно она-то и волнует писателя, именно в ней главный проблемный центр романа. В самом деле: герой узнает о начале войны в отпуске, на симферопольском вокзале. В прифронтовом городе у него осталась дочь, о судьбе которой он ничего не знает. Расставшись вскоре и с женой, он кочует по прифронтовым дорогам Белоруссии в поисках своей редакции; так и не найдя ее, начинает работать в другой армейской газете и в первый же корреспондентский выезд на фронт, в одну из дивизий, попадает вместе с ней в окружение; вместе с остатками этой дивизии пробивается к своим и тут же, в результате танкового прорыва немцев, снова оказывается в окружении; раненный в бою, теряет документы, партийный билет и попадает в плен; бежит из плена, переходит фронт уже под Москвой, чудом оказывается в самой столице в эти самые трудные дни подмосковных боев; так и не найдя в Москве своей редакции, после долгих мытарств сумев по счастливой случайности удостоверить свою личность, вступает в коммунистический батальон народного ополчения; едет на фронт как простой боец, воюет под Москвой, участвует в параде на Красной площади 7 ноября 1941 года и снова сражается — на этот раз уже в первых наступательных боях под Москвой...

Как видим, история и в самом деле достаточно драматичная, хотя, конечно, совсем не исключительная. Она действительно богата такими событиями, в которых может полно и необманчиво выявиться человеческий характер и которые, кажется, так сами и толкают автора на путь внимательного психологического анализа, пристального художнического интереса к внутренним переживаниям героя.

И все же, по мере того как читаешь роман, чем дальше, тем явственнее ощущаешь — нет, совсем не в герое тут дело. Об этом придется еще сказать подробнее. Но это важно понять с самого начала. Как ни парадоксально, но в романе, построенном на истории «сквозного» героя, именно он, этот герой, менее всего занимает автора.

Для понимания романа существенно как раз то, что герой нужен автору лишь как честный свидетель всего, что происходит рядом с ним. И что превратности его судьбы служат прежде всего нитью, связующей действительно важные для автора многочисленные и разнообразные картины первых месяцев войны, которые наблюдает его герой и ради которых, конечно, и написан роман. Это в нем главное.

В чем же смысл этих картин и какой авторской тревоге принесен в жертву основной герой романа?

Первая часть романа — это первые дни и недели войны, это Западный фронт, его передний край и прифронтовые дороги, по которым скитается Синцов в поисках своей редакции.

Это — время, когда внезапное нападение гитлеровских войск застало передовые части нашей армии врасплох, не подготовленными к отпору, не успевшими перевооружиться; это — время тяжелых поражений наших войск и ошеломляющих успехов врага, сразу же, в первые дни, захватившего огромную территорию.

Внезапность удара была такова, вспоминает маршал А. И. Еременко в своей книге «На Западном направлении», что немцы встретили на рубеже только пограничников — войска Западного округа находились «в гарнизонах и лагерях в 50—200 км. от границы». В результате этого в первый же день танковые части немцев «на ряде участков проникли в глубь нашей территории на 50—60 км. Связь между штабами и войсками была парализована, руководство частями и соединениями чрезвычайно затруднилось». Враг обладал большим численным превосходством (на главных направлениях — четырехкратным), огромным преимуществом в технике, особенно в авиации (на весь Западный фронт, вспоминает А. И. Еременко, к 1 июля 1941 года у нас было всего девяносто самолетов, из них двадцать девять истребителей). Стремительные удары немецких подвижных соединений рассекали не развернутые еще в боевые порядки советские части и вызывали огромные потери, особенно в технике. К началу июля гитлеровцы завершили окружение наших войск под Минском и продолжали рваться на восток — к Днепру. А «сил для отпора врагу, двигавшемуся из района Минска к Днепру, у нас фактически не было», — вспоминает А. И. Еремен-

ко. И лишь последующие бои в районе Могилева и Борисова «явились началом организованных действий наших войск, постепенно оправлявшихся от вероломного и внезапного удара немецких полчищ...».

Картинами, воссоздающими трагическую атмосферу этих дней, и открывается роман Симонова. Они следуют одна за другой с той беспощадной неумолимостью, с которой и в самой жизни обрушивалась на людей правда этой войны, такая ошеломляюще жестокая и неожиданная после привычной уверенности в том, что, конечно же, война развернется только на чужой территории и победа будет достигнута малой кровью.

И вот, вместо всего этого тот «совершенно очевидный беспорядок», когда никто не может сказать ничего толком, когда «в сводке написано о больших приграничных сражениях, а я еще три дня назад не мог попасть из Борисова в Минск»; когда спокойно подъезжаешь к Березине, уверенный, что бои идут за Бобруйском, на той стороне реки, и вдруг натыкаешься на немецкие танки; когда в политуправлении фронта ты можешь быть свидетелем такого разговора: «Где сейчас ваша редакция, к сожалению, не знаю, — сказал дивизионный комиссар, складывая билет пополам. — Признаюсь, пока еще не знаю даже, где и политотдел вашей Третьей армии. И вообще... — Кажется, он хотел сказать, что вообще не знает, где вся Третья армия, но не сказал этого, а только невесело улыбнулся. — Придется послужить здесь, у нас...»

И горькое чувство недоумения, какой-то кровной обиды, когда видишь, как идут и идут над тобой волны немецких самолетов, и спрашиваешь себя: «А где же наши?»... Но вот они показались — три краснозвездных ястребка, — и весь прифронтовой лес, переполненный такими же, как ты, не нашедшими своей части людьми, которые бросились сюда, потому что тут, оказывается, формируют роты и можно наконец получить винтовку и встать в строй, — весь лес начинает радостно кричать и размахивать руками, приветствуя долгожданных соколов. А еще через минуту ястребки возвращаются обратно, строча из пулеметов, и стоявший рядом с тобой пожилой интендант, снявший фуражку и прикрывшийся ею от солнца, чтобы получше разглядеть свои самолеты, падает, убитый наповал... А людям все еще кажется, что это

случайность, ошибка, и лишь когда в третий раз ястребки пронесются над самыми верхушками деревьев, они начинают понимать, что немцы успели уже где-то захватить наши самолеты, и весь лес начинает палить в воздух — стоя, полулежа, лежа, из винтовок, пулеметов, даже наганов...

И злорада, и бессилие, переворачивающие душу, когда на твоих глазах два «мессершмитта» спокойно и безнаказанно расстреливают одно за другим звенья наших ночных бомбардировщиков, идущих бомбить переправу, — их выслали без прикрытия истребителями, потому что прикрытия такого уже не было, да и вообще не было ничего другого, что можно было бы послать вместо этих беспомощных, тихоходных машин, горящих, как спичечные коробки...

Развернутые одна за другой горькие эти картины впечатляют не только как правдивое свидетельство предельно трудной обстановки на фронте в первые месяцы войны. Они раскрывают и всю меру огромной внутренней силы миллионов простых советских людей, которые не могли и не желали принять случившееся как нечто бесповоротное и непоправимое. Оттого-то, может быть, и действуют так сильно сцены, в которых К. Симонов рисует одну «из самых мрачных трагедий тех дней»: по дорогам и шоссе, ведущим к фронту, навстречу непрерывному потоку беженцев, шли с востока «молодые парни в гражданском, с фанерными сундучками, с дерматиновыми чемоданчиками, с заплечными мешками — шли мобилизованные, спешившие добраться до своих заранее назначенных призывных пунктов, не желавшие, чтоб их сочли дезертирами, шли на смерть, навстречу немцам. Их вели вперед вера и долг; они не знали, где на самом деле немцы, и не верили, что немцы могут оказаться рядом раньше, чем они успеют надеть обмундирование и взять в руки оружие...

Это была одна из самых мрачных трагедий тех дней — трагедия людей, умиравших под бомбежками на дорогах и попадавших в плен, не добравшись до своих призывных пунктов...»

К. Симонов снова и снова возвращается к этой теме внутренней стойкости людей в самых, казалось бы, тяжелых и безнадежных обстоятельствах. В горечи и злобе героев, обращенной и к врагу и к самим себе, допустившим такое, он верно видит

ростки истинной силы. Но для того чтобы воля к сопротивлению, жажда выстоять и перебороть случившееся смогли стать такой подлинной силой, нужно было понять до конца, что же происходит. Нужно было преодолеть пропасть между реальностью и иллюзиями. Именно в этом смысл той хватающей за сердце картины, которая дает почти символический образ душевной муки людей, не желавших примириться с отчаянием.

«...На узкой дамбе в толчее стоял громадного роста человек без фуражки, с наганом в руке. Он был вне себя и, задерживая людей и машины, надорванным голосом кричал, что он, политрук Зотов, должен остановить здесь армию и он остановит ее и расстреляет каждого, кто попытается отступить! Но люди двигались и двигались мимо политрука, проезжали и проходили, и он пропускал одних для того, чтобы остановить следующих, засовывал за пояс наган, брал кого-то за грудь, потом отпускал, опять хватался за наган, поворачивался и снова яростно, но бесполезно хватал кого-то за гимнастерку...»

Да, понять это было трудно, но и очень важно. Наверное, именно поэтому так настойчиво звучит и здесь и в других картинах романа тревожная мысль о несоответствии предположений и планов героев грозной правде действительности. Она звучит, словно настораживающее авторское предупреждение героям, словно призыв проснуться, — звучит до тех пор, пока на месте последних остатков мирного благодушья не приходят собранность и трезвость.

«Они оба еще до конца не понимали того, что в действительности уже сейчас, на четвертые сутки, представляла собой эта война, на которую ехал Синцов. Они еще не могли представить себе, что ничего, ровно ничего из того, о чем они сейчас говорили, уже долго, а может быть, и никогда не будет в их жизни: ни писем, ни телеграмм, ни свиданий...»

«Ни Синцов, ни Мишка, уже успевший проскочить днепровский мост и, в свою очередь, думавший сейчас об оставленном им Синцове, оба не знали, что будет с ними через сутки.

Мишка, расстроенный мыслью, что он оставил товарища на передовой, а сам возвращается в Москву, не знал, что через сутки Синцов не будет ни убит, ни ранен, ни поцарапан, а живой и здоровый, толь-

ко смертельно усталый, будет без памяти спать на дне этого самого окопа.

А Синцов, завидовавший тому, что Мишка через сутки будет в Москве говорить с Машей, не знал, что через сутки Мишка не будет в Москве и не будет говорить с Машей, потому что его смертельно ранят еще утром, под Чаусами, пулеметной очередью с немецкого мотоцикла. Эта очередь в нескольких местах пробьет его большое, сильное тело, и он, собрав последние силы, заползет в кустарник у дороги и, истекая кровью, будет засвечивать пленку со снимками немецких танков, с усталым Плотниковым, которого он заставил надеть каску и автомат, с браво выпятившимся Хорышевым, с Серпилиным, с Синцовым и грустным начальником штаба. А потом, повинаясь последнему безотчетному желанию, он будет ослабевшими толстыми пальцами рвать в клочки письма, которые эти люди послали с ним своим женам. И клочки этих писем сначала усыпят землю рядом с истекающим кровью, умирающим Мишкиным телом, а потом сорвутся с места и, гонимые ветром, переворачиваясь на лету, понесутся по пыльному шоссе под колеса немецких грузовиков, под гусеницы ползущих к востоку немецких танков...»

Да, суровые и жестокие картины эти действительно с беспощадной неумолимостью следуют одна за другой. Правда, чем дальше, тем все больше уступают они место иным картинам — картинам мужества, растущей организованности, собранности и силы. И это естественно, потому что так было и в жизни. Но если все-таки и до конца романа — и в памятный день шестнадцатого октября, когда Синцов оказывается в Москве и ему невыносимо видеть ее, как «бывает невыносимо видеть дорогое тебе лицо, искаженное страхом», и в дни, когда наши войска останавливают немцев на самых подступах к Москве, — если все-таки и в этих завершающих роман картинах продолжает звучать та же суровая и горькая нота, то и это ведь тоже потому, что так было в действительности.

Картины эти и рождают тот жгучий вопрос, который не может не мучить героев, — «почему так вышло?» Вопрос, который настойчиво звучит на протяжении всего романа.

Он встает перед героями в первые же дни войны, в поезде, где едет Синцов из отпуска в свою редакцию и где «большую

часть пассажиров составляли командиры и политработники Особого западного военного округа, срочно возвращавшиеся из отпусков в части.

...Каждый из них, порознь уходя в отпуск, не представлял себе, как это выглядит все, вместе взятое, какая лавина людей, обязанных сейчас командовать в бою ротами, батальонами и полками, оказалась с первого дня войны оторванной от своих, наверно, уже дравшихся частей. Как это могло получиться, когда предчувствие надвигающейся войны висело в воздухе еще с апреля, не мог понять ни Синцов, ни другие отпускники...»

Он не раз встает, этот тревожный вопрос, и в дальнейших сценах романа — и на передовой, и в тылу у немцев, и в московской квартире, где Маша, жена Синцова, разговаривает со старым рабочим, другом ее отца. И тот снова и снова требует ответа — не от нее, конечно: «Скажи мне, пожалуйста: ну что это за «внезапность» такая, про которую четвертый месяц только везде и талдычат? «Внезапность да внезапность!»

...Ты только мне не объясняй, что «перемелется — мука будет», — это мне понятно лучше, чем тебе, можешь не трудиться. Что из ямы как-нибудь вылезем — это ты меня не убеждай, на то мы и русские люди, на то у нас и Советская власть есть. А вот как в яму залезли, ты мне объясни. Вот что я понять хочу!»

Этот неизбежный вопрос задают себе самые разные люди. Они только по-разному его осознают — в зависимости от меры того, что они знают и понимают. Одно дело, скажем, старик Попков, который обращает свой гнев на военных: «Почему не доложили товарищу Сталину?» Другое дело — генерал Серпилин, который знал Сталина давно и не мог поверить, что ему не докладывали, «не мог без насилия над собой представить, как такого человека можно было обмануть, обвести вокруг пальца, против его воли заставить делать что-то, чего он не хотел делать сам». И потому он выражает это горькое недоумение, может быть, наиболее четко и определенно, когда, пользуясь правами старой дружбы с заместителем начальника генерального штаба, он прямо, в лоб спрашивает его все о том же:

«Слушай... Ты на этом же самом месте накануне войны сидел. Скажи мне: как

вышло, что мы не знали? А если знали, почему вы не доложили? А если он не слушал, почему не настаивали? Скажи мне. Не могу успокоиться, думаю об этом с первого дня на фронте. Никого не спрашивал, тебя спрашиваю...»

«Спроси чего полегче!» — вдруг стукнув кулаком по столу, сказал Иван Алексеевич, и глаза его на секунду стали злыми и несчастными.

Серпилин не сробел перед этими глазами, он хотел спросить еще, но Иван Алексеевич остановил его, прижал его руку к столу и сказал решительно, почти грозно: «Молчи! Врать не хочу, а отвечать не могу!..»

Автор не принуждает своих героев к тому, чтобы они непременно ответили на этот мучительный, терзающий их вопрос. И правильно — это было бы насилием над исторической достоверностью, нарушением художественной правды. То, чего не понимали и не могли понять герои романа, стало прорисовываться лишь значительно позднее.

Но роман написан не в 1941, а в 1959 году. Самый этот факт не мог, разумеется, не определить каких-то иных контуров решения проблемы, чем те, которые соответствовали уровню сознания людей сорок первого года. И дело тут не только в общем ответе, который явственно сквозит уже в том, как формулируют герои свои вопросы. Этот ответ ясен современному читателю, который знает, что «опоздание с распоряжением о приведении войск в боевую готовность, — как пишет маршал А. И. Еременко, — связано с тем, что И. В. Сталин... верил в надежность договора с Германией и не обратил должного внимания на поступавшие сигналы о подготовке фашистов к нападению на нашу страну, считая их провокационными. Сталин полагал, что Гитлер не решится напасть на СССР по крайней мере в ближайшее время. Поэтому он не давал в нужное время согласия на проведение срочных и решительных оборонительных мероприятий, опасаясь, что это даст повод гитлеровцам для нападения на нашу страну».

Сегодняшнее «происхождение» романа дает о себе знать (помимо этого общего вывода, столь очевидного в наше время) и в том, что целый ряд картин романа невидимо для героев, но вполне ощутимо для читателя обнаруживает свою несомненную внутреннюю связь с этой важной проблемой.

Одна из таких картин, может быть самая яркая, — сцена смерти генерал-лейтенанта Козырева, командующего истребительной авиацией округа. В предсмертных думах и терзаниях этого героя раскрывается человеческая трагедия, не столь уж исключительная для тех дней...

«...Он считал, что лежит на территории, занятой немцами, и со злобой думал о том, как фашисты будут стоять над ним и радоваться, что он мертвый валяется у их ног, он, человек, о котором, начиная с тридцать седьмого года, с Испании, десятки раз писали газеты! До сих пор он гордился, а порой и тщеславился этим. Но сейчас был бы рад, если бы о нем никогда и ничего не писали, если б фашисты, придя сюда, нашли тело того никому не известного старшего лейтенанта, который четыре года назад сбил свой первый «фоккер» над Мадридом, а не тело генерал-лейтенанта Козырева...»

Он впервые в жизни проклинал тот день и час, которым раньше гордился, когда после Халхин-Гола его вызвал сам Сталин и, произведя прямо из полковников в генерал-лейтенанты, назначил командовать истребительной авиацией целого округа. Сейчас, перед лицом смерти, ему некому было лгать: он не умел командовать никем, кроме самого себя и своей эскадрильи, и стал генералом, в сущности оставаясь старшим лейтенантом. Это подтвердилось с первого же дня войны самым ужасным образом, и не только с ним одним. Причиной таких молниеносных возвышений, как его, были безупречная храбрость и кровью заработанные ордена. Но он не знал, как другим, а ему генеральские звезды не принесли умения командовать тысячами людей и сотнями самолетов...

Он вспоминал о том, с какой беспечностью относился к тому, что вот-вот начнется война, и как плохо командовал, когда она началась. Он вспоминал свои аэродромы, где половина самолетов оказалась не в боевой готовности, свои сожженные на земле машины, своих летчиков, отчаянно взлетающих под бомбами и гибнувших, не успев набрать высоту. Он вспоминал свои собственные противоречивые приказания, которые он, подавленный и оглушенный, отдавал в первые дни, мечась на истребителе, каждый час рискуя собственной жизнью и все-таки почти ничего не успевая спасти...»

Да, это действительно настоящая трагедия, и трагедия не одного только Козырева. Сцена эта вызывает на раздумья и открывает очень важные для понимания романа жпзненные явления. Она объясняет, конечно, в какой-то мере, почему происходило то, что происходило не только с аэродромами Козырева.

Раздумья других героев романа обнаруживают перед нами и иные, принадлежащие к той же цепи факты и явления действительности, внутренне связанные с тревожащими их вопросами. Эта связь, повторяю, отнюдь не всегда видна самим героям, и К. Симонов отнюдь не совершает здесь никакого насилия над исторической достоверностью, не заставляет героев проявлять какую-то чрезмерную прозорливость. Просто в личном опыте каждого из них оказываются, естественно, и такие впечатления, события, факты, внутренний смысл которых выявляется именно для современного читателя. Он так же разнообразен, этот опыт, как различны сами герои.

Генерал Серпилин, например, думая о перетрусившем полковнике Баранове, который показал себя как последний подлец и шкурник, вполне естественно и закономерно вспоминает о том времени, когда он вместе с ним работал в академии: «Преподавая в академии, Баранов готов был сегодня поддерживать одну доктрину, а завтра другую, называть белое черным и черное белым. Ловко применяясь к тому, что, как ему казалось, могло понравиться «наверху», он не брезговал поддерживать даже прямые заблуждения, основанные на незнании фактов, которые сам он прекрасно знал. Его коньком были доклады и сообщения об армиях предполагаемых противников; выискивая действительные и мнимые слабости, он угодливо замалчивал все сильные и опасные стороны будущего врага».

Старый рабочий Попков, ощущающий свою кровную принадлежность к тому великому классу, который впервые в истории Конституция провозгласила носителем государственной власти, думает о происшедшем, естественно, именно с этой точки зрения: «Было когда такое, что надо на Красную Армию, а народ бы не дал?..

А теперь я так понимаю, что не все у Красной Армии есть, чему надо быть!.. А теперь я спрашиваю и прошу за это к ответу: а почему же нам не сказали? Да,

я бы на самый крайний случай и эту квартиру отдал, в одной комнате прожил, я бы на восьмушке хлеба, на баланде, как в гражданскую, жил, только бы у Красной Армии все было, только бы она с границы не пятилась... Почему не сказали по совести? Почему промолчали?»

А журналист Синцов, имевший, так сказать, некоторое отношение к печатному слову и художественной литературе, испытывает, понятно, вполне естественную ярость, вспоминая «прочитанный два года назад роман о будущей войне, в котором от первого же удара наших самолетов сразу разлетелась в пух и прах вся фашистская Германия. Этого бы автора две недели назад на Бобруйское шоссе!..»

Но, может быть, гораздо важнее даже и не эти обращения к прошлому. Есть в романе и сцены, где людям, перетерпевшим за первые дни войны столько, сколько другим не выпадает на целый век, приходится уже не в воспоминаниях, а наяву сталкиваться с тем все еще живущим прошлым, не без содействия которого сложилось их нелегкое настоящее.

Может быть, именно в этом самый важный смысл той темы доверия к человеку, которая звучит не только в связи с несчастьем Синцова, утратившего партбилет, но и гораздо шире в других картинах романа. И которая так точно обозначена в злых раздумьях комиссара Шмакова: «Эх, дорогой товарищ, мы с вами в последнее время слишком часто и слишком рано начинали думать, что человек не внушает доверия, а потом слишком поздно спохватывались, что он все-таки внушает его!»

Может быть, именно в этом самый важный и общий смысл той трагической сцены, когда под огнем прорвавшихся немцев погибает вышедший из окружения и направленный на переформирование полк Серпилина, разоруженный перед этим уполномоченным Особого отдела майором Даниловым. «Не дай бог никому в последние минуты перед смертью видеть то, что увидел Данилов, и думать о том, о чем он думал. Он видел метавшихся по дороге, расстреливаемых в упор немцами безоружных, им, Даниловым, разоруженных людей. Только некоторые, прежде чем упасть мертвыми, делали по два, по три отчаянных выстрела, но большинство умирало безоружными, лишенными последней горькой человеческой радости: умирая, тоже убить».

Читатель видит, что все эти картины и сцены действительно ведут к той проблеме, которую ставит автор своим изображением первых недель войны. Они воспринимаются нами как художественные фрагменты, раскрывающие те или иные стороны нашего общего знания, возникшего в ходе больших общественных событий последних лет. Мотивы тревоги и недоумения, пронизывающие весь роман, правомерны и неизбежны, как правомерны и неизбежны и те картины, которыми начинается повествование. Без художественного осмысления причин и следствий столь тяжелого для нас начала войны невозможно было бы раскрыть все величие и всю меру подвига, совершенного народом и партией, меру исторического значения жертв, которые были принесены в эти первые, самые тяжкие месяцы смертельной схватки с фашизмом. Не показав до конца все то, через что пришлось пройти, что довелось вытерпеть, что выпало преодолеть народу, невозможно художественно раскрыть его историческую роль, художественно утвердить ту великую и простую истину, что именно он — решающая сила истории. Ведь в том-то и дело, что, хотя миллионы людей не были готовы к тому, что произошло, все-таки «страшная тяжесть первых дней войны не смогла раздавить их души». И хотя в первые дни «эта тяжесть многим из них показалась нестерпимой... они же сами потом и вытерпели ее».

И как художник и просто как человек, как гражданин, К. Симонов сумел почувствовать глубокую необходимость этих картин. Сумел понять, как органически слиты они с темой великого народного подвига.

2

Эта тема начинает звучать уже с первых страниц повествования, развиваясь как бы изнутри тяжелых сцен отступления и все более и более определяя главный смысл романа. Она явственно обозначается уже в тот памятный для Синцова день на Бобруйском шоссе, когда он, оглушенный только что разыгравшейся на его глазах трагедией с ночными бомбардировщиками «ТБ-3», не успев еще прийти в себя от неожиданного появления на шоссе немецких танков, натывается вдруг на позиции нашей танковой бригады, только что вышед-

шей из окружения и сейчас вновь готовой встретить врага. И впервые за все эти дни он видит вдруг спокойствие, собранность и организованность людей, которые выполняют свой воинский долг и чувствуют себя вполне уверенно, зная, что делают то самое дело, которое они и должны делать. Ту же собранность и уверенность он видит и в полку Серпилина, который в своем первом бою под Могилевом не дрогнул, а сумел уничтожить тридцать девять немецких танков. Когда Мишка Вайнштейн, московский фотокорреспондент, вместе с Синцовым приехавший в расположение полка за материалом для газеты, наивно удивляется, почему снято зенитное прикрытие с моста, по которому, может, придется отступать, Серпилин зло обрывает его: «Не придется... Не для того солдат роет окоп, чтобы оставлять его по первому требованию противника. История старая, хотя ее и забывают: роют, роют, а потом... Он (Серпилин.— *И. В.*) десять дней и десять ночей укреплялся не за страх, а за совесть, его полк хорошо дрался вчера и должен был хорошо драться и впредь, он верил в это и считал, что у других должно быть так же, тогда и будет выиграна война».

Изображение растущего воинского умения и дальше определяет главное содержание тех картин, в которых автор показывает крепнувший отпор врагу. Очевидно, такой угол зрения не случаен для К. Симонова, которого так давно привлекала военная тема, который издавна был неравнодушен к «военной косточке» и которому всегда были близки чувства, мысли, самый склад природы светских военных людей.

Оттого-то, видимо, показывая растущий отпор немцам, автор и уделяет больше всего внимания именно тому, как постигалось нами трудное искусство воевать, как выковывались военные навыки в людях. Даже в тех узких пределах, в которых проследживает К. Симонов духовный процесс, раскрывает психологию героев, он выделяет прежде всего формирование именно этих необходимых для военного качества — смелости, собранности, организованности, умения командовать людьми. Это относится и к Синцову и к другим героям романа. Именно с этой точки зрения раскрывает К. Симонов образ одного из ведущих героев романа — генерала Серпилина. Вернувшись после нескольких лет вынужденного отсут-

ствия в строй, он проявляет себя как настоящий военный человек, командир, в котором раскрываются и формируются незаурядные качества будущего крупного полководца. Именно с этой точки зрения показаны и комиссар Шмаков, которого военная судьба превращает из глубоко штатского человека, профессора философии, в боевого командира, и политрук роты Малинин, в прошлом партийный работник.

Тем самым К. Симонов выявляет действительно очень характерный для первых месяцев войны процесс, когда в ходе ожесточенных боев отступления выковывались новые командирские кадры, сумевшие в эти трудные дни проявить мужество, принять на себя ответственность за судьбы людей, повести их за собой. Тот процесс, который был одним из важнейших условий организации настоящей отпора врагу и нашей будущей победы,— процесс, характерный и для высшего командного звена. («Наши командармы совсем недавно были командирами дивизий,— вспоминает А. И. Еременко,— и им приходилось учиться сложному делу руководства крупными объединениями в ходе ожесточенных боев».) Эти новые командные кадры выдвигались самой логикой войны, жестокой необходимостью считаться со смертельной опасностью, которую нужно было преодолевать. Когда нужно было как можно скорее ликвидировать то «неверие в свои силы и ожидание чего-то неожиданного, чудесного», которое «было воспитано продолжительным господством культа личности» и отличало действия определенной части нашего командного состава в начале войны. «Люди, в том числе и довольно солидные руководители,— продолжает А. И. Еременко,— считали, что все сколько-нибудь принципиальные решения придут сверху в готовом виде... Командиры подразделений подчас ждали, как решит командир части, тот ждал решения командира соединения и т. д...» «Все это очень мешало нам в первые дни войны, когда требовалось порой малыми силами занимать и удерживать рубежи».

К. Симонов показывает этот процесс далеко не полно, самое большее — в масштабах дивизии. Но здесь важен уже самый угол зрения. Он-то и позволяет всей этой «военной линии» стать органическим, а в романе даже определяющим мотивом более широкой темы — подвига партии и народа.

Народа, давшего в ходе войны немало талантливых командиров.

Но, разумеется, полное раскрытие этой темы народного подвига невозможно без непосредственного изображения мужества, героизма тех, кто умел не дрогнуть перед немецкими танками, кто своим телом преграждал дорогу бешено рвущимся в сердце страны немецким полчищам,— мужества, которое до сих пор удивляет весь мир. И здесь образы коммунистов Синцова, генерала Серпилина, комиссара Шмакова, командира танковой бригады Климовича, политрука Малинина — людей несомненно личного мужества — только лишь часть того более широкого и значительного полотна, которое необходимо для художественного решения этой темы. К. Симонов не может этого не чувствовать. И если ему не удастся все же дать до конца полное и глубокое художественное решение, то не потому, что он неотчетливо представляет себе истинную роль народа в тяжелые годы войны. Те, правда не очень многочисленные, картины романа, в которых выражено это представление, свидетельствуют о верной и достаточно определенной авторской позиции.

Есть в романе сцена, имеющая в этом смысле принципиальное, почти символическое звучание. Это рассказ о том, как прорывались из окружения остатки дивизии Серпилина и как танковая бригада Климовича, перед позициями которой это происходило, помогла прорыву. «Климович положил трубку и, не теряя времени, стал готовиться к атаке: снова брал трубку, говорил с командирами батальонов, отдавал приказания, а бой впереди все гремел и гремел, передвигаясь то влево, то вправо, то подаваясь вперед, то тревожно отдаляясь. Нет, это не могло быть провокацией: там, в восьмистах метрах отсюда, между первой и второй линией немецких позиций, двигались, умнрали, прорывались и откатывались назад люди, со всех сторон обжатые тоже двигавшимся и с каждой минутой все уплотнявшимся кольцом немецкого огня. Казалось, там, между немецкими позициями, металось живое кровоточащее сердце, которое со всех сторон колотило вспышками выстрелов, протыкали автоматными очередями, рвали минометными залпами...

И когда это израненное, изорванное сердце там, посреди немецких позиций, по-

следним отчаянным кровавым толчком толкнулось вперед еще на двести метров к передовым линиям немецких окопов, а восемь танков «БТ-7» и полтораста бойцов разведбата рванулись ему навстречу, в темноту, на немецкие позиции, это была не просто смелая ночная атака, а согласное и непреклонное душевное движение всех людей, составлявших поредевший в долгих боях разведывательный батальон»...

Этот необычный у Симонова, открытый, лирический образ сердца — израненного, изорванного, но упрямо быющегося, все вынесшего сердца народа — и есть та суровая и чистая нота, которая звучит в авторском повествовании о мужестве простых советских людей и определяет весь его смысловой и эмоциональный тон.

Это сердце народа — в той обаятельной маленькой докторше, в той маленькой русской женщине, о которой очень сжато, всего лишь «попутно» рассказывает автор, но образ которой надолго врезается в память, вызывая нежность и удивление. Ведь это же святая правда, что все, что с ней произошло и что приходилось ей делать, она воспринимала как нечто само собой разумеющееся! Она кончила зубоврачебный институт, и, когда стали брать комсомольцев в армию, она, конечно, пошла. Во время войны никто не лечил у нее зубы, тогда она из зубного врача стала медсестрой, «потому что нельзя же было ничего не делать!». «Когда при бомбежке убило врача, она стала врачом, потому что надо было его заменить, и сама поехала в тыл за медикаментами, потому что необходимо было достать медикаменты: их осталось в полку совсем мало. Когда же в деревню, где она заночевала, ворвались немцы, она, конечно, ушла оттуда вместе со всеми, потому что не оставаться же ей с немцами! А потом, когда они встретились с немецким дозором и началась перестрелка, впереди ранило одного бойца, он сильно стонал, и она попыталась перевязать его, и вдруг прямо перед ней выскочил большой немец, и она вытатила наган и убила его. Наган был такой тяжелый, что ей пришлось стрелять, держа его двумя руками...»

Это сердце народа — и в тех пяти солдатах-артиллеристах, встреча с которыми так потрясла Серпилина, — пробиваясь из окружения со своим орудием, они шли от самого Бреста...

«Серпилин смотрел на артиллеристов, со-

ображая, может ли быть правдой то, что он только что услышал. И чем дольше он на них смотрел, тем все яснее становилось ему, что именно эта невероятная история и есть самая настоящая правда...

...Пять почерневших, тронутых голодом лиц, пять пар усталых, натруженных рук, пять измочаленных, грязных, исхлестанных ветками гимнастерок, пять немецких, взятых в бою автоматов и пушка, последняя пушка дивизиона, не по небу, а по земле, не чудом, а солдатскими руками перетащенная сюда с границы, за четыреста с лишним верст...

— На себе, что ли? — спросил Серпилин, проглотив комок в горле и кивнув на пушку.

Старшина ответил, а остальные, не выдержав, хором поддержали его, что бывало по-разному: шли и на конной тяге, и на руках тащили, и опять разживались лошаадьми, и снова на руках...»

Это, несомненно, одна из наиболее сильных и емких сцен романа. Но есть в нем и другие образы, другие сцены, продиктованные тем же волнением. Именно эти сцены и образы, пусть не всегда одинаково яркие и впечатляющие, определяют, в сущности, подлинный пафос романа. Трудно переоценить в этом смысле их значение, как трудно переоценить ту роль, которую сыграло мужество миллионов простых советских людей в годы войны. Не признанием ли этой решающей роли было обращение Сталина к народу 3 июля 1941 года? И тот известный тост в честь русского народа на кремлевском приеме в 1945 году, когда Сталин сказал о его ясном уме, стойком характере и терпении, о том, что «у нашего правительства было не мало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941—1942 годах, когда наша армия отступала», но народ не сказал правительству: «вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой», а пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии.

Это и объясняет, почему изображение мужества партии и народа в романе К. Симонова, наполненное тревожной атмосферой сорок первого года, не могло не стать решающим для всего идейного содержания романа. Оно определило его главную мысль, его пафос. Мысль, которая, пожа-

луй, наиболее полно и четко звучит в обобщающих размышлениях самого автора: «И он и Золотарев думали в эту ночь, что оставшаяся далеко в тылу у немцев Вязьма уже давно взята. Наверное, им обоним, не смотря ни на что, все-таки было бы легче знать то, что происходило там на самом деле. Кольцо вокруг Вязьмы и в эту ночь все еще сжималось и сжималось и никак не могло сжаться до конца; наши окруженные войска погибали там в последних отчаянных боях с немецкими танковыми и пехотными корпусами. Но именно этих самых задержавшихся под Вязьмой корпусов через несколько дней не хватило Гитлеру под Москвой.

Трагическое по масштабам октябрьское окружение и отступление на Западном и Брянском фронтах было в то же время беспрерывной цепью поразительных по своему упорству оборон, которые, словно песок, то крупинками, то горами сыпавшийся под колеса, так и не дали немецкому бронированному катку с ходу докатиться до Москвы...»

«...Он не знал и не мог еще знать в ту ночь полной цены всего, уже совершенного людьми его полка. И, подобно ему и его подчиненным, полной цены своих дел еще не знали тысячи других людей, в тысячах других мест, сражавшихся насмерть с упорством, не запланированным и не предусмотренным немцами.

Они не знали и не могли знать, что генералы еще победоносно наступавшей на Москву, Ленинград и Киев германской армии через пятнадцать лет назовут этот июль сорок первого года месяцем обманутых ожиданий, успехов, так и не ставших победой.

Они не могли предвидеть этих будущих горьких признаний врага, но почти каждый из них тогда, в июле, приложил руку к тому, чтобы все это именно так и случилось».

Не случайно, видимо, Симонов возвращается так часто к тому, чтобы еще и еще раз повторить эту мысль. Она важна для него, она действительно составляет душу романа. В ней словно бы сплав всех его мотивов, к ней сходятся все его линии. Вдумываясь в эти авторские строки, отчетливо видишь, что их внутренний смысл, как и вообще объективный смысл романа, может быть понят лишь как идейный и эмоциональный итог художественного «взаимодействия» начальных

горьких картин романа, сцен, ведущих к художественному осмыслению тех жгучих вопросов, которые волнуют героев, и картин мужества и стойкости народа, рисующих его историческую роль и показывающих меру его жертв. Только при «учете» всех сторон этого «взаимодействия» главнейших линий романа и раскрывается его сложный, отнюдь не однозначный окончательный, итоговый смысл, который звучит и в приведенных авторских строках. И тут еще раз понимаешь всю глубокую оправданность и закономерность каждой из этих линий романа. С другой стороны, и любая из них раскрывает до конца свое содержание лишь в соединении с другими.

Да, может быть и есть в непрерывном потоке горьких картин, которые сменяют одна другую в первых главах романа, некое нагнетание, словно бы полемический авторский вызов: «Это правда, так было, и нечего бояться говорить о ней. Смотрите — вот она...» Может быть, так оно и есть. Но тут, особенно поначалу, эту заданность прощаешь легче, чем в любом другом случае.

Потому, конечно, что правда всегда вызывает уважение и ты сам жаждешь ее, этой «правды сушей, правды, прямо в душу бьющей, да была б она погуще, как бы ни была горька...»

Но прежде всего, конечно, потому, что начальные сцены эти не самоцель; при всей их сгущенности ни на секунду не чувствуешь в них желанья ошеломить читателя, придавить его «ужасами»; нет в них ни намека на смакование боли и горечи. Будь иначе, читатель, особенно тот, который видел все это своими глазами, просто отвернулся бы с досадой. Но картины эти — по общему признанию, наиболее сильные, наиболее художественно прописанные и впечатляющие в романе — не дают, конечно, ни малейшего к тому повода. Они раскрывают свою подлинную значимость и находят свое идейно-художественное оправдание в связи со сценами, рисующими мужество, стойкость и самопожертвование простых советских людей.

В этой внутренней связи они не только дают возможность художественно акцентировать историческую роль народа, но и помогают нам понять и оценить причины, которые привели к такому тяжелому для нас началу войны. И это, в свою очередь, опять-таки позволяет правильно осознать весь

смысл и характер того, что сделали народ и партия для спасения своей страны от смертельной опасности, для победы над фашизмом.

Все это и определяет несомненную общественную ценность романа. Она не только в том объективно познавательном содержании, на которое было только что указано. Она и в его несомненной обращенности к сегодняшнему дню, вырастающей из этого объективно познавательного смысла. И, может быть, именно с этой точки зрения с наибольшей полнотой обнаруживается общественная правомерность и глубокая правильность того взгляда в прошлое, который утверждает романом К. Симонова.

Известно, что в противоположность объективистской точке зрения, согласно которой «все действительное разумно» и оправданно исторической необходимостью, марксизм требует рассматривать каждую конкретную стадию исторического процесса в присущих ей формах борьбы исторически прогрессивных тенденций и тенденций регрессивных. И требует определять свои позиции в этой борьбе. Результаты такого изучения истории будут, как говорил Ленин, не просто теорией, но они будут «предназначаться на практическую утилизацию их».

Постановка вопросов, характерная для романа, вытекает именно из такого марксистского отношения к фактам истории. В этом ее общественная правомерность и необходимость. В этом ее актуальность, ее значение для сегодняшнего дня.

Но тем самым роман приобретает и более широкое звучание. Народ помнит о жертвах, принесенных им. И эта неутолимая память заставляет нас вести неустанную борьбу со всем тем, что может ввергнуть планету в еще большую пучину бедствий. А потому борьба за мир, все шире развертывающаяся сейчас, неминуемо связана для нас с великой задачей такого социального преобразования нашего сегодняшнего мира, которое сделает народы по всей земле действительными хозяевами своей судьбы и навсегда устранил всякую возможность возврата к кровавым ужасам войны,— а их можно избежать, и они не имеют оправдания перед судом истории. Эта борьба освящена той памятью о погибших, что живет в нашем нравственном сознании как неизреченное, но властное право мертвых требовать от нас мужества, решительности и по-

следовательности в этой борьбе во имя живых.

Но чтобы лучше видеть цель, смысл, задачи и объекты этой борьбы, нужно хорошо помнить прошлое и ясно сознавать его уроки. Роман К. Симонова и помогает осознать эти уроки. Он раскрывает тот их гражданский смысл, который вообще характерен для нашей литературы и так кардинально отличает ее от литературы «потерянного поколения». И который обращен к сегодняшнему дню для «практической утилизации» его людьми нашего времени. Уже одно это не может не определять общественной ценности романа.

3

Та главная мысль романа, о которой только что говорилось и к которой К. Симонов неоднократно возвращается, с тем чтобы еще и еще раз сформулировать ее, дополнить, развить, подчеркнуть,— эта мысль действительно важна для него, действительно определяет пафос романа. Но нет ли в этом настойчивом возвращении к ней и некоторой боязни, что она не в полной мере подкреплена художественными картинами романа и потому нуждается в дополнительном и прямом формулировании?

Думается, что основания для такого опасения есть. И тут еще раз приходится вспомнить главного героя романа Синцова, которого мы с самого начала оставили в стороне, едва упомянув о том, что он принесен в жертву иным картинам и сценам, составляющим суть романа.

Герой действительно не очень интересует автора, действительно он нужен ему лишь как звено, связующее многочисленные картины первых месяцев войны, свидетелем которых ему доводится быть. В них, в этих картинах, весь смысл романа. Иначе чем же другим объяснить тот парадоксальный как будто бы факт, что в романе со «сквозным» героем мы нигде не видим, в сущности, пристального художнического внимания к тому, как чувствует, как переживает герой, хотя в судьбе его отнюдь нет недостатка в острых и сложных ситуациях? Но даже в самые, казалось бы, важные и значительные для художника-психолога моменты духовного состояния героя К. Симонов лишь спокойно обозначает в нескольких точных авторских фразах суть происшедшего и идет дальше,

«Красноармеец лежал ничком, неловко и жалко вывернув набок стриженую детскую голову... Синцов был как потерянный. Первое, что он сделал на войне,— убил своего! Хотел спасти — и убил!.. Что могло быть бессмысленней и страшней этого?!

Он так до конца дня и не узнал толком, что происходило кругом. То говорили, что Минск по-прежнему в наших руках, то, наоборот, что Борисов уже взят немцами... Все эти отрывочные сведения доходили до Синцова словно в тумане — между бомбежками, тяжелыми мыслями о только что совершенном убийстве и новыми допросами.

Уже на закате к Синцову подошел боец и сказал, что его зовет к себе полковник...» и т. д.

История скитаний Синцова рассказана К. Симоновым действительно без всяких заявок на глубину психологического анализа, на внимательное прослеживание духовного процесса. Здесь автор в высшей степени скуп и в лучшем случае намечает лишь общие линии и контуры внутреннего движения своего героя.

Это не значит, конечно, что в истории Синцова вообще отсутствует всякая внутренняя тема. Напротив, автор последовательно фиксирует важнейшие моменты, когда в его герое рождается командир, настоящий военный человек, отмечает изменения в его характере, в его ощущении войны, связанные с появлением той ненависти к врагу, без которой невозможно воевать. Но именно фиксирует, именно отмечает. Это всегда лишь скупое авторское описание общего состояния героя, но не художественное изображение духовного процесса. «Сила злобы, которую он после всего пережитого испытывал к немцам, стерла многие границы, раньше существовавшие в его сознании; без мысли о том, что фашисты должны быть уничтожены, для него уже давно не существовало ни мыслей о счастье, ни мыслей о будущем».

Речь идет, конечно, не обязательно о пресловутых «внутренних монологах»: движения человеческой души просвечивают и в жесте, и в интонации, и в поступке. Но характер раскрытия внутреннего мира героя даже в том однолинейном плане, который мы находим в романе,— это всегда лишь сдержанная, скупая авторская информация о самых необходимых психологических моментах. Автор и останавливается-то на

этих моментах словно бы только по крайней необходимости.

Эта скупость, эта неувлеченность автора внутренним миром своего героя видится и в полнейшей стертости, невыразительности его индивидуальной характеристики. И не только в авторских описаниях, подобных тому, которое приведено и в котором действительно не чувствуется ничего синцовского. Эта стертость — даже и в тех немногочисленных изобразительных деталях, которыми автор словно бы пытается «оживить» образ.

«Пока Мишка снимал, Синцов бродил вокруг танков. Неподвижно и мертво стоявшие во ржи, они не казались такими большими и страшными, как о них думалось раньше... Около танков лежало несколько убитых немцев. От трупов тянуло дурнотным запахом. Синцов почувствовал легкую тошноту.

Закончив свою работу, Мишка взял провожатого и пошел в соседнюю роту снимать остальные танки, а Синцов с лейтенантом Хорышевым вернулись на командный пункт роты...» и т. д.

К чему здесь этот дурнотный запах и тошнота? Мы знаем, какую колоссальную внутреннюю нагрузку могут нести подобного рода «приземленные», словно бы натуралистические детали в той манере психологического письма, которая характерна, например, для Хемингуэя. Но у Симонова они случайны, лишены всякого индивидуального подтекста и не обладают никаким другим смыслом, кроме простой информации о простом физиологическом ощущении, отнюдь к тому же не своеобразном и никак не характеризующем лично Синцова.

К концу романа в истории героя начинает звучать тема доверия к человеку. Синцов, который действительно не знает, куда исчезли документы и партбилет, пока он был без сознания, убеждается, как трудно заставить других поверить в это. Но даже эта тема не пробуждает у автора более живого интереса к своему герою. И здесь автора в напменьшей степени интересует как раз то, что переживает сам герой.

И, наконец, даже сама цепь событий, составляющих историю Синцова,— даже она укрепляет то же парадоксальное впечатление: в романе, построенном на истории

«сквозного» героя, именно герой менее всего интересует автора.

Да, конечно, все то, что случилось с Синцовым, вполне могло случиться, и принцип вероятия здесь не нарушен. И все же где-то после выхода из второго окружения и начала новой серии происшествий автор переходит ту заветную черту искусства, за которой уже перестаешь безоглядно, не спрашивая, верить в действительность всего происходящего с Синцовым и веришь лишь по размышлению: а возможно ли это? Но это значит, что художественная правда уступила место заданности, которую ощущаешь вопреки самым правдоподобным объяснениям автора. И она действительно есть, эта заданность,— мы видели, какому авторскому замыслу был принесен в жертву главный герой, и понимаем, почему ему так «не повезло».

Но, понимая это, отдавая должное главной сути романа, нельзя не видеть и того, что подобное «обращение» автора со своим героем не могло пройти бесследно. «Действие» вызвало «противодействие», и герой, принесенный в жертву из благородных как будто бы побуждений, «отомстил» автору тем, что сам потребовал «жертв». И автору пришлось их принести, пришлось в известной мере пожертвовать самим романом для своего героя.

Пришлось хотя бы потому, что, как бы мало ни занимал герой автора, он все-таки проходит по всему роману, заставляет автора все время держать его в поле своего зрения, а читателя следить за ним. Но при той стертиости его характеристики, при том чисто формальном авторском интересе к его судьбе, о котором я только что говорил, он вызывает соответствующее отношение и у читателя. А это не может не сказаться на впечатлении от романа, где многие страницы вызывают лишь утомление своей внешней обязательностью.

Но самое главное в том, что читатель, привлеченный действительно очень важными и значительными проблемами романа, все время чувствует скованность позиции автора. Принцип повествования через «сквозного героя», избранный К. Симоновым, связывает его, волей-неволей заставляет его следовать за своим героем, ощутимо ограничивает его возможности более полного и многостороннего показа событий, мешает его авторской свободе в обращении с жизненным материалом. И, может

быть, в наибольшей степени это сказывается как раз в той художественной линии романа, которая дает изображение мужества народа и которая так важна для понимания его смысла. При всей впечатляемости художественных картин, составляющих эту линию, здесь, исходя из самой сути романа, хотелось бы большей широты и весомости изображения. Этого не хватает, и неизбежно возникающая в результате некоторая приглушенность напряженного, тяжелого и мужественного дыхания народа на войне несколько приглушает и художественное звучание самой главной мысли романа. Не этим ли объясняется стремление автора еще и еще раз сформулировать ее, эту мысль, донести ее до читателя хотя бы в прямых авторских словах? И, может быть, это и есть тот очень несчастный случай, когда мы получаем действительное право критиковать автора не только за то, что он сделал, но и за то, чего он не сделал.

Подтверждение этому мы находим и в той явственно ощутимой слабости романа, которая видится в его порой слишком очевидной логической построенности. Вероятно, именно от неуверенности, что роман обладает той беспорочно художественного впечатления, которая всегда присуща истинно художественным произведениям, представляющим собой, по словам Белинского, прекрасный цельный и гармоничный мир, где «нет противоречий, нет подделок и изысканности, ибо тут не было расчета вероятностей, не было соображений, не было старания свести концы с концами, ибо это произведение было не сделано, не сочинено, а создано в душе художника...» — видимо, именно недостаток этой уверенности и приводит иногда к какой-то логической взвешенности, логической выверенности сопоставлений. Автор порой будто бы оглядывается, оговаривается, словно боясь, как бы не создались у читателя неверные обобщения... Всего этого, несомненно, не было бы при большой вере в правомерность полнокровного и глубокого художественного решения проблем, которые ставит автор. И при том характере художественного изображения, который более полно соответствовал бы самому существу кардинальнейших проблем исторической судьбы народа, поставленных в романе К. Симонова.

Конечно, роман К. Симонова — не последнее слово о войне, о великом подвиге

народа. Вероятно, появятся еще произведения — возможно, романы-эпопеи, — в которых читатель найдет более глубокое, полное и цельное художественное осмысление грозных и героических лет войны. И в которых мотивы, не до конца, может быть, выявленные в романе К. Симонова, более полно раскроют свой смысл в широкой цепи картин, в общей связи явлений.

Речь идет здесь, разумеется, не о той эпопее, о которой Хемингуэй как-то сказал: «...Ходульная журналистика не становится литературой, если вспрыснуть ей дозу ложно-эпического тона. Заметьте еще: все плохие писатели обожают эпос». Речь идет о подлинно правильном, глубоком, многостороннем и целостном художественном изображении судеб народа в эти суровые годы.

Роман К. Симонова не претендует, конечно, на такого рода широту и целостность. Но в этом и его объективный недостаток. Более широкий охват всех явлений,

сплетенных в тугом узле 1941 года, обеспечил бы, несомненно, возможность более полно и художественно весомо определить подлинное место и значение каждого из этих явлений. И избавил бы автора от необходимости прибегать к формулировкам, всегда неизбежно более скучным по содержанию и менее впечатляющим, чем живое, многостороннее образное воспроизведение действительности.

Понятно, что это — дело нелегкое. И, может быть, трудно по-человечески винить автора за то, что он не до конца пошел по этому пути. Но ведь, с другой стороны, оценивая произведение, мы принуждены считаться с той объективной ценностью, которой оно обладает. Оттого-то, читая роман, и желаешь все время автору, чтобы его разведка боем на пути к полнокровному и глубокому художественному осмыслению войны, поучительная и своими успехами и своими неудачами, оказалась как можно более действенной.



О НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ*

А. ШАРОВ

★

Жизнь, насильно разъятая

Статья Д. Данина содержит много правдивого и интересного, но все же с некоторыми положениями ее согласиться трудно. Автор утверждает, что «литература художественная, даже выбирая себе в герои людей ученых, не таясь обходит стороной чисто научную суть их трудов, борьбы и треволений». Что «суть научных проблем — без надобности искусству, и потому о таких вещах молчит художественная литература». А герой научно-художественной литературы — как подпоручик Кижэ, он «фигуры не имеет». Это «не сама наука и не сам ученый, а только (!) научные искания».

Получается странная вещь: печник может в рамках одного повествования любить и класть печи, военачальник — разрабатывать план боевой операции и строить семью, колхозник — бороться с засухой и с человеческой несправедливостью; словом, людей других профессий литература пытается отразить во всей полноте их жизни, мыслей, чувств, и лишь ученый делится на две половинки. За порогом повести обычной он оставляет «суть научных проблем» — хотя бы эти научные проблемы были главным в его жизни, — а за порогом повести научно-художественной сбрасывает телесную оболочку, чтобы войти туда персоной, «фигуры не имеющей».

Несколько лет назад у нас была поставлена целая серия биографических фильмов о знаменитых ученых. В некоторых из этих картин настойчиво варьировался один сюжет: ученый делает открытия, а темные за-

граничные дельцы пытаются купить исследователя вместе с его трудами. Но ведь пространно доказывать, что великие ученые, о которых идет речь, не продаются, — просто оскорбительно для их памяти.

Очевидно, странный сюжет сочинялся сценаристами, потому что они искали конфликт не в героических, а часто и трагических научных исканиях, а брали его со стороны, наскоро пришивая белыми нитками.

Очень плохо, неловко, трудно ученому в «уполовиненном» виде. Но действительно ли необходимо подобное его усечение?

«Формулы, теории, доказательства — как сделаться им предметом изображения в романе, если по самому смыслу своему они не должны носить ни малейших следов человеческой личности», — говорит Данин. В этом утверждении много верного.

Много, но не все.

Наука за свою историю не раз страдала от субъективизма и всякого рода спекуляций. Достаточно вспомнить Бошьяна, в недавнем прошлом воспетого очеркистами и драматургами, а с другой стороны — кибернетку и радиогенетку, которых на заре их жизни уже хоронили иные малоосведомленные философы и литераторы. Писателю казалось, что если он «верит», — этого достаточно, чтобы воспевать, а если «не верит», то имеет право охаивать. Но наука во всем противоположна религии — здесь нужно не верить, а знать. «Тот, кто начнет с того, что полюбит христианство более истины, очень скоро полюбит свою церковь или секту больше христианства и кончит тем, что будет любить только себя», — сказал английский поэт Самуэль

* Окончание обсуждения статьи Д. Данина «Жажда ясности» (см. «Новый мир», №№ 3 и 4 с. г.).

Кольридж. Есть ученые, которые любят свою научную секту и себя в этой секте гораздо больше истины. Есть литераторы, поощряющие такое сектантство.

Но если научная теория не может основываться на вере, на субъективных мнениях, то это не значит, что она лишена индивидуальных черт, приданных ей ее творцами. Истина абсолютная будет лишена индивидуальности, но история науки — это лишь последовательное приближение к абсолютной истине. Теории, методы труда Павлова, Дарвина, Сеченова, Ферми отражают характер своих творцов. Одну и ту же задачу — создание квантовой механики — Шрёдингер решил иначе, чем Гейзенберг.

Если бы школе И. П. Павлова удалось доказать, что условные рефлексы наследуются, было бы восполнено важное звено в понимании высшей нервной деятельности; яснее стало бы происхождение врожденных инстинктов. Зная это, один из учеников Павлова поставил эксперименты по проверке наследования условных рефлексов у мышей. Он получил положительный результат — рефлексы наследовались. Но опыты были проведены недостаточно строго. Проверка отвергла первоначальные выводы. С тех пор эксперименты эти почти не упоминались в научной печати, но они продолжались не месяцы, не годы, а десятилетия. С огромным трудом постепенно создавалась методика, исключая ошибки и вмешательство экспериментатора, которые так искажали первый опыт. Умирает Павлов, поиски продолжают его ученики. Когда-нибудь будет создана абсолютная теория, обнимающая всю сумму вопросов наследственности. Всеобщая, она будет лишена индивидуальности; но все этапы движения к этой абсолютной теории, все промежуточные теории и гипотезы, вся борьба вокруг этой важной проблемы естествознания отразят характеры, тип мышления и направление таланта участников борьбы.

Научные искания не только могут быть предметом обычных жанров художественной литературы, во многих произведениях они им стали. В романе Каверина «Исполнение желаний» герой занят сложной филологической проблемой — расшифровкой десятой главы «Евгения Онегина» — и на глазах читателей решает эту проблему. В «Эроусмите» Синклера Льюиса герой во время эпидемии чумы ставит важный экс-

перимент; без этого эпизода образ Эроусмита был бы неполным. В романы «Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях» органически включены научные искания и все главное содержание революционной педагогики. Людские судьбы и теоретические проблемы спаяны у Макаренко неразрывно; попробуйте разъять их — это невозможно.

Вводить в литературу современную физику с ее сложнейшим научным аппаратом и новым миром непредставимого, конечно, гораздо труднее, чем педагогику. Но мыслима и должна когда-нибудь родиться поэма физическая, как и «Педагогическая поэма», рассказывающая о судьбах идей и жизни их творцов. Возможно, она не будет похожа на традиционный роман. «Я думаю, что каждый большой художник должен создавать и свои формы,— записывает Гольденвейзер слова Л. Н. Толстого.— ...Не говоря уже о Пушкине, возьмем «Мертвые души» Гоголя. Что это? Ни роман, ни повесть. Нечто совершенно оригинальное. Потом «Записки охотника» — лучшее, что Тургенев написал. Достоевского «Мертвый дом», потом, грешный человек, — «Детство», «Былое и думы» Герцена, «Герой нашего времени»...

В строго сюжетный роман современная физика и другие сложнейшие области естествознания вмещаются с трудом. Да и зачем им там тесниться? В произведениях, продолжающих традиции «Былого и дум», наука войдет органической частью: ведь она одна из главных дум современного человека. Туда войдут не только драматические эпизоды развития науки, но и само ее содержание.

Бальзак говорил, что нарисовать эпоху можно, изобразив две — две с половиной тысячи характеров. Во множестве этом есть характеры «сквозные» — Хлестаковы мало изменились с гоголевских времен — и совершенно оригинальные.

Многие из особенно интересных литературы новых, современных характеров ярче всего проявляются в науке. Новые по самому типу мышления: ведь математика Лобачевского и Римана, физика Эйнштейна изменили не только содержание, но и форму мышления. Как изобразить этих ученых? Перенести из чудесной обстановки научных исканий в безвоздушное пространство условного сюжета? Или отказаться от полного изображения их характеров?

Но хорошая литература никогда не признавала, что есть характеры, ей не подлежащие, неизобразимые.

Академик Несмеянов на встрече с писателями говорил, что развитие науки происходит особенно быстро на стыках смежных областей знания не потому, что там вакуум, пустота, «ничья земля», а, напротив, потому, что в районах таких стыков происходит включение методов одних отраслей науки в другие. Кибернетика включается в филологию, физика — в биологию. То же самое начинает происходить в литературе, когда она берется за изображение науки. Обычная проза стремится тут овладеть всем материалом прозы документальной, а научно-художественная литература учится изображать сложность душевного мира исследователя. Недостаток статьи Данина в том, что он ищет лишнюю разграничения жанров, в то время как наиболее интересные явления могут возникнуть и возникают как раз на их стыках.

Проза должна будет все большее место уделять науке и ученым, по мере того как растет значение науки в жизни общества. Но не только рассказ, повесть, роман могут раскрыть перед читателем мир науки. В обсуждаемой статье говорится, что писать хорошо — свойство, которое «редко отличает ученых». Верно ли это? Если важнейшими свойствами художественности являются точность, оригинальность, смелость и самостоятельность мысли, умение ярко выразить свою индивидуальность, то этими чертами обладали не только великие ученые прошлого — Дарвин, Менделеев, Сеченов, Тимирязев, Иржевальский, — но и многие наши современники. Каждый, читавший «Над арабскими рукописями» Крачковского, труды Павлова, Ферсмана, Комарова и многих других ученых, вспомнит, что чтение это дает не только радость узнавания нового, но и эстетическое наслаждение. Во многих книгах великих ученых очень сильна именно лирическая сторона; исследователи, влюбленные в природу и науку, они этот мир по-новому одушевляют. Тот, кто раз «увидел» высшую нервную деятельность глазами Павлова, камни — глазами Ферсмана, арабские рукописи — глазами Крачковского, развалины Хорезма так, как их видел Толстов, никогда не забудет увиденного.

Если сейчас ученые мало пишут для широкого читателя, то это очень грустно и

происходит не оттого, что они разучились писать. Видно, тут сказывается огромная занятость, а главное — отсутствие организующего центра, прежде всего отсутствие толстого литературно-художественного журнала, специально посвященного науке.

Литература будет осваивать и уже осваивает мир науки с разных направлений, как исследуют Антарктику со стороны берега Правды и полуострова Палмер, морей Росса и Уэдделла. И та ветвь литературы, которую называют научно-художественной, должна сыграть в изучении мира науки огромную роль.

Научно-художественная литература еще чрезвычайно молода, число новых книг этого жанра измеряется единицами, а не десятками и сотнями, как в других областях литературы. Определять законы, четкие границы этого жанра, мне кажется, рано и бесполезно. Пока еще, в период роста, каждая серьезная книга ищет и создает для себя эти законы. Иногда она представляется безлюдной, но человек в ней есть, он играет главную роль, потому что весь вещный мир переработан в сознании автора; иногда она населена сильными и сложными характерами. Тут многое зависит от дарования и замысла писателя, от темы, от характера материала.

Иногда, вплотную приближаясь к обычной повести, повесть научно-художественная тем не менее сохраняет свои особые средства изображения и построения сюжета. Повесть обычная, например, в какой-то мере ограничена единством времени и места, в повести научно-художественной ничто не мешает изобразить рядом Дарвина и Ламарка, Ньютона и Эйнштейна, Эвклида и Лобачевского. Иные научные проблемы разрешаются тысячелетиями; научно-художественная литература может изобразить и изображает порой эти тысячелетние эпопеи, воссоздавая эстафету идей, образы ученых разных стран и поколений, которые не знали и не могли знать друг друга, но в мыслях своих, в научном труде десятки раз встречались с предшественниками в союзе или в жесточайшем, непримиримом споре.

Только формируясь, научно-художественная литература нередко сталкивается с серьезными опасностями. Об одной из них мне бы хотелось сказать в этой заметке.

Иногда писатель, принимаясь за работу

над книгой или очерком, знает предмет только из трудов своего героя, с его слов. Тогда позиция литератора становится довольно приниженной, он не может иметь самостоятельной точки зрения, необходимой каждому серьезному писателю; он превращается в квалифицированного литературного секретаря, в глашатая одной, иногда очень узкой, научной группки. Поле видения его ограничено шорами.

Д. Данин поднял в своей статье много вопросов и высказал интересные и важные соображения — иные верные, а иные спорные. Но самое важное состоит в том, что статья его выводит научно-художественную литературу из критических потемок на

свет, привлекает к этой области серьезное внимание.

А внимание это крайне необходимо. В жанре научно-художественном работает совсем мало писателей, по преимуществу очень немолодых, и крошечный отряд почти не увеличивается. Мы узнаем десятки молодых прозаиков и поэтов, а в научно-художественной литературе иногда годами не появляются новые имена.

Разговор, который пачат «Новым миром», должен быть продолжен не только на страницах этого журнала. Он поможет писателям рассказать о нашей великой науке и людях, ее творящих, полнее, с точным знанием и горячей любовью.

Я. СМОРОДИНСКИЙ

Доктор физико-математических наук



Разные пути

«Происходит столько событий, что их не обозреть и не постичь; за десять лет открыто больше, чем за тысячелетие. Один за другим корабли выходят из гаваней, и каждый привозит домой новые вести. Словно провали вдруг заколдованную пелену... в календаре с его святыми уже не хватает имен, чтобы дать названия всем открытиям».

Ст. Цвейг. «Америго».

Слова, которыми описывает Ст. Цвейг географию начала XVI века, с таким же успехом можно отнести и к естествознанию нашего века. В ту давнюю пору поток известий о новых землях приводил в смущение современника и порождал фантастические рассказы, в которых только немногие могли отличить правду от вымысла. В наше время нескончаемый и все расширяющийся мир новых явлений, открывающихся человеку, порождает у многих полное неверие в возможность разобратся в этом новом мире. Но подобно тому, как торговля сделала в конце концов представление о шарообразности земли необходимым, а затем и понятным каждому купцу, так и сейчас развитие техники упорно требует от нас знания и понимания новых представлений, которые еще вчера всем казались недостижимым верхом учености.

Не очень далеко то время, когда расчеты теории относительности, уже ставшие обычными в конструкторских бюро, где проек-

тируются ускорители, станут повседневным явлением в графиках космических полетов; а в лаборатории эффекты, предсказываемые этой теорией, уже не требуют сегодня для своего наблюдения каких-то огромных фантастических скоростей: эти удивительные эффекты наблюдают ныне даже при скоростях около десяти метров в секунду (это скорости самолетов!). Стоит ли теперь говорить о какой-то исключительности таких эффектов?

Так же проникает в разные области техники и самая непонятная из наук — квантовая механика. Ядерный реактор нельзя рассчитать без формул, даваемых этой наукой. Генераторы высокочастотных излучений основаны на явлениях, которые нельзя было ни открыть, ни понять еще в начале нашего века.

Так возникает противоречие между непонятностью и даже таинственностью мира современной физики (а с ней и химии, биологии, астрономии) и проникновением ее

открытий в повседневную нашу жизнь. Отсюда, с одной стороны, возникла острая потребность в книгах, где можно узнать обо всем, что кажется непонятным, и вера читателя, что такие книги существуют, а с другой — появились утверждения, что в популярной книге ничего объяснить нельзя и что в конце концов современные достижения естествознания, подобно священным книгам египтян, должны оставаться достоянием избранных, людей, научившихся (и хранящих свой секрет) понимать птиц, или, лучше сказать, звериный, язык современного естествознания.

И здесь возникают два вопроса, которые ставятся и дискутируются в талантливой статье Д. Данина. Можно ли объяснить нынешнюю науку широкому читателю? И можно ли рассказать этому читателю о путях развития науки — описать то, что образно названо «драмой идей»?

Первый вопрос, мне кажется, безусловно требует ответа положительного.

Надо только иметь в виду, что популяризация — это не просто пересказ простыми словами сложных понятий. Человек только потому может вместить в себя неисчислимые результаты работы многих поколений, что он непрерывно придумывает и новые методы изложения, ищет и находит новые пути для передачи своих знаний современникам.

И если что-либо кажется пока не поддающимся популярному изложению, то это только значит, что не придуман способ передачи нового. Или это означает, что результаты науки еще недостаточно выкристаллизовались, чтобы в их изложении можно было разорвать сложную историческую цепь, которая привела к их открытию. Свойства электромагнитного поля можно и нужно объяснить теперь, не уходя в рассказ об упругом эфире Френеля и об упругих силовых линиях Фарадея. Хороший пример такого рода дает недавнее открытие несправедливости так называемого «закона сохранения четности». Мне не нужно сейчас касаться судьбы этого открытия — не об этом тут идет речь. Но, рассказывая о нем сейчас, обнаруживаешь, что самое трудное — это объяснить слушателю, почему еще три года тому назад физики думали, что такой закон существует! Воссоздать разоблаченные заблуждения в науке оказывается делом

очень трудным и, пожалуй, в значительной степени ненужным.

И вот здесь мы приходим ко второму и главному вопросу, поднятому Д. Даниным, — вопросу о литературе, которая рассказывает, «как делается наука».

Таких книг написано в мире очень мало и, по-видимому, не случайно. Трудность здесь состоит в том, что если можно рассказать о сформировавшихся взглядах на какое-либо физическое явление, то рассказать о неудачах в науке (а они-то и составляют основу той «драмы идей», о которой говорит Данин) почти невозможно. Если речь идет о медицине, то — как у Поля де Крюп — рассказы о неудачах становятся драматическими рассказами о физических страданиях больных. И в этом отражается драма самого ученого. Но как быть, если Эйнштейну в течение многих лет не давалась (и так и не далась) теория, которая свела бы электромагнитные явления к геометрии мира (подобно явлениям тяготения). Это было подлинной драмой его жизни, но как о ней рассказать нефизик? Ведь теории нет, и объяснить, почему Эйнштейн был уверен в возможности такой теории, почти немислимо.

Труд ученого в одном смысле неблагодарен — его неудачи, как правило, не могут интересовать никого, кроме тех, кто трудится вместе с ним. История неудачной альпийской экспедиции, не дошедшей до цели, — тема, полная драматизма, и о ней будут читать миллионы людей. История, как многие годы не удавалось построить теорию сверхпроводимости, драматична для ее участников, но к ней будут безучастны читатели. Читателя будет интересовать, как же современный физик понимает природу этого явления. И физик сможет рассказать ему об этом, но так, что все леса, возводившиеся на протяжении многих лет ложных поисков, будут убраны, и сразу появится стройная картина, связанная логически с другими известными фактами. Такой путь будет много более экономным и в конце концов принесет больше пользы.

Сказанное совсем не означает, что научно-художественная литература, так, как ее понимает Данин, не может или не должна иметь места. Рассказ о путях создания и развития науки нужен. На мой взгляд, это должен быть рассказ о больших ученых, работы которых составили эпоху, об от-

крытиях, которые встретились с организованным сопротивлением, как это было с Лобачевским и Эйнштейном. Это должен быть рассказ о новых коллективных формах, которые принимает сейчас научное исследование, обо всем том, что связывает исследователя с обществом. Однако в каком-то смысле эти книги будут только

«дополнительными» к книгам научно-популярным. Они не могут научить читателя понимать науку, но они научат понимать и уважать творчество ученого и привлекут в науку новые силы. Создавать такие книги — нелегкая задача. Лишь немногие берутся за нее, и труд их заслуживает большого уважения.

От редакции

Интерес, который возбудили вопросы, поднятые в статье Д. Данина «Жажда ясности», опубликованной в третьем номере нашего журнала за этот год, легко объясним. Это живой и широкий интерес к проблемам развития у нас научно-художественной литературы. Ее проблемы назрели, требуют углубленного отношения к себе, и всякая серьезная попытка разобраться в них, естественно, привлекает внимание читателей и прежде всего, разумеется, самих писателей, работающих на трудном и благородном поприще художественного освоения великих достижений современной науки.

— Именно величие этих достижений, колоссальная и небывалая роль, какую играет сегодня наука в жизни всего человечества и — особенно рельефно — в жизни нашего советского общества, строящего коммунизм, именно это вызывает всеобщую жажду знаний. И не только знаний. Современный человек хочет быть свидетелем свершений науки — хочет видеть, «как это делается». И он ждет от писателей, что они поведут его в лаборатории ученых, в исследовательские институты, в мир разнообразнейших исканий, которым отдают свою волю и разум передовые деятели всех областей современного знания.

Но и этого мало. Человек нашего времени хочет увидеть живые образы творцов науки — ее героев и ветеранов, признанных и молодых ученых. Современный читатель жаждет проникнуть во внутренний, душевный мир тех, кто создает спутники Земли, посылает ракеты в космические просторы, открывает глубинные тайны строения живой и неживой материи, строит кибернетические машины, исследует полюса, воссоздает неповторимый облик давно погибших цивилизаций, разведывает недра земли и океа-

нов... Словом, современника нашего равно волнуют и содержание формул, и надежды ученых, и трудности их, и живые человеческие души тех, кто питает эти надежды и преодолевает эти трудности.

Научно-художественная литература отзывается на одну из самых глубоких духовных потребностей современного человека. И поэтому так важен разговор о ее «правах и обязанностях», о ее возможностях и достижениях, ее эстетике и художественном своеобразии.

Об этом и заговорил Д. Данин в своей статье. Редакция опубликовала статью «Жажда ясности» в дискуссионном порядке, полагая, что отнюдь не все утверждения автора бесспорны, что иные из его положений окрашены в субъективные тона, не везде правильно расставлены ударения.

Д. Данин, справедливо отстаивая права «безлюдной» научно-художественной литературы, уделил, быть может, недостаточно внимания проблеме изображения человеческих характеров в произведениях о научных исканиях. Очевидно, это издержки полемического пафоса статьи. Развернуто доказывая, почему возможен и законен писательский рассказ о сути научных исканий «на несобственном языке науки», обосновывая эстетическое своеобразие научно-художественной литературы как одного из полноправных видов человековедения, Д. Данин, к сожалению, очень мало сказал о том, как изображать при этом самого ищущего человека, то есть ученого, со всем богатством его внутреннего мира. Д. Данин ограничился предостережениями против «соблазна беллетризации». А ведь своеобразие научно-художественной литературы должно распространяться и на изображение сути научных исканий и на изображение героев этих исканий.

Ю. Вебер, А. Ивич, А. Шаров в своих полемических выступлениях на страницах журнала обратили главное внимание на эту сторону дела. Споря с автором статьи «Жажда ясности», они высказали немало интересных мыслей.

Так, несомненно плодотворно наблюдение Ю. Вебера, отметившего, что «общая литература вбирает элементы научно-художественной, а эта последняя использует опыт и подходящие ей средства общей литературы». Он доказывает это на примере «Русского леса» Леонида Леонова и «Эроусмига» Синклера Льюиса, с одной стороны, и на примере очерков А. Аграновского, Е. Строговой, Р. Бершадского и самого Д. Данина, с другой стороны. Ю. Вебер справедливо говорит, что соблазн беллетризации, которым пугает Данин, должен страшить писателя только тогда, когда беллетризация дурна.

В размышления Данина о «драме идей» Ю. Вебер вносит новый и очень важный акцент: он замечает, что читатель, кроме жажды ясности в рассказе о науке, испытывает еще и жажду переживаний. «Ибо для читателя художественной литературы, в том числе и научно-художественной, переживание и есть форма познания», — говорит Ю. Вебер, и, думается, он прав.

Об этом же говорит и А. Ивич, утверждая, что «если писатель сделал свою книгу объектом только познания, а не переживания для читателя, он свою задачу художника не выполнил». А. Ивич, полагая, что автор статьи «Жажда ясности» обошел вопрос о способе воздействия искусства на человека из-за очевидности этого вопроса, справедливо считает, что говорить об этом тем не менее нужно, так как тут начинаются размышления над воспитательным значением научно-художественных книг.

Важна мысль А. Ивича о том, что предмет изображения в книгах этого рода литературы может не ограничиваться научными исканиями. Есть книги, темы которых далеки от науки, но зато метод, которым раскрывает эти темы писатель, заслуживает определения «научно-художественный». К числу таких книг Ивич относит «Нанолосона» Е. Тарле и «Марко Поло» В. Шкловского, «Дерсу Узала» В. Арсеньева и не завершённую Пушкиным историю Петра... Это последний раз показывает, как богата и разнообразна та область литера-

туры, дискуссионный разговор о которой начался на страницах «Нового мира» статьей «Жажда ясности».

Среди интересных и плодотворных соображений, высказанных А. Шаровым, обращает на себя внимание мысль, что научно-художественные произведения, в отличие от обычных, могут с гораздо большей свободой пренебрегать «единством времени и действия». В этих произведениях могут действовать ученые разных эпох и стран, отделенные друг от друга порой тысячелетиями. Причина, объясняющая эту необычную особенность научно-художественной литературы, в том, что ее героем являются именно научные искания: они часто делятся столетиями и вбирают в свою сферу ищущих ученых разных народов.

А. Шаров правливо предостерегает писателя, пишущего о науке, от серьезной опасности превращения «в квалифицированного литературного секретаря, в глашатая одной, иногда очень узкой, научной группки». Нам думается, что это вопрос большой принципиальной важности. Он заслуживает глубокого разбора, как и все существенные проблемы нашей развивающейся научно-художественной литературы, которая, кроме всего прочего, несомненно должна помогать и широкому росту самой нашей науки во всех ее плодотворных направлениях. Узость и сектанство могут ей только повредить.

Вслед за Ю. Вебером, А. Шаров концентрирует свое внимание на вопросах изображения ученых с их особым строем мыслей и чувств. Это можно только приветствовать, тем более, что в статье Д. Данина это подчеркнуто недостаточно. Но упрек А. Шарова в адрес Д. Данина, содержащийся уже в самом названии его полемического выступления — «Жизнь, настолько разъятая», — думается, чрезмерен. В статье «Жажда ясности» нет стремления «разъять жизнь» — отделить ученого от его исканий, или, как говорит Шаров, делить ученого на две половинки. Напротив, утверждая, что научные искания — главный герой научно-художественной литературы (с чем согласен и Шаров), Данин пишет: «Научные искания — удивительная область: в ней железная бесстрастность объективного знания сплавлена с живой страстностью ищущего человека. Оттого эта область... подвластна художническому прозрению писателя!» Данин

утверждает на ряде примеров, что изображение ищущего ученого — прямая задача писателя. Яркие примеры, которые приводит А. Шаров, в сущности только подтверждают, а не опровергают эту мысль.

Будем считать упрек А. Шарова данью полемической запальчивости. В этой связи еще одно замечание. Высоко оценивая попытку Д. Данина разобраться в своеобразии научно-художественной литературы, авторы полемических откликов соглашались с мыслью, что ее надо рассматривать как литературу, возникающую на стыке науки и искусства, но при этом они упрекают Данина в том, что он слишком резко ограничивает ее от обычной художественной литературы. Однако совершенно естественно, что всякое «своеобразие подразумевает и сходства и различия. Статья «Жажда ясности» как раз и посвящена выяснению того и другого, ее главная тема — освоение искусством слова «действительности науки».

Среди писательских откликов в начавшейся дискуссии несколько особняком стоит выступление А. Смирнова-Черкезова. В сущности, он не обсуждает проблем научно-художественной литературы, а только говорит, что искусство — это искусство, а наука — это наука, и потому их синтез невозможен. Он полагает, что между научным и художественным познанием существует непреходимая пропасть, и потому характеризует первое только как аналитическое познание, а второе только как синтетическое. Это категорическое противопоставление двух форм познания приводит А. Смирнова-Черкезова к неправильным, на наш взгляд, выводам, когда он объявляет, что писатель не может и не должен быть популяризатором науки. В статье, с которой началась дискуссия, по нашему мнению, доказывается верная мысль, что писатель обязан становиться и популяризатором знаний, когда пишет о науке, и эта обязанность не только не унижает его как художника, а, напротив, делается для

него источником творческих радостей. Она составляет для него одну из благодарных задач.

Говоря, что писатель должен создавать свой художественный образ явлений и проблем науки, А. Смирнов-Черкезов считает, что этим все вопросы и исчерпываются. Но тут они только начинаются! Потому так полезно и необходимо обсуждение вопросов, поднятых в дискуссии.

Особенно отрадно, что на страницах журнала выступает известный ученый, доктор физико-математических наук Я. Смородинский. Среди высказанных им очень интересных соображений важна мысль о принципиальной трудности раскрытия подлинной «драмы идей», которая становится уделом исследователя на пути к открытию. Но вряд ли можно согласиться с автором, что героями такой драмы в научно-художественных произведениях должны являться только «большие ученые, работы которых составили эпоху». Есть уже и сейчас немало очерков и книг, посвященных рассказу о научных исканиях рядовых, но воистину творческих мастеров научного исследования. Эти очерки и книги так же необходимы и нужны читателю, как и рассказы о великих деятелях науки. Но напоминание о трудностях, прозвучавшее в выступлении Я. Смородинского, предостерегает от легкомысленного отношения писателя к своей задаче, которое еще нередко дает знать о себе в поверхностных произведениях.

Мы подвели некоторые итоги завязавшейся дискуссии, для того чтобы подчеркнуть важность обсуждения проблем научно-художественной литературы. Редакция согласна с А. Шаровым: «Разговор, который начат «Новым миром», должен быть продолжен не только на страницах этого журнала. Он поможет писателям рассказать о нашей великой науке и людях, ее творящих, полнее, с точным знанием и горячей любовью».



Б. РЮРИКОВ

★

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ КАК ЛИЧНОСТЬ И ХАРАКТЕР

Во втором часу ночи раздался резкий и настойчивый звонок у парадной двери.

— Кто бы это мог быть в столь поздний час? — спросил Антонович.

— А ко мне могут являться самые неожиданные люди, — сказал Чернышевский и улыбнулся.

Это строки из книги Г. Степанова «День из жизни писателя», недавно вышедшей вторым изданием в Учпедгизе. В книге объединен ряд бойко рассказанных эпизодов из жизни русских литераторов. Подробно и уверенно автор описывает, как ночью с грохотом сапог и звоном шпор ворвались в квартиру Чернышевского жандармы; как они вошли в кабинет писателя, где он в это время вместе с Антоновичем и Боковым занимался правкой статей для «Современника» — статьи к утру надо было сдать в типографию; как жандармский полковник Ракеев, войдя, немедленно объявил о производстве обыска и т. д.

Автор несколько раз подчеркивает, что жандармы вломилась среди ночи, когда Чернышевский, Боков и Антонович работали над рукописью. Но хорошо известно, что Ракеев явился для обыска и ареста Чернышевского в третьем часу дня 7 июля 1862 года и высокохудожественные подробности о «светлых сумерках», «неприметно переходящих в призрачно белую ночь», должны быть отнесены за счет избытка творческой фантазии автора.

Факты есть факты. Остались подробные воспоминания Антоновича, воспроизводящие обстоятельства этого события. Для

чего же сочинять то, чего не было? Только для того, что эффектнее получается: белая ночь, звон жандармских шпор в ночной тиши...

И «Современник» был в то время уже закрыт, не надо было за полночь готовить статьи к утру, и Антонович пришел не работать над статьями, а «спросить Николая Гавриловича о чем-то касательно печатания сочинений Добролюбова», и не в кабинете, а в зале сидел Чернышевский со своими друзьями, когда явился Ракеев, и вошел полковник один, лишь потом появился из прихожей пристав, и не было кареты у дверей дома в тот момент, когда выходили Боков и Антонович, и т. д.

Г. Степанов пишет, руководясь своей фантазией и не очень высоким вкусом, а у очевидцев справиться не захотел. В самом деле, зачем искать журнал «Былое» или книгу воспоминаний Антоновича и Елисева — куда легче все обстоятельства сконструировать самому... А если говорить всерьез — стыдно читать эту «развесистую клюкву», эти примитивные домыслы, и непонятно, как автор книги, обращаясь к эпизодам жизни великого русского писателя и революционера, позволяет себе не познакомиться с теми материалами, которые надо было знать не только литератору, а просто культурному читателю.

Жизнь Чернышевского так прекрасна и героична, полна такого глубокого интереса для каждого, кому наше прошлое близко и дорого, что не к чему украшать страницы этой жизни размалеванными лубочными картинками.

* * *

Жизненный путь Чернышевского был насыщен редким драматизмом. Годы учения, два года преподавания в провинциальной гимназии, а потом — Петербург, боевая деятельность в «Современнике», стремительный взлет к высотам русской революционной общественной мысли и литературы... Семь лет он стоял во главе самого передового, самого революционного журнала своей эпохи, семь лет день за днем вел идейные бои против реакции, отдавая все силы ума и богатой природы делу освобождения народа. Затем Петропавловская крепость, каторга в Сибири и еще худшая каторга на «поселении» в Вилуйске, ссылка в Астрахань и Саратов. За каждый год литературной деятельности он поплатился тремя годами тюрьмы, каторги и ссылки.

Ленин осуждал взгляд на Чернышевского только как на жертву, требовал, чтобы его деятельность оценивалась как звено в цепи революционного развития. А когда мы увидим, сколько сделал великий мыслитель и борец для своего народа, какие всходы поднялись там, где он бросил семена, — он предстанет не жертвой, а победителем, во всем историческом значении своей деятельности. Не много в истории человечества людей, жизнь которых была бы столь блистательным примером для всех, как жизнь Чернышевского.

В Саратове вышел двухтомник «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников»¹. Как ни странно, воспоминания о Чернышевском еще ни разу не были собраны для отдельного издания, живые рассказы современников, разбросанные по различным журналам, сборникам, стали достоянием только специалистов. О Чернышевском существует большая литература; подвергнуты анализу его политические, философские, экономические, исторические, эстетические взгляды. Среди этих работ есть много интересных и содержательных. Опыт мысли Чернышевского имеет непреходящее значение. Но, помимо этого, Чернышевский воплощает собой тип личности, представляющей для последующих поколений огромный интерес. Это человеческий ха-

ра к т е р, заслуживающий самого пристального внимания. И значение двухтомника, изданного саратовскими исследователями, заключается прежде всего в том, что живой Чернышевский, человек и борец, станет ближе и понятнее нашим читателям.

Николай Гаврилович был необычайно и разносторонне талантлив. Он был одарен блестящим умом и великолепной памятью. От древних форм славянского языка до проблемы вечного двигателя — все его интересовало. Когда он учился в семинарии, о его работах учитель словесности говорил: «Так развивать тему сочинений могут только профессора академии».

Демократический литератор и педагог И. И. Введенский считал молодого Чернышевского какой-то загадкой: «...он, несмотря на свои какие-нибудь двадцать три — двадцать четыре года, успел уже овладеть такой массой разносторонних познаний вообще, а по философии, истории, литературе и филологии в особенности, какую за редкость встретить в другом патентованном ученом... беседуя с ним, поверите ли, право, не знаешь, чему дивиться, начитанности ли, массе ли сведений, в которых он умел солиднейшим образом разобраться, или широте, проницательности и живости его ума... Замечательно организованная голова!»

Редкостная широта интересов и познаний помогла Чернышевскому стать в центре всей умственной жизни своей эпохи. Строгая дисциплина логического мышления сочеталась у него с дерзновенно-смелым полетом революционной мысли. Он в высокой степени обладал даром синтетической мысли, смело применяющей общие начала революционного мировоззрения к ряду областей общественной жизни. Его живая, страстная, пытливая мысль была целеустремленно обращена к одной главной проблеме — освобождения народа, завоевания им счастья.

В саратовской действительности, как вспоминал Пыпин, мелькали производившие тяжелое впечатление «мрачные картины насилия, жестокости, подавления личного и человеческого достоинства. Случалось слышать, а иногда и самому видеть проявления крепостного произвола... случалось слышать... о жестокостях помещиков, о бунтах крестьян...»

И только мысль об огромной, но скрытой силе народа, о высоких нравственных

¹ Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. В двух томах. Т. 1. 424 стр. 1938. Т. 2. 422 стр. 1959. Общая редакция Ю. Г. Оксмана. Саратовское книжное издательство.

качествах русских людей рождала в сознании молодого Чернышевского уверенность, что «из дикой бессмыслицы разовьется жизнь, приличная человеческому обществу». Из мемуаров (Пыпина, А. Миллюкова и других) хорошо видно, как рано мысль Чернышевского овладели общественные вопросы, как рано почувствовал он несправедливость существующих социальных отношений. Студент Чернышевский, читая Гельвеция, заметил в своем дневнике, что этот французский просветитель односторонне рассматривал вопрос о счастье человека — у него выставлено «свое счастье, а то, что для этого счастья необходимо обыкновенно человеку, чтоб и окружающие его не страдали, это выпущено из виду».

Впечатления отечественной действительности, благородное влияние русской литературы и публицистики — Пушкин, Гоголь, Белинский, Герцен, — опыт революционного и социалистического движения на Западе — все это формировало личность Чернышевского, не позволяя застыть в научной отвлеченности, укрепляя в ней общественные интересы. В одной из своих статей он писал: «Лучше не развиваться человеку, нежели развиваться без влияния мысли об общественных делах, без влияния чувств, пробуждаемых участием в них. Если из круга моих наблюдений, из сферы действий, в которой вращаюсь я, исключены идеи и побуждения, имеющие предмет общую пользу, то есть исключены гражданские мотивы, что остается наблюдать мне? в чем остается участвовать мне? Остается хлопотливая сумятица отдельных личностей с личными узенькими заботами о своем кармане, о своем брюшке или своих забавах».

В годы университетского учения Чернышевский стал сознательным революционером и материалистом. Записи в его дневнике тех лет проникнуты ненавистью к аристократам, реакционерам и сочувствием к угнетенным, людям «нижних классов». Чернышевский считает, что нужно не говорить о свободе, а вводить ее в жизнь, уничтожать порядок, при котором девять десятых народа — рабы и пролетарии.

«Не в том дело, будет царь или нет, будет конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтобы один класс не сосал кровь другого».

Раздумывая над бурными революционными событиями эпохи, Чернышевский не мог

их рассматривать как что-то далекое, не задававшее его: он определял свое отношение к событиям, свою возможную роль в их дальнейшем развитии. В связи с событиями революции 1848 года во Франции он записал в дневнике:

«Когда хорошенько вздумал об этом и приложил всё это к себе, то увидел, что в сущности я нисколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтожения нищеты и порока, если бы только был убежден, что мои убеждения справедливы и восторжествуют, и если уверен буду, что восторжествуют они, даже не пожалею, что не увижу дня торжества и царства их, и сладко будет умереть, а не горько, если только буду в этом убежден...»

Личность человека тем богаче, тем полнее развита, чем больше в ней, при сохранении всего отдельного, индивидуального, воплощено общее, чем значительнее общественные силы, стоящие за ней, чем прогрессивнее то дело, которое она осуществляет. Сознанием Чернышевского с ранних лет владели гуманные, человеколюбивые идеалы; позднее они определились как идеалы революционные и социалистические. Это было формирующим началом личности великого писателя и мыслителя. Благородная сила идеалов придавала целеустремленность и определенность всему направлению его духовного развития.

Есть люди несомненно талантливые, но не осуществившие полностью возможностей своего таланта. Большей частью (если не говорить о внешних препятствиях) им мешало то, что талант не сочетался с энергией, целеустремленностью, решительностью. Чернышевский выработал в себе сильный, уравновешенный характер. Он был цельной, собранной личностью, и эту цельность Николаю Гавриловичу придали прежде всего ясность и определенность идеалов.

Чернышевский знал свои духовные силы. Двадцатилетним юношей он писал в дневнике, что считает себя человеком, «в душе которого есть семена, которые если разовьются, то могут несколько двинуть вперед человечество в деле воззрения на жизнь». Это — признание, заслуживающее пристального внимания. Чернышевский, который стремится сказать новое слово, чув-

стует себя представителем своей родины и своего народа.

Революционное движение требовало деятеля, обладающего силой теоретической мысли, ясностью взгляда, решительностью и смелостью в борьбе, знанием и верным пониманием жизни и реальных задач. На это требование Россия ответила Чернышевским.

Чернышевский жил предчувствием великих перемен, он понимал, что в России совершаются события совсем не частного значения, и стремился к новому порядку вещей, создаваемому в борьбе, в которой он принимал активнейшее участие. «Таково стремление идей века, и поэтому моя идея превозможет», — записывает он. Он был представителем и выразителем новой общественной силы — революционного разнотипца, за которым стояла огромная, растущая мощь крестьянского протеста. Называя Чернышевского и Добролюбова мужицкими демократами, Ленин точно определил их историческое место.

В обстановке сложной и напряженной борьбы революционных сил против реакционной идеологии и практики Чернышевский был примером ясности, определенности, последовательности убеждений.

Познакомившись с сочинениями Гегеля, Чернышевский не нашел у него «строгости выводов»: мысли его «большею частью не резкие, а умеренные, не дышат нововведениями». В отличие от «лишних людей» сороковых годов с их неопределенным, гуманным и прекраснородушным протестом, разночинец знал, против чего он борется, чего он добивается, — он был ближе к практической деятельности, он мыслил более трезво и деловито, без иллюзий и обольщений.

Чернышевский знал, что нельзя двинуться вперед без резкого противопоставления нового, революционного, старому, отжившему, он требовал обнажения противоречий, отчетливого определения позиций. Половинчатость, либеральная умеренность, межеумочность были ему не по душе, и недаром в студенческие годы его прозвали Сен-Жюстом, сравнивая со знаменитым прокурором эпохи Французской революции.

Чернышевскому был чужд и враждебен сам психологический облик русского либерала с его нерешительностью, половинчатостью, бесхарактерностью, бесконечными колебаниями. Он показал, что эти психологические качества объясняются в конце концов общественными, социальными

причинами, и заклеил либерализм во всех его проявлениях.

В кружке Введенского одна из участниц читала вслух воспоминания о страданиях семейства Людовика XVI и при этом прослезилась. «Странная вы женщина, — сказал Чернышевский, — вчера вы плакали об овечках, съеденных волком, сегодня — о волке, поевшем этих овцев».

Последовательность взглядов, определенность позиции он считал основой поведения, нападая на мнимую беспристрастность, часто прикрывающую трусливое уклонение от борьбы.

Когда Чернышевский был на кауторге и среди заключенных разгорелись споры, как должен вести себя революционер в отношении окружающей его действительности, Николай Гаврилович резко выступил против пассивности и стремления ожидать, что все само собой устроится. «Главное, не надо поддаваться квиетизму — все, дескать, делается силами природы и истории, от нас не требуется никаких усилий и борьбы. Как это можно! Без усилий и без борьбы не получим никогда ничего».

Говоря о Добролюбове, которого любил горячо и сильно, как самое ценное в нем, он выдвигал характер, неспособный идти на какие-нибудь компромиссы. Но эта же черта в высокой степени отличала и самого Чернышевского.

Недавно в сборнике «Литературное наследие» были опубликованы воспоминания Н. Д. Новицкого, относящиеся к петербургскому периоду жизни Николая Гавриловича, и в частности к его участию в редактировании «Военного сборника». Новицкий дает живые штрихи быта Чернышевского, отмечая его редкостную целеустремленность, умение сосредоточиться на своем.

«Катает, бывало, что есть силы по клавишам какой-либо пианист, кричит певец или молодежь пляшет, топает, шаркает, шумит в зале, а Николай Гаврилович сидит себе в гостиной, будто в какой-нибудь отдаленной и глухой пустыне, и пишет да пишет... Поговорот, весело даже посмеется с кем-либо из влетевших к нему из зала и — опять пишет. Точно в нем совмещались два независимых друг от друга человека: один, живущий ординарно, повседневною жизнью, ничем от нее не уклоняющийся, всегда покойный, ко всем приветливый, разговорчивый, готовый всегда даже посмеяться, слегка поиронизировать, пошутить, и — другой, настолько

ушедший в себя, в мысль, в науку и настолько поэтому непроницаемый для всего, его окружающего, что авторского процесса, шедшего в нем, не могло нарушить уже ничто...»

Ольга Сократовна Чернышевская вспоминала: «Жизнь Чернышевского в Петербурге была лихорадочная... Он никогда не мог спать после обеда, да и ночью иногда спал по два-три часа. Бывало, и ночью проснетсся, вскочит и начнет писать».

Какая сила и собранность воли нужна для такого ежедневного подвига мысли и, какая целеустремленность всей духовной жизни должна быть достигнута, чтобы совершить то, что мог совершить Чернышевский!

В некоторых воспоминаниях проскальзывает мысль о властности характера Чернышевского. М. Антонович писал: «Это был ум повелительный, властный, действовавший на читателя неотразимо и неотвратимо... Его статьи отличались и действовали на читателя не увлекательностью или блеском, а строгой логичностью, очевидностью, определенностью и ясностью, без всяких прикрас и заискиваний».

Соратник Чернышевского, Н. В. Шелгунов, отмечал силу и богатство его характера: в нем «чувствовалась душевная мягкость, женственность, тонина и в то же время какая-то нервная сила, которая, несмотря на уступчивость манер, сама собой давала себя знать и подчиняла ему. Чернышевский был очень застенчив и скромнен в манерах. Львом он являлся только в своих статьях, и тогда это был, действительно, лев, учитель, «власть имущий». Чернышевский сознавал эту власть...»

Эти высказывания требуют пояснений. Чернышевский не был властолюбивым человеком, у него не было стремления стать выше других, руководить, наставлять. По свидетельству одного из современников, в отношениях с другими он «как бы ставил себя на второе место и старался согреть, обласкать, приблизить. Чернышевский отогревал и делал робкого смелым...» Но он был человек гениально-ясного ума и высокой преданности своим убеждениям. Это давало ему отчетливое сознание превосходства своих взглядов и убеждений над взглядами как откровенных защитников старого строя, так и половинчатых, бесхребетных либералов. Он знал, что враждебные идеи нельзя ни примирить, ни совме-

стить, что пассивная и выжидательная политика в идейной борьбе так же гибельна, как и на полях сражений,— и в столкновениях подавлял противника своей убежденностью, страстностью, целеустремленностью. Неотразимой была сила его отрицания отживших форм жизни, сила утверждения новых, гуманистических начал. Эту неотразимость не объяснить только свойствами личного характера; дело было в том, что свойства личности Чернышевского — ясной, целеустремленной, решительной — в наибольшей степени соответствовали его мировоззрению, революционным, социалистическим взглядам. Силой идей он побеждал, силой идей он объединял все передовое, силой идей он мощно влиял на общественное развитие.

Ленин заметил в известной беседе с Гусевым, Воровским и Валентиновым: «Существуют музыканты, о которых говорят, что у них абсолютный слух, существуют другие люди, о которых можно сказать, что они обладают абсолютным революционным чутьем. Таким был Маркс, таким же и Чернышевский».

С легкой руки Пыпина и других либеральных деятелей многие мемуаристы изображали Чернышевского «кабинетным ученым», далеким от реальной борьбы, безобидным «катедер-социалистом».

Уже на закате своей жизни, указывая на автобиографический характер образа героя своей повести «Вечера у княгини Старобельской», Николай Гаврилович заметил, как несостоятельны бывают некоторые поверхностные представления.

«Вы увидите, что этот дикий человек, не умеющий сам ступить шагу без смешных неловкостей, этот кабинетный труженик знает жизнь, как немногие, и в серьезных случаях не смущается ничем, готов на все, и ловко ли, не ловко ли, но успешно ведет дело, как надобно для любимых им людей; что он, по всей вероятности, человек крайних прогрессивных мнений».

В воспоминаниях о Чернышевском разных людей отмечается, как хорошо знал он жизнь «простолудных», как разбирался в подробностях земельной реформы, деталях хозяйственных отношений.

Был ли Чернышевский только гениальным теоретиком, идеологом, или также и практическим деятелем революционного движения — так ставился вопрос в некоторых дискуссиях. Сама эта постановка вопроса

не выдерживает критики уже потому, что вся теоретическая, пропагандистская и публицистическая деятельность Чернышевского была практической революционной деятельностью огромного значения и размаха. Он умел и подцензурным словом воспитывать революционеров в духе последовательной борьбы с крепостническим строем, он идейно спланировал их, вдохновлял на борьбу с реакционерами. Одно это обеспечивает Чернышевскому выдающееся место в истории революционного движения.

Человек с такими убеждениями не мог стоять в стороне от освободительной борьбы народа. Юношей, студентом, он думал об участии в революционном обществе, о типографском станке для печатания обращений к народу. И когда он писал, что чувствует себя по отношению к самодержавию, как генерал, готовящийся начать бой против опасного врага,— даже сама военная терминология свидетельствует, что Чернышевский был готов и к самым решительным формам борьбы.

В сборник включены воспоминания А. А. Слепцова, который рассказывал, что Н. Г. Чернышевский, узнав о создании нелегальной революционной организации, выразил ей свое полное сочувствие, но заявил: «За меня дело должны решать болезнь Николая Александровича (Добролюбова) и неспособность Некрасова вести теперешний журнал одному. Работать же, как сейчас, в «Современнике» и у вас,— извините, с вами,— я не вижу физической возможности. Обождемте, что окажется с нашим больным. Когда я увижу, что он в состоянии работать по-прежнему, то через месяц, другой я с вами, но все-таки и с «Современником»; он мне дорог, как кафедра, которой не должно лишиться ни для меня, ни для вас...»

Вместе с тем Слепцов рассказывал, что Чернышевский неустанно интересовался работой подпольной организации, подвергал критике очередные проекты. Ему принадлежала мысль разделить Россию на округа (северный, южный, московский, приуральский и другие), строя революционную работу в соответствии с условиями каждого. Его постоянными посетителями были братья Серно-Соловьевичи, Михайлов, Шелгунов, Слепцов, Сераковский и другие организаторы и борцы революционного движения шестидесятых годов.

Не ограничиваясь легальной деятельностью в подцензурной печати, Чернышевский

стремится обратиться непосредственно к народу, к обманутому крестьянству, и пишет свое блестящее воззвание «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», самую глубокую и сильную из прокламаций, вышедших из этого круга борцов.

Чернышевский стремился к такому сочетанию идейной, публицистической и практической революционной работы, при котором его силы полнее были бы использованы для дела освобождения народа. В революционном движении шестидесятых годов у него было свое, особое место. Он был больше чем организатором нелегальных кружков — он был идейным вождем и вдохновителем всего революционного движения той эпохи. Люди же, которые стараются, не располагая фактами, сделать обязательным для всех свое предположение, что Чернышевский был членом центрального комитета «Земли и Воли», не понимают прежде всего масштаба и значения деятельности человека, стоящего во главе всех передовых сил народа. Материалы сборников убедительно показывают реальное значение для всей духовной жизни страны той революционной трибуны, того идейного центра, которым Чернышевский сделал «Современник». Используя известное выражение, можно сказать, что журнал этот для русского общества того времени был и университетом, и парламентом, и баррикадой.

* * *

Либералы немало потрудились, чтобы создать о Чернышевском представление как о «сухаре», человеке сугубо «рассудочном», желчевике, знающем лишь силу холодной мысли и чуждом благородных эмоций, возвышенных стремлений души.

Наилучший ответ этим людям содержит произведение самого Чернышевского, его дневники и письма. Какой обаятельный и теплый образ создается у того, кто обратится к этим источникам! Мемуары о писателе также дают много драгоценнейших штрихов, позволяющих конкретнее, ближе представить живого Чернышевского.

Некоторым читателям могут показаться неожиданными слова Чернышевского из его письма Некрасову: «...я сам по опыту знаю, что убеждения не составляют еще всего в жизни, потребности сердца существуют, и в жизни сердца истинное горе или истинная радость для каждого из нас...

поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли».

Чернышевский отрицал холодную, рассудочную поэзию; холодные сентенции остаются «вне области поэзии». Полнота человеческой природы требует единства ума и сердца, органического слияния идейного начала и поэтического чувства. Деятели, которого объявляют сухим рационалистом, убежденно отстаивал многогранность, полнокровие, идейное и эмоциональное богатство искусства.

Антонович рассказывал, как Николай Гаврилович в кругу товарищей «с удовольствием, мало того, с каким-то особенным наслаждением декламировал любимые им стихотворения классических поэтов, наших и немецких, и французские демократические песенки. При декламировании стихотворений с политическим оттенком, напр. Рылеева, голос его дрожал от волнения и в глазах навертывались слезы».

Нет, не сухой и бесстрастной личностью был Чернышевский, а натурой страстной, глубоко эмоциональной, в которой, при всей его рассудочности, сила ума не подавляла чувств, а находилась с ними в гармонии. Он обладал отзывчивым и мягким сердцем, всегда открытым для товарища.

Каракозовец П. Николаев писал о простоте, отличавшей Чернышевского: «И чем больше мы узнавали его, тем для нас яснее становилось, что в этой именно простоте и таилась та притягательная сила, которую чувствовали все, кому пришлось узнать его... Николай Гаврилович обладал замечательным умением говорить с простыми людьми, находя надлежащее, идущее прямо к сердцу и уму таких людей слова».

Он ненавидел эффектные фразы, красивые позы, стремление выделиться и «покрасоваться». Тот же П. Николаев писал: «Ни один посторонний наблюдатель, видя такое ровное и тихое существование, не мог бы угадать всей глубины любви к людям, всей той духовной чистоты и нежности, всей той бурной кипучих страстей, какие таились в этой сдержанной, по-видимому, хладнокровной и покойной, но в сущности кипучей мысли и чувствами, полной нравственной энергии натуре».

И Николаев и другие товарищи Чернышевского на каторге вспоминали беседы и рассказы Николая Гавриловича — это был блестящий фейерверк идей и образов. Его манера рассказывать, доказывать, спорить

была художественной, он развивал мысль образами, иллюстрировал яркими штрихами — художественная жилка несомненно проявлялась в этих беседах.

А какое благородство, высокую человечность, силу и красоту чувства проявил Николай Гаврилович в своей семейной жизни, в отношении к Ольге Сократовне! Составители саратовского двухтомника по необъяснимым причинам решили, в сущности, обойти эту тему — и напрасно. Воспоминания разных людей, дневники и письма самого Чернышевского создают целостную картину необычайно сильной, яркой, преданной любви замечательного революционера. Можно спорить о характере и взглядах жены Чернышевского. В книге В. Пыпиной «Любовь в жизни Чернышевского» Ольге Сократовне дается весьма неприглядная характеристика. В. И. Шульгин старательно, хотя и не очень убедительно, доказывал, что Ольга Сократовна была едва ли не одним из руководящих деятелей революционного движения. Этот спор можно и не продолжать, но отношение Чернышевского к жене, его стремление установить полное равенство мужчины и женщины в семье и в жизни общества, чистота и возвышенность его чувства к любимому человеку, высокое постоянство необходимо было показать, используя мемуары и материалы самого писателя.

Любовь Чернышевского была полностью свободна от всякого себялюбия, мелочности, эгоизма; новый человек очищал свои отношения от старого хлама — надо ли говорить, как важен этот пример для нашего молодого поколения?

Всей своей деятельностью, всем своим поведением Николай Гаврилович вызывал к себе уважение и любовь. Заключение на каторге считали его своим наставником и патриархом; его простое и сердечное слово заставляло утихнуть самые пылкие страсти, его советы запомнились на всю жизнь.

Герман Лопатин, революционер, близкий к Марксу и разделявший его глубокую симпатию и уважение к Чернышевскому, заброшенному в глубь Сибири, писал:

«Клянусь, что тогда, как и теперь, я бы охотно и не медля ни минуты поменялся с ним местами, если бы только это было возможно и если бы я мог возратить этою жертвою делу отечественного прогресса одного из его влиятельнейших деятелей; я бы сделал это, не колеблясь ни минуты и с

такою же радостной готовностью, с какой рядовой солдат бросается вперед, чтобы заслонить собственной грудью любимого генерала».

Величие сердца, величие нравственных качеств Чернышевского равнялось величию его ума.

Вот два отзыва, произнесенные разными людьми в разные периоды жизни Чернышевского.

Авдотья Панаева приводит слова Добролюбова, сказанные в ответ на ее замечание о необыкновенной умеренности Николая Гавриловича в обыденной жизни:

«— Чернышевский свободен от всяких прихотей в жизни, не так, как мы все, их рабы; но главное, он и не замечает, как выработал в себе эту свободу...»

Товарищ Чернышевского по каторге, М. Д. Муравский, говорил: «Там я видел Николая Гавриловича Чернышевского, слышал его, говорил с ним, разыгрывал вместе с другими пьесы его сочинения, и только глядя на спокойную и ясную твердость его характера, я понял, до какой большой высоты способна подняться душа человека».

Свобода — в сознательном, убежденном служении высоким идеям, в умении подчинить каждый шаг великому идеалу, отбросив все мелкое, случайное, ограничивающее деятельность человека. Злобному врагу не удалось ни подчинить, ни сломить душу Чернышевского: обреченный на десятилетия каторги и ссылки, он остался воплощением мужества и свободы.

В ряде воспоминаний говорится, как непреклонно строг и требователен был Николай Гаврилович к себе. Иногда он даже «бичевал» себя за слабость, мягкость, нерешительность, уступчивость. Подобные речи с удивлением воспринимались слушателями. А между тем они по-своему очень важны для понимания Чернышевского.

Разумеется, упреков в слабости, нерешительности Николай Гаврилович не заслужил. Он был смел и самоотвержен в боях с самодержавием и крепостничеством, он был тверд и решителен в схватках с идейными противниками. Слова о вялости, нерешительности показывают прежде всего, какая жажда активного революционного действия кипела в душе Чернышевского, какой недостаточной, спокойной казалась ему «мирная» деятельность перед лицом тех великих потрясений, которые

должны были, по его убеждению, произойти в стране.

В начале своего литературного пути Чернышевский сотрудничал некоторое время и в «Отечественных записках» Краевского и в некрасовском «Современнике». Линии этих журналов расходились все больше. Журнал Краевского был умеренно-либеральным, Некрасов стремился в демократическом духе ответить на вопросы, волновавшие общество. Сотрудничать в двух ведущих между собой полемике журналах стало невозможно. Надо было выбирать. Чернышевский только начинал свой путь публициста. Как вспоминает дальний родственник его, Расв, «Отечественные записки» лучше обеспечивали молодого публициста. Краевский платил своим сотрудникам так же исправно, как казначей жалованье сановникам. Некрасов же нередко сам сидел без денег.

«Чернышевский высказался так: «В «Современнике» я нужнее, и с Некрасовым связан нравственными узами, а потому предпочитаю «Современник»».

Уже в этом эпизоде проявляется дух и сущность поведения Чернышевского, для которого выше всего были идейные, нравственные требования.

Революционер Чернышевский принес и в литературную среду новый дух — дух высокой общественной ответственности за литературное дело, высокой принципиальности и требовательности. Это почувствовали писатели дворянской среды; это почувствовали и молодые литераторы из разночинского лагеря, дружно потянувшиеся к Чернышевскому. Добролюбов писал своему товарищу Турчанинову, ученику Чернышевского по Саратовской гимназии, после знакомства с Чернышевским: «Столько благородной любви к человеку, столько возвышенности в стремлениях и высказанной просто, без фразерства, столько ума, строго последовательного, проникнутого любовью к истине, я не только не находил, но никогда не предполагал найти...»

Чернышевскому писал Помяловский: «Я Ваш воспитанник, — я, читая «Современник», установил мое мировоззрение». Сильнейшее влияние он оказывал на развитие В. Курочкина, Н. Шелгунова, М. Антоновича, М. Михайлова и многих других писателей и критиков.

В ряде мемуаров, да и в воспоминаниях самого Чернышевского раскрывается сложная обстановка литературной жизни: цензурный гнет, давление реакционных сил, травля охранительной печатью... В такой обстановке Чернышевский, Некрасов, Добролюбов выступали как собиратели передовых литературных сил, стремясь сплотить все честное и талантливое.

И здесь Чернышевскому было чуждо все мелкое, сектантское, групповое — он отстаивал интересы не узкого кружка, а всей прогрессивной культуры. Он выступал как теоретик и организатор передовой реалистической литературы. Направлен, приданное Чернышевским «Современнику», сделало его ведущим, самым авторитетным журналом шестидесятых годов.

У Чернышевского была ясная программа деятельности — поддержка всего передового, отрицающего самодержавно-крепостнический строй, критика всего, что защищает этот строй, мешает пробуждению народного сознания. В воспоминаниях сотрудника «Современника» Е. Колбасина, напрасно, как нам кажется, не включенных в рассматриваемый сборник, рассказывалось, какое огромное впечатление произвели на читателей, особенно на молодежь, первые же выступления критика, его смелые, резкие статьи о произведениях Авдеева, Евг. Тур.

Уже в 1855 году Чернышевский мог с полным основанием написать: «...из статей, направленных на меня в разных журналах, можно было бы составить книгу порядочной толщины».

В сборнике почти не нашли отражения нападки на Чернышевского, которые вели в 1855—1856 годах Дружинин, Толстой, Григорович. А ведь это шла борьба разных идейно-эстетических тенденций за дальнейшее идейное направление журнала. Современники рассказывают о повести Григоровича «Школа гостеприимства», о пьесе Л. Толстого «Зараженное семейство». Произведения эти были направлены против «нигилистов», и в них, особенно в повести Григоровича, содержались прозрачные намеки на Чернышевского. (Григорович написал свой пасквиль понаслышке, не зная Чернышевского и питаясь слухами и сплетнями, ходившими в тех кругах, где Григорович

вращался¹.) Зачем обходить эпизоды, характерные для того времени, когда в рядах сотрудников «Современника» происходило весьма поучительное расслоение?

Очень важно и то, что в этих сложных обстоятельствах Чернышевский проявил все благородство своего отношения к писателям. Там, где дело касалось общего интереса, он устранял все личные пристрастия. В 1856 году он знал, вероятно, что Л. Н. Толстой всюду говорит о своем недовольстве Чернышевским и даже носится с идеей заменить его в журнале Аполлоном Григорьевым. Но в этот период обострения отношений Чернышевский пишет свою знаменитую статью о Толстом, в которой сердечно и доброжелательно приветствует молодой и растущий талант, проникательно объясняет его творческое своеобразие.

Рассказывая о нарастании разногласий между Добролюбовым и Тургеневым, Чернышевский замечал:

«Я не желал разрыва между ними... — у меня на то был мотив, не имеющий ничего общего с приятностью или неприятностью, занимательностью или незанимательностью их для меня. Мне казалось полезным для литературы, чтобы писатели, способные более или менее сочувствовать хоть чему-нибудь честному, старались не иметь личных раздоров между собою».

Немало писалось о резкости, «задирчивости» Чернышевского, но основное стремление его — сплотить, объединить людей. Он спокоен, объективен и в отношении к тем, кто неодобительно относится к нему, он в высокой степени обладал умением ценить человека по действительным заслугам, вне зависимости от личных отношений.

О себе он говорил: «...Я привык устранять при анализе фактов мои личные желания», «Мои мнения о людях не зависят от моих отношений к ним», «Нельзя... отрицать истины только потому, что она лично мне не совсем приятна».

Николай Гаврилович давал образец справедливости, принципиальности, объектив-

¹ «Современник» не прошел мимо этой выходки, отметил в произведении Григоровича черту, «которая может произвести неприятное впечатление», но не стал о ней подробно говорить, заметив, что составляет за собой право коснуться «вопроса о том, в какой степени можно вносить свои антипатии в литературные произведения».

ности в отношении к писателям. Он высмеивал «оракулов своего муравейника», связанных узкими кружковскими и групповыми пристрастиями. Он мог, разоидясь с Толстым, осуждая неправильные его представления о том, что нужно народу, видеть и то положительное, что было в его яснополяском педагогическом начинании. Он мог, хорошо относясь к Антоновичу, отчитать его за то, что, начав спор с Кавелягим по вопросу, в котором нравота Антоновича бесспорна, тот оробел и не довел спора до конца.

В отношениях с литераторами Чернышевский был гибок, учитывал индивидуальные свойства и Толстого, и Тургенева, и Григоровича, но то была гибкость в проведении ясной линии, а не та неопределенная «эластичность», при которой предаются забвению основные убеждения.

Поучительны в Чернышевском прямота и ясность в оценках произведений. Близки или далеки ему авторы — о произведениях надо говорить то, чего заслуживают сами произведения. Правдивость он называл силой характера в честном человеке. Чернышевский не утаивал от Некрасова, что у того есть и слабые стихи, он мог прямо сказать Тургеневу, что пьеса Мея, которую тот расхваливал, слаба и неинтересна.

Чернышевский стремился объединить, сплотить передовую литературу — и он знал, что такое сплочение можно осуществить только на здоровой основе честных и принципиальных отношений.

* * *

Либеральный историк литературы Нестор Котляревский назвал Чернышевского погасшим вулканом, а творчество его сравнил с застывшей лавой. За пышностью этих слов скрывалась глупая фальшь...

Чернышевский не был погасшим вулканом ни тогда, когда томился на каторге, ни тогда, когда в Астрахани и Саратове стремился найти себе достойное место в общественной жизни. Верность идеалам и активное стремление своей деятельностью приблизить их осуществление он пронес через всю жизнь.

Годы каторги «во глубине сибирских руд» — в Кадае, в Александровском заводе — были, как это ни парадоксально звучит, лучшей половиной его жизни в зато-

чении. На каторге он жил в окружении революционеров, «новых людей», для которых он был учителем, патриархом, он щедро делился с ними сокровищами своих знаний и опыта; их любовь и уважение поддерживали Чернышевского. Куда страшнее самой тяжелой каторги оказалась жизнь на поселении в Вилюйске — одиночество, полная оторванность от людей, близких по духу, утомляющий и унижающий надзор тулупных жандармов.

Но и в гнетущем безмолвии вилюйской тундры Чернышевский думал о будущем своего народа, и тогда его письма как бы начинали светиться светом вдохновения.

«Нам впереди на много столетий обеспечена счастливая доля делаться самим и устраивать свою жизнь все получше и лучше».

Он окидывал взором всю историю человечества, проникал в его будущее, размышлял о задачах науки.

Жить для него — значило работать, творить для людей. Самое тяжелое и мучительное — невозможность приложить силы для дела, в служении которому он видел смысл своей жизни. Эту трагедию острее всего Чернышевский переживал не в Кадае и не в Вилюйске, а в Астрахани и в Саратове. Он был, казалось бы, на свободе; он мог даже печататься — правда, не под своим именем. Он сохранил силы и знания и сам предупреждал: «Вы не слишком-то считайте меня стариком, отставшим от века».

Неправдой были утверждения, которые повторял даже Короленко, будто жизнь прошла мимо Чернышевского, а он остался позади. Он пытался установить связи с издательствами, с журналом, мечтал о трибуне, с которой мог бы говорить о вопросах жизни, о проблемах мировоззрения, о формировании идеалов новых поколений. Но либеральные руководители печатных органов предлагали ему переводить второстепенных западных историков и философов и огкровенно давали понять, что собственное слово Чернышевского их страшит. Он мог писать только по «академическим» темам, да и то его статьи путешествовали от одного редактора к другому.

«Высокообразованный, не только ничего не утративший, но многое приобретший со времени своей ссылки, полный энергии и сил, при величайшей трудоспособности, он готовился вступить в ряды бойцов», — вспо-

минал знакомый Николая Гавриловича саратовского периода А. А. Токарский.

В одном из писем последних лет Николай Гаврилович писал, что с годами он не стал уступчивее в идейных и нравственных требованиях: «Глаза у меня очень разборчивые, а мои нравственные и умственные требования еще гораздо разборчивее, чем мои глаза». К Пыпину он обращался со словами, которые заставляли вспомнить Чернышевского молодых лет: «Ты любишь сдерживать себя. А я не охотник щадить то, что не нравится мне, когда речь идет о вопросах науки или литературы, или чего-нибудь такого, не личного, а общего».

Чернышевский был полон сил и боевого духа, но не мог найти достойное применение этим силам. Те, кто писал о «потухшей лаве» творчества Чернышевского, больше всего боялись, как бы снова не полилась пламенным потоком огненная лава его публицистики.

Жизненный путь Чернышевского от студенческих лет до последнего успокоения в саратовском изгнании был прямым, как полет стрелы. Сорок лет жизни отдал он делу освобождения народа. Было бы наивным полагать, что за сорок лет он не изменился. Время неизбежно оставляет свой след на человеке. Меняются обстоятельства, жизнь выдвигает новые вопросы, по-новому встают вопросы политики, стратегии, тактики. Но неизменными остались в Чернышевском его революционное, демократическое, материалистическое мировоззрение, любовь к народу и стремление служить ему.

И своим талантом, и всей своей многогранной деятельностью, своеобразием своей личности, своим характером Чернышевский представлял собой явление редкое, исключительное. Но при всей исключительности это характер совершенно народный, русский. Сам Николай Гаврилович не раз возвращался к мысли о том, какие замечательные умы и характеры выдвигаются народом, когда этого требует историческая необходимость.

«...В простом народе,— писал Чернышевский,— встречаются люди энергического ума и характера, способные обдумывать данное положение, понимать данное сочетание обстоятельств, сознавая свои потребности, соображать способы к их удовлетворению при данных обстоятельствах и дей-

ствовать самостоятельно... нельзя сомневаться в существовании таких людей».

«Сочетание обстоятельств», которое сформировало и выдвинуло Чернышевского,— это борьба народа за освобождение, подъем революционно-демократического движения. Напряжение сил передовых людей, острота общественных конфликтов — все это содействовало тому, чтобы силы и способности борца раскрылись быстро и полно.

В «Очерках гоголевского периода» содержится блестящая мысль о том, что такое гений.

«Гений — просто человек, который говорит и действует так, как должно на его месте говорить и действовать человеку с здравым смыслом; гений — ум, развившийся совершенно здоровым образом... Если хотите, красоте и гению не нужно удивляться; скорее надобно было бы удивиться только тому, что совершенная красота и гений так редко встречаются между людьми: ведь для этого человеку нужно только развиться, как бы ему всегда следовало развиваться. Непонятно и мудрено заблуждение и тупоумие, потому что они не естественны, а гений прост и понятен, как истина: ведь естественно человеку видеть вещи в их истинном виде».

Эти великолепные строки направлены против индивидуалистического и субъективистского понимания природы гения. Гений порожден народной жизнью, он выражает собой ее мощь и красоту. Нормальное, здоровое развитие народа — это освобождение от всего, что сковывает и задерживает это развитие. Освободительная, революционная борьба народа создает условия для нормального, естественного развития человека, для появления новых талантов и гениев.

На каторге в Александровском заводе Николай Гаврилович беседовал с политическим заключенным П. Г. Успенским.

«— Помните пословицу, Петр Гаврилович: «терпи, казак, атаманом будешь»? Не сейчас, конечно, а в будущем, далеком будущем; не мы, так дети наши или внуки... Атаманами будут не всегда генералы с регалиями, а явятся атаманы великого ума, убеждения, непреклонного желания в другую сторону, поверх всей настоящей жизни...»

И обратившись к примерам прошлого — к мужественному поведению протопопы Аввакума («человек был, не кисель с раз-

мазней»), к раскольникам, отстаивающим свои взгляды, он добавлял: «Верят и действуют, вот в чем суть их жизни, верят и не опускаются... Натурально, за такими сила и будущее, а откуда они? Из простого, неграмотного народа,— вся сила в народе».

Народ выдвигает «атаманов» ума и таланта, а они своим примером, силой знания, убеждений, твердой волей поднимают народ, указывают ему путь вперед, ведут его выше и выше по неизведанным тропам истории.

Создатель образов Рахметова, Волгина, Левицкого, «новых людей» сам был воплощением нового типа личности — личности свободной, творческой, многогранной, живущей всей жизнью своего народа, неразрывно связанной свое счастье со счастьем всей страны.

«Величайшая заслуга Чернышевского в том, что он не только показал, что всякий правильно думающий и действительно порядочный человек должен быть революционером, но и другое, еще более важное: каким должен быть революционер, каковы должны быть его правила, как к своей цели он должен идти, какими способами и средствами добиваться ее осуществления», — говорил Ленин.

Двухтомник воспоминаний о Чернышевском содержит драгоценные штрихи жизни этого великого революционера — штрихи, представляющие интерес не только для литературоведов, педагогов, но и для самых широких слоев читателей.

У нас немало сборников мемуаров, посвященных русским писателям, о Чернышевском данный сборник — первый. И вышел он не в Москве — московские издательства и исследователи до сих пор не удосужились им заняться, — а в Саратове. Саратовские исследователи жизни и творчества Чернышевского сделали, без преувеличения, огромное дело. Готовя к печати двухтомник, им пришлось исследовать огромное количество источников, чтобы отобрать наиболее ценное. Отобранные материалы надо было снабдить пояснениями и комментариями. С этим трудом составители в основном справились.

Выше уже говорилось о некоторых пробелах и упущениях двухтомника. Можно указать еще и на другие. Прежде всего бросается в глаза недостаточно продуманное определение пропорций между разделами

сборника. Раздел «Н. Г. Чернышевский в Петербурге» мог бы быть усилен, сейчас в нем явно недостает материалов о некоторых важных сторонах жизни и деятельности Николая Гавриловича. Так, весьма слабо освещена деятельность его в «Современнике», а в то же время в состав этого раздела не включены мемуары Е. Колбасина «Тени старого «Современника», не привлечены воспоминания С. Терпигорева, содержащие живые черточки того времени. Могли бы здесь быть полнее использованы и мемуары А. Н. Пыпина. Конечно, Пыпин был либералом, и сам Чернышевский критиковал его позиции — поведение Пыпина можно прокомментировать в правильном духе, а сообщаемые им данные использовать. Это лучше, чем брать воспоминания Пыпина по менее важным вопросам и не давать при этом должной оценки его деятельности. Из воспоминаний Н. Д. Новицкого приведены страницы, посвященные кружку И. И. Введенского. Недавно опубликованы более полные мемуары Новицкого, в которых рассказано о деятельности Чернышевского в «Военном вестнике», а этот очень важный эпизод в жизни Чернышевского в сборнике почти не затронут.

Можно также назвать материалы, обращение к которым обогатило бы сборник, например «Записки шестидесятника» И. Г. Жукова, очерк Ф. Августиновича «Три года в Северо-Восточной Сибири», содержащий яркую характеристику условий, в которых жил Чернышевский в Вилюйске, и т. д. И в мемуарах и особенно в комментариях есть ряд повторов, за счет которых можно было бы привлечь новые материалы. Но не в этом главное.

Думается, что главный недостаток сборника состоит в том, что для характеристики Н. Г. Чернышевского мало, непродуманно, бессистемно использованы мемуары, дневники, письма самого Николая Гавриловича. В истории литературы и общественной мысли мало можно найти примеров, когда человек с такой глубиной и полнотой сам характеризовал свою деятельность, свое духовное развитие, свои убеждения и отношение к людям. Включение дневников Чернышевского, его воспоминаний о Некрасове, его потрясающих писем из Сибири — в комментарии, в приложения, во вступительные статьи к тем или иным разделам — сделало бы двухтомник богаче и шире содержанием.

* * *

«Чернышевский,— говорил А. В. Луначарский,— одна из прекраснейших по своей законченности и широте человеческих натур, которая когда-либо жила на свете. И на всем его мирозерцании, как и на всей его жизни, лежит отпечаток силы, красоты и человечности».

Чернышевский был революционером до-марксистской эпохи, и научный коммунизм дал ответы на те вопросы, которые не мог разрешить старый, утопический социализм. Марксизм представляет собой новый, качественно отличный этап развития социализма. Но марксизм высоко ценит своих предшественников.

Великого революционера и писателя, вождя «мужицких демократов» шестидесятих годов, силой ума и воли победившего своих тюремщиков и палачей, мы вспоминаем в эпоху победоносного движения к ком-

мунизму, в век спутников и космических ракет, изумительных достижений труда и мысли человека. Чернышевский мечтал о прекрасных людях будущего, развивающихся вполне здоровым образом, свободно развертывающих все способности ума и таланта. Эта мечта сбылась, и светлый, достойный человека мир, о котором великий гуманист писал почти сто лет назад, стал явью, крепнет и растет.

Прекрасный человек мира социализма формируется всей советской действительностью. Весь опыт человечества приходит на помощь в его развитии. Как яркие маяки, бросают лучи света великие деятели прошлого, гениальные мыслители, революционеры, и вечно живое сердце Чернышевского стучит в такт с сердцами его внуков и правнуков, осуществляющих на земле вековую мечту народов об обществе всеобщего счастья.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Кондратович. Голос свободной Азии.— **И. Роднянская.** Уголок большого мира.— **Г. Мунблит.** Рассказы о мирной жизни.— **Ал. Михайлов.** Разговор о главном.— **Т. Мотылева.** Монография о «Войне и мире».— **В. Ясный.** Мадрид, 1953.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Е. Стеллиферовская. Образ вождя живет в сердцах.— Кандидат исторических наук **Б. Жучков.** Нужное издание.— **Дм. Рудь.** Жизнь берет свое.— **Е. Петруничев.** Крах пособников фашизма.— Кандидат юридических наук **А. Полторак.** Документы обвиняют и предупреждают — **Мих. Цунц.** Из зала суда.— О книге «Очерки истории Свердловска».

Литература и искусство

Голос свободной Азии

Совсем недавно меж прочих заметок по газетам прошло сообщение о том, что в Африке родилось еще одно независимое государство — Того. Сообщение это было воспринято без особого удивления, как нечто должное. Мы уже привыкли к тому, что наш век несет народам свободу, прочные гарантии самостоятельной жизни. Отлитые некогда цепи колониализма проржавели настолько, что народы сбрасывают их повсеместно. Того, Камерун, Гвинея, Гана — все они получили независимость в последние годы. А до них — многомиллионная Индия, Индонезия...

Еще лет тридцать назад политическую карту мира заливали одни и те же краски. Зеленый цвет владычицы морей Великобритании главенствовал чуть ли не на всех материках. Крохотная Голландия имела необъятные заморские владения. Фран-

ция простирала свои руки не только до близкой ей Африки, но и до Южной Америки. Но уже тогда был один цвет, цвет наших знамен — красный, покрывавший на картах одну шестую часть земной суши. Советская Россия была первой в новейшей истории страной, зажегшей факел свободы. И факелу этому дано сиять вечно. У каждого народа своя судьба, каждый народ ищет и находит свои пути новой жизни, но при этом ясно одно: где-то в самом главном своем стремлении народы едины — в стремлении жить свободно, «своим домом» в общей дружной семье человечества.

Проясняется сфинкса загадка,
словно утром простор небосвода,

Тайна сфинкса теперь нам известна,
это древняя тайна — свобода.

Так взволнованно, передавая стремительный ритм шагающей вперед жизни, пишет о «переоборудовании планеты» таджикский поэт Мирзо Турсун-заде. Книжки его — сборник «Голос Азии» и поэма «Ха

Мирзо Турсун-заде. Голос Азии. Перевод С. Липкина. 56 стр. «Молодая гвардия». М. 1957. Хасан-арбанеш. Перевод В. Державина. 40 стр. Издательство «Правда». М. 1957.

сан-арбакеш» — недавно удостоены высокой награды — Ленинской премии. В этих книгах с присущей ему поэтической энергией Турсун-заде продолжает развивать тему, являющуюся вообще генеральной для его творчества, — тему дружбы народов, трудового братства людей разного цвета кожи. Мысль поэта улетает далеко за пределы его родной страны, поэт как бы оглядывает пробуждающиеся материки, и начатая им песня звучит молодо, звонко, уверенно.

И вам доносится Азии голос,—
это мы говорим, азиаты,
Это рокот волны океанской,
это вольности нашей раскаты,
Это Азия наша проснулась,
чтоб за счастье народное биться,
Это сердце ее востепенулось,
как свободу познавшая птица.
Вспоминаете строки Хафиза?
— Темной ночью плывем среди моря
И завидуем тем, кто на суше,
кто не ведает нашего горя...
Никому не завидуем ныне,
мы не тонем в бурлящей пучине...
Не страшимся мы бурь и туманов,
помогают нам люди по-братски,
Для свободы впервые воспрянув,
хочет жить материк азиатский!

Мир, дружба, свобода — понятия родственные не потому лишь, что они стоят рядом на наших знаменах. Точнее говоря, оттого они и стоят рядом, что добиться одного без другого невозможно. Нельзя обеспечить мир, если не доверять друг другу, а доверие — уже начало дружбы. Прочная дружба — прочный мир. Нельзя завоевать свободу в одиночку. Свобода — в единстве людей, народов! Эту мысль Турсун-заде подчеркивает настойчиво, доказывает ее даже «от обратного»: иллюзорна и печальна «самостоятельная» жизнь человека, когда эта «самостоятельность» куплена ценой одиночества.

Примечательна в этом отношении поэма «Хасан-арбакеш». Не теряя из виду индивидуальную, конкретную судьбу своего героя — напротив, поэма отличается необыкновенной конкретностью, зримостью деталей, своеобразием биографии ее основного героя, — Турсун-заде дает как бы художественную историю своего народа, историю смены воззрений, привычек, социальных навыков.

Хасан-арбакеш, хозяин нехитрого богатства — арбы да коня, — ищет места под солнцем не с людьми, а в одиночку; ему

нужно счастье пусть угловое, но свое, достаток пусть небольшой, но собранный и прибереженный им самим, такой, что не нужно делить с другими. Он ищет это свое мнимое и несбыточное счастье, многие годы блуждая по дорогам родного края.

На двухколесной древности своей
Он степи знойные пересекал.
Качаясь на коне среди степей,
О многом по дороге размышлял...

В характере Хасана много чистого, непосредственного, детски наивного; в сущности, он добр к людям и любит их, он не из тех, кто стремится в первую очередь урвать чужой кусок, он хочет его сам заработать и зарабатывает с утра до ночи и даже ночью, не жалея сна своего. Конечно, он чуточку смешон и несколько запоснив от сознания своей «независимости». Посмотрите, как он въезжает на базарную площадь:

— Эй, расступись!
Посторонись, народ!
Лепешечник, побереги бока!
А ну, варзобец на вязанке дров,
Прочь убери с дороги ишака!

Вот так, на весь базар крича с коня,
Надменно возвышаясь над толпой,
Прохожих на две стороны тесня,
Хасан загромыхал своей арбой.

Но и эта «надменность» не так уж смешна, а скорее трогательна: куда больше, чем собой, Хасан гордится конем, арбой с огромными колесами. Он и товарищами своими гордится — они тоже работники, а не бездельники на этом свете. Именно эти черты характера Хасана и позволяют ему сойти с кривых тропок блужданий. Происходит это не сразу, в мучительных раздумьях. Пока Хасан ищет свой отдельный рай, новая жизнь идет своим чередом. В поэме она не фон, на котором разворачивается судьба героя. Турсун-заде смело вводит в поэму автобиографические куски, рассказывая «о времени и о себе», о своей жизни в детстве, о первом таджикском пионеротряде, о первом увиденном в жизни паровозе, об учебе в Ташкентском институте просвещения... Одиноким судьбе Хасана противопоставляется иная судьба — судьба молодого таджика, жизнь которого слита с жизнью его такой же молодой республики. И это постоянное чередование двух планов поэмы придает ей особую динамичность: рано или поздно они должны слиться и сливаются в той точке, где наконец Хасан

обретает понимание никчемности своего отдельного от людей существования.

— Что ж... Сам ты виноват в беде своей!
Ручьи живут, сливаясь в руслах рек.
А одинокий среди песков ручей
Пересыхает. Так и человек.

В единстве наше счастье, дорогой!
Ты этого не понял до сих пор.
Все по старинке за своей арбой
Идешь ты, времени наперекор!

Время побеждает, берет свое, жизненный путь Хасана выравнивается, и образ его, по-прежнему не теряя характерности, предстает уже как художественное обобщение накопленного народом опыта.

Дорогая поэту идея неотделимости личного счастья от общего, от судеб всего народа выражена и в другой поэме Турсунзаде — «Святая девушка». Поэма эта условнее, она ближе к жанру легенды, сказания, не чужда гиперболы, романтического преувеличения («Там, на деревьях тропических, сказочно редких, птицы от голода окаменели на ветках»), свойственна ей и высокая патетика, ораторские интонации:

Горе индийцам от жгучей вражды
мусульман,
А мусульман ослепляет гнетущий обман.

Землю одну, и единую воду, и воздух,
Ложу единое, небо единое в звездах,

Горе одно, и дыхание, и пищу, и сон,
Сердце одно и единый мучительный
стон,

Песню одну, и надежду, и голос
единый —
Видит она — разделили на две
половины!

Угнетенная людской враждой, девушка бежит из «мирской жизни» в храм, к богу, прячется «в потаенной глуши», чтобы там «медленным пламенем в жертвенном гаснуть сосуде». Тщетно! От себя никуда не уйдешь. И хотя девушка уже прослыта святой, она не испытывает утоления душевной жажды. Разве жить для себя — святость? И кипящая кругом жизнь врывается в двери храма, уводит девушку в большой мир борьбы, правды, свободы.

Сюжет этой романтической поэмы не сколько традиционен, но символика ее достаточно прозрачна, за ней мы ясно видим очертания современной жизни. Поэтому в ткань поэмы органически вплетаются, при-

чудливо перемежаясь с условно-сказочными образами, прямые публицистические строки.

Разные люди, но думой пылают одною:
Мир защищают они и воюют с войною,

Это движение правды, могучий поток,
Прочного мира и крепость, и ключ,
и замок...

В связи с этой поэмой хочется обратиться внимание на одну из особенностей поэзии Турсунзаде: питаясь соками народной жизни, она вместе с тем глубоко интернациональна. Она национальна и интернациональна одновременно — каждой своей строкой, направлением мысли, добрым, братским отношением к далеким и близким соседям и друзьям. Не случайно лучшие стихотворения Мирзо Турсунзаде — «Индийская баллада», «Ганг», «Висячий мост в Бомбее», «Тара-Чандра» и другие — созданы на «иноземном» материале, что уж не так часто бывает в поэзии. И не случайно этн стихи пользуются популярностью в той же Индии и в других странах Востока. Это и дает право поэту говорить не только от имени своего народа, но от имени всей Азии.

Далекое — близкое. Это понятие дает представление о самом духе поэзии Турсунзаде — человечной, я бы сказал, чрезвычайно расположенной к людям. Оттого гражданская лирика поэта всегда сердечна даже там, где он в публицистической форме высказывает политические идеи. В лучших своих образах она не холодна, не «потрескивает» риторикой.

Оттого и в произведениях «личных», почти интимных, поэт пытается уловить общее движение жизни. Такова поэма «Вечный свет», поэма о рождении сына и о встрече с учителем — патриархом таджикской литературы Садрриддином Айни.

Такого утра не было светлей!
Я встретил двух желанных мне людей:

Один издал сегодня первый крик,
Другой — любимый Родной старик,

Один — ребенок мой, крылатый мой,
Другой — учитель мой, вожатый мой!

Так в сердце одного человека однажды встретилось будущее с прошлым — равно дороге.

Забуду ли, как тот, кто всех родней,
Мне сердце открывал на склоне дней?

Забуду ли, сынок, что в ранний час
Твой голос я услышал в первый раз?

Свою жизненную цель поэт видит в том, чтобы передать эту эстафету народной мудрости, ее «вечный свет» будущим поколениям. Уже в одном этом — подлинный,

★

Уголок большого мира

«Человек — твое первое имя». Нелегко дать представление об этой небольшой книжке рассказов Иона Друцэ, сравнив ее с какой-нибудь другой, отлично известной читателю. Книга эта в некотором смысле «сама по себе».

Быть может, жизнь молдавского села в описываемое Друцэ время, еще наполовину патриархального, так экзотична, так необыкновенна, что изображение ее не дает основания для убедительных аналогий? Ничуть не бывало. Герой Друцэ — обычный крестьянин. Правда, у него сложное и запутанное историческое прошлое, его земля послужила проселочной дорогой для больших войн, он пережил смену многих правительств, а советские порядки еще вновь для него (Друцэ описывает первые послевоенные годы). Но для каждого из нас в его быту несравненно больше близкого и понятного, чем странного и чужого.

И не какой-нибудь ошеломляющий стилистический секрет делает книгу Друцэ столь резко своеобразной. Современному читателю, уже привыкшему к определенной образной скупости, стиль Друцэ, изобилующий трогательно наивными метафорами, может показаться даже несколько инфантильным; плетень, который жалуется на старость своему хозяину, или орех, приучающий свои листья шептаться по весне, вызывают у него приветливую, но чуть снисходительную улыбку.

И все-таки книга Друцэ обладает редким очарованием. Именно редким, потому что оно заключено в какой-то нетронутой цельности точки зрения на мир. Это взгляд профессионального писателя, интеллектуально и психологически несомненно более богатого, чем его герои, и вместе с тем это взгляд крестьянина, из года в год работаю-

живой историзм поэзии Турсун-заде, горячей, необычайно многоцветной, близкой и целым материкам и неравнодушному сердцу просто одного человека — современника.

А. КОНДРАТОВИЧ.

щего на земле. Под такой взгляд пытаются подделаться часто — и всегда безуспешно, потому что даже самая удачная подделка обнаруживает себя в отборе «мелочей», определяющих тональность всего произведения. Наблюдательность, позволяющая припоминать подобные «мелочи» в числе прочих, — достояние многих. Но лишь в том случае, если вы привыкли определять едва ли не весь порядок вашей жизни чередованием времен года, вы заметите именно и только то, что важно для Друцэ.

«Осень. Уже Николае Антон может приветствовать всех своих соседей прямо со двора — дома уже не прячутся за зеленью садов. Возле колодца прибили две перекладыны, чтоб кумушкам было удобнее судачить, а у кого девушки на выданье сажают собак на цепь, чтоб женихи не пугались» («Николае Антон и шестеро его сыновей»).

Журавли пролетели ранней весной — это событие в жизни села. Молодая девушка, первой заметившая стаю, не укажет на нее случайному человеку, не способному оценить значительность факта, зато она окликает отца, и тот с большой серьезностью пересчитывает летящих птиц. Журавли — это не только красиво, поэтично (а герои Друцэ, особенно молодые, наделены интуитивным чувством поэтического), — это важно, поскольку жизненно важны сроки прихода весны.

Ситуации большинства рассказов Друцэ просто теряют смысл, если не знать, когда происходит действие — весной, зимой, осенью ли, в какое время дня и ночи.

В «Капле росы» — книге, которая часто вспоминается при чтении рассказов и повести Друцэ, — В. Солоухин ведет читателя по родному селу, от избы к избе, не оставив без внимания ни одного из обитателей своего Оленина. Он делает это демонстративно и даже несколько педантично; он хотел написать не совсем обычную книгу — книгу точных фактов, и он сознательно и добросовестно старается не пропустить ни

И о н Д р у ц э. Человек — твое первое имя. Редакторы Л. Аванесьян, А. Гофман. 266 стр. Государственное издательство «Карта молдовеняскэ». Кишинев. 1959.

одного из них. Творческие задачи Друцэ иные, его «обстоятельность» имеет не сознательный, а, так сказать, эмоциональный, невольный источник: таков уж характер его внимания к окружающему, таков самый ритм его мышления, неотделимый от неторопливого ритма повседневной крестьянской жизни.

Мы все больше привыкаем спешить, и медленная жизнь персонажей Друцэ подчас удивляет нас. Бадя Андрей выехал поутру из дому, но на узкой улочке, где двоим не разъехаться, его воз столкнулся с возом его ровесника и односельчанина Лисандру, завязалась веселая и злая перебранка двух упрямец, а за ней последовала трынта — молдавская национальная борьба. Боролись эти двое до самого вечера, благо торопиться некуда («По-молдавски»). Георге убирает на своем участке по снопу кукурузы в день, он нарочно оттягивает конец уборки — надеется, что на соседний участок придет работать его любимая, а спешить ему некуда. Так и Друцэ не ощущает никакой внутренней необходимости «спешить», поступаться частностями и подробностями.

Девушка (героиня повести «Георге, вдовый сын») под каким-то предлогом приходит к соседке — матери приглянувшегося ей парня, между ними завязывается разговор, написанный тонко, психологически точно, как всегда у Друцэ. Он, этот диалог, нужен для движения сюжета, в нем проявляют себя характеры действующих лиц. Но попутно Друцэ успевает рассказать, что «тетушка Фрэсына как раз собрала цыплят в сито, чтобы вынести во двор. Десяток махоньких, мягоньких клювиков, быстрые, наивные глазенки — и все эти живые комочки чирикали, били поклоны, пытались взлететь — птицы как-никак. Хотя у тетушки Фрэсыны сегодня дел было по горно, она уселась на минутку поиграть с цыплятами... Но когда она, заботливо прижимая к себе сито, дошла до порога, Русанда попросила: «Дайте, я понесу». Осторожно вынесла, поставила сито перед домом и выпустила цыплят на землю. А те сбились в кучу, не дышат. Боятся. Девушка хотела взять в руку одного, а влезли трое, и наседка стала беспоякойно кружиться вокруг...» Попробуйте представить пожилую женщину и девушку без этой сценки с цыплятами — их облик лишится сразу чего-то очень существенного. А между тем вся картина обладает самостоятельностью и сильно замедляет ход

рассказа. Все эти встречи персонажей с односельчанами, их детьми, разговоры с соседями и соседками, описание домашней живности — для писателя не отступление в сторону, а очень важный элемент бытия его героев, наряду с трудом наполняющий их нравственную жизнь. И такая невольная, органическая обстоятельность, вытекающая из характера мышления, составляет обаяние и даже, если угодно, новизну манеры Друцэ.

За этим качеством его прозы скрывается не одна художественная наблюдательность, а еще и целый клад активных, не забытых, не умерших привычек, навыков, ощущений, непроизвольных реакций, укоренившихся привязанностей, по которым можно судить об эмоциональной точке зрения автора. Она, эта точка зрения, во многом совпадает с интуитивной и отчасти закрепленной обычаем этикой его героев. К проверенной временем морали этих трудящихся, честных, простосердечных людей, Друцэ относится с самой почтительной сыновней любовью.

Рассказы Друцэ — это незатейливые сценки сельской жизни с чьим-нибудь психологическим портретом в центре, то, что в старину называли «этюдом»; но когда они собраны вместе, сила поэтического обобщения, заключенного в каждом из них, как бы удесятряется.

Энергичная, прямолинейная Рубанка, вдова, прожившая грудную жизнь, — Рубанка, которую все село уважает и побаивается из-за ее прямоты и острого языка; бадя Чиреш, неутомимый виноградарь («кажется, что каждый его палец всю жизнь только и делал, что сажал лозы, собирал виноград и пил вино»), известный во всей округе острослов и весельчак — он даже старость провел за нос, до самой смерти оставался первым и на винограднике и на пирушке, так что в селе никто не посмел сказать, что бадя Чиреш уже не тот; Николае Антон, счастливый обладатель (да-да, именно обладатель: «Гм! Ну, я еще подумаю, что мне с ними делать...») шестерых молодцов сыновей, который не устает удивляться своему богатству: «...с тех пор как подросли ребята, ему всегда казалось, будто их больше шести...» Как любитесь Друцэ этими Рубанкой, Чирешем, Антоном! И они, право, того заслуживают.

Люди близки, дороги друг другу, отношения их полны дружелюбия, добрососед-

ства и даже братского расположения. Вьюжной зимней ночью сидит бадя Якоб в крошечной землянке, стережет скирды нечищенной кукурузы, а мысли его в родном селе, он мысленно ворчит на жену и тут же не забывает ее похвалить, по десятку раз ссорится и мирится в своем воображении с односельчанами; без них — без жены Артины, подруги ее, красивой вдовушки Профиры, кума и бригадира Прикоки, который, шутка ли, во всей бригаде с одним бадей Якобом здоровается за руку, — жизнь потеряла бы всякий смысл, нельзя без людей («Тоска по людям»). Георге узнает, что его лучший друг погиб на войне. Он идет к любимой девушке, чтобы поделиться своим горем, но его провожают осуждающие взгляды всего села — врожденное нравственное чувство подсказывает людям, что в этот день он должен был найти в себе мужество остаться один на один со страшным известием («Георге, вдовый сын»).

Книгу предваряет лирическое посвящение «Вместо предисловия» — клятва верности старому ореху милого деревенского детства. Но истинное духовное зерно книжки — рассказ «Сани».

«Когда в один прекрасный день высох старый орех возле крыльца, дед Михаил достал в сенях свою палку, надвинул шляпу на глаза и стал прогуливаться вокруг него, будто подсчитывал ветки. Долго прикидывал, мерил вершками, содрал полоску толстой корки, взвесил ее на ладони и только к вечеру, когда сапоги снова показались ему тяжелыми, отнес палку на свое место, надел шляпу как следует и сказал про себя: «Вот теперь-то я сделаю сани».

Старик, старуха, которой дед поправляет косо завязанный платок (она любит, чтобы за ней ухаживали), высохший орех, сани — вещь, нужная в хозяйстве, да и продать ее можно, — чего, кажется, проще. Но, видите ли, это не рассказ, а сказка, притча, поэма: и старик не просто старик, а мастер, художник, в душе которого медленно, трудно зреет замысел его шедевра. «Иногда ему начинало уже казаться, что он видит перед собой что-то стройное, белое, красивое, что-то такое, которое промелькнуло перед его глазами давно, когда ему было лет десять и он впервые взял топор в руки. И всю свою жизнь, что бы он ни тесал, всегда мелькало перед ним это «что-то»... И вот теперь, на старости, он вдруг по-

нял, что это были сани»; и сани эти не просто сани, а произведение искусства, они не продажные, а заветные, назначение их не грубо утилитарное, а возвышенное: «Сани... Великое это дело — сани! Застели их ковриком, на всякий морозный случай, покажи лошадам, что не забыл дома кнут, и поезжай... И только тогда забудется счет всем прожитым годам, только тогда увидишь старого друга, которого увели другие дороги, и по свежему следу твоих саней многие найдут свой путь, свою деревню, свой дом. Одни только сани нужны человеку — и он снова человек»; и старик, трудясь над своими санями, не просто плотничает, а совершает таинство.

Не подумайте, что старый плотник сразу принялся за дело. Нет, между замыслом и осуществлением проходят многие и многие месяцы; недели и месяцы отделяют каждый новый этап работы от предыдущего — настоящий мастер не станет торопиться. Наконец старик соорудил великолепные, стройные сани. «Что толку в них! К чему они весной?!» — сказал прохожий, увидав их во дворе. «И улыбнулся» старик — «блажен, кто мыслит шляпой!» — его сани обладали не сезонной, а непреходящей ценностью. Но тут перед ним снова промелькнуло то бледное, стройное и красивое, что померещилось когда-то в детстве. И старик догадался: это были не сани, это была телега. Что ж, «телега — это великая вещь! Настоящей телеги еще никто не делал!» Мастером овладела новая идея.

В этой чудесной поэтической сказке речь идет о понятиях «общечеловеческого» размаха — о счастье труда, о природе творчества, о назначении искусства, о нравственном мужестве мастера-художника. Но обратите внимание на конкретную одежду, в которой выступают у Друцэ эти широкие понятия. Его искусник герой — это труженик, плотник, он целую жизнь тесал бревна так, что «каждый палец в десятый раз обрастал мясом». И создает он вещи, обычные в крестьянском хозяйстве: сани или телегу. Его невозмутимое отношение к старухиной воркотне, его мудрая медлительность, его степенное глубокомыслие так патриархально идиличны! Ясно, что «человеческое» и «народно-традиционное» прочно сплавлены в сердце писателя.

Повесть Друцэ «Георге, вдовый сын» в молдавском подлиннике называлась первоначально «Листья тоски». Быть может, ее

следовало бы назвать «Листьями грусти» — это больше соответствует ее эмоциональной окраске. Откуда же грусть?

Действие происходит в 1945 году, в последние месяцы войны и первые месяцы мира. Время тяжелое, но весна и молодость берут свое: шестнадцатилетние парни и девушки работают в поле, по вечерам веселятся в клубе, озорничают, влюбляются, словом, естественные законы юности торжествуют. В один из первых весенних дней встретились Георг и Русанда, чтобы полюбить друг друга, но вот пришла осень — и Русанда уже бесконечно далека от Георге, никогда не бывать им вместе. А жаль! Фанатически трудолюбивый и глубоко чувствующий (во всем похожий на покойного отца) юноша — и девушка, смелая, преданная, засенчивая и решительная одновременно; оба молодые, хорошие, чисты — так хочется видеть их вдвоем! Между тем никто не виноват в этом разрыве — ни авторский произвол Друцэ, ни Георг, ни Русанда. Развела их жизнь — извечная и простая ситуация.

С тобою вышли мы на площадь —
Нас ветер в стороны разнес.

Любовь Русанды и Георге была такова, что могла осуществиться только в мире патриархальных отношений, зачаточных, неразвитых характеров, где индивидуальные опыт, инициатива и чувство во многом замещаются наследственной мудростью и обычаем. Ей, этой любви, как ни поэтично изображена она у Друцэ, предстояло развиваться по известному канону: сначала полудетская взаимная симпатия, потом мысли о том, что пора жениться и что руки работающей жены были бы нелишними в хозяйстве, затем намеки матери насчет будущей невестки, сватовство и свадьба. Вышла бы отличная пара, никто и не заметил бы сходства или несходства характеров молодых людей, потому что эти характеры и не развернулись бы полностью. Но веяние новой жизни нарушило каноническую идиллию.

Русанда становится учительницей в родном селе, как-никак она окончила семь классов, а преподавателей не хватает. Девушка испытывает смутное чувство вины перед односельчанами: ее подруги и ее Георг по-прежнему работают в поле, а у нее с рук уже сошли мозоли, каждый день она проходит по селу в чистой праздничной одежде, ее любимое рабочее платье мать

распоролла на тряпки — такое старье, мол, не к лицу учительнице, — и родители обращаются с нею чуть ли не почитительно, словно она теперь человек другой породы. Сомнения девушки естественны и вызывают симпатию к ней, ведь по существу в ней говорит привязанность к земле, которая ее кормит, родство с людьми, среди которых она росла, — счастье, что человека могут тревожить подобные, казалось бы, не оправданные логикой и здравым смыслом чувства!

И все-таки Русанда ощущает перемену в своей жизни как радостное событие и сознательно идет ей навстречу — она молода, полна сил, умна, перед нею дорога в большой мир. Она не растает с родным селом, но нравственно она уже не принадлежит старине, и ее усилиями в размеренное существование ее земляков волеется частица новой жизни. Она по-прежнему любит Георг, по-прежнему встречается с ним, и тогда ни в чем ее не винит, но, помимо воли обоих, растет взаимное отчуждение — у Русанды появилась новая область внутренней жизни, непонятная ее другу, и беде его ничем нельзя помочь. Они расстаются, и Георг, одинокий, подавленный, уезжает из родного села — его призвали в армию. Мы грустим вместе с ним, но в то же время и радуемся — эта временная разлука с родным уголком необходима для его будущего. Таковы «Листья тоски» — подернутое легкой грустью неизбежное прощание с патриархальной идиллией.

Но так ли уж идиллична эта старина? Неуклонный автоматизм жизни, привычек, реакций человека, с большой достоверностью показанный едва ли не в каждом рассказе Друцэ, скорее пугает, чем восхищает. А ведь он является неотъемлемой чертой изображенного Друцэ быта.

Отцу Русанды кажется, что он отлично знает будущее, свое и дочери: «...на свадьбу повалит народ — двери сломают! Нужно будет соорудить во дворе ковровый домик... Русанда станет на колени... и едва слышно произнесет: — Благослови меня, отец... Потом уйдет. Возьмет с собой в приданое вот эту софку, что возле печи. И они снова ссыплют в каса маре (нежилая парадная комната. — *И. Р.*) подсолнух, зимой постелют на пол солому, под лавками будут держать картошку, и, как десять лет назад, когда он попросит немного теплой воды, чтоб побриться, жена скажет: «Хай, хай! Пе-

бреешься и холодной!» Отрадная картина! Даже насчет коврового домика и старой софки баде Михалаке все совершенно точно известно наперед. Однако как не порадоваться, что этот усюявшийся быт подвергся преобразованиям, что судьба Русанды благодаря тому новому, что принесла Советская власть молдавскому селу, сложилась по-иному — сложнее и даже в чем-то труднее, но гораздо осмысленнее и содержательнее.

Название, которое писатель выбрал для своего сборника: «Человек — твое первое имя», — туманно и вместе с тем несколько декларативно. Этот его «манифестантский» огтенок заставляет насторожиться. То ли Друцэ хочет с его помощью доказать, что в любом уголке земли жизнь протекает по естественным человеческим законам, что все мы в первую очередь люди; то ли он утверждает, «узаконивает» этим заглавием привлекательный, но весьма примитивный идеал человеческих отношений, изображенных в книге; то ли попросту стремится подчеркнуть гуманность трудового человека, пускай еще интеллектуально не слишком развитого.

Но если вы обратитесь не к заглавию, а к содержанию книги, ваши сомнения рассеются. Вы не назовете Друцэ певцом патриархальных устоев. Его эмоциональная, кровная тяга к этому укладу очень велика, и он умеет показать его лучшие стороны. Но он сознает, что новые, советские формы

жизни резко изменят и переработают прежний уклад, и мысль эта вовсе не явилась для него источником мучительных противоречий и терзаний, хотя и не дозрела еще до степени патетически утверждаемой идеи. Ведь писатель понимает, что тем чертам народной традиции, которые особенно дороги ему, — неписаным законам трудовой морали, взаимному уважению людей, стихийному радостному жизнеощущению — предстоит не уничтожение, а развитие. А слащавое умиление обычаем как таковым Друцэ глубоко чуждо. Колорит его повести, этой поэмы прощания, вовсе не мрачный и не тоскливый, грусть в ней светлая, всенная, преходящая, грусть — предвестница радости.

Соблазнительно обнаружить ограниченность художественного взгляда Друцэ, сопоставив написанную им книгу хотя бы с той же «Каплей росы». Соблазнительно — но удержимся от этого сравнения. В книге Солоухина дает себя знать взгляд человека, успевшего многое повидать, многое передумать и обогащенным вернувшегося в родной дом. А Друцэ, подобно некоторым его героям, как бы впервые вышел на дорогу, уводящую из дому, напоследок обернулся — и попрощался с уютным миром детства этой своей книгой. Художественная и этическая ценность ее несомненна, а ограниченность пока естественна и простительна. У Друцэ все впереди.

И. РОДНЯНСКАЯ.

★

Рассказы о мирной жизни

Немногим больше года прошло с тех пор, как вышла книжка Леонида Волынского «Семь дней», повествующая о спасении Советской Армией сокровищ Дрезденской галереи, и вот перед нами сборник рассказов того же автора, до такой степени мирных, что трудно поверить, будто сочинил их человек, в писательской биографии которого военный опыт сыграл такую серьезную роль.

Но с другой стороны, можно ли ждать от писателей, побывавших на войне, что всю остальную жизнь они будут писать только о том, что видели и пережили на фронте?

Леонид Волынский. Высокий берег. Рассказы. Редактор З. Богуславская. 258 стр. «Советский писатель». М. 1959.

Да и что, в сущности, представляет собой писательский опыт, и следует ли рассматривать виденное и пережитое литератором как сумму наблюдений, которым неминуемо предстоит в дальнейшем стать материалом для рассказов, повестей и романов? И если это так, то чем объяснить, что в книгах одних авторов биографический материал образует некую первооснову, а у других не играет никакой существенной роли?

Почему, например, в творчестве Лермонтова кавказские впечатления оказались такими могущественными, а Тургенев почти ничего не написал о Франции, в которой прожил немало лет? Почему одним писателям достаточно ненадолго съездить в деревню, чтобы на свет появились книги о

жизни колхозников, а писатели другого склада могут писать только о том, с чем сжились, что составляет содержание их собственного существования? И, наконец, можно ли оттенок осуждения, который читатель, несомненно, почувствовал в нашем упоминании о литераторах, довольствующихся мимолетным ознакомлением с материалом, отнести к автору «Демона», как известно, не так уж много времени прожившему на Кавказе?

Все эти вопросы не новы, и ответы на них давались не раз. Не раз говорилось о том, что жизненные наблюдения писателя неразрывно связаны с его мировоззрением и непосредственно зависят от отношения к миру, его окружающему. Что только жизненные факты, служащие целям, которые писатель перед собой поставил, откладываются в его сознании и превращаются в материал для книг, а те, что лежат в стороне от интересов и побуждений, заставивших писателя взяться за перо, так и остаются лежать в стороне от его творческих планов, а подчас и вовсе изглаживаются из памяти через очень короткий срок. Все это бесспорно и, кроме того, вполне убедительно объясняет и писательское равнодушие Тургенева к жизни французов и страстную заинтересованность Лермонтова жизнью кавказских горцев, столь родственной свободолюбивым и байроническим мечтам поэта.

Однако не нужно думать, что жизненный опыт писателей непременно проявляется в их книгах лишь самым непосредственным образом, в виде материала, на котором эти книги построены. Гораздо чаще виденное и пережитое сказывается в творчестве художника менее зримо и вместе с тем столь же определено. Речь идет о том, если можно так выразиться, «химическом» усвоении жизненных впечатлений, которое в отличие от «механического» их накопления играет решающую роль в формировании творческого сознания авторов книг, картин и симфоний даже в тех случаях, когда самые эти впечатления на поверхности не видны.

И если в новой книжке Леонида Волынского нет военных рассказов, это не значит, что опыт писателя, непосредственным образом сказавшийся в «Семи днях» и в отдельных рассказах первого его сборника, совершенно отсутствует здесь. Он проявляется неизменно в отношении автора к самым «мирным» вещам, и эту особенность книж-

ки нельзя не почувствовать. В ней есть рассказы о поездках писателя на целинные земли и о жизни людей живущих и работающих там с первых дней освоения этого сурового и благодатного края, есть истории, повествующие о далеких довоенных временах, есть много других, самых разнообразных по материалу рассказов и в том числе, например, рассказ «Наедине с собой» — о треволнениях некоего ученого, связанных с тем, что его сын соблазнил и бросил девушку, жаждущую от него ребенка. Но все эти вещи, вне зависимости от материала, на котором они построены, носят на себе печать некоего единства, все они — результат того особого жизненного пути, каким пришел их автор к писательству, к своему пониманию добра и зла, красоты и безобразия, правды и лжи.

И дело здесь не только в том, что в рассказе «Наедине с собой» боль и горечь, испытываемые стариком ученым, размышляющим о легкомыслии сына, становятся особенно нестерпимыми, когда он узнает, что отец брошенной девушки погиб на фронте; не только в том, что в рассказах о целине немало военных ассоциаций, а в рассказах о давних временах наряду с их литературной традиционностью присутствует овеществленный в словах и понятиях опыт человека, побывавшего на войне. Дело в том, что этот военный опыт автора стал основным элементом (именно элементом, а не слагаемым) его мировоззрения и выразился не только в мелочах, но и в особом отношении ко всем решительно явлениям, о которых он пишет.

Любопытна с этой точки зрения, например, та подчеркнутая интонация сдержанности, с какой повествует Волынский о трагическом, трогательном, жалком. Его героям, разумеется, не чуждо ничто человеческое, но в тех случаях, когда им случается испытать сильное чувство, их истинные переживания заперты так глубоко и проявляются так скупой, да к тому же еще в таких косвенных словах и поступках, что об истинном их значении можно только догадываться. Даже там, где герои Волынского по самой природе своей не приспособлены к стоицизму, они ведут себя мужественно и сдержанно в той мере, в какой это только может быть им свойственно, исходя из элементарного психологического правдоподобия. Ибо мужественность и сдержанность автор почитает неотъемле-

мыми свойствами людей, заслуживающих уважения, и придает эти черты характера всем своим героям, которых любит.

Вглядитесь, например, в образ героини рассказа «Лестница-чудесница» Аллы Чижиковой, поначалу ничем не примечательной девушки, самое имя которой подчеркивает ее незначительность.

Приехав на целинные земли, эта московская школьница, которую не приняли в институт и которая «сама толком не знала, чего ей хочется — быть инженером, учительницей, врачом или артисткой», только и сумела, что начать «возиться... с огуречной и помидорной рассадой, и вовсе не потому, что ей нравилось это дело, а лишь по той причине, что жила на свете темноглазая девушка по имени Вера», гораздо более инициативная и упрямая, чем Алла, решившая заложить огород в степи, где до того даже и слова такого не знали — овощи.

Рассказ написан о том, как внезапно в характере Аллы Чижиковой раскрылись черты, каких в ней и подозревать было нельзя и какие никогда бы в ней не раскрылись, если бы она не поехала искать счастья в казахские степи, а осталась дежурной у эскалатора в московском метро. И произошло это не в борьбе со стихиями, как это чаще всего бывает с героями рассказов о целине, а в ночном разговоре с Верой Ситниковой, да еще к тому же не об огуречной рассадке, а о предполагаемой свадьбе Веры с трактористом Алексеем, в которого Алла Чижикова к этому времени уже была без памяти влюблена.

Вот два отрывка из этого разговора:

«Однажды, вернувшись с... посиделок и укладываясь в темноте, Вера тихо спросила:

— Не спишь?

— Нет,— отозвалась Алла.

— Я, Алка, замуж, наверное, выйду,— сказала Вера, помолчав.

— Да? — проговорила Алла.— Что ж, поздравляю.

Она полежала, сдерживая сердцебиение. Потом спросила:

— Где же вы жить-то будете?

— Ох, не знаю, не знаю,— прошептала в темноте Вера.— Ничего не знаю... Леша говорит, к осени два восьмиквартирных на усадьбе соберут. Получим, наверное...

— А пока здесь поселяйтесь,— поспешно

сказала Алла.— Я и в палатку перейти могу. Отгорожусь как-нибудь».

Сделав это поистине самоотверженное и героическое предложение, Алла, как это водится у девушек, разрыдалась и долго не могла успокоиться. Но, успокоившись, повела речь, совершенно уже для нее неожиданную.

«— Тяжело мне тут... трудно, степь, пылища, тоска... Уехала бы, да возвращаться стыдно, поверишь?.. Ты, помнишь, сказала как-то: «У каждого свой призыв». Это верно, конечно, вот я и думаю: мой-то призыв какой? Зачем я здесь, именно здесь? Ты ведь толковая, во всем разобраться можешь, вот и скажи мне, только по-честному: ведь и без меня обошлось бы тут, правда?»

— Допустим, обошлось бы,— сказала Вера.

— А без тебя?

Вера помедлила.

— И без меня, вероятно,— вздохнула она.

— Вот в том-то и дело.

— В чем же?

— Ну, в этом самом... Чтобы сознавать себя необходимой, так ведь?

Обе помолчали.

— Ждешь чего-то необыкновенного, веришь...— проговорила Алла.— Ну, работа, хлеб, суп, мяса кусок пожирнее, платье новое... Ведь это не все еще, правда? Строить, едой запастись — ведь это и муравьи умеют.

— Еще бы,— усмехнулась Вера,— среди них даже огородники есть, вроде нас с тобой. Я в книжке одной читала про термитов африканских...— Она негромко засмеялась в темноте.— А мы вот с тобой вырастим на будущий год огурцы с помидорами, Мухамедьяру Закировичу нашерекор, глядишь, слово новое в казахском языке образуются, и ведь все равно мало нам этого будет. До смешного мало... Странное все-таки существо человек, правда? Чужой бедой печалится, счастьем чужому радуется...

Алла тихо вздохнула. Вера наклонилась и притронулась к ней прохладной щекой».

Из дальнейшего повествования о судьбе Аллы Чижиковой выясняется, что самоотверженное ее отношение к подруге и размышления о смысле жизни подготовили ее к настоящему подвигу, потребовавшему от нее подлинного мужества и уверенности в себе. Но и здесь, когда она нашла в себе

силы встать на защиту неповинного в аварии тракториста, она делает это с той же целомудренной сдержанностью, с какой несколько дней назад вела беседу о муравьях.

Существует мнение, что нет лучшего способа оценить человека, чем прикинув — взял бы ты его в товарищи, идя в разведку, или не взял. Прочтите внимательно рассказы Волинского и вы увидите, что он дарит свое расположение действующим в его рассказах героям, исходя именно из этого, к слову сказать, весьма справедливого принципа. Если же к этому добавить уже упоминавшуюся склонность нашего автора наделять своих персонажей стремлением скрыть за внешней суровостью доброту и самоотверженность, станет вполне очевидным, что в его рассказах самым непосредственным образом сказалось влияние фронтового кодекса поведения, предписывающего человеку во всех обстоятельствах мужественную сдержанность и осуждающего всякое проявление несдержанности и чувствительности. И если впечатления послевоенного времени властно вторглись в сознание писателя, отодвинув воспоминания о пережитом на фронте, это никоим образом не означает, что понятое и усвоенное в военные годы перестало окрашивать его отношение к «мирной» жизни, о которой он пишет теперь.

Причем нелюбовь к аффектации, к резким движениям и картинным позам, страстная приверженность к подлинному, даже если оно ничем не примечательно, в противовес показному, даже если его примечательность бьет в глаза, сказываются в этой книжке не только в отношении автора к своим персонажам, но и в самой манере, в какой он ведет рассказ.

На первый взгляд эта манера отличается лишь одним — простотой. Но при всей ее внешней безыскусности, при всей «обыкновенности» художественных средств, какими пользуется автор, есть в лучших рассказах книжки нечто такое, что заставляет задуматься: вправду ли так бесхитростны представления Волинского о природе современного реалистического рассказа и о способах, какими следует в таких рассказах изображать нашу действительность?

Чем в самом деле можно объяснить то немаловажное обстоятельство, что финалы большинства рассказанных в этом сборнике историй оставляют впечатление сюжет-

ной незавершенности, причем незавершенность эта выглядит отнюдь не просто формальным приемом, а чем-то гораздо более существенным для понимания творческого метода автора.

Судя по всему, Волинский склонен считать, что сюжетная законченность, композиционная округлость и симметричность, какую часто приобретают в коротком рассказе жизненные события, несправедливо обособляет их от того, что предшествовало им и следовало за ними в подлинной жизни. Условно говоря, жизнь ведь началась не с того момента, как герой вышел на улицу в то утро, когда с ним произошли события, описанные в рассказе. Мало того, финал этих событий тоже не мог быть изолирован от дальнейшей судьбы героя, в которую это утро вошло как одно из звеньев единой цепи, как условно взятый отрезок прямой, как одна из капель жизненного потока.

А если это так, то обязательна ли для писателя, стремящегося к реалистической достоверности, склонность придавать своему повествованию сюжетную завершенность, какой почти никогда не имеют подлинные жизненные коллизии? Не возникает ли в литературе из-за всех этих искусно построенных концовок и композиционных завитков, имеющих целью сообщить повествованию законченность, та самая искусственная симметричность, какая естественна, если говорить о живописи, в условном орнаменте, с его правильным чередованием цветов и листьев, но нетерпима в рисунке, воспроизводящем живые, прихотливо разбросанные ветви живых растений.

И следует ли возражать против стремления некоторых авторов, повествуя о каком-либо дне из жизни своих героев, даже если с теми произошли в этот день **самые** удивительные, самые несвойственные обычному течению их жизни события, пытаться создать в финале рассказа впечатление уходящих в пространство человеческих судеб, впечатление вечера, не только венчающего знаменательный день, но и предшествующего ночи, утру, новому дню. Следует ли возражать против их склонности, рисуя, скажем, процесс духовного перерождения героя, заканчивать свой рассказ не эпизодом, завершающим процесс, а эпизодом, знаменующим его начало, или, изображая счастливый перелом в судьбе человека, не доводить дело до апофеоза, а кон-

чать рассказ предположением о дальнейшей его судьбе, предоставляя читателю самому угадать один из ее вариантов, исходя из собственного житейского опыта, вместо того чтобы во всех случаях навязывать ему авторское решение, выдавая его за единственно возможное и непогрешимое.

«В жизни ведь так мало событий, совершающихся обособленно и увенчанных эффектными концовками,— утверждают эти писатели,— жизнь так подвижна, пестра и разнообразна, что заключать ее в рамки канонических литературных сюжетов следует с чрезвычайной осмотрительностью.

Надо полагать, что именно этими соображениями руководился Вольтинский, рисуя несколько месяцев из жизни Аллы Чижиковой и не завершая свой рассказ ничем, кроме неумолимого ощущения распрямляющегося человеческого характера; именно к этому он стремился, повествуя в рассказе «Неприятная история» о том, как легкомыслие лучшего в области совхозного бригадира ставит в тупик директора совхоза и секретаря партбюро, и предоставляя читателю самому решать, как следует ему отнестись к Железнову; именно этого он добивался, рисуя день, проведенный старым ученым наедине с собой, в размышлениях о том, что, многого достигнув в жизни, он проглядел в ней что-то до крайности важное, хотя по существу при этом ничего практически в ней еще не изменил.

Таковыми сюжетно не завершенными и вме-

сте с тем оставляющими впечатление внутренней соразмерности выглядят все эти внешне асимметричные, как сама жизнь, рассказы, в которых автор стремился вызвать у нас те самые чувства и мысли, какие возникли у него самого, когда он соприкасался с людьми и событиями, еще не ставшими в ту пору его героями и сюжетами, а жившими самостоятельной жизнью.

Но не привело ли это к тому, что в рассказах Вольтинского мы встречаемся с тем самым объективизмом, который возникает у некоторых писателей из отсутствия истинных склонностей и убеждений, когда, предоставляя читателю самому решать, с кем из своих героев автор, они и в самом деле никому не сочувствуют и ни с кем не враждуют?

Нет, не привело. Все дело лишь в том, что автор «Высокого берега» помогает читателю разобраться в событиях и людях, о которых повествует, не навязчиво, не деспотически, не в форме литературных наставлений и прописей.

Читатель ведь существо своевольное. Читая книги и следя за борьбой добрых и злых начал, он любит сам подумать над тем, кто прав и кто виноват. Он склонен с помощью писателя двигаться к истине, но терпеть не может, когда его при этом грубо толкают в спину. И Леонид Вольтинский принадлежит к числу авторов, которые это хорошо понимают.

Г. МУНБЛИТ.

★

Разговор о главном

Ярослав Смеляков назвал новую книгу стихов «Разговор о главном». Этот «разговор о главном» — о месте в жизни и о призвании, о рабочей гордости, о молодежи и комсомоле — поэт начал почти тридцать лет назад, когда он

...резал и строга: металл,
запомнив мастера уроки,
и неотвязно повторял
свои предутренние строки.

(«Воспоминание»)

Это было в начале тридцатых годов. Смеляков пришел в поэзию из гущи тех рабо-

чих, которые «без остатка свои сердца первой отдали пятилетке».

Поэзия Ярослава Смелякова глубоко лирична, она рождена его личным опытом, его страстью, страстью человека, в молодости стоявшего у «железной колыбели» Магнитки, а ныне породнившегося с комсомольским племенем покорителей целины, строителей сибирских гидростанций.

До сих пор еще в нас живет
комсомольское воспитанье,—

признается поэт в «Строгой любви» — поэме о комсомольской юности конца двадцатых, начала тридцатых годов.

Воспоминаниями полна и новая книга стихов Смелякова «Разговор о главном». «Давняя любовь» по-прежнему владеет ду-

Ярослав Смеляков. *Разговор о главном*. Новая книга стихов. Редактор В. Субботин. 96 стр. «Созетский писатель». М. 1959.

шой и сердцем поэта. Он не может и не хочет расставаться с дорогим ему прошлым, ревниво оберегая его от малейших посягательств брюзгливых скептиков или присяж-ных остряков.

Но, однако, те воспоминанья,
бесконечно дорогие нам,
я ни на какое осмеянье
никому сегодня не отдам.

(«Первый бал»)

Но «разговор о главном» — прежде всего разговор о современности, и ему отводится главное место в сборнике.

Смеляков редко пишет стихи декларативные, публицистические.

Большая суть деклараций
и лозунги русской земли
уже в повседневное братство,
в обычную жизнь перешли.

И то, что на красных знаменах
начертано — в их широту,—
есть в жизни моей обыденной,
в моем необычном быту.

В этих строках из стихотворения «Маленький праздник», которые вовсе не претендуют на какую-то всеобщность, выражено его, Смелякова, видение жизни, определяющее творческую индивидуальность поэта.

Да, этот китаец «в пальтишке осеннем», вошедший в «Гастроном», — обыденное явление в нашей жизни, которое никого не удивляет. Но «подобревшие» губы и радушные лица и то, как «невзначай продавщица сама улынулась ему», — это «необычная» обыденность, «маленький праздник», в котором поэт увидел воплощенной «великую суть деклараций».

То, что пришло в нашу жизнь, Смеляков видит и в румяном и щеголеватом «рабочем парне из бригады, что всюду славится сейчас» («Столовая на окраине»); и в удивительно симпатичном паренке, который на крыше вагона добирался на Ангару, куда его «жажда стройки, как одержимого, влекла» («В дороге»); и в китайском студенте, приехавшем из столицы на Алтай убирать целинный урожай («Алтайская зарисовка»).

Так в «Разговоре о главном» отчетливо проступает то новое, чем поэт углубил разработку традиционной для него темы: стремление увидеть в славных делах молодежи наших дней, в ее нравственном облике воплощение лучших традиций предшествующих поколений комсомола.

И когда лирический герой стихотворений

Смелякова «пытливо, внимательно, строго» приглядывается к современной молодежи с той мерой требовательности, какая была нормой для комсомольцев тридцатых годов, его голос звучит приподнято, даже чуть торжественно: ему поручена важная и почетная миссия!

Как будто в большую разведку,
в мерцанье грядущего дня
к ребятам шестой пятилетки
ячейка послала меня,

как будто отважным народом,
что трудно и весело жил,
из песен тридцатого года
я к ним делегирован был.

«В мерцанье грядущего дня!» В этих немножко приподнятых, но столь естественных словах, особенно в соседстве со словами «ребята» и «ячейка», — точно переданное ощущение эпохи. А дальше серьезно и веско говорится о единстве и общности разных поколений нашей молодежи:

Не то чтобы разницы нету,
но в самом большом мы сродни,
и главные наши приметы
у двух поколений одни.

(«Комсомольский вагон»)

В лирике Смелякова нет кипения страстей. Он предпочитает даже сильные чувства выражать сдержанно, с той простотой и даже некоторой застенчивостью, которые присущи русским людям. И тем сильнее звучат в поэзии Смелякова слова торжественные, возвышенные.

Вот увидел поэт, как сел на парход паренек с вещичками, остриженный под машинку, но еще по-граждански одетый («Призывник»). Казалось бы, ничем не примечательная жанровая картинка. А поэту видится нечто большее, у него рождается значительная поэтическая мысль, и он настраивается на торжественный лад.

Не знал он, когда между нами
стоял с узелочком своим,
что армии красное знамя
уже распростерлось над ним.

Поэт вводит в свою речь слова, звучащие, словно воинская присяга: «распростерлось», «осенила», «великой войны ветераны»... И уже не стриженный сибирский паренек с вещичками стоит перед нами, а защитник Отечества, солдат великой армии, покрывшей себя неувядаемой славой в годы прошедших войн.

Да, Смеляков умеет сочетать будничное, как будто даже прозаическое, с возвышенным. Но бенгальский огонь риторики чужд поэту. Возвышенное и великое он старается увидеть в простом и обыденном, и поэтому обыденное соседствует в его стихах с патетикой, не нарушая художественной целостности произведения.

Поэзия Смелякова не отличается большим ритмическим богатством, но поэт умеет так подчинить себе традиционные размеры, что даже в одном стихотворении строфы звучат в разном интонационном ключе. Это одно из самых замечательных изобразительных средств в поэтике Смелякова, отточенное в кропотливой работе над словом, над образом.

В стихах нового сборника Смелякова вновь проявилось его умение придать значительный смысл поэтическим деталям, тонко, изящно раскрыть главную поэтическую мысль. Что может сказать человеку ненаблюдательному такой чисто бытовой эпизод, как Галины сборы на бал, взбудоражившие всю квартиру («Первый бал»)? А Смеляков увидел не только позабытые «шахматы и стирку», брошенные «вязанье и журнал», горячие утюги. Поэт вспомнил, глядя на эти приготовления, «молодость суровую свою», «лицованные жакетки» девушек и «косоворотки» ребят... Может быть, он хочет напомнить об этом нынешней молодежи? Да, конечно. Но не в этом главное. Свообразно и тонко раскрывает Смеляков свою поэтическую мысль в последних строфах стихотворения.

...Вновь под нашей кровлею помалу
жизнь обыкновенная идет:
старые листаются журналы,
пешки продвигаются вперед.

А вдали, как в комсомольской сказке,
за овитым инеем окном
русская девчонка в полумаске
кружится с вьетнамским пареньком.

И все частности стихотворения, все его образы — «лицованные жакетки», трехрядка, матросское «яблочко» и, с другой стороны, трубачи, парадная лестница и «девчонка в полумаске», кружащаяся в вальсе «с вьетнамским пареньком», — все наполняется особым, большим смыслом. А как удачно здесь найден ракурс для изображения настоящего: взгляд на настоящее идет как будто из прошлого, взгляд, озаряющий все стихотворение каким-то особым, волшебным светом.

Верным своей творческой манере Смеляков остается и в изображении будущего. Здесь его лирическим раздумьям предшествует весьма обыденный, прозаический эпизод — жена подарила настольный календарь («Настольный календарь»). Перелистывая его, отмечая в нем памятные даты и годовщины, поэт пытается проникнуть взором в будущее, найти в календаре «будущие дни». Ведь ради этого сейчас «в какой-нибудь читальне ученый юноша сидит». Ради этого «уже влезает где-то летчик в пока безвестный самолет». Все они — ученые, летчики, строители, борцы за свободу — «внесут, как в комнату подарки, свои поправки в календарь». Поэт горячо верит в это.

Так в поэзии Смелякова органически связано прошлое с настоящим, настоящее с будущим. Это то самое главное в новом сборнике стихов Я. Смелякова, что обещает читателю его заголовок. И — лучшее.

Есть немало и других отличных стихов в сборнике. Такие, скажем, как «Трактор», «Переулок», «Маяковский», «В Будапеште», где поэтическая мысль выражена в точной и яркой словесной форме.

Но есть в ней и «средние» стихи. Есть, пожалуй, и неудачные.

Надеемся, что не вызовет разногласий отрицательная оценка стихотворения «Наталья». Непонятно, почему в сборнике с названием «Разговор о главном» очутилось это стихотворение. Зачем нужно угрожать жене Пушкина, что, мол, «русский нынешний народ и под могильною землею тебя отыщет и найдет»? Кому нужно «по пальцам» считать «дворцовые балы», на которых «толкалась» (?) Наталья Николаевна? Не удивительно, что для этого странного замысла у поэта не нашлось нужных слов. Стихотворение вышло грубо бранчливым, и только.

Есть и еще одно стихотворение в сборнике, о котором нельзя не поспорить. Это — стихотворение «Первая получка». Вспоминая о том, как в далекие времена молодости «из тесного оконца» заводской кассы он получил первую получку «за честный и нелегкий труд», поэт противопоставляет труд и заработок рабочего труду и заработку поэта. Вот концовка этого стихотворения:

С тех пор не раз, — уж так случилось,
тут вроде нечего скрывать, —
мне в разных кассах приходилось
за песни деньги получать.

Я их писал не то чтоб кровью,
но все же времени черты
изображал без суесловья
и без дешевой суеты.

Так почему же нету снова
в день гонорара моего
не только счастья заводского,
но и достоинства того?

Как будто занят пустяками
среди дел суровых и больших,
и вроде стыдно жить стихами,
и жить уже нельзя без них.

Что это? Кокетство? Но Смеляков — поэт серьезный.

Один поэт, о верности традициям которого пишет Смеляков, с гордостью заявлял: «Труд мой любому труду родствен» — и уверял фининспектора, что «поэту в копеечку влетают слова». Но тогда молодая совет-

ская поэзия еще только завоевывала право на признание. И странно, что сейчас, когда поэзия вошла в жизнь и быт миллионов советских людей, признанный и любимый читателями поэт Ярослав Смеляков как бы усомнился в ее необходимости, и в день получения им заслуженной платы за нелегкий труд на щеках его пылают стыдливый румянец... Не ошибся ли поэт в своих читателях?

Но два или три неудачных или спорных стихотворения в данном случае не в зачет. Самое ценное в книге Смелякова — чувство нового, поэтическое постижение современной действительности, ее героического пафоса через обыденность, через повседневную жизнь советских людей.

Ал. МИХАЙЛОВ.

★

Монография о «Войне и мире»

Автор этой книги, Андрей Александрович Сабуров, не пользовался широкой известностью. Он лишь изредка выступал в печати, не торопился защищать докторскую диссертацию, хотя имел для этого все данные. Это был скромный, несколько замкнутый, необычайно трудолюбивый человек. Его хорошо помнят студенты МГУ, которым он читал лекции, и посетители ежегодных Толстовских чтений, где он не раз делал научные доклады. В течение многих лет А. Сабуров вдумчиво, сосредоточенно работал над большой монографией о «Войне и мире» — главным трудом своей жизни. Он скончался внезапно, совсем немного не дождавшись выхода книги в свет.

А. Сабуров поставил перед собой ответственную задачу. Его труд охватывает важнейшие стороны величественного художественного целого, созданного Толстым идейное содержание «Войны и мира», историческое повествование и воинскую героинку, основные образы, вопросы метода, жанра, композиции, стиля. В критической литературе о Толстом до сих пор не было работы, которая исследовала бы одно произведение с таким размахом и таким скрупулезным вниманием. Автор вряд ли предназначал свою книгу для массового читателя, она

адресована в первую очередь специалистам, собратьям по профессии. Но читатель-специалист, которого не отпугнет ни объем книги, ни медлительность, известная тяжеловесность изложения, будет вознагражден. Книга А. Сабурова чрезвычайно богата содержанием. Она представляет не только научный, академический, но и непосредственно актуальный интерес. Не только потому, что она вышла накануне пятидесятилетия со дня смерти Л. Н. Толстого — большой памятной даты, которая будет отмечаться во всем мире, — но и потому, что она дает много поводов для размышлений, выходящих за пределы ее конкретной темы. Изучая творческий опыт Толстого-художника, исследователь затрагивает вопросы, очень существенные для нынешнего этапа развития советской повествовательной прозы. Но об этом речь впереди.

«Война и мир» рассматривается А. Сабуровым как сложное единство, анализируется в сочетании и взаимодействии важнейших ее элементов: содержания и формы, эпической основы и центральных образов, историко-философской проблематики и языка. Опираясь на работы дореволюционных и советских исследователей, принимая отдельные их выводы или полемически отталкиваясь от них, А. Сабуров во многом углубляет наше понимание «Войны и мира». Его работа дает возможность яснее, конкретнее увидеть связь реалистического мастерства Толстого с его народностью; она

А. А. Сабуров. «Война и мир» Л. Н. Толстого. Проблематика и поэтика. Редактор Л. Н. Гордеева. 602 стр. Издательство Московского университета. М. 1959.

помогает лучше понять, как патриотизм Толстого послужил основой для художественных обобщений громадной силы.

В ходе анализа автор затрагивает и общеметодологические вопросы. Он спорит с теми критиками, которые судят об идее произведения преимущественно по отдельным, наиболее простым и ясным декларациям и формулировкам. Искусство, напоминает он, обладает разными формами раскрытия идеи. «Степень очевидности идеи может быть различна. Идея иногда явно проступает через образ, как в «Анчаре», и иногда прячется в складках фабулы, оставаясь загадкой, как в «Носе». Наличие идеи может быть очевидно, как в «Демоне», и крайне сомнительно, как в «Домике в Коломне». Это обстоятельство является причиной многих недоразумений в критике. Многие величайшие творения искусства шельмовались как безыдейные в силу того, что способ раскрытия идеи в них не примитивен, как в басне. Иной раз великого поэта, потрясавшего своей творческой силой современников, потомки именовали насмешливо-пренебрежительной кличкой «олимпийца» за то, что он заключил свою огненную мысль в эстетически законченные пластические образы».

В большом повествовании «заветная мысль автора», как правило, не обнаруживается сразу полностью: это немаловажно иметь в виду при анализе «Войны и мира». Взгляд великого художника на народ и народную войну, его мысли о роли крестьянско-солдатской массы в судьбах России разvertываются со всей полнотой в связи с кульминацией повествования — с Бородинской битвой и изгнанием французов. Но ясность и страстность авторского отношения к жизни проявляются в «Войне и мире» сразу же, организуют повествование начиная с первых его страниц: образы столичной знати окрашены неуловимой и язвительной иронией.

А. Сабуров разбивает застарелую, до сих пор бытующую в школьном преподавании вульгарно-социологическую версию об идеализации помещичьего дворянства в «Войне и мире». Картины жизни Болконских и Ростовых — при всей мягкости психологического рисунка — говорят об угасании старых форм помещичьего быта, об оскудении «старого барства», не только экономическом, но и духовном. Роман закончен задолго до перелома в мировоззрении Толстого, но в нем сказались важные тенден-

ции, получившие развитие в позднем толстовском творчестве. Утверждение роли народа как главной созидательной силы в жизни человечества связывается у Толстого с намечающимся уже в «Войне и мире» протестом против всякого классового господства. Ведь именно в связи с «Войной и миром», замечает А. Сабуров, были произнесены памятные слова Ленина: «До этого графа подлинного мужика в литературе не было».

А. Сабуров отнюдь не сводит идейное содержание толстовской эпопеи к социально-исторической проблематике. Он стремится раскрыть внутренний философский план повествования, не исчерпывающийся исторической темой, хотя и опирающийся на нее. Борьба против индивидуализма, против эгоистического «наполеоновского» начала ведется Толстым в разных аспектах. Под знаком преодоления индивидуализма проходит духовное развитие главных героев «Войны и мира». Исследователь высказывает верные и тонкие замечания относительно темы семьи у Толстого. Великий художник не только в «Анне Карениной», но и в «Войне и мире» любит «мысль семейную». Семья для него — не только бытовая форма, но и область человеческой деятельности, простейшая и очень важная сфера общения, взаимопомощи, взаимопонимания людей. Именно в этом глубокий идейный, гуманистический смысл того апофеоза семьи, который мы находим в эпилоге. Но, выдвигая на первый план эту сторону мировоззрения Толстого в своем анализе первой части эпизода, А. Сабуров недостаточно внимателен к тому новому, очень серьезному конфликту, который намечается и стремительно назревает в финале повествования. А ведь именно здесь — в сцене спора между будущим декабристом Пьером и правоверным монархистом Николаем Ростовым, а затем в символически-пророческом сновидении Николеньки Болконского — достигает наибольшей остроты тот социальный критицизм Толстого, о котором обоснованно говорится в других частях исследования.

А. Сабуров доказывает, что рассуждения Толстого, заполняющие целые главы и всю вторую часть эпизода, не посторонний прирост — они составляют органически необходимую часть монументального произведения. При всей противоречивости и во многом ошибочности исторических воззрений Толстого в них есть и рациональное зерно:

выдвижение понятия необходимости в историческом процессе, возведение конечных причин больших событий к «дифференциалу истории» — простому человеку.

Однако А. Сабуров временами нейтрализует и сглаживает те идейно-художественные мотивы «Войны и мира», в которых сказались ложные идеи Толстого. Нечеткой получилась трактовка Платона Каратаева. С одной стороны, говорит исследователь, Платон выведен лишь «как один из многих психологических типов русского народа», приверженность позднего Толстого к догме непротivления злу насилем «не может влиять на оценку образа Каратаева в контексте «Войны и мира», где все строится на идее протivления злу». Но, с другой стороны, в эволюции Пьера «Каратаев оказался необходим в качестве антитезы, дающей ориентир, противоположный миру порока и злодеяния и ведущий героя в крестьянскую среду в поисках моральной нормы». Но если образ, принципиально чуждый героине, проникнутый философией пассивности, оказывается в роли морального ориентира для главного персонажа героической эпопеи, разве не проявились в этом кричащие противоречия Толстого? И разве можно отрицать связь «каратаевского» комплекса в «Войне и мире» с проповедью непротivления позднего Толстого?

Наиболее интересны и свежи те части исследования А. Сабурова, которые посвящены художественному своеобразие «Войны и мира». Пожалуй, о терминах спорить не стоит. А. Сабуров отвергает установленное в советском литературоведении определение жанра «Войны и мира» как романа-эпопеи, рассматривает отдельно, в разных главах, «эпическую основу «Войны и мира» и «Войну и мир» как роман»; в противовес тем исследователям, которые видят в романе-эпопее качественно новый жанр реалистической литературы второй половины XIX—XX веков, А. Сабуров временами, на наш взгляд, слишком настойчиво ищет в «Войне и мире» элементы древнерусской эпической традиции (уж если говорить о традициях древнего эпоса — почему вспомнить об «Илиаде»?): Гораздо существеннее, что на протяжении всей книги А. Сабуров очень тщательно, конкретно выявляет те художественные открытия, которые сделаны Толстым как автором первого большого реалистического повествования о подвиге народном. Новаторство Толстого

художника непосредственно связано с демократической идеей о решающей роли простых людей в историческом процессе — идеей, выросшей на основе общественного подъема в России конца пятидесятых и начала шестидесятых годов.

«Функция утверждения в «Войне и мире» вообще усилена сравнительно с романами первой половины века — в этом новизна толстовского романа, нового этапа, который представлен Толстым наряду со многими другими писателями второй половины века». Это верно. По мере все более активного выхода трудящихся масс на арену истории утверждающее начало в реалистическом искусстве должно было усиливаться. В этом смысле Толстой стоит у истоков некоторых важнейших достижений передового искусства нашего столетия. Толстой обновил повествовательное искусство не только в том отношении, что он шире своих предшественников ввел в роман поток истории, но и в том, что он смог отразить в реалистическом произведении положительный, героический элемент жизни, воплощенный либо в народных массах, либо в мыслящих личностях, которые в своем духовном развитии стремятся к народу и сближаются с ним.

И тут встает вопрос о значении толстовской эпической традиции для литературы социалистического реализма.

Тяготение советских, так же как и прогрессивных зарубежных, прозаиков к большой эпической форме — факт общезвестный и закономерный. Но искусство романа-эпопеи — трудное искусство. Писателя тут подстерегают всевозможные опасности: хроникальность, громоздкость сюжета, перегрузка действия проходными, эпизодическими персонажами, суммарное и обезличенное изображение народа. (Об этих острых проблемах советской монументальной прозы писал недавно М. Кузнецов в статье «О путях развития современного романа».)

В книге А. Сабурова ничего не говорится о современном романе. Но она в высшей степени поучительна для советских прозаиков, так как помогает глубже проникнуть в секреты мастерства романиста.

Исторический факт для Толстого не фон, не обрамление вымысла, а основной элемент сюжета. Однако «исторические события выступают в «Войне и мире» и в форме частных эпизодов, фактическое содержание которых представляет собой художествен-

ный вымысел. Событие показывается в произведении на каком-либо из своих участков, в какой-либо из своих моментов». Этапы войны с Наполеоном отражены у Толстого конкретно, зримо — через судьбы живых людей.

Эпизодических народных персонажей в «Войне и мире» множество. Но все это живые, необходимые на своем месте действующие лица, как правило, неотразимо запоминающиеся. И Данила, крепостной доезжачий Ростовых, и Анисья Федоровна, экономка дядюшки, и денщик Лаврушка, беседующий с Наполеоном, и девочка Малаша, свидетельница совещания в Филях, и купец Феропонтов, с возгласом «Решилась! Рассея... решилась!» поджигающий свой дом, чтобы ничего не досталось врагу, — приобретают самостоятельное художественное значение благодаря тому, что в отдельные важные моменты повествования на них падает яркий свет. И из множества подобных лиц складывается синтетическое, обобщенное изображение народа.

Попутно А. Сабуров делает интересное общее замечание: надо разграничивать понятия — образ и персонаж. Действующее лицо может быть названо образом лишь тогда, когда в нем есть некое эстетическое содержание, внутренний смысл. «Развитие художественного реализма ведет к разработке каждого персонажа до степени образа. В «Ревизоре» даже Жандарм есть образ. У Булгарина даже Выжигин не есть образ». В «Войне и мире» даже эпизодические персонажи подняты до уровня образа — они обладают своим индивидуальным обликом, участвуют в раскрытии общего эстетического замысла. А подчас вводные персонажи, появляющиеся лишь на мгновение, названные в одной фразе, входят как составная часть в коллективные обобщенные образы дворовых, крестьян, офицерства или солдатской массы.

Частная жизнь главных героев, их индивидуальные пути и судьбы — все это у Толстого теснейшим образом связано с военно-исторической темой и взаимодействует с нею. Дело не только в том, что все центральные герои романа так или иначе вовлечены в события Отечественной войны, и не только в том, что кульминация эпического действия — Бородинское сражение — приводит к резким псворотам в личных судьбах Пьера Безухова, Андрея Болконского, Наташи Ростовской. Еще гораздо важ-

нее другое. События 1812 года вызывают у главных героев глубокие, внутренние, психологические сдвиги. Справедливая война, решая судьбы России, становится вместе с тем решающим фактором духовного развития тех героев «Войны и мира», которые особенно интересны и дороги читателю.

Центральные герои «Войны и мира» далеко не всегда непосредственно участвуют в действии — иногда они исчезают очень надолго, иногда оказываются, так сказать, на периферии действия. Но в них вложено столько художнической мысли, они очерчены с такой глубиной и внутренним драматизмом, что даже при мимолетном появлении оживают в глазах читателя. «...Достаточно какого-то беглого упоминания об Андрее Болконском на батарее Тушина или о Пьере Безухове на вечере у Бергов, чтобы нам показалось, будто они все время выступают в качестве главного звена повествования». А эта — пусть иногда и кажущаяся — непрерывность присутствия главных героев создает большую сюжетную и композиционную спаянность произведения в целом.

Важная особенность композиции «Войны и мира» — единство повествовательного процесса, его динамичность. Действие не приостанавливается ни вводными характеристиками, ни бытовыми описаниями, ни предысторией персонажей. Особенности обстановки, пейзаж, внешний облик отдельных лиц или предшествующие события их жизни — все это выявляется естественно, само собой, по мере развития событий. Динамичен и диалог. Он никогда не представляет собой «чистого» рассуждения: он выражает изменения, происходящие в людях, и отношения между ними. «Разговор героев Толстого всегда ведет к такому моменту, в котором раскрывается или затрагивается драматическая коллизия».

Исследуя особенности толстовского диалога, А. Сабуров приходит к важному выводу о сценичности многих эпизодов «Войны и мира». Ссылаясь на работу В. Днепровца о теории романа, А. Сабуров уточняет и конкретизирует выдвинутое в ней положение о синтетической (совмещающей разные жанры) природе романа девятнадцатого — двадцатого веков. Сочетание авторского повествования с драматическими сценами свойственно, конечно, не только романам

Толстого. Оно присуще и другим произведениям великих реалистов прошлого столетия. Но именно Толстой делает большой шаг вперед в смысле, если можно так выразиться, драматизации романа. А. Сабуров показывает это, сопоставляя «Войну и мир» с романами Тургенева и Гончарова.

В книге А. Сабурова много и других интересных и самостоятельных наблюдений, сопоставлений, выводов. Но здесь хотелось

отметить главное. В итоге многолетнего труда исследователь создал книгу, которая не только помогает яснее увидеть оригинальность мастерства Толстого, но и вносит элементы нового в теорию прозы. И в силу этого работа А. Сабурова заслуживает внимания писателей и читателей — далеко за пределами узкого круга специалистов-литературоведов.

Т. МОТЫЛЕВА.

★

Мадрид, 1953

Многолюдный перекресток в центре Мадрида, стремительный поток автомашин. Человек в сутолоке перебегает улицу. Он уже на тротуаре и в этот момент поднимает какой-то небольшой предмет. Блокнот. Этому блокноту суждено сыграть значительную роль в судьбе главного героя романа «Государственный служащий». С этой минуты и до последних страниц книги мы уже не расстанемся с маленьким служащим мадридского телеграфа Пабло Марином.

Роман «Государственный служащий» крупной испанской писательницы Долорес Медю — одна из книг, по которой советский читатель сможет познакомиться с современной Испанией, с Мадридом середины пятидесятых годов нашего века.

Долорес Медю рассказывает в ней о жизни Пабло Марина, маленького человека, о его горестях и невзгодах, о незаметных радостях и мечте, о его разочарованиях и поисках.

В этой книге есть большая доброта и любовь, печаль и светлая вера в простых людей.

Внешне роман не богат событиями. В нем нет неожиданных сюжетных ходов, острых поворотов. Но тем сильнее его внутренний накал. Трудная, убогая и однообразная жизнь Пабло Марина и его жены Тересы. Работа, метро и долгие вечера в маленькой клетушке в перенаселенных меблированных комнатах. И безысходная бедность. Пабло ездит на работу только в метро. Автобус — роскошь. Попытка купить угощение в рождественский вечер обходится дорого. «— А твой плащ, Пабло? — говорит

Тереса. — Мы проедем твой плащ». Пабло сорок два года. Он восемь лет женат, детей нет. Их не на что содержать.

Пабло и Тереса любят друг друга. Но они, особенно Тереса, бесконечно устали от вечной борьбы за кусок хлеба. И между ними постепенно возникает отчуждение, враждебность.

В минуту отчаяния Тереса кричит:

«— Уйди отсюда! Оставь меня в покое. По горло сыта я нищетой».

Пабло — бедняк. Только деньги в мире буржуазной действительности способны быть источником благополучного существования.

«Для Тересы Марин, для всех женщин, для общества единственно важное — зарабатывать деньги», — размышляет Пабло. Но он не может добывать их так, как это делают проходимцы и жулики типа Сиксто Магнета, его сослуживца, который занимается темными махинациями.

Да, действительность мрачна и бесперспективна. И Пабло не видит выхода. Единственное, что он в состоянии сделать, — это фантазировать, уйти в мечту. И тут ему приходит на помощь блокнот, который он находит в самом начале романа. Это записная книжка какой-то девушки — Наталии Блай. В жизни героя поиски этой полумифической девушки занимают значительное место. Пабло настойчиво ищет Наталию, мечтая о встрече, о большом чувстве и в то же время... боится найти ее и разочароваться. «Какую роль играет Наталия Блай в моей жизни?.. Просто мечта. Нечто такое, что оживляет бесцветную действительность», — трезво замечает Пабло.

Но, придавленный жизнью, поработоченными обстоятельствами, маленький человек остается человеком. Автор книги любит простых людей и энергично утверждает их

Долорес Медю. Государственный служащий. Роман. Перевод с испанского. Редактор Е. Приназчикова. 212 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1960.

достоинство и значимость. «...Похоже, мир уже забыл,— говорит один из героев книги,— что человек есть нечто большее, чем просто номер, цифра. А каждый человек — это индивидуальность».

Любовь Долорес Медно к людям требовательна. И она не щадит своего героя. Пабло порядочен и честен, однако главный его грех — безволие, бедность духа. «Он храбр только в своих монологах, в которых расточает бесплюдное и глупое возмущение. Но он... никогда не отважится встретиться лицом к лицу с жизнью и смело разрешить даже самую малую из проблем, которые она перед ним ставит». Иногда его охватывает дух протеста. Но тут же он задает себе вопрос: «...возмущение... против чего? Против общества? Против жизни?» И с грустью отвечает: «Мое возмущение мирное. Безобидное».

Да, Пабло Марин, мелкий служащий, знает, что так жить невозможно, но ему еще не ясно, во имя чего и как бунтовать. И отсюда пассивность, бездеятельность и покорное ожидание. Всю жизнь он только надеется и ждет, ждет, что будет прибавка, что снизятся цены на квартиру, что начнут выплачивать пособие на детей и тогда можно будет иметь ребенка. Терпеливо ждет. А сил сопротивляться уже нет. И именно в тот день, когда герой спешит домой с радостной вестью о том, что долгожданное пособие получено, он застаёт пустую квартиру — Тереса не выдержала и ушла.

Всю жизнь, несмотря на то, что он много размышлял, Пабло был далек от осознания причин своих невзгод. И только большая личная трагедия заставляет его задуматься. «Разве я в ответе за то, что произошло?» — задает он себе вопрос. И вслед за этим горький вывод: виновной всему «наше духовное убожество, которое еще более ужасно, чем нищета материальная». И глубоко симптоматичен конец книги. Ушла жена. Жизнь разрушена. Пабло на грани самоубийства. И именно в этот момент в сознании героя возникает перелом. Пока еще на ощупь, но он уже ищет выхода. В эту трудную минуту он понимает, что нужно жить, нужно действовать, бороться за свое счастье. Правда, пока за личное — за семью, за жену. Счастье не в химерической Наталии Блай, не в выдуманной любви, а в самой жизни.

И это пробуждение от пассивности, от покорного следования обстоятельствам —

важнейший вывод, который делают герой и автор романа.

«Государственный служащий» удивительно емкая книга. Если уместно применить технический термин к художественному произведению, то можно сказать, что коэффициент использования слова у Долорес Медно очень высок. Скупые слова, никаких пространных описаний. И в то же время перед нами в коротких сценах проходит жизнь большого современного города. Улицы Мадрида, меблированные комнаты, большое государственное учреждение. Ряд эпизодических, но добротнo выписанных образов: чиновники, чванливый, самоуверенный мелкий торговец, старый художник, хозяйка квартиры, жильцы, нищая старуха, полицейский чиновник.

В центре внимания писательницы всегда ее главный герой — Пабло. Сквозь призму его восприятия она раскрывает окружающую действительность. Книга эта как бы развернутый монолог, спор героя с самим собой. Писательница ни слова не говорит от себя, предоставляя действовать и рассуждать героям. Но выводы автора вполне определены и современны.

Раздумья и переживания Пабло Марина и Тересы близки и понятны многим миллионам простых людей Испании. Осторожно, может быть не всегда отчетливо, вскользь, полунамеком (следует учесть жесточайшие цензурные условия, в которых приходится работать испанским писателям): Долорес Медно поднимает насущные социальные вопросы.

Пабло как-то размышляет: «...отчанваться не стоит. Это не только его проблема, не какая-нибудь маленькая проблема, касающаяся только одного служащего. Ведь это главная проблема его поколения. Всеобщая проблема, порожденная завоеванием женщиной права на работу, послевоенным переселением масс крестьян в города, самой войной, ростом населения... промышленным прогрессом, бюрократическими злоупотреблениями...»

В поисках квартиры Пабло однажды попадает в прекрасный, благоустроенный дом. Цены здесь неизмеримо высоки, и весь дом заселен иностранцами, преимущественно американцами. И как бы вскользь замечает Пабло: «Почему забыли, что в Испании есть еще и испанцы?!» Короткое замечание, но одна из серьезнейших проблем совре-

менной Испании — проблема засилия «добрых американских дядюшек» — поставлена. И от нее не уйдешь.

«Просто любопытно — до чего глупо, до чего бессмысленно теряется вера! — говорит как-то Пабло. — Даже не помню, как это случилось. Быть может, так же вот, как перестал бриться...» И хотя немало сил затрачивается сейчас в стране для оживления легенды о сплошь «католической Испании», оказывается, что рядовой испанец, пусть он и размышляет о религии, на самом деле далек от нее.

Ощущение современности романа усиливается и своеобразной манерой письма. Раздумья героев все время перебиваются короткими выдержками из газет, которые они читают: Индокитай, выступления Идена, Мендес-Франса, американские доллары — Испании, события в Гватемале, восстание на Филиппинах, выборы уполномоченных синдикатов. Сегодняшний день властно вторгается в жизнь маленького государственного служащего и миллионов простых испанцев и заставляет их все глубже задумываться над своей судьбой, над насущнейшими проблемами действительности, заставляет их почувствовать, что они не одни, подумать об общности интересов, о коллективе. Недаром об этом горячо спорят сослуживцы Пабло. И он, читая газету, размышляет: «Права человека. Долг перед обществом? Мы все время забываем, что человек — существо мыслящее».

Так писательница, раскрывая внутренний мир своего героя, создает широкую картину Испании сегодня.

Образ Пабло с его прямоотой и добропорядочностью, с его внутренней неудовлетворенностью, неясными стремлениями и мирным бунтарством, со всеми его слабостями и прозрениями характерен для современной испанской литературы.

Он сродни героям книг ряда молодых испанских писателей, пришедших в литературу в последние годы (романы «Прибой», «Цирк», «Фокусы» Хуана Гойтисоло и «Окрестности» его брата Лунса Гойтисоло, «Электроцентраль» Хосе Лунса Пачеко, «Харама» Санчес Ферлосно, книги Фернандеса Сантоса, Анны Марии Матуте, Кармен Мартин Гайте, Лауро Ольмо и др.) и выступивших с произведениями, содержа-

щими правдивое изображение, а зачастую резкую критику современной испанской действительности.

Почти у каждого из этих писателей появляется положительный герой, в большинстве случаев еще пассивный и бездеятельный. Его хватает лишь на раздумье, на осознание неприемлемости существующего, но у него нет сил для активной борьбы. Он одинок и слаб, иногда просто физически. Так, Адрес, герой романа Х. Л. Пачеко «Электроцентраль», и Мигель, герой романа «В пекле» Фернандеса Сантоса (роман, в котором изображается задыхающаяся от бедности испанская деревня), больны туберкулезом. Но у этого героя зреет уже чувство протеста, пусть пока еще в общей форме. У него, как и у героев кинокартины Бардема «Смерть велосипедиста» или романа Лауро Ольмо «Вечер 27 октября», возникает стремление к солидарности простых людей.

Роман «Государственный служащий» не первое произведение Долорес Медно. В 1945 году двадцатипятилетняя писательница за повесть «Девочки» получила премию Кончи Эспины. Долорес Медно выросла в Овьедо — городе, славном не только своими историческими и культурными, но и революционными традициями. В юности она была свидетельницей героического восстания астурийских горняков 1934 года, как и Магдалена — героиня ее романа «Мы — Риверо», в котором писательница объективно и доброжелательно старается рассказать об астурийском восстании. Роман этот имел большой успех. В 1952 году молодая писательница получила за него частную литературную премию «Надаль».

Долорес Медно написала также несколько повестей и рассказов («Утро», «Компас надежды», «Светлый дворик»). Охотно пишет она для детей («Дьявол не покупает души»).

Доброе дело сделало Издательство иностранной литературы, выпустив в свет правдивую книгу о современной жизни в Испании. Жаль только, что издательство выпустило роман без предисловия.

Молодым переводчикам Х. Кобо, Л. Сиянской и Е. Родригес-Даннлевской, встретившимся с немалыми трудностями в своей работе, удалось передать на русском языке своеобразное звучание романа.

В. ЯСНЫЙ.

Политика и наука

Образ вождя живет в сердцах

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС подготовил третью часть сборника «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине». Книга включает воспоминания старейших членов Коммунистической партии, деятелей международного рабочего движения, партийных, советских, хозяйственных, комсомольских работников, деятелей науки и культуры, а также воспоминания рабочих, крестьян и красноармейцев, имевших счастье встречаться с Лениным, слушать его выступления.

Воспоминания воссоздают живой образ В. И. Ленина не только как гениального теоретика, ученого и трибуна, основателя Коммунистической партии и первого в мире социалистического государства, но и как великого в своей простоте и задушевности человека. В отличие от первых двух частей «Воспоминаний» третья часть освещает различные периоды жизни и деятельности Владимира Ильича с 1889 по 1924 год.

Вот первые шаги Ленина на широкой арене революционной борьбы в Петербурге. Воспоминания В. В. Старкова и А. П. Ильина рассказывают о том, как Владимир Ильич начинал пропаганду марксизма в рабочих кружках. «Надо было видеть, с каким огромным терпением и чуткостью к уровню понимания слушателей он развивал им теорию Маркса о стоимости и об основах буржуазного строя. И, надо сказать, рабочие платили ему за это данью огромного уважения и любви». Страстно и убежденно выступал Ленин против противников марксизма — народников и «легальных марксистов». «Пыл и задор, с которыми Владимир Ильич пускался в бой со сторонниками противных течений, были неиссякаемы».

Среди пролетариев Петербурга Ленин вырос как руководитель рабочего класса, как его организатор и вождь. Один из старейших большевиков, И. К. Михайлов, пишет, что в Ленине «мы чувствовали инженера, механика, каменщика, проектирующего стройку огромной революционной партии, обрабатывающего материал для эгой

великой стройки, обучающего нас мастерству обтесывать и облагораживать других».

Первая русская революция 1905—1907 годов. Ленин руководит партией и революционной борьбой масс. «Если он вообще работал не щадя себя, то в подобные периоды острей и решающей борьбы он не знал ни минуты отдыха,— вспоминает видный деятель Коммунистической партии Я. А. Берзин, живший тогда вместе с Лениным в Куоккала на даче «Ваза».— Писал он с утра до поздней ночи, писал брошюры, листовки, воззвания, резолюции, предисловия к чужим работам, наконец — бесчисленные статьи как для нелегальных, так и для тех большевистских легальных изданий, которые все еще время от времени возникали...

А затем — заседания, совещания, беседы, почти непрерывно происходившие на даче «Ваза!»»

Интересны воспоминания старого члена партии Э. А. Рахья, который в июльские дни 1917 года способствовал переезду В. И. Ленина в Финляндию и обратно. В сентябре 1917 года Ленин поселился на конспиративной квартире и должен был соблюдать особую осторожность. Полиция и охранка усиленно разыскивали его. Чтобы попасть в Смольный накануне восстания, он гримируется, меняет одежду, перевязывает щеку, надевает подвернувшуюся под руку кепку. По дороге едва удается избежать встречи с патрулем юнкеров. С трудом пробивается он в штаб революции и сразу берет на себя руководство восстанием. Появление Ленина 25 октября (7 ноября) на экстренном заседании Петроградского Совета рабочих депутатов было встречено бурной авацией. «Что произошло в зале от взрыва восторга и энтузиазма присутствующих — я описать не могу,— говорит Рахья.— Во всяком случае, ружейно-пулеметной стрельбы слышно не было, ее заглушали аплодисменты, которые длились несколько минут, пока не дали, наконец, возможность говорить Владимиру Ильичу».

После Октябрьской социалистической революции Ленин возглавил первую в мире Советскую республику. Воспоминания рассказывают, как Владимир Ильич осуществлял руководство молодым Советским го-

сударством, как создавался аппарат Совета Народных Комиссаров, как Ленин разрабатывал основные вопросы политики Советской власти, намечал пути социалистического строительства.

Людей, встречавшихся с Лениным по тому или другому вопросу, всегда поражало то исключительное внимание, которое он уделял каждому делу, вникая во все подробности.

Л. К. Мартенс рассказывает об интересе Ленина к Курской магнитной аномалии. А. П. Серебровский и А. А. Никишин описывают, как Владимир Ильич руководил восстановлением нефтяной промышленности. Г. К. Королев говорит о помощи Ленина иваново-вознесенским рабочим, возрождавшим текстильные предприятия. О том, как глубоко занимали Владимира Ильича новые достижения науки и техники, пишет в своих воспоминаниях А. М. Николаев. Неустанной была забота Ленина о культурном строительстве, о коммунистическом воспитании молодежи. Этим полны воспоминания А. А. Виноградова, А. С. Карповой, А. А. Жарова и других товарищей.

Интересны воспоминания А. М. Аникста и В. А. Смольянинова. «Всех нас часто удивляла та нечеловеческая работоспособность, которую проявлял Владимир Ильич,— пишет А. М. Аникст.— После заседания Политбюро он без перерыва заседал в СТО, в комиссиях, в которых он большей частью председательствовал, затем вечером опять в Совете Народных Комиссаров. Часто после заседаний Совнаркома или СТО у него бывали комиссии (в особенности по топливу и продовольствию), или, выходя из зала заседаний, мы встречали в комнате для ожидания группы крестьян или представителей восточных народностей, которые ждали конца заседания для беседы с Владимиром Ильичем...».

Ленин был тесно связан с народом, отлично знал его жизнь и нужды. Загруженный государственной и партийной работой, Владимир Ильич находил время для общения с рабочими и крестьянами. Тысячи ходоков со всех концов страны перебивали в приемной у Ленина.

Об одном характерном эпизоде вспоминает английский журналист Альберт Рис Вильямс.

«Полчаса, час, полтора... мы сидим в приемной, нетерпеливо ожидая, когда нас вызовут. Между тем из кабинета Ильича

глухо доносится до нас мерный темп голоса его посетителя. Кто же был этой персонею, удостоенной такого милостивого и долгого приема у Ленина?»

Наконец дверь открылась, и, к общему удивлению и вопреки всем предположениям, в приемной появился не дипломат, не какое-нибудь другое высокое лицо, а косматый мужик в полушубке и лаптях — типичный крестьянский бедняк, каких можно было встретить миллионы в Советской стране.

— Простите,— сказал Ленин, когда я вошел в его кабинет,— это тамбовский крестьянин, и мы обсуждали с ним вопросы, связанные с электрификацией, коллективизацией и новой экономической политикой. Мне было так интересно узнать его мнение, что я совершенно забыл о времени».

А вот что рассказывает рабочий бакинских нефтяных промыслов А. А. Никишин: «Вышли из Кремля, начали делиться впечатлениями. Думали, что Владимир Ильич будет говорить необыкновенные вещи и необыкновенные слова. А он сказал нам самые обыкновенные вещи самыми простыми словами...»

Все так просто, так ясно и вместе с тем так глубоко. Видно было, что Владимир Ильич жил нашей жизнью, знал о нас, изучал наши возможности, знал наши слабые участки и на них указывал. Поразила нас всех необычайная простота, необыкновенная сердечность Владимира Ильича, и мы, просидев с ним 5 минут, чувствовали себя так, точно были знакомы давно-давно, и так запросто, задушевно беседовали».

Ленин часто выступал на собраниях рабочих, на митингах и всегда старался, чтобы его речи были понятны трудящимся. П. С. Заславский вспоминает, как рабочие делились с ним впечатлениями о митинге, где выступал Ленин.

«— По сердцу нам ленинское слово!

— Точно по солнечной стороне ходит — каждое слово насквозь светится».

Все, хотя бы раз слышавшие Ленина, говорят о непобедимости его логики, о его умении всегда убедить собеседника. «И слов нет, чтоб выразить, какое на меня произвел хорошее впечатление товарищ Ленин,— рассказывает крестьянин Тамбовской губернии А. И. Гусев.— Совсем другой я от него вышел. Раньше, когда в Москву ехал, недоволен был на многое у

Советской власти, а как послушал Ленина — знаю уже, что иначе никак нельзя... Какой хочешь к нему враг иди — полчаса поговори и совсем другой будешь».

Очень трогательно и тепло описывает работница Богородско-Глуховской мануфактуры последнюю встречу Владимира Ильича в Горках с рабочими. «Дверь открылась, и к нам вышел улыбающийся Ильич. Позади следовал санитар. Ильич был одет, как всегда, в своей постоянной кепке, в которой я его видела не раз. Пройдя к нам, Ильич снял левой рукой свою кепку, переложил ее в правую и поздоровался с нами левой рукой. «Как я рад, что вы приехали», — внятно и ясно сказал он нам. Мы растерялись от радости и разревелись, как дети. Мы передали Ильичу адреса рабочих и заводоуправления и сказали несколько приветственных слов от наших местных организаций. Побыв с Ильичем пять минут, мы, прощаясь, все расцеловались с ним. Последним попрощался тов. Кузнецов — 60-летний рабочий. Две минуты они стояли, обняв друг друга. А старик Кузнецов сквозь слезы все твердил: «Я рабочий, кузнец, Владимир Ильич. Я — кузнец. Мы скуем все намеченное тобою». Мы почти насильно оторвали его от Ильича».

Воспоминания, включенные в сборник, дают яркое представление о необычайной скромности и человечности В. И. Ленина. Он вел трудовую, суровую жизнь. Всегда довольствовался простой обстановкой.

В тяжелые годы гражданской войны Ленин раздавал присылаемые ему продукты товарищам или отправлял в детские дома. Он говорил, что «раз народ терпит голод, то и он не может находиться в привилегированном положении». Все, кому приходилось работать с Лениным, отмечают его исключительную чуткость и отзывчивость. «Он всегда был олицетворением доброты и деликатности, которые хорошо известны всем, кто сколько-нибудь знал его», — пишет П. Н. Лепешинский.

Врач Ф. А. Гетье вспоминает, как Владимир Ильич постоянно давал ему пору-

чения осмотреть того или иного работника и сообщить, какие меры необходимы для поправки его здоровья. «Я помню один из таких фактов», — вспоминает А. М. Аннкт. — Это было в конце 1920 г. или начале 1921 г. (зимой). Я сидел у себя в кабинете и вел заседание. Мне сообщают, что Владимир Ильич просит меня к телефону... Подхожу тотчас к телефону. Оказалось, что дело касалось устройства на отдых в доме отдыха «Архангельское», над которым я в качестве члена Малого Совнаркома имел наблюдение, одного ответственного работника. Владимир Ильич где-то справился об этом, разыскал меня по телефону и лично просил немедленно обеспечить для этого товарища помещение в доме отдыха, сказав, что если он будет возражать, то посадить его в машину и отвезти насильно».

Такую заботливость Ленин проявлял не только к людям, которые с ним непосредственно работали. Он вспоминал и старых товарищей по эмиграции, справлялся об их материальном положении и оказывал помощь, если они нуждались.

С нежностью и любовью относился Владимир Ильич к детям. Он не раз появлялся на детских елках, водил хороводы, возился с ребятами. Заведующая лесной школой Ф. А. Халевская вспоминает: «Дети пригласили Владимира Ильича посмотреть мастерскую, где они готовили игрушки к елке; как-то незаметно кто-то из младших оказался у него на плечах (это была маленькая толстенькая девочка, которую он называл «Колобок»)...»

Очень верно характеризует Ленина английский общественный деятель Вильям Т. Гуд: «В течение своей жизни я встречался в разных странах с людьми, которых называли великими. Ни об одном я не сказал бы того, что с полным доверием могу сказать про Ленина: «Человек он был. — Из всех людей мне не видать уж такого человека» (Шекспир)».

Е. СТЕЛЛИФЕРОВСКАЯ.

Нужное издание

Героиня рассказа В. Овечкина, Прасковья Максимовна, так рассказывает об одном агитаторе: «Как начнет беседу с колхозниками проводить да как залезет в дебри: «Я, говорит, пришел к вам выпятить ваши недостатки и заострить вопрос — почему тут у вас трения происходят? Может быть, Бондаренко субъективно кому-нибудь и не угодила? Но надо подходить к ней объективно, потому что, если посмотреть на это дело с точки зрения, так еще и Маркс говорил и я говорю...» — и понес! Будет целый час тарыхтеть — и ничего не разберешь. Я аж удивлялась: как там у него в голове устроено, что не может он просто, по-человечески, слова сказать, а все с выкрутасами?»

Такого горе-агитатора, который подменяет проникновенное партийное слово трафаретной, бездушной болтовней, к сожалению, иногда еще можно встретить.

К решительному усилению действенности, к укреплению связей с жизнью идейно-воспитательной работы призывает опубликованное в январе нынешнего года постановление ЦК КПСС «О задачах партийной пропаганды в современных условиях».

Поэтому каждая ныне выходящая в свет книга или брошюра должна рассматриваться теперь в свете этого актуальнейшего постановления Центрального Комитета.

Какую оценку даст пропагандист и агитатор брошюрам серии «Библиотечка агитатора», которую начал выпускать Госполитиздат?

Вот брошюра С. Новикова «Чему Ленин учил агитаторов». Бесценны указания Вла-

димира Ильича о целях, содержании и формах политической агитации и пропаганды. Основатель и вождь нашей партии, Ленин был первым ее пропагандистом и агитатором. В идейно-воспитательной работе Владимир Ильич видел надежнейшее средство связи партии с народом, мобилизации масс на решение неотложных задач, стоящих перед страной. В. И. Ленин называл агитаторов полномочными представителями Советской власти.

Автор брошюры доходчиво излагает ленинские требования к агитации: идейность и правдивость, конкретность и наступательность. Брошюра заканчивается разделом «Агитатор — это народный трибун». Заветы Владимира Ильича помогут побоевому организовать агитационную работу среди трудящихся и в наши дни. Великий пример Ленина будет побуждать каждого агитатора претворять в жизнь бессмертное, вечно живое, пламенное ленинское слово.

Огромную пользу принесет углубленное знакомство с книжкой, где собраны советы Михаила Ивановича Калининна агитаторам. Его беседы и выступления, речи и доклады основаны на глубоком знании жизни. Работы М. И. Калининна учат проводить агитацию умело, сочетая марксистско-ленинскую теорию и политику Коммунистической партии с конкретными задачами. Самые сложные вопросы он умел излагать простым, доходчивым и в то же время ярким, образным языком, понятным широким массам трудящихся. «Язык, на котором вы общаетесь с населением, делайте простым, своим, применяя естественный стиль», — указывал Михаил Иванович.

Брошюра «Массово-политическая работа на селе» написана секретарем Краснодарского крайкома КПСС Р. Черниковым. Агитационная работа, проводимая в колхозах и совхозах края, подчинена задаче, которую поставил перед кубанцами Н. С. Хрущев: превратить Кубань в край всесторонне развитого интенсивного сельского хозяйства, в фабрику мяса, молока, ценнейших технических культур. Автор показывает трудовой героизм тружеников села и большую роль коммунистов-агитаторов, которые нашли «тропку» к сердцам своих слушателей.

Воспитание советского человека в коммунистическом духе, мобилизация усилий

С. Новиков. Чему Ленин учил агитаторов. Редактор А. Толмачев. 48 стр. Госполитиздат. М. 1959.

М. И. Калинин. Советы агитатору. Редактор А. Толмачев. 88 стр. Госполитиздат. М. 1959.

Р. Черников. Массово-политическая работа на селе. Редактор В. Гуревич. 56 стр. Госполитиздат. М. 1960.

О. Куприн. Быт — не частное дело. Редактор Г. Иванов. 72 стр. Госполитиздат. М. 1959.

П. Родионов. Политическая агитация в ночной смене. Редактор А. Толмачев. 48 стр. Госполитиздат. М. 1960.

И. Помелов. О полной и окончательной победе социализма в СССР. Редактор А. Поляков. 56 стр. Госполитиздат. М. 1959.

трудящихся на досрочное выполнение семилетнего плана требуют от наших агитаторов упорной учебы, овладения лучшими образцами массово-политической работы. Поэтому книжки «Библиотечки агитатора» должны учить не только тому, что надо говорить, но и как нужно говорить. Этому требованию, к сожалению, отвечают не все разбираемые книжки.

В брошюре О. Куприна «Быт — не частное дело» приводится прекрасный пример из нашей жизни.

...Зима 1942 года. Ленинград в кольце блокады. 23 февраля, в День Советской Армии, на передовую к бойцам, защитникам героического города, пришли от ленинградцев посылки — небольшие коробочки и свертки.

«Одна посылка, которая досталась солдату Зайцеву, поразила и потрясла всех. В ней вместе с обычными вещами — носовым платком, бумагой — был, пожалуй, бесценный подарок — небольшой сухарь. Было и письмо. Оно заканчивалось словами. «Нельзя, дорогие мои, нашу землю отдать на поругание фашистам». И подпись: «Варвара Федоровна Гордеева». Когда через несколько дней журналист, узнавший об этом случае, пришел навестить мужественную женщину, ему сказали, что Варвара Федоровна накануне умерла от голода».

Этот самоотверженный поступок простой русской женщины, обладающей великой душевной силой, имеет исключительно большое воспитательное значение. В книжке приведен и ряд других свидетельств горячей любви советских людей к своей социалистической Родине. В этом — сильная сторона книжки. Но как агитатору или пропагандисту использовать в своей повседневной работе эти яркие факты, чтобы они зажигали людей, поднимали их на трудовые подвиги, автор брошюры не рассказал. Разумеется, подобные примеры говорят за себя. Но ведь задача серии заключается и в том, чтобы оказать агитаторам помощь в организации их работы, в выборе наиболее доходчивых, действенных форм и методов политической агитации среди различных слоев населения.

На ряде предприятий нашей страны в вечерних и ночных сменах занято до сорока процентов рабочих. Какие новые формы и методы политической агитации предлагает автор брошюры «Политическая агитация в

ночной смене» П. Родионов? Оказывается... никак!х. Агитационная работа должна вестись так же, как в обычное дневное время. Трудности, узнает читатель, имеются, но они преодолимы.

Очевидно, автору и издательству при подготовке к изданию этой нужной по теме брошюры необходимо было значительно глубже показать особенности и пути организации агитационной работы в ночной смене.

И еще одно замечание, касающееся языка изданий. В свое время К. Маркс рекомендовал некоторым ораторам помнить слова Вольтера: «Все жанры хороши, кроме скучного».

Прочитав книжку И. Помелова «О полной и окончательной победе социализма в СССР», агитатор и пропагандист испытают двойственное чувство. Автор со знанием дела излагает один из важнейших теоретических и политических выводов, которые были сделаны на XXI съезде КПСС, — об условиях, которые обеспечили полную и окончательную победу социализма в нашей стране. Приведены соответствующие примеры, цифры. В брошюре, можно сказать, все на месте, все правильно, однако... сухой язык обедняет большое содержание. А вспомните, какими чудесными словами с трибуны съезда говорил Н. С. Хрущев. Его яркая, образная речь была насыщена гордостью за нашу партию, за народ, свершивший великие дела. Так почему же об исторических решениях съезда нужно писать сухим, скучным языком? Некоторым авторам иногда не мешает вспомнить старинное изречение: «Живое слово принадлежит наполовину тому, кто говорит, и наполовину тому, кто слушает». Доходчивое, берущее за душу слово — неотъемлемая принадлежность боевой партийной публицистики.

Мы рассказали лишь о некоторых вышедших в свет брошюрах серии «Библиотечка агитатора». Несомненно, эти издания во многом окажут существенную помощь агитаторам и пропагандистам. Хотелось бы, чтобы наряду с книжками, посвященными различным важным темам, издательство подготовило и выпустило в свет брошюры, в которых найдут отражение новые формы агитационной работы — политико-массовая работа в бригадах коммунистического труда, повседневная доходчивая, живая пропа-

ганда патриотического почина Валентины Гагановой, работа университетов культуры и другие. Опыт партийных организаций за последние годы подсказывает многообразные средства организаторской и идейно-воспитательной работы. Широкая

популяризация наиболее эффективных методов агитации поможет нашей многомиллионной армии агитаторов и пропагандистов в их почетной работе.

Кандидат исторических наук
Б. ЖУЧКОВ.

★

Жизнь берет свое

Кому теперь не ясно, что политика «холодной войны» бессильна остановить наше стремительное движение вперед, что она находится в явном противоречии с прогрессивными идеями нашего времени? Сколько бы ни изощрялись ее пропагандисты и проводники, жизнь все-таки берет свое. Вот уже полтора десятилетия капиталистические страны мирно сосуществуют с социалистическими. Никакими договорами не скрепленное, но самой жизнью диктуемое историческое соревнование двух мировых систем неотвратимо ведет свой счет.

Соревнование происходит в различных областях.

В книге Т. А. Ковалья рассказывается о соревновании СССР и США в области сельского хозяйства. Книга написана рукой эрудированного человека, убедительно и, я сказал бы, экономно: без нагромождения примеров, без излишних словесных отступлений.

Для того чтобы изложение стало более последовательным, полным, автор в вводной главе знакомит нас с некоторыми цифрами 1920 года. В то время на долю нашей страны приходились лишь десятые процента мирового производства чугуна, стали, электроэнергии, добычи угля. А в настоящее время СССР по объему промышленной продукции занимает первое место в Европе и второе в мире.

В вышедшей в 1919 году книге «Агония России» американец Уильям пророчествовал: «Большевизм не способен создать, а напротив, он несет с собой только уничтожение... С экономической точки зрения продолжение существования советского режима — невозможно, с политической точки зрения — это абсурд».

Примерно в то же время В. И. Ленин писал: «Я уверен, что Советская власть догонит и обгонит капиталистов, и что вы-

игрыш окажется у нас не только чисто экономический», что «мы... добьемся того, чтобы нагнать другие государства с такой быстротой, о которой они и не мечтали... В такую быстроту, если движение руководится действительно революционной партией, в такую быстроту мы верим и такой быстроты мы во что бы то ни стало добьемся».

Ленин смотрел далеко вперед. Созданная и выпестованная им партия коммунистов явилась той могучей революционной силой, которая сумела обеспечить истинно сказочную быстроту созидания во всех отраслях народного хозяйства.

Переходя к основной теме книги, автор знакомит с мощным подъемом сельского хозяйства в нашей стране и с длительным застоєм или же незначительным ростом в развитии сельскохозяйственного производства в странах капитала. Эта глава подводит читателя к истокам широко развернувшегося в нашей стране замечательного народного движения за то, чтобы в ближайшие годы догнать Соединенные Штаты Америки по производству продуктов животноводства на душу населения.

Идеологи капитализма, игнорируя всем известные факты, и сейчас еще трубят о крахе коммунистических идей в преобразовании сельского хозяйства. Особенно усердствуют в этом отношении некоторые экономисты США. Составители изданного в 1957 году доклада Объединенной экономической комиссии конгресса — «Экономический рост Советского Союза в сравнении с Соединенными Штатами» немало потрудились над тем, чтобы убедить читателей в преимуществах капиталистической системы перед социалистической в области сельского хозяйства.

Остро и аргументированно полемизирует автор книги с составителями этого доклада, наглядно и убедительно показывает всю вздорность и несостоятельность их утверждений.

В главе о посевных площадях и производстве зерна приведены интересные и выразительные данные. Вот некоторые из них. С 1913 по 1957 год посевные площади СССР расширились более чем в полтора раза — на семьдесят пять с половиной миллионов гектаров, что больше половины всех посевов США. Только за четыре года (1954—1957) у нас было освоено столько же земель, сколько за все предыдущие тридцать семь лет Советской власти! Площадь под зерновыми выросла в СССР за это четырехлетие почти на восемнадцать миллионов гектаров, тогда как за все предыдущие годы — только на два миллиона гектаров. В это же время в США наблюдалось либо топтание на месте, либо очень медленный рост, в отдельные годы прерывавшийся даже сокращением посевных площадей.

Т. Коваль сопоставляет валовое производство зерна в обеих странах. С 1953 по 1956 год оно выросло у нас на пятьдесят шесть процентов, а в США — только на четыре процента.

Составители доклада пытаются опорочить наши возможности в увеличении производства кукурузы. «В СССР,— пишут они,— почвенные и климатические условия менее пригодны для выращивания кукурузы, чем в Соединенных Штатах Америки, к тому же кукуруза отнимает часть посевной площади у проверенных сельскохозяйственных культур». Но, как бы это ни раздразняло скептиков из комиссии конгресса, СССР опередил США и по темпам роста производства кукурузы — культуры, по которой американцы занимают первое в мире место. В производстве кукурузы на силос мы оставили США далеко позади. Если бы составители доклада подходили к делу объективно, они не могли бы не заметить, что в основе крупнейших успехов, достигнутых нашей страной за последние годы в увеличении производства мяса и молока, лежит именно прогресс кукурузоводства.

Касаясь нашего производства технических культур, в частности сахарной свеклы и хлопка, автор подчеркивает ту же ясно выраженную тенденцию более высоких, чем в США, темпов развития. У нас производство сахарной свеклы выросло за последние восемь лет без малого втрое, а в США — всего на десять процентов. Производство хлопка увеличилось у нас за годы Советской власти почти в шесть с полови-

ной раз, а в США оно оставалось в 1957 году на уровне 1909—1913 годов. Обогнали мы американцев и по урожайности хлопчатника.

Тем не менее составители доклада безапелляционно заявляют: «При интерпретации результатов сопоставления размеров сельскохозяйственного производства в СССР и США следует принять во внимание... значительно большую способность Соединенных Штатов к быстрому расширению сельскохозяйственного производства».

В животноводстве Советского Союза пока, быть может, в меньшей мере, чем в земледелии, но так же отчетливо видна тенденция более высоких темпов развития, хотя эта отрасль сельского хозяйства и была у нас долгое время сильно запущена. В книге приводится ряд убедительных цифр, относящихся к различным периодам времени начиная с 1937 года.

Апологеты капитализма пытаются отыгаться, оперируя данными по механизации сельскохозяйственного производства в нашей стране, которое они представляют в заведомо искаженном виде. Автор приводит высказывание одного из них, доктора Ясного, утверждающего, что «механизация советского сельского хозяйства, как правило, ограничена лишь немногими операциями, в то время как сельское хозяйство США является насквозь механизированным». Перед лицом гигантского прогресса в техническом оснащении сельского хозяйства СССР, свидетелем которого является весь мир, это высказывание выглядит смехотворным, как и смехотворны в приложении к сельскому хозяйству США слова «насквозь механизированное».

Правда, наиболее крупные фермы США богато оснащены техникой. Но доктору Ясному следовало бы знать, что около полумиллиона фермерских хозяйств не имеют возможности применять механическую тягу и все свое производство основывают на ручном труде, что более миллиона фермеров с земельной площадью от четырех до двадцати гектаров применяют машины в весьма ограниченных размерах, что мало машин и у фермеров с земельной площадью в двадцать — сорок гектаров. Ясно, что сельское хозяйство США далеко не «насквозь механизировано».

Что же касается темпов механизации, то США и в этом отношении уступают нам. Известно, что последние двадцать пять лет

тракторный парк рос в Советском Союзе вдвое быстрее, чем в Соединенных Штатах. А наше превосходство в использовании техники вынуждены признать даже составители пресловутого доклада экономической комиссии конгресса. «Советские сельскохозяйственные машины,— сказано там,— в общем используются более интенсивно, чем соответствующие машины в США».

При всех достоинствах книги, автора ее нельзя не упрекнуть в одном существенном упущении. Глубоко анализируя результаты уже пройденного этапа соревнования СССР и США в области сельского хозяйства, автор лишь вскользь упоминает о наших еще нетронутых резервах, неиспользуемых возможностях. А ведь, введя их в действие, мы можем еще больше ускорить темпы развития нашего сельского хозяйства, еще больше сократить дистанцию между нами и США. Следовало более подробно рассказать о поистине всенародном соревновании в деревне. Ведь, скажем, обязательства труженников сельского хозяйства Рязанской области и их последователей, эти, как на-

звал их Н. С. Хрущев, «первые ласточки», ставили себе целью уже в 1959 году ускорить темпы производства мяса в четыре раза. Успеха в этом деле добилась, как известно, не только Рязанская область. В минувшем году прирост мясной продукции в целом по стране удвоился против среднегодового за предшествующее пятилетие. А именно в животноводстве наши достижения особенно важны, так как здесь мы пока больше всего отстали от США.

Как логичный вывод из всего содержания книги воспринимается ее концовка. Экономические и политические итоги соревнования двух систем и перспективы их дальнейшего развития, говорит автор, неопровержимо свидетельствуют о том, что поступательное движение социализма неодолимо и его победа в мирном состязании с капитализмом неизбежна.

С твердой верой, что так это и будет, с гордостью за пашу Советскую Родину, за мир социализма закрываешь эту книгу.

Дм. РУДЬ.

★

Крах пособников фашизма

В столице Венгрии Будапеште вышла в свет на венгерском, а затем на русском и на многих других языках книга Миклоша Сабо «Эмигранты по профессии». Она вызвала большой интерес венгерской и зарубежной общественности. В книге обнаружены новые важные факты преступной деятельности заправил контрреволюционной венгерской эмиграции, ее тесной связи с заокеанской и западными разведками, под руководством и с помощью которых она творит свое черное дело. Автор срывает маски с мнимых друзей венгерского народа и показывает, как они наперебой стараются выслужиться перед своими подлинными хозяевами.

Длинной вереницей проходят перед нами бароны и епископы, хортистские генералы и офицеры, социал-демократы и бывшие министры, капиталисты и «независимые», губернаторы и уголовники, «вожди» различных буржуазных партий, монархисты и фашисты, ставшие «профессиональными эмигрантами», профессиональными шпиона-

ми. Их объединяет люта я ненависть к народной демократии, к трудящимся; они готовы ради осуществления своих кровавых планов превратить Венгрию в руины, уничтожить сотни тысяч мирных людей.

Книга М. Сабо, представляющая собой документальное произведение, основана на фактических материалах — протоколах заседаний, листовках и письмах, многие из которых, написанные рукой эмигрантских «вождей», адресованы самому автору.

Необычна его судьба. До 1945 года Миклош Сабо был одним из ведущих деятелей венгерской партии мелких сельских хозяев. После освобождения страны он был некоторое время депутатом парламента. Вскоре М. Сабо примкнул к участникам заговора против народно-демократического строя, за что был приговорен к лишению свободы. В 1955 году, после своего освобождения, бежал в Австрию, где сблизился с руководством контрреволюционной венгерской эмиграции. М. Сабо был одним из организаторов пресловутого «революционного совета», созданного в начале 1957 года в Страсбурге.

В эмиграции перед Сабо полностью рас-

Миклош Сабо. Эмигранты по профессии. 359 стр. Издательство Паннония. Будапешт. 1959.

крылись гнусные цели эмигрантских «столпов» и их пособников. Сабо решительно порывает с предателями венгерского народа и в сентябре 1957 года возвращается на родину. Обо всем пережитом в эмиграции автор и рассказывает в своей книге.

М. Сабо приехал в Австрию в то время, когда эмигрантские лидеры под руководством иностранных разведок лихорадочно готовились к мятежу. Почуя добычу, словно вороны, слетелись в Австрию, Швейцарию, Западную Германию — поближе к венгерской границе — «вожди» эмиграции. Спешно формировались фашистские отряды. В Веле, в роскошном отеле «Кайзерхоф», расположил свой штаб салашист генерал Андраш Зако, предводитель фашистской военной организации «Объединение венгерских боевых отрядов». Тайно готовились оружие и боеприпасы для переброски в Венгрию. Представители разведок и их пособники допрашивали каждого, прибывавшего из Венгрии, выпытывая новые сведения о венгерской армии, о работе промышленных предприятий и так далее. У рядовых эмигрантов, находившихся на грани нищеты и отчаяния, скупались паспорта и военные билеты, которые использовались затем при переброске шпионов и диверсантов в Венгерскую Народную Республику.

Пользуясь бедственным положением молодежи в лагерях для перемещенных лиц, «торговцы людьми», как называет их автор, — граф Палфи, генерал Лендьял, генерал А. Зако и многие другие эмигрантские заправилы — посылали венгерских юношей в Западную Германию, где их вынуждали вступать в десантные части или направляли в специальные школы для подготовки шпионов. Автор подробно рассказывает о майоре авиации Ш. Кестхей, который получал от иностранных разведок большие деньги за каждого направленного в школы шпионажа.

Накануне мятежа — для «обработки» общественного мнения, внушения ненависти к коммунизму и народной демократии и оправдания колониализма — на средства радиостанции «Свободная Европа» и за океанских боссов во многие страны мпра были переброшены самые оголтелые заправилы эмиграции. По странам Азии совершил поездку бывший премьер-министр Ференц Надь. Хозяева дали ему особо важное задание: рассказами о «коммуни-

стической экспансии» нагнать страх на представителей стран — участниц Бандунгской конференции. Однако эта затея позорно провалилась; в «лекторе» быстро распознали наймита заокеанской разведки. Так же бесславно окончилось пропагандистское «турне» по Тунису Д. Габори и Д. Эгри, которых финансировал Эрвинг Броун, директор объединения американских профсоюзов. Не больший успех имела поездка по странам Западной Европы в августе 1956 года председателя пресловутого «национального комитета» Бела Варга, а также других контрреволюционеров в Индию, Японию, Африку и на Цейлон...

Немалое место в книге автор уделяет деятельности пресловутой радиостанции «Свободная Европа», сыгравшей зловещую роль в подготовке и проведении мятежа. Помимо распространения гнусной клеветы, ее агенты активно занимались шпионажем и вербовкой венгерских юношей в школы шпионов, финансированием большинства контрреволюционных эмигрантских организаций и руководством ими.

М. Сабо был свидетелем начала контрреволюционного мятежа, когда через венгерскую границу потоком хлынули отряды фашистских головорезов, транспорты с оружием и боеприпасами. Он рисует трагическую картину кровавого мятежа. На его глазах распоясавшиеся фашистские молодчики учиняли дикую расправу над мирными гражданами.

Уже в первые дни мятежа оголтелая реакция отбросила прочь маску «демократии». Одержимые фанатической ненавистью к народу, к коммунизму, эмигрантские заправилы для осуществления своих гнусных целей готовы были пойти на разрушение Будапешта, бомбардировку венгерских городов, расчленение страны, вплоть до воссоздания Австро-Венгрии под эгидой Отто Габсбурга.

Большой интерес представляют страницы книги, где автор рассказывает об участии в мятеже империалистических кругов Запада.

Но вот контрреволюционный мятеж разгромлен. И мы видим, как те, кому удалось унести ноги, вновь замышляют новые провокации, новый мятеж. Одновременно они апеллируют к ООН, срочно выискивая «свидетелей». Вот как, по словам автора, происходила эта комедия:

«Явившихся для дачи показаний подвергают многократной проверке... их выслу-

шивает официальный секретариат, и только в случае соответствия их показаний предъявляемым требованиям они предстают перед лицом комиссии... Показания прежде всего исходят от представителей класса, господствовавшего при Хорти. Часть этих свидетелей дает свои показания скорее из-за денег, так как каждый допрошенный ежедневно получает «возмещение расходов» в сумме 200 австрийских шиллингов.

Лидеры эмиграции отлично понимали, что вряд ли графы или хортисты смогут произвести нужное впечатление. И тогда среди беженцев с большим трудом откопали бывшего рабочего, некоего Деже Фонадя, падкого на деньги. Он был завербован в Вене и переправлен в США для выступлений в ООН в качестве «важнейшего свидетеля «национального комитета». Ему была создана широкая и шумная реклама. На заокеанские денюжки он объездил Южную Америку, выступая там от имени некоего «подпольного парламента», который якобы руководил мятежом и готовит новое восстание. После окончания этой пропагандистской поездки хозяева выбросили «важнейшего свидетеля» на улицу. Растратив деньги, собранные у легковверных людей в качестве пожертвований на подготовку нового мятежа, Фонадя, испугавшись кары своих хозяев, покончил с собой.

После подавления мятежа среди эмиграции на первый план стали выдвигаться лидеры типа генерал-предателя Бела Кирая, председателя фашистских головорезов из «союза борцов за свободу Венгрии». На весну 1957 года намечался новый мятеж. Кирай выбрал в качестве руководителя мятежа мотогонщика Гезу Банкути, проживавшего тогда в Будапеште. Снова начали заготавливаться большие партии оружия, изыскиваться деньги, рекламироваться придуманное эмигрантскими заправилами «движение» «МУК» (начальные буквы из призыва контрреволюции на венгерском языке «В марте снова начнем»). Гнусную пропагандистскую кампанию по развертыванию нового мятежа продолжала вести радиостанция «Свободная Европа». Чан Кай-ши пожертвовал на подрывную работу в Венгрии пятьдесят тысяч долларов...

Шпионский центр Западной Германии — «Организация Гелена» — от имени боннских властей щедро снабжал многими сотнями тысяч марок пресловутый союз венгерских «борцов за свободу», грязные эмигрантские

газетенки «Уй Хунгария» («Новая Венгрия») и «Немзетер» («Ополченец») выплачивали солидные пенсии хортистским генералам... Под вывеской различных «благотворительных» обществ действовали профессиональные шпионы и убийцы.

Однако эти кровавые планы сорвались. Благодаря бдительности венгерского народа новая контрреволюция еще до попытки начать мятеж потерпела полный крах.

Во время пребывания в эмиграции М. Сабо довелось близко узнать большинство ее лидеров; со многими он состоял в переписке, встречался на совещаниях и конференциях, беседовал в интимном кругу. Это Ференц Надь и Бела Кирай, Бела Варга и Золтан Пфейфер, Ференц Кишбарнаки-Фаркаш и Анна Кетли, Андраш Зако, Бела Лендвел и многие другие. Глубина их морального падения потрясла автора книги. Вот как он характеризует их:

«Нет Венгрии, любви к Родине, нет дружбы, преданности принципам; есть только одно желание — доказать финансирующим американцам свою пригодность и необходимость, без чего нет больше беззаботного существования... Ими руководит... одно только эгоистичное стремление — нажить богатство, погоня за личным благополучием.

Политика «холодной войны» создала для них ту питательную среду, в которой эти паразиты — во всех случаях существующие за счет других — могли себя чувствовать великолепно... Сохранение напряженности «холодной войны» стало их жизненным интересом, ибо в случае преобладания духа мира они стали бы лишними для западной внешней политики. Если бы дух мира взял верх, их без всяких церемоний лишили бы многих сотен тысяч долларов, из которых один только комитет, выдававший себя за национальный, присваивал себе 200 тысяч... Эмиграция, которая принимала участие в этой грязной игре, которая осмелилась содействовать ей, — заключает автор, — должна погибнуть... Маска упала, и открылось ее настоящее лицо».

Во многих главах книги, особенно в главе «... и о «незаметных маленьких людях», автор рисует картину нищеты и отчаяния тех венгров, которые, поддавшись гнусной пропаганде западных радиостанций, покинули свою страну.

«В то время как великие моголы нашей эмиграции беззастенчиво и легкомысленно

швыряются тысячами долларов,— говорит автор,— судьба венгров, живущих в лагерях и мебелированных комнатах, складывается все печальнее. О страшной участи 680 венгров, вывезенных.... в Доминиканскую республику, говорят лишь присланные украдкой письма. Из Турции мы получаем известия, что наших соотечественников... подвергают коллективным наказаниям. Зброшенные в Канаду впали в крайнее отчаяние... Бессовестные торговцы людьми ложными обещаниями заманили много молодых венгерских девушек на Ближний Восток, где они стали «танцовщицами» в «увеселительных заведениях», т. е. в публичных домах. Нищета, забитость, отчаяние везде и повсюду».

Десятки венгров беженцев кончают жизнь самоубийством, тысячи объявляют в лагерь в знак протеста голодовки, талантливые актрисы, чтобы не умереть с голоду, вынуждены идти в публичные дома...

Недавно газета «Мадьяр ифюшаг» («Венгерская молодежь»): сообщила о чудовищных фактах продажи в рабство богатым развратникам пятнадцати-шестнадцатилетних венгерок из лагеря в городке Латине (Италия).

Факты, которые приводятся в книге М. Сабо, относятся к 1957 году, но такое положение существует и поныне. Об этом говорят тысячи и тысячи писем (многие из них публикуются в венгерской печати), об

этом же свидетельствуют возвратившиеся на родину венгры.

Контрреволюционная эмиграция — эти презренные изменники родины и их покровители — и по сей день не отказалась от своих коварных планов вернуть Венгрию на путь капитализма.

«На территории Австрии,— сказал в докладе на VII съезде ВСРП товарищ Я. Кадар,— создаются и безобразничают различные шпионские центры и профашистские венгерские организации, ведущие против Венгерской Народной Республики подрывную работу... Американцы тратят на подрывную работу против Венгерской Народной Республики значительные суммы из отпускаемого ежегодно сенатом фонда в сто двадцать пять млн. долларов. До пяти тысяч венгерских беженцев приняты в армию США. Американцы содержат радиостанцию под названием «Свободная Европа», ведущую подстрекательскую кампанию против Венгерской Народной Республики».

Факты, приведенные в книге, помогут венгерскому трудовому народу в священном деле защиты своей социалистической отчизны. Несомненно, книга эта откроет глаза многим честным венграм, еще не освободившимся от оценок, навеянных западной пропагандой. Вот почему книга М. Сабо так важна и актуальна сейчас, когда вопрос о мире — самый главный вопрос современности.

Е. ПЕТРУНИЧЕВ.

★

Документы обвиняют и предостерегают

Западногерманский журнал «Дн анклаг» недавно поместил статью под весьма крикливым заглавием «Подлейшая фальсификация истории».

О какой же фальсификации идет речь? Против кого она направлена? На кого возводится напраслина?

Оказывается, потерпевшими являются... гитлеровские эсэсовцы. Это в Нюрнберге в 1946 году судьи Международного военного трибунала посмели, «извращая» историю, объявить СС преступной организацией; кто-то «выдумал», что организация СС совер-

шала преступления против народов Европы; кому-то понадобилось облыжно обвинить эсэсовцев в том, что они умертвили в концлагерях миллионы заключенных.

Недаром канцлер Аденауэр заявил: «Я давно уже знаю, что солдаты войск СС были порядочными людьми». А вот и высказывания видных германских генералов, тесно сотрудничавших с СС. Генерал Гудериан заверяет, что обвинения против них высосаны из пальца, что надо «развезать облака лжи и клеветы, окутывающие «Ваффен СС», и что только это «поможет этим галантным людям занять место, которого они заслуживают в новом вермахте».

Типпельскирх пытается уверить, что французы, ценя благородство гитлеровцев, обращались к ним не иначе, как «мсье немец-

СС в действии. Документы о преступлениях СС. Перевод с немецкого А. Л. Ягушкина и В. В. Размерова. Редакция и предисловие М. Ю. Рагинского. 676 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1960.

кий солдат». Генерал войск СС Хаузер возмущен тем, что «оскорбляют» славные дела СС. «Эсэсовцы были людьми боевого духа, а не преступниками», — писал он недавно.

Что же касается Орадура, Треблинки, Дахау и других лагерей смерти, то все это «фальсификация истории». Не ограничиваясь общими декларациями о невинности СС, журнал «Ди анклаге» пытается опровергнуть и конкретные обвинения, предъявленные в Нюрнберге. Так, например, журнал устанавливает, что ни в одном концлагере... не имелось «газовых камер или других установок для массового уничтожения людей». Все приспособления для казней и пыток якобы «при ближайшем рассмотрении оказались... бутафорией».

Читая эту чудовищную ложь, убеждаешься в том, насколько своевременным и полезным является появление книги «СС в действии», изданной в ГДР и ныне переведенной на русский язык. Ценность книги как раз в том и состоит, что она пачисто разоблачает усилия западногерманской реакции, стремящейся путем реабилитации СС облегчить использование гитлеровских молодчиков на различных государственных постах.

С каждым днем численно растет бундесвер, оснащенный атомным и ракетным оружием. Беспокойство народов вызывает и то, что Аденауэр открыл шлюзы для вступления в бундесвер людей, которые верой и правдой служили в частях СС. Бундесвер возглавляют гитлеровские генералы.

Когда я читал лживые измышления журнала «Ди анклаге», на память пришел один весьма любопытный эпизод, свидетелем которого мне пришлось быть.

Десятое декабря 1945 года. Зал Нюрнбергского процесса.

В момент, когда все обвиняемые после завтрака уже сидели на своих местах, американский офицер впервые привел к скамье подсудимых Кальтенбруннера, начальника гитлеровского гестапо. Фашистский палач занемог и потому не присутствовал на процессе в первые дни.

Кальтенбруннер вознамерился приветствовать старых друзей, с которыми был связан ряд лет, но, как по команде, все подсудимые отравнулись в другую сторону. Кальтенбруннер обратился к Кейтелю, но тот перенулся через стойку и завел разговор с американским офицером. Глава эсэсовцев

опустился на указанное ему место, рядом с Розенбергом, но сосед тут же изобразил сосредоточенную занятость. Кальтенбруннер обернулся к Франку — палачу Польши, но и этот уткнулся носом в книгу. Наконец появился защитник Кальтенбруннера, единственный человек, обязанный помогать ему. Гестаповец протянул адвокату руку, но д-р Курт Кауфман демонстративно отказался ее пожать, хотя говорил с подзащитным вежливо.

Отворачиваясь от Кальтенбруннера, руководители гитлеровского вермахта тем самым стремились показать, что с преступлениями эсэсовцев они решительно ничего общего не имели.

В зале, где происходил Нюрнбергский процесс, демонстрировался документальный фильм о фашистских зверствах, смонтированный из кадров немецкой хроники. После просмотра даже Кейтель, спрошенный о том, каковы его впечатления от показанного фильма, ответил: «Это ужасно! Когда я вижу такие вещи, мне стыдно, что я немец. Это все эти грязные свиньи из СС. Если бы я знал, я бы сказал своему сыну: «Я скорее убью тебя, чем разрешу тебе вступить в СС».

Тогда, в 1945 году, комедия, разыгранная гитлеровской кликой, не могла никого обмануть. Но было ясно, что даже руководители третьего рейха понимали тщету всех попыток скрыть тяжкие преступления СС. Какими жалкими выглядят потуги современных западногерманских неонацистов представить эсэсовцев «галантными людьми» и «защитниками европейской цивилизации»!

Книга «СС в действии» воскрешает в памяти людей страшные картины Европы, поработанной Гитлером и его кровавой гвардией СС. Факты эти слишком хорошо известны всему миру, чтобы так легко можно было их опровергнуть. Сегодня «Ди анклаге» пытается мистифицировать своих читателей, отрицая факт уничтожения миллионов людей. Но в 1946 году я слышал показания Рудольфа Гесса, начальника концлагеря Освенцим, который вынужден был признать: «Я думаю, что по крайней мере два с половиной миллиона жертв было там (в Освенциме.— А. Л.) истреблено путем отравления в газовых камерах и сожжения...»

Тогда же давал показания видный эсэсовец Вислицени. В последние дни войны, на

кануне краха фашистской Германии, он беседовал с Эйхманом, одним из руководителей СС и гестапо. «Он сказал мне, — вспоминает Вислицини, — что с улыбкой прыгнет в могилу, так как с особым удовольствием сознает, что на его совести пять миллионов человек».

Читатели найдут в книге «СС в действии» бесчисленное количество фактов, показывающих гитлеровских палачей во всей их мерзости. Кровь стынет от скрупулезных бухгалтерских выкладок, фиксирующих количество снятых с жертв часов, верхней одежды, вырванных золотых зубов и коронок, колец и серег. Педантичные эсэсовцы не забыли указать в одном из отчетов несколько тысяч килограммов женских волос. В отдельной главе сгруппированы документы и отчеты гитлеровских «ученых» о «медицинских экспериментах» над заключенными, неизменно заканчивавшихся мучительной смертью. В другой главе рассказывается о преступлениях фашистов на территории девяти оккупированных стран.

На эти документы, конечно, не ссылаются ни журнал «Ди анклаге», ни канцлер Аденауэр, ни генерал Хаузер. Прошли в Западной Германии времена, когда эсэсовцы должны были прятаться. Ныне они снова вошли в силу и становятся опорой боннского режима.

...Сквозь табачный дым, наполнивший кабачок, неясно виднеется черно-бело-красное знамя. Мужчины, сидящие за столиками, аплодируют так, что дрожат стены. Человек на трибуне выкрикивает: «Друзья! Прошу вас поднять бокалы и выпить за традицию этого дня, за нашу священную Великую Германию, за наш любимый народ, за величайшего германского фюрера Адольфа Гитлера, чья феноменальность в один прекрасный день будет признана не только Германией, но и всем миром. Нашему рейху, нашему народу, нашему фюреру — «Зиг хайль! Зиг хайль! Зиг хайль!» И десятки эсэсовских глоток начинают орать воинственную песню.

Что это? Отвратительная сцена прежних лет? Досужий вымысел? К сожалению, ни то, ни другое. Это произошло 20 апреля 1959 года в ФРГ, в районе Бергишесланд, и представляло собой открытое празднование «дня рождения фюрера».

В ФРГ возникают антисемитские организации. Количество их уже превысило шесть-

десят. Как сообщается в книге, за последние годы более трехсот раз осквернялись еврейские синагоги и еврейские кладбища.

Не случайно в ФРГ созданы уже не только чисто немецкие формирования СС (список которых приводится в книге), но также и иностранные — из числа презренных отщепенцев, изменников своей родины. В период контрреволюционного мятежа в Венгрии туда были переброшены из ФРГ члены эсэсовских отрядов «Скрещенные стрелы».

Факты, приводимые в книге, вызывают большую тревогу. Человечество не может примириться с тем, что в самом центре Европы открыто возрождается фашизм.

Сегодня было бы полезно вспомнить выступления представителей западных держав в Нюрнберге, направленные против возрождения германского милитаризма. Трудно не согласиться с английским главным обвинителем Шоукроссом, назвавшим Нюрнбергский процесс «авторитетной и беспристрастной летописью, к которой будущие историки могут обращаться в поисках правды, а будущие политики в поисках предупреждения». А главный обвинитель от США Роберт Джексон, сознавая опасность возрождения нацистских организаций в Германии, заявил:

«Не подлежит никакому сомнению, что наказание только некоторых высших нацистских руководителей и оставление в послевоенном обществе этой паутины организаций означало бы поощрение возможности развития зародыша нового нацизма... Эти организации являются передатчиками от одного поколения к следующему заразы агрессивной и безжалостной войны... Следующая война и будущие погромы будут выращены в гиздах этих организаций, если мы не уменьшим престижа и влияния их членов путем наказания». Последние события в ФРГ показывают, что эти справедливые слова ныне преданы забвению.

Издательство иностранной литературы сделало доброе дело, выпустив в свет книгу «СС в действии» и сопроводив ее множеством документальных фотографий, а также содержательным предисловием, перебрасывающим мостик от событий второй мировой войны к событиям сегодняшнего дня. Книга, несомненно, будет служить благородному делу борьбы с фашизмом, борьбы за мир.

Кандидат юридических наук

А. ПОЛТОРАК

Из зала суда

Старая поговорка гласит: «Если тысяча человек покажет на вора пальцем, он умрет».

В наших советских условиях роль народа, общественности в борьбе с преступностью, в перевоспитании правонарушителей поистине огромна. Вовремя остановить оступившегося, не дать ему покатиться по наклонной плоскости, взять под дружеский и требовательный контроль, испытать доверием коллектива — это и есть борьба за человека, за его будущее.

Советский суд не только карает, но и воспитывает. Сами судебные заседания являются школой жизни, служат уроком и назиданием.

«...Я ручаюсь, что если судья умеет хорошо разбирать и разрешать дела, то у него всегда обеспечена аудитория, его камера всегда будет полна слушателями... Сама оперативная работа суда включает как свою составную часть организацию масс на борьбу за социалистическую законность, перевоспитание масс к новой, социалистической дисциплине». Как свежо сегодня звучат эти слова Михаила Ивановича Калинина!

Порою бывает обидно, что дело, представляющее большой общественный интерес, рассматривается в небольшом зале, вмещающем два-три десятка человек. Не менее обидно, что наши газеты в лучшем случае помещают о судебных заседаниях лишь короткие хроникальные сообщения.

Теперь для наиболее поучительных процессов создана новая трибуна, широко раздвигающая судебные залы. Мы имеем в виду серию небольших книжек, которую начало выпускать Государственное издательство юридической литературы под рубрикой «Из зала суда». Эти очерки, рас-

ходящиеся сотысячными тиражами, уже привлекли широкую читательскую аудиторию. О чем же свидетельствуют первые выпуски?

Первенцем серии явился очерк Я. С. Киселева «Началось с проступка...» Вступление несколько настораживает:

«...Ночью, когда вахтер больше для порядка, чем по необходимости, обходил Институт, он заметил свет, пробивающийся через дверную щель из комнаты, где стоял сейф. Решив, что кто-нибудь из сотрудников забыл выключить свет, вахтер, не принимая никаких мер предосторожности и даже не глуша своих шагов, подошел к двери, спокойно открыл ее... — и в то же мгновение свет в комнате погас и что-то тяжелое обрушилось на его голову».

Неужели сейчас последуют нат-пинкертоновские трюки, появятся маги-сыщики и начнется бешеная погоня за злодеями?.. Нет, автор решительно отказывается от дешевой сенсационности и уголовной «романтики». Он обстоятельно рассказывает о грабителях-десятиклассниках, предводительствуемых семнадцатилетним «Князем». Его соучастники — Витя, Гаря, Володя, Женя. У каждого свое лицо, свой характер. Как же случилось, что эти юноши, дышавшие чистым советским воздухом, стали на дурную стезю, — вот что в первую очередь интересует автора. Он ведет нас в семьи правонарушителей, в школу, где они учились, ищет психологические истоки преступления, разоблачает бездушных, а иногда и трусливых людей, которые могли остановить юношей, предотвратить их падение, но не сделали этого. Можно найти стилистические и композиционные огрехи в очерке Я. Киселева, но нет сомнения, что основная его линия правильна — книжка имеет воспитательное значение.

Заботой о судьбе человека проникнуты и страницы очерка Ю. Кларова «Вторая судимость». Здесь тоже нет ни уголовных хитросплетений, ни шекочущих нервы «острых» положений. Перед нами своеобразная исповедь вора Владимира Сысоева: безрадостное детство, угрозы и побоев отца, деспота и алкоголика, бегство из дому, скитания, встреча с вором-рецидивистом Сашкой Силой, первые кражи и первая судимость...

Я. С. Киселев. Началось с проступка... Редактор В. М. Чикул. 32 стр. Государственное издательство юридической литературы. М. 1958.

Ю. Кларов. Вторая судимость. Редактор Е. К. Коржув. 40 стр. Государственное издательство юридической литературы. М. 1959.
С. Званцев. Клевета. Редактор Е. К. Коржув. 32 стр. Государственное издательство юридической литературы. М. 1959.

Ирина Волк, Игорь Голосовский. Признаю себя виновным... Редактор В. М. Чикул. 108 стр. Государственное издательство юридической литературы. М. 1959.

Полный решимости начать новую, честную жизнь, вернулся Владимир из исправительно-трудовой колонии, где он получил специальность столяра. Он сразу же направился на местное предприятие, просил принять на работу. Но холодные люди пренебрежительно отвернулись от «вора», и юноше показалось, что он навсегда отвергнут обществом, что его место — среди правонарушителей. Сысоев снова попадает в преступную шайку и вновь оказывается на скамье подсудимых. Спас, буквально спас его чуткий, душевный судья Михаил Константинович Белецкий. Он вызвал на суд в качестве свидетелей тех бездушных людей, которые закрыли Сысоеву дорогу на завод.

— Почему не взяли Сысоева на работу? — спрашивает судья.

Свидетель Матвеев отвечает:

«— Мы его не взяли исходя из государственных соображений... Наш комбинат является важным государственным предприятием, на нем не место вора».

— А откуда вы узнали, что Сысоев вор?

— А как же, он предъявил справку из места заключения.

— Но в справке было указано, что он освобожден на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР... Значит, Президиум Верховного Совета СССР пришел к выводу, что он уже не вор, что он больше не нуждается в изоляции от общества, что он может работать, как все советские люди. Вы что же, решили поправить Президиум и лишить Сысоева права на труд?

— Нет, но не обязательно ему работать именно у нас. Все-таки бдительность...

— Не трогайте этого слова. Мне кажется, что его значения вы не понимаете.

Вот он, наглядный урок воспитания!

Суд, поверив, что Сысоев способен стать полезным членом общества, осудил его условно. И когда Владимир завтра пришел благодарить судью, тот строго сказал:

«— Думаешь, пожалели тебя? Нет, не пожалели... Просто мы поверили в тебя. А за доверие не благодарят. Его стараются оправдать».

Судья дал Сысоеву письмо к знакомому начальнику шахты в Донбассе. Это была «путевка в жизнь». Истосковавшийся по труду человек вскоре стал знатным шахтером, бригадиром. О судьбе Белецком он

всегда вспоминает с теплым, трогательным чувством:

«— Настоящий человек Михаил Константинович. Поверил, говорит. Да я теперь за эту веру, может быть, жизнь отдам. Большое это умение — вера в человека. Не каждому оно дается».

Небольшая книжечка раскрывает сложную судьбу человека, навсегда вырванного из преступного мира.

Куда менее выразительным получился очерк С. Званцева «Клевета». Автор, к сожалению, оказался в плену судебного протокола и свел свою миссию к легкой «беллетризации» записей, сделанных секретарем в ходе заседания суда. Процессуальная процедура довлеет над повествованием. Ограничившись фотографированием судебного заседания и чисто внешним описанием событий, С. Званцев не обнажил до конца подленьких душ клеветников — четы Данилиных — и не раскрыл во всем объеме того зла, которое причиняют обществу подобные люди. Слишком бегло обрисован старый учитель Шорин, ставший жертвой низких интриг. А ведь именно его переживания наиболее убедительно показали бы, какое отвратительное преступление совершают те, кто пытается отравленным оружием клеветы сразить честного человека.

Книжка И. Волк и И. Голосовского «Признаю себя виновным...» по размеру втрое превышает другие выпуски. Но нельзя сказать, чтобы читатель от этого выиграл. Если упомянувшиеся нами очерки, при всех их погрешностях, воспринимаются как подлинные судебные дела, то книга И. Волк и И. Голосовского, написанная, может быть, более профессионально, выглядит нарочито затянутой и искусственно осложненной детективной повестью. Здесь есть и погоня за «занимательностью» и нагнетание всевозможных «ужасов». Чего стоят одни лишь названия глав: «Загадочное убийство», «Таинственная фотография», «Спасите его!», «Оборотень», «Руки вверх!»... Эта книжка нам кажется отступлением от того типа массового судебного очерка, который призван на конкретных, взятых из густи жизни делах учить, воспитывать, предостерегать.

Само собой разумеется, что очерки, издаваемые большими тиражами и рассчитанные на самые широкие читательские круги, должны быть написаны сжато, увлекательно, образно. Первые очерки еще

не всегда удовлетворяют этим требованиям.

Государственное издательство юридической литературы очень своевременно начало выпускать серию «Из зала суда». Живо и впечатляющий рассказ о судебных процессах, истоках и причинах преступлений поможет нашей общественности бороться с нарушениями социалистической законности. Надо полагать, что период становления нового издания скоро завершится и судебные очерки обретут све-

лицо, тематическую систему, более или менее строгую периодичность. Следовало бы, на наш взгляд, расширить самый смысл рубрики «Из зала суда» и включить в серию наиболее интересные и поучительные дела, рассматриваемые не только народными, но и товарищескими судами, воспитательная роль и общественный вес которых сейчас заметно возрастают.

Мих. ЦУНЦ.

★

О книге „Очерки истории Свердловска“

В десятой книге нашего журнала за 1959 год была напечатана рецензия Д. Владимирского и Н. Финкельштейна на выпущенные Свердловским книжным издательством «Очерки истории Свердловска». Обсудив эту рецензию на кафедре истории СССР Уральского университета имени А. М. Горького, группа работников кафедры прислала в редакцию «Нового мира» письмо, в котором говорится следующее:

«Разумеется, кроме достоинств, в книге есть и существенные недостатки, которых, вообще говоря, трудно избежать в столь крупном по хронологическим масштабам по объему исследовании, являющемся к тому же первым опытом подобного рода. В отзывах печати высказывались критические замечания по поводу имеющихся в «Очерках» некоторых упущений, фактических неточностей, погрешностей в стиле и т. д. С большинством этих замечаний нельзя не согласиться, ибо они сделаны людьми, хорошо знающими историю, сделаны по существу, конкретно и объективно. Такая критика приносит несомненную пользу. Она не дискредитирует авторов, а помогает им найти и исправить допущенные недостатки...»

Совершенно иной характер носит критическая рецензия, написанная Д. Владимирским и Н. Финкельштейном. Рецензия называется «Книга могла быть лучше». Прочитав ее, трудно поверить, что рецензенты руководствуются желанием помочь авторам «Очерков истории Свердловска» улучшить книгу. Создается как раз противоположное впечатление: Д. Владимирский и Н. Фин-

кельштейн стараются изо всех сил опорочить труд большого авторского коллектива».

Тщательно ознакомившись с существом вопроса, а также с обширными материалами, на которые ссылаются полемизирующие с рецензентами авторы письма, редакция «Нового мира» пришла к следующему выводу.

Если частные конкретные упреки, высказанные Д. Владимирским и Н. Финкельштейном, и могут быть признаны основательными, то в целом большой и нелегкий труд двадцати семи научных работников, впервые систематизировавших и обобщивших никогда прежде не сводившиеся обширные материалы по истории Екатеринбург-Свердловска, несомненно заслуживал более положительной оценки, нежели оброненные в конце рецензии слова о том, что знакомство с этой книгой «отнюдь не бесполезно».

В рецензии следовало бы, указывая на отдельные недостатки книги, отметить вместе с тем и тот факт, что авторы «Очерков» проделали достойную всяческого уважения работу, требующую серьезного и доброжелательного разбора. Без этого отзыв о книге приобрел неоправданно односторонний характер.

Редакция считает также необходимым отметить, что рецензия Д. Владимирского и Н. Финкельштейна, создающая у читателя неверное представление об «Очерках истории Свердловска», была напечатана в журнале вследствие того, что работники отдела публицистики и науки недостаточно глубоко ознакомились с книгой.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

В. И. ЛЕНИН ВО ГЛАВЕ ВЕЛИКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. Госполитиздат. М. 1960. 328 стр. Цена 5 р. 70 к.

В состав этого сборника включены наиболее интересные и важные воспоминания о деятельности В. И. Ленина на хозяйственном фронте, многие из которых уже давно не переиздавались или же были выпущены в свет лишь местными издательствами и небольшим тиражом.

Свыше сорока авторов воспоминаний, в числе которых Н. К. Крупская, Г. М. Кржижановский, В. Я. Чубарь, М. Н. Скрипник, И. М. Губкин, Г. О. Графтио, А. Д. Цюрупа, Л. Б. Красин, передают атмосферу тех знаменательных дней, когда, по выражению Н. К. Крупской, «закладывались основные камни громадной и совершенно неслыханной стройки». Участники событий того времени раскрывают исключительную роль Владимира Ильича Ленина в строительстве основ социалистической экономики первого в мире государства рабочих и крестьян.

Разнообразна тематика воспоминаний, вошедших в сборник. Читатель найдет здесь свидетельства о том, как Ленин относился к вопросам планового управления промышленностью и организации труда, к проблемам транспорта, продовольственной политике, о его повседневной помощи развитию отечественной науки.

В своем выступлении на Всесоюзном совещании по энергетическому строительству Н. С. Хрущев говорил: «То, чем жил Ленин, что он планировал, о чем он мечтал, сейчас наш народ, партия успешно претворяют в жизнь!» Эти слова приходят на память, когда знакомишься с материалами, приведенными в сборнике воспоминаний о ленинских принципах хозяйственного руководства.

Г. КОСТОМАРОВ. Незабываемое. «Московский рабочий». 1960. 176 стр. Цена 2 р.

Революционному движению в Москве Владимир Ильич постоянно уделял огромное внимание. В ленинских произведениях, письмах, докладах и речах, а также в многочисленных воспоминаниях о Ленине можно увидеть, какое значение придавал Владимир Ильич московской партийной организации, пролетариату Москвы как в революционной борьбе, так и в строительстве Советского государства. Эти документы и легли в основу книги Г. Костомарова, рассказывающей о неразрывной связи В. И. Ле-

нина с трудящимися Москвы и Московской губернии в дореволюционные годы и в особенности после Октябрьской революции, когда Москва стала столицей Советского государства — знаменосцем новой, социалистической эпохи.

Значительное место автор отводит встречам В. И. Ленина с рабочими и крестьянами. По путевкам Московского комитета партии Владимир Ильич часто выступал на рабочих собраниях и митингах, на крестьянских сходках. В книге приведены воспоминания Е. Д. Стасовой, где говорится: «Не было такого случая, чтобы он не пришел, точно так же, как не было случая, чтобы он опоздал. На следующий день Ленин всегда сообщал очень точно: сколько народу было на его докладе, какие вопросы были заданы и какие недостатки в той организации, куда мы его послали».

Книга «Незабываемое» рассчитана на широкие массы читателей и прежде всего на молодежь.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК О СЕМИЛЕТ- НЕМ ПЛАНЕ СССР. Госпланиздат. М. 1960. 128 стр. Цена 1 р. 20 к.

Эта книжка — из тех, которые у пропагандиста должны быть всегда под рукой. В первом ее разделе, названном «Достижения СССР», приведены данные, характеризующие общий облик нашей экономики и показывающие динамику ее развития. Наряду со сведениями по отраслям народного хозяйства здесь даны справки о капитальных вложениях, основных фондах и их структуре, а также приведены показатели производительности труда, национального дохода, материального благосостояния советского народа.

Второй раздел посвящен важнейшим показателям семилетнего плана на 1959—1965 годы. Справочник заканчивается сведениями о перспективном плане развития народного хозяйства на ближайшие пятнадцать лет, об итогах первого года семилетки.

В ряде таблиц показатели приведены в сопоставлении СССР с главными странами капиталистического мира.

С. П. ТОКАРЕВ. Ускоренное развитие промышленности восточных районов СССР (1959—1965). Госпланиздат. М. 1960. 120 стр. Цена 2 р. 40 к.

Восточные районы сочетают в себе огромные сырьевые и энергетические ресурсы: на их долю приходится, например, девяносто процентов запасов угля в СССР. Это спо-

собствует развитию здесь важнейших отраслей промышленности, таких, как черная металлургия, алюминиевая промышленность. По производству алюминия восточные районы к 1965 году займут первое место в стране. Значительную роль сыграет дешевая электроэнергия, которую будут вырабатывать мощные ГЭС — Братская, Красноярская, Усть-Илимская. В восточных районах к концу семилетки электроэнергии будет вырабатываться больше, чем по всему СССР в 1958 году.

В книге приведены сведения, характеризующие не только развитие промышленности восточных районов и залежи полезных ископаемых, но и сдвиги в размещении производительных сил и образование новых промышленных узлов — Кустанайского, Ачинско-Красноярского, Братско-Тайшетского и других.

Читатель узнает и о комплексном развитии экономики восточных районов, а также о возникновении там новых отраслей промышленности, например, производства синтетических материалов.

Г. П. ЖУКОВ. В интересах Японии — нейтралитет. Издательство Института международных отношений. М. 1960. 96 стр. Цена 1 р. 70 к.

Руководящие круги Японии, не раз заявляя на словах о своем миролюбии, на деле осуществляют политику милитаризации страны. Сфера действия нового военного договора, заключенного правительством Киси с США и фальшиво названного договором о сотрудничестве и гарантии безопасности, не ограничена Японскими островами, а распространяется на территории СССР и КНР.

В выпущенной Институтом международных отношений книге Г. Жукова убедительно показано, что нынешняя политика японских правящих кругов не может обеспечить безопасность Японии, а, наоборот, представляет для нее серьезную угрозу. Реальной гарантией безопасности страны является политика нейтралитета, она принесет Японии мир и спокойствие. На проведении этой политики настаивают широкие массы японского народа. Автор приводит множество высказываний японской печати и отдельных политических деятелей в пользу политики нейтралитета. Итиро Тамура в статье «Япония и нейтралитет» отмечает не только политические, но и экономические выгоды, которые получит страна от провозглашения нейтралитета.

Разоблачая несостоятельные доводы противников нейтралитета Японии, автор напоминает, что нейтралитет провозгласили многие страны, в том числе Индия, Индонезия, ОАР, Ирак, Швеция, Швейцария, Австрия. Нейтралитет является одной из форм борьбы за мир, полностью отвечая требованиям Устава ООН. Советское правительство не раз подтверждало готовность «гарантировать уважение и соблюдение постоянного нейтралитета Японии». На Дальнем Востоке должна быть создана зона мира, включает свою книжку автор.

АЛЕКСЕЙ НЕДОГОНОВ. Возвращение. Стихи. «Советский писатель». М. 1959. 144 стр. Цена 3 р.

Советскому читателю хорошо знакомо имя Алексея Недогонова, автора поэмы «Флаг над сельсоветом» и ряда других поэтических произведений. За двенадцать лет, прошедших со дня смерти поэта, произведения его издавались отдельными книгами девять раз.

В новый сборник включены стихи, не вошедшие ни в одну из прежних книг А. Недогонова. Большинство из них печаталось ранее во фронтовых газетах, заводских многотиражках, другие — из архива поэта — не были опубликованы.

Стихи, собранные в книгу, очень различные и по времени их создания, и по темам, и по манере письма. Открывает сборник стихотворение 1933 года «Воспоминание», написанное в память о брате, погибшем в борьбе с бандами Краснова. Одно из последних стихотворений — «Тринадцатый», — помеченное 1943—1944 гг., рассказывает о подвиге советских солдат, героически сражавшихся против фашистов.

Сборник «Возвращение» поможет читателям полнее представить себе творчество талантливого советского поэта Алексея Недогонова.

ДЗАХО ГАТУЕВ. Гага-аул. Избранные произведения. Гослигиздат. М. 1960. 368 стр. Цена 5 р.

Осетинский писатель Дзахо Гатуев (псевдоним Константина Алексеевича Гатуева) прожил недолгую жизнь (1892—1937), но оставленное им литературное наследие свидетельствует о широте его художественных интересов. Гатуев писал стихи, рассказы, очерки, статьи, повести. Его перу принадлежит перевод на русский язык героической осетинской поэмы «Амран», в которой воссоздан легендарный образ человека, борющегося за счастье своего народа.

Наибольший интерес представляет написанная в 1930 году повесть Гатуева «Гага-аул». В ней на материале жизни одного аула рассказывается о процессах, происшедших на Кавказе в канун Октября и в первые годы Советской власти, о росте общественного сознания горцев, о победе социалистического уклада жизни.

В сборник избранных произведений Гатуева включены ранее не публиковавшиеся воспоминания о Сергее Мироновиче Кирове.

СЕМЕН БАНК. Ветер дальних странствий. Детгиз. М. 1960. 167 стр. Цена 3 р. 60 к.

Море не случайно является главным героем книги «Ветер дальних странствий»; ее автор, Семен Банк, — моряк и журналист, исколесивший чуть ли не весь мир. Он плавал на ледоколе «Малыгин», который в 1928 году шел на спасение экспедиции Нобиле, работал кочегаром небольшого траулера «Стрелок», шедшего в 1934 году из Владивостока через Суэцкий канал в Мурманск, был в Испании,

путешествовал по Монголии, участвовал в Великой Отечественной войне.

Автор рассказывает о себе, о своем жизненном пути, но одновременно это рассказ о людях: и о судьбе юного испанца Хуана Санчеса, и монголки Мытыгмы, о других тружениках, любящих мир, свободу, с гордостью и надеждой взирающих на Москву и Советский Союз.

Богатые жизненные впечатления и наблюдения дали автору материал для интересной в познавательном и воспитательном отношении книги, адресованной юному читателю.

ТОГОЛОК МОЛДО. Избранное. Перевод с киргизского. Гослитиздат. М. 1958. 192 стр. Цена 1 р. 95 к.

Исполнилось сто лет со дня рождения классика киргизской литературы, народного акына Тоголока Молдо. Выдающийся поэт и просветитель, он создал немало поэтических произведений, в которых глубоко и правдиво изображал жизнь родного народа, его труд, страдания, борьбу за свободу, его мечты о лучшем будущем. Популярны в Киргизии сатирические стихи, басни поэта, направленные против местных богатеев и мусульманского духовенства. Тоголок Молдо был также величайшим знатоком и собирателем народного творчества. За свою жизнь он собрал множество народных легенд, преданий и сказок. Часть народных песен он творчески перерабатывал, внося в них социальное звучание.

Революцию 1917 года замечательный киргизский поэт встретил восторженными стихами, в которых призывал народ встать на защиту завоеваний Октября.

Тоголок Молдо умер в 1942 году. Его последние произведения посвящены освободительной борьбе народа против фашизма.

В сборник вошли стихотворения, песни, поэмы, написанные поэтом в течение всей жизни: старинные песни-жалобы («Плач женщины о павшей корове», «Причитания жены деханина», «Жалобы девушки, выданной замуж за старика» и другие), характерные для первого периода творчества; произведения, носящие острый обличительный характер, — притчи, сказки, сатирические стихотворения («Камни впились в мой ребра», «Роду Тезек-Тагай», «Овца в чалме» и другие), большинство из которых создавалось после революционных событий 1905 года; стихотворения о революции («Вперед!», «Революция», «Я снова молод», «Свобода», «Счастье», «Октябрь»). Заключают сборник поэмы «Наставление», «Сивый скакун», «Слово о Токтогуле» и проч.

Вступительная статья о творчестве Тоголока Молдо написана М. Богдановой. «Избранное» Тоголока Молдо издано почти два года назад, но сейчас, в связи со столетием со дня рождения поэта, интерес к его сборнику, безусловно, повышается.

Д. МАКСИМОВ. Поэзия Лермонтова. «Советский писатель». Л. 1959. 326 стр. Цена 7 р. 55 к.

Автор этой книги, Д. Е. Максимов, уже давно занимается изучением творчества Лермонтова. Статьи, вошедшие в сборник, в свое время публиковались в журналах.

Собранные вместе, дополненные и исправленные, эти работы довольно полно и многосторонне освещают творчество великого поэта, поднимают ряд важных проблем. «В борьбе за человека, за его достоинство, за его свободу, за его право на гордую и бесстрашную мысль, в борьбе с бездумным благодушием и духовной неподвижностью беспокойная и мятежная поэзия Лермонтова помогает и теперь, как она помогала в прошлом», — пишет Д. Максимов.

Первая статья — «Поэзия Лермонтова» — содержит общую характеристику лирики Лермонтова и его основных стихотворных произведений. Творчество поэта автор рассматривает в связи с эпохой, с действительностью, которая питала поэзию Лермонтова, вместе с тем критик исследует то индивидуальное, неповторимо личное в творчестве, что «не может быть целиком выведено из содержания своего времени».

Основное внимание автор уделяет проблемам личности, свободы в поэзии Лермонтова, утверждению в ней положительных ценностей жизни.

Три последующие статьи — «Тема простого человека в лирике Лермонтова», «Мцыри», «Лермонтов и Блок» — касаются уже не общих вопросов творчества, а более специальных, конкретных проблем, но при этом каждая из них решается в связи с общей характеристикой лермонтовского творчества и традициями, накопленными русской классической литературой.

Ю. А. КРЕСТИНСКИЙ. А. Н. Толстой. Жизнь и творчество (Краткий очерк). Издательство Академии наук СССР. М. 1960. 315 стр. Цена 14 р. 20 к.

Книга Ю. А. Крестинского — первый опыт создания фундаментальной, научной биографии крупнейшего советского писателя — Алексея Николаевича Толстого. Рассказывая о жизненном пути писателя, о важнейших вехах его биографии, автор наряду с опубликованными материалами широко привлекает архивные источники (письма, стенограммы бесед и выступления, записные книжки, дневниковые записи, неопубликованные произведения, черновики и варианты произведений напечатанных). Этот обширный документальный материал большей частью найден, проверен и систематизирован самим исследователем.

В книге Ю. А. Крестинского жизнь Алексея Толстого прослеживается в тесной и органической связи с эволюцией его художественного творчества.

А. ВОСКЕРЧЯН. Степан Шаумян и вопросы литературы. «Советский писатель». М. 1959. 230 стр. Цена 6 р.

«Литературно-критические статьи С. Г. Шаумяна — выдающееся явление большевистской публицистической критики предреволюционного периода. Они тесно связаны с его страстной общественно-политической борьбой и составляют органическую часть его партийной деятельности», — пишет А. Воскерчян, автор книги о Степане Шаумяне, крупном марксисте-ленинце, одном из двадцати шести бакинских комиссаров, отдавших жизнь за революцию.

Автор знакомит читателей с жизненным путем С. Шаумяна, его детством, юностью, рассказывает о его общественно-политических и эстетических идеалах, которые формировались под немалым влиянием передовой армянской и русской литературы, революционно-демократической критики.

Когда С. Шаумяну было двадцать четыре года, он встретился с Лениным в Женеве. Это знакомство было решающим в жизни молодого человека. С тех пор он окончательно встал на путь революционной борьбы.

Вторая глава посвящена теоретическим, философским предпосылкам литературных взглядов Степана Шаумяна, без знакомства с которыми, как справедливо замечает автор, «нельзя составить правильное и полное представление о литературных взглядах Шаумяна».

Далее автор рассматривает некоторые литературоведческие вопросы в трактовке С. Шаумяна: взаимоотношение мировоззрения и художественного творчества, знание жизни, социально-воспитательная роль и познавательное значение реалистической драматургии и театра, общественная роль литературы.

В главе «Степан Шаумян о русской литературе» анализируются статьи и высказывания С. Шаумяна о Л. Толстом и М. Горьком.

Заключают книгу главы: «Развитие общественной мысли и художественная литература Армении в оценке Степана Шаумяна» и «Стиль Шаумяна-публициста».

СЕРГИ ЧИЛАЯ. Очерки истории грузинской советской литературы. Перевод с грузинского. Издательство «Заря Востока». Тбилиси. 1960. 248 стр. Цена 7 р. 35 к.

Книга С. Чилая является по существу первым систематизированным очерком истории грузинской советской литературы на русском языке — от момента ее зарождения до 1945 года. Вторая часть книги, над которой автор сейчас работает, будет посвящена литературе периода от 1945 года до наших дней.

В книге, кроме введения, четыре главы: «Грузинская литература двадцатых го-

дов», «Грузинская литература тридцатых годов», «Грузинская драматургия 20—30 годов», «Грузинская литература периода Великой Отечественной войны». В них дается краткий анализ литературной жизни тех лет, затем приводятся литературные портреты наиболее значительных грузинских писателей (портреты-«медальоны», как называет их автор).

В главе «Грузинская литература двадцатых годов» после краткой характеристики общественной и политической жизни Грузии того времени автор знакомит читателей с литературными группами и журналами, выразившими идеи той или иной группы.

В этой же главе напечатаны портреты-«медальоны» поэтов Галактиона Табидзе, Георгия Кучишвили, Алю Мирцхулавы, прозаиков Лео Киачели, Нико Лордкипанидзе, Михаила Джавахишвили, Константина Гамсахурдиа.

В других главах автор характеризует прозаиков, драматургов и поэтов, творивших в более позднее время. Многие из них и сейчас находятся в расцвете своих творческих сил. Здесь читатель встретит имена Иосифа Гришашвили, Георгия Леонидзе, Паоло Яшвили, Тициана Табидзе, Симона Чиковани, Карло Каладзе, Ираклия Абашидзе и других.

ЭДУАРД ЭРРИО. Жизнь Бетховена. Государственное музыкальное издательство. М. 1959. 360 стр. Цена 12 р. 90 к.

Имя выдающегося политического, общественного, государственного деятеля Франции Эдуарда Эррио широко известно в нашей стране. Мэр города Лиона, сенатор, депутат парламента, председатель палаты депутатов, Эдуард Эррио много сделал для того, чтобы народы Советского Союза и Франции жили в мире и дружбе. Это при его активном участии французское правительство, которое он тогда возглавлял, в 1924 году установило дипломатические отношения с нашей страной. Это по его инициативе между Францией и Советским Союзом в 1932 году был заключен пакт о ненападении. До конца своей жизни Эррио выступал за сотрудничество с Советским Союзом.

Менее известен у нас Эррио как писатель, оставивший около тридцати книг. Одна из лучших его литературных работ — книга о жизни и творчестве великого немецкого композитора Людвиг ван Бетховена.

Любовь к великому композитору, глубокое понимание его музыки, живость и простота изложения — все это служит залогом того, что книга Эдуарда Эррио со вниманием будет встречена нашими читателями.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Владимир Ильич Ленин. Биография. Написана авторским коллективом. Руководитель П. Н. Поспелов. 610 стр. Цена 11 р.

Н. С. Хрущев. Об отмене налогов с рабочих и служащих и других мероприятиях, направленных на повышение благосостояния советского народа. Доклад и заключительное слово на пятой сессии Верховного Совета СССР. 96 стр. Цена 1 р.

С. Галилов. В. И. Ленин — организатор Советского многонационального государства. 240 стр. Цена 3 р.

Дипломатический словарь. В трех томах. Том 1. 580 стр. Цена 25 р.

М. И. Калинин. Избранные произведения в четырех томах. Том 1. 1917—1925 гг. 784 стр. Цена 11 р.

О. Клор. Естествознание, религия и церковь. 136 стр. Цена 1 р. 60 к.

Ю. Поляков. От боя к труду — от труда до атак. Из истории борьбы советского народа с интервентами и белогвардейцами. 176 стр. Цена 2 р. 10 к.

Справочник секретаря первичной партийной организации. 600 стр. Цена 8 р.

Французские просветители XVIII в. о религии. 788 стр. Цена 13 р.

Юр. Чаплыгин. Смех в наступлении. 88 стр. Цена 1 р.

СОЦЭКГИЗ

В. Бузова, С. Шор. Хозяева подземных кладовых. Из истории шахты имени Ильича в Донбассе. 168 стр. Цена 1 р. 90 к.

Е. А. Дунаева. Сотрудничество социалистических наций в строительстве коммунизма. 288 стр. Цена 7 р. 60 к.

А. С. Кодаченко. Соревнование двух систем и слаборазвитые страны. 112 стр. Цена 1 р. 35 к.

П. А. Родионов. Ленин — партия — массы. Деятельность ЦК РКП(б) во главе с В. И. Лениным по упрочению связи с массами. 1921—1922. 352 стр. Цена 4 р. 15 к.

А. Рубакин. В водовороте событий. Воспоминания о пребывании во Франции в 1939—1943 гг. 272 стр. Цена 4 р. 75 к.

Б. М. Шехватов. Ленин и Советское государство (Деятельность В. И. Ленина по совершенствованию государственного управления. 1921—1923 гг.). 316 стр. Цена 4 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

И. Антонов. Свежий ветер. Очерки. Перевод с мордовского. 204 стр. Цена 2 р.

Г. Березкин. А. Кулешов. Критико-биографический очерк. 156 стр. Цена 2 р. 60 к.

Л. Боровой. Путь слова. Из наблюдений над языком советской литературы. 608 стр. Цена 13 р. 40 к.

Я. Брыль. Мой край родной. Повесть, рассказы. Перевод с белорусского. 216 стр. Цена 4 р. 10 к.

Т. Вановская. Юлиус Фучик. Очерк жизни и творчества. 244 стр. Цена 5 р. 65 к.

К. Гамсахурдиа. Цветение лозы. Роман. Перевод с грузинского. 396 стр. Цена 6 р. 80 к.

М. Гарикули. Сквозь грозы. Повести и рассказы. Перевод с грузинского. 236 стр. Цена 4 р. 35 к.

И. Горелик. Обещание. Роман. 352 стр. Цена 6 р. 10 к.

Ю. Кобылецкий. Иван Франко. Очерк жизни и творчества. Перевод с украинского. 376 стр. Цена 8 р. 85 к.

М. Маркарян. Лирика. Перевод с армянского. 136 стр. Цена 2 р. 60 к.

В. Некрасов. Первое знакомство. Очерки. 208 стр. Цена 4 р.

А. Одинцов. Из дома в дом. Очерки. 371 стр. Цена 4 р. 15 к.

К. Паустовский. Время больших ожиданий. Повесть. 240 стр. Цена 5 р.

А. Полторацкий. Юность Гоголя. Повесть. Перевод с украинского. 296 стр. Цена 5 р. 25 к.

Я. Рыкачев. Великое посольство. Исторические повести. 348 стр. Цена 4 р. 50 к.

Б. Сейтаков. Братья. Роман. Перевод с туркменского. Книга 1. 320 стр. Цена 5 р. 60 к.

М. Слуцкис. Рассказы. Перевод с литовского. 284 стр. Цена 5 р.

Р. Тухватуллин. Рассказы моей деревни. Перевод с татарского. 224 стр. Цена 2 р. 70 к.

Л. Уварова. Продолжение следует. Повесть и рассказы. 276 стр. Цена 5 р. 15 к.

Б. Харчук. Вольты. Роман. Перевод с украинского. 360 стр. Цена 6 р. 25 к.

Саша Черный. Стихотворения. 632 стр. Цена 10 р. 80 к.

М. Шехтер. Век мой. Стихи и поэмы. 220 стр. Цена 3 р. 15 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

- Антология молдавской поэзии.** 583 стр. Цена 8 р. 30 к.
- Тудор Аргези.** Избранные стихи. Перевод с румынского. 311 стр. Цена 6 р. 70 к.
- А. Бушмин.** Сказки Салтыкова-Щедринна. 230 стр. Цена 6 р. 85 к.
- Юлиус Вексель.** Избранное. Переводы с шведского. 239 стр. Цена 4 р. 20 к.
- Итальянские новеллы.** 1860—1914. Перевод с итальянского. 727 стр. Цена 11 р. 70 к.
- Александр Коваленков.** Стихи. 191 стр. Цена 3 р. 50 к.
- Лу Ю.** Стихи. Переводы с китайского. 199 стр. Цена 1 р. 30 к.
- Десанка Максимович.** Запах земли. Стихи. Перевод с сербо-хорватского. 167 стр. Цена 2 р. 40 к.
- Низами.** Лирика. Перевод с языка фарси. 222 стр. Цена 17 р. 50 к.
- Виктор Панков.** Главный герой. 323 стр. Цена 8 р. 90 к.
- Леонид Первомайский.** Стихотворения. Перевод с украинского. 183 стр. Цена 3 р. 50 к.
- Румынские сказки.** Перевод с румынского. 479 стр. Цена 7 р. 55 к.
- К. М. Станюкович.** Откровенные. Роман в двух частях. 271 стр. Цена 5 р. 10 к.
- Тициан Табидзе.** Стихотворения. Перевод с грузинского. 239 стр. Цена 4 р.
- Ваан Герьян.** Стихотворения. Перевод с армянского. 184 стр. Цена 2 р. 70 к.
- М. Шолохов.** Поднятая целина. Роман. Книги первая и вторая. 719 стр. Цена 14 р. 25 к.
- Степан Щипачев.** Стихотворения. Поэмы. Березовый сок. Повесть. 495 стр. Цена 7 р. 70 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- Раиса Ахматова.** Иду к тебе. Стихи. Перевод с чеченского. 80 стр. Цена 1 р.
- Сергей Баруздин.** Мой сосед. Стихи и сказки. 64 стр. Цена 2 р. 95 к.
- Гюнтер Гёрлих.** Черный Петер. Повесть. Перевод с немецкого. 272 стр. Цена 4 р.
- В. Данилевский.** Нартов. 175 стр. Цена 4 р. 25 к.
- Юрий Ермолаев.** Рассказы. 144 стр. Цена 1 р. 90 к.
- Вал. Иванов.** Человек и закон. Очерк. 80 стр. Цена 1 р. 25 к.
- Евдокия Лось.** Если помнить о солнце. Стихи. Перевод с белорусского. 96 стр. Цена 1 р. 20 к.
- Янис Ниедре.** Вешние воды. Роман. Перевод с латышского. 208 стр. Цена 3 р. 5 к.
- Заки Нури.** Тополиный берег. Стихи. Перевод с татарского. 64 стр. Цена 1 р.
- Джанны Родари.** Дожельсомино в стране лжецов. Сатирическая сказка. Перевод с итальянского. 160 стр. Цена 8 р. 50 к.
- Владимир Савельев.** Крутые берега. Стихи. 72 стр. Цена 2 р. 50 к.
- Туда, где труднее.** Сборник очерков. 160 стр. Цена 1 р. 85 к.

- Михаил Чебодаев.** Всего хорошего. Стихи. Перевод с хакасского. 40 стр. Цена 2 р. 15 к.
- Ханс Шерфиг.** Загубленная весна. Роман. Перевод с датского. 192 стр. Цена 2 р. 90 к.

ДЕТГИЗ

- К. Бем, Р. Дорге.** Атом-гигант. Сокращенный перевод с немецкого. 304 стр. Цена 5 р. 90 к.
- А. Дорохов.** Серебряный бегун. 272 стр. Цена 5 р. 15 к.
- М. Живов.** Юлиан Тувим. Очерк жизни и творчества. 136 стр. Цена 2 р. 85 к.
- О. Жукова.** Подводная охота. 160 стр. Цена 2 р. 40 к.
- Комсомольское племя.** Сборник. 224 стр. Цена 4 р. 30 к.
- М. Матощец.** По следам судебного журнала. Повесть. Перевод с сербо-хорватского. 208 стр. Цена 4 р. 60 к.
- Л. Мештерхази.** В нескольких шагах граница. Повесть. Перевод с венгерского. 304 стр. Цена 5 р. 75 к.
- А. Мошковский.** Три белоснежных оленя. Рассказы. 192 стр. Цена 4 р. 75 к.
- Л. Нейман.** Пятница. Историческая повесть. 176 стр. Цена 3 р. 60 к.
- Е. Поляков.** Сын коммуниста. Повесть. 184 стр. Цена 3 р. 85 к.
- Три апельсина.** Итальянские народные сказки. Перевод с итальянского. 224 стр. Цена 4 р. 90 к.
- Г. Цирулис, А. Имерманис.** Товарищ маузер. Повесть. Перевод с латышского. 232 стр. Цена 6 р.
- Е. Шарыпина.** В дни блокады. Записки политорганизатора. 104 стр. Цена 2 р. 60 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

- Н. Д. Иванов.** Дарвинизм и теории наследственности. 279 стр. Цена 5 р. 30 к.
- Исследования по славянскому литературоведению и фольклористике.** Доклады советских ученых на IV Международном съезде славистов. 343 стр. Цена 13 р. 70 к.
- История русской советской литературы.** Том II. 1929—1941 гг. 636 стр. Цена 25 р.
- И. А. Крывелов.** Ленин о религии. 240 стр. Цена 3 р. 80 к.
- Г. А. Меликишвили.** Урартские клинообразные надписи. 504 стр. Цена 27 р. 65 к.
- Я. О. Парнас.** Избранные труды. 492 стр. Цена 32 р.
- В. Ф. Червинский.** Пути сельскохозяйственного освоения земель в полупустынной и пустынной зонах СССР. 239 стр. Цена 13 р. 35 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

- Из опыта преподавания истории в средней школе.** 120 стр. Цена 1 р. 80 к.
- Общественно-политическое воспитание учащихся.** Из опыта работы в старших классах школы. 160 стр. Цена 3 р. 25 к.

Примерная программа воспитательной работы восьмилетней и средней общеобразовательной трудовой политехнической школы с производственным обучением. 160 стр. Цена 2 р. 65 к.

Русский язык и литература в национальной школе. 96 стр. Цена 1 р. 30 к.

Соединение обучения с производительным трудом учащихся в промышленности. Из опыта школ с производственным обучением. 112 стр. Цена 1 р. 55 к.

В. Д. Соловьева. Педагогические взгляды и деятельность Н. Ф. Бунакова. 184 стр. Цена 4 р. 90 к.

ГЕОГРАФИЗ

В. Канаки. Северные рассказы. 144 стр. Цена 2 р. 20 к.

Е. Н. Перчик, К. И. Арсеньев и его работы по районированию России. 120 стр. Цена 2 р.

И. И. Пузанов. По нехоженому Крыму. 386 стр. Цена 6 р. 5 к.

А. Стражевский. Истина стоит жизни. 288 стр. Цена 7 р.

Д. Хантер. Охотник. 222 стр. Цена 4 р. 20 к.

М. Эрцог. Аннапурна. 254 стр. Цена 5 р. 15 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Стихи о Ленине. Из зарубежной поэзии. Сборник переводов. 306 стр. Цена 8 р. 10 к.

Луи Арагон. Страстная неделя. Роман. Перевод с французского. 636 стр. Цена 18 р. 75 к.

Хильмар Вульф. Солнечный бродяга. Повесть. Перевод с датского. 132 стр. Цена 3 р. 20 к.

Уильям Дюбуа. Испытания Мансарта. Повесть. Перевод с английского. 479 стр. Цена 13 р.

Эрнесто Л. Кастро. Вспаханное поле. Роман. Перевод с испанского. 255 стр. Цена 8 р.

Рассказы албанских писателей. Перевод с албанского. 294 стр. Цена 8 р. 50 к.

Джон Сомервилл. Избранное. Перевод с английского. 190 стр. Цена 8 р. 35 к.

У. Цзян. Вопросы преобразования капиталистической промышленности и торговли в КНР. Перевод с китайского. 575 стр. Цена 13 р. 10 к.

СЕЛЬХОЗГИЗ

А. М. Громов, П. И. Феоктистов. Выращивание молодняка птицы. 255 стр. Цена 3 р. 50 к.

А. А. Журавель. Физиология сельскохозяйственных животных. 327 стр. Цена 6 р. 35 к.

Е. А. Замарин, В. В. Фандеев. Гидротехнические сооружения. 623 стр. Цена 14 р. 75 к.

Коллектив авторов. Вопросы развития садоводства и виноградарства. 175 стр. Цена 2 р. 40 к.

Коллектив авторов. Груша. 534 стр. Цена 8 р. 50 к.

Коллектив авторов. Долголетние культурные пастбища. Том 1. 246 стр. Цена 4 р. 70 к.

Коллектив авторов. Льноводство. 410 стр. Цена 8 р. 30 к.

И. И. Плюссин. Мелиоративное почвоведение. 420 стр. Цена 9 р.

Э. Фолкнер. Безумие пахаря. Перевод с английского. 277 стр. Цена 5 р. 10 к.

ИЗДАНИЕ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ СССР

Правда о провокационном вторжении американского самолета в воздушное пространство СССР. 192 стр. Цена 2 р.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. М. Маръямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 27/IV 1960 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 20/V 1960 г.
А 05526. Формат бумаги 70×108^{1/16}. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 90.200.
Зак. № 818.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.